

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ
МИР

10

НОВЫЙ
МИР

1986

10



1986



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 10

Октябрь, 1986 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МИХАИЛ ДУДИН — Сегодня, стихи. Из новой книги	3
АЛЕКСАНДР РЕКЕМЧУК — Тридцать шесть и шесть, роман. Часть вторая	14
СЕРГЕЙ ОСТРОВОЙ — Городские пейзажи, стихи	98
ВЛАДИМИР КРАСИЛЬЩИКОВ — Звездный час, главы из повести	101
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ — Стихотворение	159
ДЖОН АПДАЙК — Кролик разбогател, роман. Продолжение. Перевела с английского Т. Кудрявцева	160

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

МАРК БАРИНОВ — Праздники в Михайловском. Публикация С. Малиновской-Бариновой	200
--	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

КАРЭН ХАЧАТУРОВ — Когда уходят диктаторы	213
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИГОРЬ ДЕДКОВ — Возможность нового мышления	229
ОЛЬГА ЧАЙКОВСКАЯ — Пиковые дамы	235

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	251
Илья Фояков. Во все глаза.	
Ирина Гитович. Спутники Чехова.	
С. Кормялов. Изнутри литературного процесса.	
В. Кантор. Защищая человека.	
<i>Политика и наука</i>	262
Ю. Корнилов. Взгляд, основанный на фактах.	
Валерий Лейбин. Наука и будущее планеты.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Александра Пистунова.— Д. С. Лихачев. Письма о добром и прекрасном. ✦	
Андрей Василевский.— Степан Писахов. Сказки. Очерки. Письма. ✦	
Татьяна Кузовлева.— Ренат Харис. Присядь к очагу моему. Стихотворения и поэмы. ✦	
Александр Ливанов.— Вадим Сафонов. Вечное мгновение. Этюды и размышления о литературе.	268
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

МИХАИЛ ДУДИН

★

СЕГОДНЯ

Из новой книги

...ибо нет ничего тайного, что
не будет явным¹.

Евангелие от Фомы.

Не торопись

Не торопись. Не накликай беду.
Беда всегда бежит на поводу
Бессмысленной поспешности. За ней
Азарт торопит табуны коней
Безумия. И рушится сама
Гармония пытливого ума
В сомнениях растерянной души.
На празднике природы не спеши
За птицей нетерпения. Не сглазь
Времен соединяющую связь
Надежного родства. Не прогляди
Пустыню отчужденья впереди.
Там, где единство гибель сторожит,
В бессмертье человечества лежит
Бессмертье человека. Береги
Познания извечные круги,
Его начала и его концы.
Пусть в сыновьях воскресшие отцы
Почувствуют, что беспокойства дух
В дороге совершенства не потух.

Забвенья нет в ночи

Кому-то, для кого-то
Я нужен, может быть,
И мне моя забота —
Об этом не забыть.

И мне с моей заботой
Забвенья нет в ночи.
Трудись, душа, работай,
Звучи в ночи, звучи.

Тревог волшебный ящик,
Не умолкай в груди,
Всех спящих, и пропащих,
И дремлющих буди.

Уж солнце прокололось
Через туман греха.
Пусть не смолкает голос
Стиха и петуха.

¹ «Античность и современность». «Наука». 1972. 371 стр.

После весенней воды

Все было, было, было.
И снова, как тогда,
Всю дрянь земную смыла
Весенняя вода.

Весна на вольной воле
Меняет все вокруг —
И зеленеет поле
И побережный луг.

Весна полна отваги,
И под ее пятой

Уже кипят овраги
Куриной слепотой.

Ликует, как бывало,
Весенний синий день.
И заблагоухала
Под окнами сирень.

И солнце в окоеме
Льет золотую дрожь.
И на нечерноземе
Не ложь растет, а рожь.

И нет конца у превращений

Где тайна тайн у жизни скрыта,
Не скажут корпус и петит.
Мир бесконечен, и защита
У всех реакторов летит.

И нет конца у превращений
Загадочного естества.
И без успеха ищет гений
Закон всеобщего родства.

И мука творческого духа
За все ответственность берет.
И время, огрызаясь глухо,
Сквозь гибель движется вперед.

Плывет по небу облако

Плывет по небу облако
Неведомо куда.
Под ним земля зеленая
И синяя вода.

Проходит тень от облака
Над сушей и водой,
Всему, чего касается,
Оно грозит бедой.

Ложится тень от облака
На синюю волну.

Дельфин, увидев облако,
Уходит в глубину.

И дикий зверь от облака
Как бешеный бежит,
Пшеница пригибается,
И яблоня дрожит.

Дождем исходит облако
Над степью золотой.
И плачут в поле чибисы
Над мертвою водой.

От взрыва атомного тень

В весеннем мире стало кисло,
И радость жизни уплыла.
Над человечеством нависла
Тень Люциферова крыла.

Все, что нам дорого и мило —
Прошедший век, и новый день,
И солнце ясное, — затмила
От взрыва атомного тень.

Она ползет над вешней пашней
Через границы древних рек,
Она стирает век вчерашний,
Она уходит в новый век.

Земля и небо пахнут адом,
Разгулом мирового зла.
Она прошла над детским садом
И мысль мою переползла.

Она весь мир перекалечит,
 Нигде не ведая помех.
 И мне от этой тени нечем
 Прикрыть беспечный детский смех.

Иуда

Я ради самой ясной ясности
 Свой долг и честь не уроню.
 ...Иуда ищет безопасности,
 Иуда прячется в броню.

Он по своей закономерности
 Для пущего отвода глаз
 Направо и налево в верности
 На дню клянется десять раз.

Он ни одной не мечен ранюю.
 Он чист, как божий херувим.

Надежно личною охраною
 Во сне и бдении храним.

Он сединой беды не выбелен,
 От треволнений вдалеке.
 Но кнопка всей земной погибели
 В его зажата кулаке.

Земная ось скрипит. Меняется
 Мир, к неизвестности спеша.
 И вместе с ним летит и мается
 Изверившаяся душа.

И тем и этим

Или человечество похоронит войну,
 Или война похоронит человечество.

Автор.

Вы из одной кровавой банды,
 К живому злобою полны,
 Архимаңдриты пропаганды
 И академики войны.

Погибель богом сделать хочет
 Всех ваших действий реквизит.
 И атом гибелью грохочет,
 И слово гибелью грозит.

Каких вы ищите доходов?
 Куда свою пошлете рать?..
 Но на могиле всех народов
 Вам не придется пировать.

По совести и чести

По совести и чести
 Всем, что судьба дала,
 Для мира, с миром вместе
 Соразмеряй дела.

Пиши для мира повесть
 Всех дел своих как есть.
 И возродится совесть,
 И станет честью честь.

И вновь на свете белом
 Войдут в свои права
 И снова станут делом
 Забытые слова.

Весенней правды воды
 Сотрут тоску беды
 И атомной свободы
 Безумные следы.

Сон без продолжения

Во сне по какой-то причине
 Случайно привиделся мне
 Белеющий парус в пучине,
 Скользящий по синей волне.

Из бездны к седому карнизу
 Причудливо гибкой воды
 Взлетал он и медленно книзу
 Сползал, в основанье беды.

За парусом легкою прошвой
Струился отчетливый след.
И не было гибели в прошлом.
И в будущем гибели нет.

И не было парусу больно.
И не было больно волне.
И что-то прекрасно и вольно
Играло и пело во мне.

Сквозь зрачки твоего откровенья

Не жена, не сестра и не мать —
Ты была со мной редко и мало,
Но ты душу мою понимала,
Как никто не умел понимать.

Все равно я останусь в долгу
На осколках разбитого долга.
А дышать этой тайною долго
Я, наверно, уже не смогу.

Чем за это с тобой расплачусь —
Нищетою растратчика, что ли,
Иль оскоминой будущей боли
Столбняка восхищения чувств?

И еще доведется едва ль
Мне на узком пороге сомненья
Сквозь зрачки твоего откровенья
Заглянуть в непомерную даль.

Над морем

У скал, нависающих низко
Над морем, венчая карниз,
На грани восторга и риска
Растет и цветет тамариск.

И в песне его молодеет
Вселенной живая душа.
И сонное море немеет.
И скалы стоят не дыша.

И там, под защитною сенью
Сплетенья цветущих ветвей,
Молчать своему вдохновенью
Всю ночь не дает соловей.

И небо, светлея, глядится
В колышущийся водоем.
И жизни и смерти граница
Смыкается в сердце моем.

Надпись на книге А. А. Ахматовой

Голос ее благороден.
Облик ее прекрасен.
Подвиг ее народен.
Смысл ее песен ясен.

И над стихом и прозой
Праздником в беге буден
Синей печальной розой
Тихо сияет людям.

Исповедью откровений,
Каждой своей строкою
Правда ее творений
Встала над клеветою

И на своем примере
Выстраданного права
Учит любви и вере
Горького слова слава.

Памяти В. П. Соловьева-Седого

Он слушать голос времени умел.
Сводил с концами новые начала.
И, перехлестывая за предел,
Его живая музыка звучала.

И мертвые вставали. И в крови
Захлебывалась новая атака.
И песней исходили соловьи
Над хаосом погибели и мрака.

И все-таки гармония жива
В бессмертии сочувствия и муки.
Течет Нева. И слезы льет вдова,
Трубят труба. И маршируют внуки.

Стихи, посвященные Левону Мкртчяну

Сны наши вне закона
В сознании парят.
И я сквозь сон Левона
Смотрю на Арарат.

Я вижу: мыслью смелой
И страстью обуян,
К его вершине белой
Уходит Абовян.

Идет по диким тропам
Вслепую, наугад
Ущельем, меж потоком
Разбросанных громад.

По вековому снегу,
Закованному в лед,
К туманному ковчегу
Спасения идет.

За ним из тьмы столетий
На каменный редут
Трагические дети
Армении идут.

Они свой путь свершили,
Оставив жизни след,
Но им без той вершины
Успокоенья нет.

Сквозь бури и бураны
На справедливый суд
Они к вершине раны
Армении несут.

Ни жалобы, ни стоны —
Идут за рядом ряд...
Сквозь сон во сне Левона
Я вижу Арарат.

Однополчанину Степану Зольникову

В легкой дымке синий берег,
Моря чистое стекло.
Сердце искреннее верит.
Сердцу тихо и светло.

В солнце с края и до края,
Море золотом горит.
Тайну тайне доверяя,
Сердце с сердцем говорит.

В белой пене волны катят,
Как кувалды в берег бьют...
За любовь любовью платят,
Сердце сердцу отдают.

После бури глуше, тише
Волны на берег бегут.
Сердце сердцем люди слышат,
Сердце сердцем берегут.

Вместо завещания

В селе Вязовское на старом погосте
Землею становятся мысли и кости.

На старых могилах как дивное диво
Растут лопухи и бушует крапива.

И в переплетении света и тени
Кольщутся заросли белой сирени.

И церковь, окутанная сиренью,
Привыкла давно к своему запустенью.

Здесь память о предках моих небогата.
Здесь родина жизни моей. И когда-то

Окончится дней моих длинная повесть.
Умолкнут стихи. Успокоится совесть.

Друзья разойдутся. Разъедутся гости.
Найдите мне место на этом погосте.

Пусть все, что в душе моей жизни звучало,
Обратно вернется в родное начало.

Перед новым веком

Заканчивается двадцатый век.
 И новый век, как на голову снег,
 Из темной тучи атомной зимы
 Готов свалиться. Гордые умы
 Безмолвствуют в раздумье. Мир разъят.
 Распад урана и души разлад
 Со временем. Безумие страстей
 И дьявольская жажда скоростей.
 Земля на непонятные дела
 Неистребимой жадности дала
 Сама себя разграбить, угая
 Тайнственную радость бытия
 От человека. Человек погряз
 В звучании пустопорожних фраз
 И в суетности неразумных дел.
 Он собственную душу проглядел.
 И вот тоскует смертная душа,
 Куда — сама не ведая — спеша.
 И беспокойный человеческий ум
 Иных миров тревожный слышит шум...

Сон без окончания

Мне снился страшный современный сон:
 Какой-то дикой силой унесен,
 Я плыл, людьми и богом позабыт,
 Через тоску бумажных волокит.
 И мой корабль, решимости полна,
 Легко несла бумажная волна.
 Клубилась даль писчебумажных вод,
 И набухал чернильный небосвод
 Непроницаемую темнотой,
 До грани горизонта залитой.
 Саму бумагу растлевала тля,
 И крысы убежали с корабля.
 А я один напололам с грехом
 Еще пытался крикнуть петухом.
 Но голос мой беззвучно шелестел
 В бумажном горле...

В День Победы

Мне в этот день горька скупая почесть
 И память кровью истекавших дней.
 На двадцать миллионов одиночеств
 Моей душе твоей души больней.

А может быть, и больше. Не считали
 Живущие погибших в той войне.
 Им было не до этого. Едва ли
 Есть утешенье в этой скорби мне.

Пришли на смену молодые силы
 Победы павших из последних сил.
 Перепахали братские могилы.
 Но мертвые не встали из могил.

И все еще исполненная рвения,
Осмыслить уходящее спеша,
В страстях раздора ищет примиренья,
Как под прицелом времени, душа.

Моя душа. И в ней как на экране,
Сомнения и страха не тая,
Качается у вечности на грани
Глобальный дух земного бытия.

Товарищам 1941 года

На закате горят города,
Задыхаются с детскими снами.
Эшелоны уходят туда,
Эшелоны, набитые нами.

Там трещит за редутом редут.
Там сломался рубеж обороны.
На закат эшелоны идут,
Днем и ночью идут эшелоны.

На закате горят города.
Не гляди, не надейся на чудо.
Эшелоны уходят туда.
Но они не вернутся оттуда.

Провожала нас Родина-мать.
И шинель и винтовку вручила.
Не просила в бою погибать
И в бою отступить не учила.

Нам судьбою узнать не дано
Все о нас сочиненные были.
Мы погибли без спроса давно,
А о том, как погибли, забыли.

Пролетели над нами года,
И салют отгремел многократно.
Эшелоны ушли в никуда.
И никто не вернулся обратно.

Вспоминая путешествие на Шипку

Памяти Н. Свяцкого.

1

Вершина смерти и долина роз.
Великая победа и ошибка.
Дождями скорби материнских слез
Издалека оплаканная Шипка.

Истории надежда и укор.
Любви и веры память и прогнозы.
Там кровь стекла с крутых уступов гор
И превратилась в пламенные розы.

2

Седое сердце памятью болит,
И горе в горькой прячется улыбке.
Мне неотступно снится инвалид
Без рук, без ног, оставленных на Шипке.

Его глаза глядят в мои грехи,
И этот взгляд пронзителен и долог.
Он пишет оптимальные стихи,
Зажав в зубах карандаша осколок.

Что в глубине промытых болью глаз —
Не разглядишь, рассматривая близко.
...Его на Невский в две недели раз
Вывозит прогуляться гимназистка.

Она сияет страстью молодой,
 Поэзию отыскивая в прозе.
 И, умываясь розовой водой,
 Благоухает розой на морозе.

3

А я молчу. Я к этому привык,
 Охваченный предчувствий смутным гулом,
 Как будто празднословный мой язык
 Осколком оторвало под Кабулом.

.

Джеймс Джонс — прекрасный американский писатель, боевой офицер второй мировой войны, хорошо понимающий солдатское братство. Его книга «Только позови» — это гимн солдатской верности, преданной воярами войны, наживающими на солдатском подвиге миллионы.

Победы. Просчеты. Провалы.
 Салюты торжественных дат.
 Живут на земле генералы
 И в бой посылают солдат.

На кровь разгораются вкусы.
 И дьявол плодит дьяволят.
 И красноречивые трусы
 Вину на погибших валят.

Легенды о подвигах бают
 И память, как жвачку, жуют.
 Солдаты в боях погибают —
 В веках полководцы живут.

И правда в обители тесной
 Не спорит уже с клеветой.
 И только солдат неизвестный
 Под мраморной стонет плитой.

Полю Элюару

Я свободен, как крики и взлохи
 Тех далеко ушедших вперед,
 Всех погибших героев эпохи
 Испытания вечных свобод.

На крутых перевалах к свободе,
 Зарастающих мертвой травой.

Их следы у веков на примете,
 На золе отпылавших костров,
 Неоткрытых дорог и по смете
 Намечаемых вновь катастроф.

Я свободен, как утренний ветер.
 Мне свобода моя по плечу.
 Я за все отвечаю на свете
 И за все своей жизнью плачу.

Их бесстрашные души в народе
 Продолжают неконченный бой

На губах моих старые песни
 Тех далеко ушедших вперед.
 Я погибну и снова воскресну
 На туманной вершине свобод.

**Надпись на книге Д. Фрэзера
 «Фольклор в Ветхом завете»**

Среди легенд о мировом потопе
 У каждого народа свой рассказ.
 Одним ученым собранные в скопе,
 Легенды эти я читал не раз.
 И замечал, что каждое сказанье,
 Рассматривая этот страшный суд,
 Пространно толковало наказание
 Как приговор за алчность и за блуд.
 ...А что теперь, в космические будни,
 К великим тайнам подобрал ключи,

Что мы творим, своей свободы судьи
 И собственной победы палачи?!
 В какие дали нас ведет дорога?
 Мы мир земной разграбили, губя,
 Вломились в небо, отстранили бога
 И скинули ответственность с себя.
 И заблудились. Вывози, кривая!
 Срывается история с ума.
 И кровь рождает кровь. И вместо рая
 Всемирного безмолвия зима
 На горизонте собирает тучи.
 Отравой снег ложится на траву...
 Я — человек. Меня надежда мучит.
 Я все еще надеждою живу.

Куда ведет тебя твоя свобода?

Все глубже и чувствительнее раны Своей земле наносит человек. Седые баламутит океаны, Ломает русла животворных рек.	Поосторожней! Грозная природа Все чаще начинает бунтовать. И на земле, поэтами воспетой, Где силы мира в равенстве вольны, Идет война. И нет страшнее этой Позорной и бессмысленной войны.
Богатствами наполненные щедро Опустошает горы и леса, Земные выворачивает недра И перемешивает небеса.	Уходит радость, и смолкает песня, И волны подступают к берегам. И музыку родства и равновесья Смывает и уносит ураган.
Куда ведет тебя твоя свобода, Вооруженный дикой силой тать?	

Раздумья хлеб...

Раздумья хлеб о прошлом горек, Беду на прошлое валят. Рисует прошлое историк Так, как диктаторы велят.	Кого-то в чем-то повторяю, Чтоб повторяться много раз. И я, как все на белом свете, Плутаю в замкнутом кругу, За наше прошлое в ответе И перед будущим в долгу.
Хлеб размышлений о грядущем Куда приятней. Он ведет Наш разум, закрепленный в сущем, Сквозь опыт сущего вперед.	Жизнь то темнеет, то светает, И сквозь туман едва видна, В том мировом тумане тает, Мерцающая истина одна.
Сквозь лагеря и крематорий, Сквозь униженья и просчет, Через зигзаги всех историй Нас к правде истинной влечет.	И чем на горизонте дальше Мигание ее огней, Тем меньше в наших судьбах фальши,
Я в середине, а не с краю Движения не напоказ.	Тем путь надежней и прямей.

Обладающий силой

В наше время недорого стоит
 Слово разума. Наоборот —
 Обладающий силой не спорит
 И не просит, а просто берет.

Продолжается старая повесть,
И кончается новый рассказ.
Обладающий силой на совесть
Не глядит, отдавая приказ.

Не звучит Аполлонова лира.
Затухает холодный неон.
И не гибелью Рима, а мира
Вдохновляется новый Нерон.

Сонет старого предчувствия

Ивняка соловьиные пущи
И черемухи белые чащи,
Вы мне снитесь все ярче и чаще
И тревожите душу все пуще.

И я снова на праздник допущен
В этот мир, половодьем журчащий,
И ликующий, и настоящий
Откровенностью радости сущей.

В этой свежести, душу щемящей,
В этой музыке вещей и вящей,
Из глубин сокровенных идущей,

Над рекою печали текущей,
Я всей жизнью своей уходящей
Слышу песню свободы грядущей.

Я повторяю вновь и вновь

И все — как от стены горох
Во времена Гороха.
И превозносит пустобрех
Другого пустобреха.

И мир молчит. Не говорит.
И нет хотенья пенья.
Клеймо молчания горит
На истине терпенья.

Все первородные слова
Блистательной поковки,
Теряя добрые права,
Уходят по дешевке.

Смотреть и видеть невтерпеж,
Как глупость разум учит.
И ложь рождает только ложь
И правду жизни мучит.

Еще у времени в строю

Опасен в памяти излишек
Страстей, просчетов и побед,
Науки синяков и шишек,
Покрытых сединою лет.

Я верю всем, во всем, повсюду
И сомневаюсь вместе с ней.

Я говорю об этом прямо,
Как и всегда, на этот раз:
У голой правды нету срама,
Она прекрасна без прикрас.

И может быть, довольно сухо,
Еще у времени в строю,
Я опыт совести и духа
В грядущее передаю.

И жизнь моя, подобна чуду,
Несет меня в потоке дней.

Как будто выход из былого,
Как будто сами по себе
Погибель века морового
И праздник братства мирового
В моей присутствуют судьбе.

И все увидят наяву

От предстоящих катастроф
И полыхающих костров
Дошедшие до точки,
Друг друга ищут среди людей
На старой ярмарке идей
Слепые одиночки.

Там ищет первого второй.
И оба — третьего. Порой
Им это удается.

Ищи и ты мою беду.
И я — с твоей — тебя найду.
А третий сам найдется.

И каждый будет жить для всех
И свой единственный успех
Разделит честь по чести.
И все увидят наяву
Деревья, небо, и траву,
И солнце жизни — вместе.

Прозрел слепой...

Прозрел слепой на нашей улице,
Весь мир улыбкой одаря.
Вот он идет и не сутулится,
Без палки, без поводья.

Идет один, самостоятельно,
Переступив пустую тьму.
И мир легко и притягательно
Подлаживается к нему.

Идет, в неведение не кается,
Надежным виденьем храним.
И вся вселенная старается
В его зрачках остаться с ним.

Прозрел слепой на нашей улице.
Сам по себе прозрел. И вот
Идет один. На солнце щурится
И знает сам, куда идет.



АЛЕКСАНДР РЕКЕМЧУК

★

ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ И ШЕСТЬ

Роман

ЧАСТЬ ВТОРАЯ*

1

Семен Ильич, озабоченный прежде всего тем, чтобы не подать вида, не обнаружить, как он рад, стараясь соблюсти сдержанность чувств и начальственную импозантность, упустил момент — тот момент, когда Алексей подходил к нему, пересекая кабинет. Надо было, конечно же, выйти из-за стола навстречу, обнять, похлопать по спине, облобызаться троекратно, как водится при доброй встрече, — но он упустил эту возможность, а теперь уже было поздно, однако его рукопожатие было достаточно теплым и влажным, а в глазах Улитина читалось, что он рад, очень рад возвращению Алексея.

— Садись, — указал он на кресло и сам плюхнулся напротив, но тотчас поднялся и, перегнувшись через стол, нажал кнопку звонка. Вошла секретарша.

— Ася, завари-ка нам чаю покрепче, — распорядился Улитин, — и сухариков принеси, знаешь, тех, ванильных...

Ася зарделась, заслонила ладонью улыбку. В этой улыбке тоже была радость по поводу того, что он, Алексей, вернулся в Город-на-Реке, не заблудился в миру, не пропал. Но была еще и другая причина радости: всем, а ей и подавно было известно, что чай с ванильными сухариками — знак высшего расположения редактора «Северной звезды», залог предстоящей доверительной беседы, когда остальным и прочим строго-настрога запрещается входить в кабинет.

И самому Алеше было известно, что такое чай с ванильными сухариками. Он устроился в кресле поудобней.

Им владело сейчас очень странное чувство, знакомое, впрочем, и раньше. Да и знал он, что подобное посещает не его одного, а многих. И может быть, это чувство вообще свойственно человеческой природе и душе: будто бы данное мгновение уже было когда-то в жизни, будто ныне происходящее уже происходило с ним и раньше, а теперь лишь прокручивалось повторно.

Он даже слышал — или вычитал в детстве из пыльных книг дедовской библиотеки, — что такие ощущения даны душе не случайно, а свидетельствуют о многократных возвращениях в земной мир одной и той же неприкаянной и бессмертной души, принимающей разные обличья и, соответственно, другие имена.

* Первая часть романа «Тридцать шесть и шесть» опубликована в № 11—12 журнала «Новый мир» за 1982 год.

Но нет, конечно, это было абсурдом, противоречащим материалистической природе вещей, и он не так был воспитан, чтобы принимать на веру эти бредни. Алеше вдруг стало весело и смешно, когда он представил себе такую картину: что в каком-нибудь позапрошлом веке он, Алексей Рыжов, входит в кабинет с линкрустовыми панелями, кожаными креслами, географической картой, задернутой шторками, а за письменным столом сидит человек в полувоенном френче, в фетровых бурках с отворотами, перед ним лежат нечитанные полосы завтрашней, то есть тоже позапрошлой, газеты, а по правую руку телефоны — ну когда, в какие времена и в кои веки это могло уже раньше быть? Ерунда, чушь.

Было только странное и навязчивое ощущение повтора. Но он уже догадался, откуда оно.

Просто вот так же полгода назад он впервые вошел в этот редакторский кабинет, немного робея, но оттого и пыжась заносчиво, бодря сердце тем, что хозяин кабинета — редактор «Северной звезды» Семен Ильич Улитин — плыл с ним на одном пароходе, в одной каюте и меж прочих разговоров соблазнял его, московского студента, практиканта, подавшегося на Север собирать сказы, блестящей перспективой: отработать практику у него в газете. Ох, каких только благ он ему не сулил и, сказать по правде, не сильно обманул... Вот так и случилось, что дверь этого кабинета стала для него знакомой и привычной.

И даже наладившись отсюда обратно в Москву, он возвратился к этому порогу, как блудный сын.

Именно так, а не иначе следовало толковать возникшие смутные ощущения, а не доверяться сказкам о переселении душ.

— Ну как — все сдал? — справился Семен Ильич.

— Да,— неопределенно кивнул он.

Ему не хотелось вдаваться в подробности, объяснять, что он ничего не сдал, потому что сдавать оказалось нечего, все экзамены и зачеты у него были сданы наперед. Ему не хотелось признаваться, что поездка его была совершенно напрасной.

— С матерью повидался? Здорова?.. Ну как там Москва, Ленинград?

— В порядке,— заверил Алексей.

Обитая дерматином дверь распахнулась, вошла Ася с подносом, на котором дышали паром два стакана в мельхиоровых подстаканниках и лежала в плетенке горка румяных фабричных сухарей. Она, сама румяная, поставила все это на край письменного стола.

— Если еще захотите, я горячего долью.

— Спасибо, дорогая,— сказал Улитин.

Она, того пуще зарумянясь от ласкового слова, пошла к двери мелким шагком, но не выдержала степенности до конца, побежала, откидывая ноги таким махом, что замелькали толстые икры раскормленной девочки.

Алексей даже вздохнул, когда стеганая дверь притворилась плотно.

— Эх ты ее — глазами.— Взгляд Улитина замаслился.— Но учти: это там, в Москве, раздолье, нырнул в метро — и свободен, ищи ветра в поле. Здесь не то — каждый шаг на виду.

Столь откровенный зачин беседы подсказал Алексею, что и деловая часть их разговора окажется соответственной.

Семен Ильич приподнял стакан, рассмотрел, тот ли цвет и настой, понюхал, тот ли букет,— все, как подобает знатному чаеводу. Потом окунул сухарик, терпеливо выждал, пока он затемнеет и размякнет, сунул в рот, пососал и уже без труда отломил дольку зубами. Зашамкал вкусно:

— Я жнал, что ты вернешься, жнал... я еще на пароходе все наперед жнал, а вот ты не жнал.

— Ну и что?

— А ничего. В моих годах утешенье: молодым быть хорошо, а мудрым лучше... Приехал — молодец. Но учти, засиживаться я тебе не дам, завтра же поедешь в командировку.

Редактор выбрался из кресла, подошел к карте на стене и рывком отдернул правую шторку.

— Я обещал тебе Заполярье — получай Заполярье. От сих до сих...— Его роста и руки едва хватило, чтобы дотянуться до тех высоких широт, куда он посылал Алексея.— Месяца тебе хватит? Если не хватит — бери полтора, дам.

Сердце Алексея обмерло от неожиданности.

— Полтора?...— пролепетал он.— Завтра?

— Ну да,— сказал Семен Ильич, возвращаясь в кресло.— Для тех мест сейчас самое время: еще полярная ночь, но уже она пошла на перелом — есть и оконце света. Вот попробуешь, каково это — жить во тьме, ничего вокруг не видя: ночью ночь, и днем тоже ночь... Ну, фонари, положим, есть, горят где надо... А снегу там сейчас — с головой провалишься, и еще не дно. А ветры в эту пору — хановеями их зовут — с ног валят. И самые морозы: сорок — это, брат, пустяки, даже не считается, а вот когда под пятьдесят ударит... Кстати, зайди в универмаг у гостиницы, там продают — свободно, теперь все свободно — немецкое бельишко, тельник и кальсоны, теплые, шерстяные, древесной шерсти, с начесом, это они для солдатни своей шили на Москву топать, купи, советую.

— Прямо завтра?

Улитин быстро наклонился к нему.

— Ну что, Рыжов, сдрейфил? Кишка тонка?

Алеша спокойно отставил свой стакан.

— Я готов. Завтра так завтра.

— Хорошо,— кивнул Семен Ильич,— другого ответа и не ждал, таким тебя и представляю: всегда готов. А это, учти, черта заправского журналиста.

Он опять поднялся, будто бы наглядно демонстрируя, что и сам еще легок на подъем, направился к карте, пошел по ней толстым пальцем.

— Вот какой маршрут я тебе рекомендую. Сначала Сосны, город нефтяников...

— Но ведь это не Заполярье,— возразил Алексей.— Я уже и подалше бывал — в Печорске.

— Ничего. Будешь двигаться на север постепенно, привыкая, приспособляясь к обстановке... Знаешь, там все меняется через каждую сотню верст, и климат и пейзаж, хотя, казалось бы, повсюду одно и то же — Север, зима, но нет, все разное. И это очень интересно... Взять, к примеру, Сосны: ты уж по названию догадался, что там сосняк, лес, тайга. Кругом гористо — Тиманский кряж. А на Печоре — сам видел — и леса пореже и холмы поплоче, укатали их ледники. А еще через сотню километров заметишь: деревья начнут совсем мельчать, корявиться, жаться к земле — это, брат, лесотундра. Да, между прочим...— Улитин прервал самого себя деловито.— Учти, Рыжов, что в Печорске тебе предстоит пересадка на другой поезд. Там что-то вроде границы: до Печоры, до моста — всё уже в ведении Министерства путей сообщения, сдана дорога. А за мостом — еще владения строителей, совсем другие хозяева. Они там свои поезда гоняют, сами билеты продают, сами их проверяют, иногда и документик спросят, полюбопытствуют, что ты за личность, — предьяви, как все. не кобенясь, достань свою краснокожую паспортину, хотя она и зеленая, но — фигурально, и командировочное удостоверение покажи... а бывает,— усмехнулся редактор,— бывает, что эмпеэсовские власти повздорят с желдорстроем, тогда совсем строго: на одном берегу велют пассажирам слезать с поезда и топать через мост пеш-

ком, с вещичками на ту сторону, через Печору, а там уж другой состав подан, пыхтит: граждане, побыстрее посадочку... Ха-ха-ха, вот деятели!

Алексей усмехнулся. Ему тоже все это показалось забавным.

— А дальше — тундра, — продолжил Семен Ильич. — Ну, тундра — это тундра, сам понимаешь, гладко, как стол под белой скалкой, все чисто, все мертво... хотя нет, нет-нет, совсем нет, это просто сейчас, середь зимы, середь ночи, тебе так покажется, что мертво, даже немного жутковато будет. Зато весной... Ах, Алеша, дорогой, что за весна бывает в тундре, диво дивное, совсем сказка!

Он всплеснул ладонями, не скрыв восторга.

— Представь себе: каждая кочечка — будто именная корзина, вся круглая и вся в цветах. Вся она вот такими незабудочками облеплена — синенькими, мелконькими, теснятся друг к дружке, а над ними белые пушицы качаются вроде кисточек для бритвы, и маки, маки, полярные маки — желтые, красные, лиловые, нежненькие, даже дотронуться боязно!.. Ах, Рыжов, ничего-то ты еще в жизни не видел, ничего-то ты не знаешь...

Улитин придержал ладонью грудь, порывисто вздымавшуюся.

— Но я тебе честно скажу, что и сам не знаю, что там еще растет — пестро слишком, даже в глазах рябит: цветы, травы, деревьев такие мелколистые, крохотные, пластаются у самых ног — и ведь подо всем этим, представь себе, вечная мерзлота, ковырнешь ножом — ледышки брызнут... И еще сплошь озерца сверкают, будто зеркало разбили, а осколки — в мелкий дребезг, и в каждом небо отражается синее-синее и солнышко яркое-яркое, оно ведь, Алеша, весной в тундре не заходит, целый месяц кружит в небе, но греет не очень, не припекает, слепит только... И еще обрати внимание, как там горизонт хребтом загорожен: Полярный Урал, его в народе просто Камнем зовут, а на Камне — снега, тоже вечные. Да, там все дышит вечностью: вечная мерзлота, вечные снега, вечное безмолвие... или белое безмолвие? Это кто сказал? Джек Лондон?

Алексей молчал. Но не потому, что не расслышал, или не понял, или не знал, кому принадлежит это высказывание о белом безмолвии, нет, он просто ждал, покуда Семен Ильич Улитин сам поймет, как неуместны его восторги: ведь Алексей должен был ехать в тундру не весной, а середь зимы, сейчас, он ехал не в день, а в ночь.

— М-да, — переменял тон и насупил брови редактор, — ты уж извини, что я немного увлекся, воспарил, с кем не бывает. Извини. Но дело в том, Рыжов, что на вечной мерзлоте не только цветочки-ягодки произрастают. Там город стоит — прямо на вечной мерзлоте, целый город! Там шахты прорублены к угольным пластам — хотя и там, на глубине, тоже вечная мерзлота... Я имею в виду Тундру, — он не глядя указал пальцем точку на карте, — это будет конечный пункт твоего путешествия. Город Тундра. Видишь?

— Да.

— Нет, погоди, я что-то упустил, промахнулся, проехал мимо... — Семен Ильич обернулся к карте, и палец его, выпячивая горбом суставы, пополз обратно, ниже. — Ах да. Я позабыл вот это: Стойбище... станция Стойбище. То есть там никакого стойбища нету, там, наверное, раньше было оленье стойбище, а теперь одно название осталось — Стойбище. Кстати, именно там проходит Северный Полярный круг — замечаешь пунктирчик? — но я тебя не за пунктирчиком посылаю. Там, говорят, затевается что-то грандиозное, совсем небывалое. Стройка — еще одна железная дорога, но такая, какой свет не знал: через Полярный Урал и дальше, дальше вдоль всего арктического побережья, по тундрам, по льдам, минуя сибирские реки — переступая через них, — на восток, через всю страну, через весь материк, до самой Чукотки... Представляешь?

Улитин делал отмашки обеими руками уже за край географической карты, за шторку, где уже ничего не было, кроме голой стены, он выбрасывал кисти рук размеренными махами, толчками, будто бы шамана, заклиная, отгоняя злых духов: прочь, прочь, сгинь, сгинь...

— Любопытно,— сказал Алексей Рыжов.

— Любопытно? Ну, это, знаешь ли, совсем не то слово. Эпохальная стройка! И учти, что на ней еще никто из нашего брата газетчика не бывал. Ты первый. Тебе предстоит открыть эту стройку, эту тему — потом за тобою следом потянутся, как гуси, но ты будешь самым первым. Я даже завидую тебе: о т к р ы т ь... С какой бы я радостью поехал вместе с тобой!

— Давайте,— подзадорил Алексей,— давайте вместе купим теплые кальсоны и поедem, а? Вам какой размер?

— Не могу я,— усмехнулся, приняв и оценив шутку, Семен Ильич. Но сразу посерьезнел, засопел вислым носом, тронул пальцами обтянутую сукном столешницу.— Не могу, нельзя... не на кого газету оставить. Все жду, что пришлют мне толкового зама, а до сих пор никого не шлют — даже бестолкового. Я, представляешь, буквально прикован к этому столу — дом родной забыл, ночую тут на диване, скоро жена в суд подаст. Не могу никуда отлучиться, а то бы я с радостью... Я ведь, когда помоложе был, куда как до разъездов был охоч, куда как писуч! Знаешь, в сущности, газетчик до тех пор лишь остается настоящим газетчиком, пока у него ноги бегают, пока задницей не отяжелел, пока не выбился в начальство, не прошел в дамки...

— Я учту,— сказал Алексей, вставая.— Я не хочу в дамки.

— Сядь,— остановил его жестом Улитин.— Не торопись... мы ведь с тобой о главном еще не говорили, а нужно, обязательно нужно, да.

Он подошел к нему и даже принажал ладонью на плечо, вдавливая обратно в кресло.

Однако сам не сел, а пошел по кабинету, по ковру, меряя его шагами по прямой, потом наискосок из угла в угол,— он шел, заложив руки за спину, опустив свою крупную лысоватую голову в сумрачном раздумье.

— Понимаешь, Алеша, эта твоя командировка непростая во всех отношениях, трудная, таких у тебя еще не было. И ты должен заранее приготовиться ко всему. Ты увидишь не только необычное, но и — как бы выразиться поаккуратней? — неприятное, тягостное, тревожное для души. Увидишь то, чего лучше бы и вовсе не видеть, но ты все равно увидишь, потому что глазаст чересчур, слишком молод, еще не научился управлять своим зрением, отделять нужное от ненужного, просеивать свои наблюдения...

«И выразаться покороче, пояснее,— добавил мысленно не без ехидства Алексей,— впрочем, этому иногда и до старости не научаются, жуют жвачку, мнут мякину, прямо тошно...»

— Что? — насторожась, остановился редактор.

— Ничего. Я молчу.

— А-а, мне посышалось... Так вот, Рыжов. Только что минула война. Это ведь кажется, что давно — скоро три года,— а на самом деле совсем недавно: еще земля дрожит. А за войной всегда долгий хвост тянется — увы, не одних лишь воспоминаний... Были военные преступники — им держать ответ за свои преступления. Ну, те, которые главные, они уже в Нюрнберге ответили: петля их нашла, а пепла их не сыщешь — развеян по ветру, будь они прокляты... Но ведь то самые главные, считанные по пальцам. А сколько тех, что помельче? Их, сам понимаешь, гораздо больше. И хотя они мельче сошка, но вины за ними страшные, неискупимые, всей крови их поганой не хватит, чтобы расплатиться за пролитую кровь... а им —

злодеям, извергам — всего только срок и лагерь. Ты ведь знаешь, Верховный Совет утвердил на сессии отмену смертной казни.

— Я знаю, — кивнул Алексей.

Он вспомнил, как роптал по этому же поводу следователь Габов, когда они вместе тряслись в зарешеченной железной камере «черного ворона» по дороге в Пычим: Габов ехал изобличать убийцу, а он, Рыжов, писать критическую статью, и оба справились отменно со своим делом.

— Но то немцы, — продолжил Семен Ильич, — а ведь были и не немцы, были среди этих извергов и люди... нет, язык не поворачивается называть их так! — которые считались нашими людьми, а пошли служить Гитлеру: полицай, старосты, бургомистры, каратели самые безжалостные... а еще власовская нечисть, бандеровские головорезы, фашистское охвостье в Прибалтике — они еще до сих пор кое-где по лесам прячутся, лютуют... Ну их бы я без суда и следствия... этих бы я собственными руками за глотки, за глотки — и передушил!..

Лицо Улитина побагровело от прихлынувшей крови, а судорожно сжавшиеся кулаки, наоборот, обескровились, побелели, и на них стала заметней курчавая густая шерстка; но он медленно разжал пальцы, ладони, отмякнув, вновь порозовели; а к щекам вернулась обычная бледность затворника, давно не нюхавшего свежего воздуха, не ведающего ни бодрых пощипываний морозца, ни дубящего оглаживания студеных ветров, — нет, на лице его отражалась лишь серая бледность лежалых газетных оттисков, сдвинутых на край стола.

— Вот прошли судебные процессы о зверствах в Крыму, на Кубани, в Донбассе, в Белоруссии... сотни очевидцев, раскопанные рвы, кипы документов — вопиющих, ужасных, волосы дыбом встают... а приговоры — пятнадцать лет, двадцать лет... Закон не обойдешь.

Он развел руками, обессиленно опустился в кресло.

— Но, знаешь, если даже отвлечься от преступлений, имеющих прямое отношение к войне, к долгой оккупации многих районов, если иметь в виду и косвенные последствия... тут тоже хватает забот. Бандитизм возрос — всякие «Черные кошки», а больше без названий, без заглавий: просто пырнут ножом в темном переулке или голову проломают...

— Да-да, — оживленно подтвердил Алексей, — я знаю, я забыл вам рассказать, когда вернулся из Пычима: там при мне одного рецидивиста взяли — он из-за сотни рублей шофера с полуторки убил обухом по голове, а этот шофер всю войну отвоевал, от Москвы до Праги...

— Шофер... — горько усмехнулся Улитин, понизил голос. — Вот неделю назад народного артиста СССР Соломона Михайловича Михозлса тюк по голове — и нету... а ведь какой был артист, какой артист!

— Я видел некролог, но там... — пробормотал Алеша. — Разве его убили?

— Убили. Бандиты. В Минске... А как он Лира играл! Вот даже языка не знаешь, сидишь ушами хлопаешь, а все равно плачешь... Ты его никогда не видел?

— Нет, в кино только, в «Цирке», где он негритенка баюкает — «сто путей, сто дорог...».

— Сто дорог, а видишь как... — Семен Ильич призадумался, потом продолжил: — Все еще спекуляция процветает, хищения государственного добра, личного имущества граждан... И еще, Рыжов, есть одна немаловажная статья. — Он взял со стола ворошок тассовских листов. — Я имею в виду хозяйственные преступления. Вот гляди, подобралось за последние дни: начальнику рудника за систематическую задержку вагонов под погрузкой и выгрузкой — два года лишения свободы... Начальнику топливного треста за то же самое, за халат-

ное использование подвижного состава — три года... А вот еще: директор завода и мастер цеха за выпуск недоброкачественной продукции... Главный инженер элеватора за нарушение технологии хранения зерна — догадываешься, все сгноил к чертям! — пять лет лишения свободы...

Улитин отбросил листки, вперил в Алексея пристальный взгляд своих темных ягодных глаз.

— Не слишком ли жестко, а? Оно-то понятно: без крутых мер не заставишь людей податься, вспомнить об ответственности, а после войны кое-кто размяк, заблагодушествовал, отпустил на ремне все дырки до последней... Но с другой стороны, Алеша, ведь это наши советские люди — хоть и разгильдяи, хоть и бракоделы, а очутились за одним забором, за одной колючей проволокой с ворьем, с бандюгами матерыми, хуже того — с изменниками родины... Ну как твое мнение, не слишком ли сурово?

Алексей прикинул в уме, какого ответа ждет от него собеседник, и сказал:

— Нет... пожалуй, нет.

— Вот оно что? — поднял брови редактор. — А ты у нас, Рыжов, твердый человек, железный товарищ. Я и не предполагал, что ты...

— Чего вы не предполагали? — дерзко перебил Алексей, раздававшийся тем, что поторопился и поддакнул невпопад, хотя вовсе и не поддакивал, ведь он не сказал «да», а, наоборот, сказал «нет... пожалуй, нет». — Что это вам вздумалось меня подлавливать?

— Не кипятись, — нахмурился в свой черед Улитин. — Ишь, забулькал...

Стеганая дверь кабинета отворилась, и в нее словно бы в издевку просунулась рука с электрическим чайником, из носика которого вился пар, а следом втерлась бочком сама Ася, а за нею — было видно в створе — маячила физиономия ответственного секретаря Бубеева, не то чтобы сильно озабоченная срочным делом, но отражающая безмерное любопытство: о чем бы это могли битый час разговаривать редактор «Северной звезды» и мальчишка, приехавший из Москвы, про которого думали, что не приедет, а он возьми и приедь, да еще и, судя по всему, привез какие-то важные новости, которые они обсуждают за закрытой дверью, втайне от всех.

— Я долю горяченького, — сказала Ася.

— Что? — Теперь уже Улитин вскочил как ошпаренный, заорал в досаде и гневе: — Кто позволил входить, врываться без спроса? Ведь я предупредил: никого ко мне не пускать, ни с кем не соединять... Почему меня лишают возможности пять минут поговорить с моим сотрудником наедине? Что за бестолковость, что за легкомыслие! Это не редакция, а...

Испуганная Ася поспешно выметнулась со своим чайником и хлопнула дверь, едва не прищемив бубеевский вытянутый нос.

Семен Ильич грузно и рыхло, как мешок с отрубями, обмякая, распозаясь, осел в кресло — он дышал надрывно, будто сам и нес на собственных плечах этот мешок, а теперь скинул его с плеч долой, и вот даже сил нет руку поднять, чтобы отереть со лба накативший пот, пригладить взмокшие волосы, — и от внезапной усталости набрякли нездоровой синевой подглазья.

— Ты ведь куришь? — спросил он. — Закури, а я нюхну... чужого, на расстоянии, мне самому нельзя: сердце, черт.

Алексей, похлопав себя по карманам, достал папиросы и спички.

Он сейчас лишь понял, насколько труден был для Улитина весь этот состоявшийся между ними разговор; как он долго и тщательно готовился к нему, располагая в уме по нисходящей все ступени злодеяний и степени расплаты за них; как он загодя вымерял все расстояния и дальности на своей географической карте; как он, совершенно очевидно, конил к предстоящей беседе эти уже зажелтевшие

листочки тассовских вестей о напрокудившихся директорах, проштравившихся главных инженерах, о неусыпном бдении прокуратуры.

И Алеша вдруг пожалел в душе Улитина за то, что он понапрасну мучился, стараясь исподволь и осторожно подвести, подготовить его к тому, к чему сам он, Алексей, был давно и вполне готов. С первых же слов редактора, произнесенных ныне, он догадался, куда тот клонит и о чем речь, понял, зачем все эти околичности и недомолвки — а право же, зачем?

За минувшие месяцы, а точнее за минувшие полгода, он и сам мог соотнести, связать случайные оговорки, хмурые намеки, бранчливые возгласы, которые он слышал в разное время и от разных людей, но в подспуде которых был одинаковый смысл, вполне понятный, хотя порой он и делал вид, что не понимает, а иногда пропускал мимо уха, не желая портить себе настроение.

Он запомнил, как дядя Коля Фетисов, простой рабочий человек, сосед по коммунальной квартире в Денисовском переулке, где жила московская тетушка Алексея, икнув от удивления, спросил: «Это кто ж тебя туда... приговорил?» «Никто, я сам», — ответил он, а тетя Наташа, жена дяди Коли Фетисова, пожалев его, вмешалась: «И пусть, везде люди живут...» А Юрий Аржанников, работающий на улице «Правды» заведующим корреспондентской сетью молодежной газеты, с которым ему случайно довелось познакомиться в гостях, на встрече Нового года у Светланы Дагировой, то ли поддав лишнего, то ли прикидываясь дурачком, недоумевал: «Город-на-Реке?.. Это где же, в Магадане?» — на что он возражал достойно: «Как может один город быть в другом городе?» И когда генерал Дагиров, отец Светланы, с грубоватой прямою спрашивал: «А чего вы там не видели?» — он невозмутимо отвечал: «А я там еще ничего не видел». И когда его мать, работавшая в Смольном в партучете, вдруг его попрекнула брезгливо тем, что он прижился в местах не столь отдаленных, он, Алексей, угрожающе, срываясь на крик, переспросил: «В каких местах? В каких?..» И еще он вспомнил, как осенью в Печорске фотокорреспондент «Северной звезды» Яша Черношварц махал бутылкой над головою Степана Огузова, который был за старшего в их газетной бригаде, суля: «Вот я сейчас трахну этой посудой — и сам пойду, возьму свой срок, тут близко...»

Впрочем, может быть, Алексею Рыжову только показалось сейчас, что он все это знал, и понимал, и давным-давно был готов к тому, в чем его сейчас натужно и задышливо просвещал редактор «Северной звезды».

Может быть, это понимание явилось к нему не далее как вчера, при возвращении, в тот миг и час, когда, замерзая на верхотуре грузовика, на тюке с паклей, на задубелом вонючем брезенте, на ледяном ветру, он на некий срок внал в забытье, чуть ли не в анабиоз, а на самом деле это было не забытье, а прозрение — все то, что накапливалось постепенно и разрозненно, вдруг сооставилось, и он лишился сознания от неожиданности, от ужаса, — но тут началась Слобода, и он очнулся и сразу же отвлекся и пренебрег своим безрадостным прозрением, исполняясь взамен ликованием.

Похоже, что Семен Ильич уже отсиделся, оправился от сердечной боли и, кажется, заметил, что они уже благополучно миновали самую опасную часть разговора, — голос его опять обрел спокойную бархатистость.

— Знаешь, Алеша, я говорил об этом так подробно — можно было и покороче, — чтобы ты лучше представил себе весь объем ненужного, того, что совершенно не касается целей твоей командировки, не относится к делу, за которым ты едешь. Это просто должно пройти мимо твоего внимания, оказаться как бы вне поля зрения: раз не нужно видеть — то и не видь... Понял?

— Понял,— кивнул Алексей, вздохнув с облегчением: ведь и вправду следовало покороче да попрямей.

— Ты видишь то, что ты должен видеть, то, что представляет интерес для газеты, для ее читателей. А там, дорогой ты мой, очень многое представляет интерес, да еще какой, о-о!.. Ведь там, в Заполярье, живут тысячи людей, приехавших на Север по доброй воле, по зову сердца — как ты и я, кто нас сюда гнал? — и они работают там не за страх, а за совесть, по-ударному, по-стахановски, героически в таких суровых условиях, что бр-р, кровь стынет! Ведь они могли бы и уехать куда потеплее, никто не держит... Про них, бывает, злословят: мол, погнались за длинным рублем. Но ведь не все рублем измеришь!

— Нет, конечно, ведь там работают и местные люди, тамошние уроженцы,— вспомнил очень кстати Алексей то, что слышал в Печорске в райкоме партии,— а им не платят никакого длинного рубля: ни северных надбавок, ни двойных отпусков, ничего подобного,— будто если они тут родились, то им всегда и тепло и светло!

— Вот-вот, молодец,— обрадовался Улитин,— хорошо, что тебе уже знаком и этот вопрос. Правда, решать его не нам, и решается он не здесь, а в Москве — стало быть, и затрагивать его в нашей газете нет смысла. Но если мы не вправе заниматься самостоятельно материальной стороной этой проблемы, то тем более наше право и наш долг — поддержать людей морально, окрылить их, воодушевить. Нужно оказывать больше внимания местным кадрам, способствовать их росту, выдвижению — непременно учти и это,— словом, твоя цель остается той же, что и прежде: л у ч ш и е люди, ты должен находить повсюду лучших людей, выбирать лучших из лучших и писать о них... Хотелось бы, чтоб твои очерки и репортажи оттуда, из Заполярья, шли серией, под единой рубрикой: пусть читатель сразу находит их на газетной странице, улавливает движение, ощущает связь — нужна, понимаешь ли, бросакая рубрика...

— «Покорители Севера»,— с ходу выложил Алексей Рыжов.

— Что? — переспросил Семен Ильич и, беззвучно пожевав губами предложенное им, категорически вертанул головой.— Не годится. Запомни раз и навсегда: мы ничего не покоряем — это, знаешь ли, вообще не наш лексикон,— мы о с в а и в а е м, да. Улавливаешь разницу? Надо бы что-то другое... ну, скажем, «Энтузиасты Севера». Не нравится? Тогда подумай, предложи варианты... И вот еще, мой друг... Ты, конечно, главным образом бери производство — нефть, уголь, транспорт,— но не чурайся и людского быта, досуга: ведь там, в Заполярье, и библиотеки есть, и дома культуры, а в Тундре — я имею в виду город,— в Тундре даже театр имется, настоящей, музыкальный, оперы они там разыгрывают, представляешь?..

Семен Ильич расцвел от умиления, но тотчас воровато увел взгляд в сторону, и Алексей понял, что у него припасено и напоследок.

— А тематику корреспонденций ты все-таки уточни, согласуй конкретно со своим прямым начальством — с новым заведующим отделом промышленности. Знаешь, кто у нас теперь? Степан Игнатович Огузов...

Весь этот долгий и нудный разговор был уснащен неожиданными ходами, коварными ловушками и хитрыми подвохами, но Алеша с некоторым даже самодовольством обнаруживал, как легки и пустячны для него эти подвохи, как ему удается без труда одолевать все препятствия, и наоборот: замечал, как его собеседник, готовивший все эти ловушки, тратил сам куда больше сил, напрягался, впадал в задышку.— а ему все было нипочем, и лишь однажды он едва не вскипел негодованием, когда его вздумали подловить, как щуренка, на голый крючок, однако и здесь сорвалось, Улитин накололся сам и сорвался в крик — впрочем, все это они уже оба миновали,— но сей-

час он почувствовал, что задет до глубины души, и даже удивился тому, что сказанное так больно заденет его.

— После смерти Коюшева мы долго тянули с этим, раздумывали, боялись обмишулиться ненароком,— продолжил Семен Ильич,— но кого-то надо было ставить, ведь кому-то надо работать, людей у нас не густо... И вот остановились на кандидатуре Огузова. В его пользу то, что он член партии, что фронтовик. И еще у него за плечами лестехникум, сам работал в лесу, знает это дело, а для нашей газеты лесная промышленность — пока что тема номер один, даже первой угля и нефти, ведь это, заметь, еще и традиционный экспорт, валюта... Вот мы все взвесили и остановились на Огузове. Только что утвержден обкомом... Да ты что, смотрю, приуныл?

— Я? — удивился Алексей Рыжов. — Да что вы! Мне очень приятно, я очень рад.

И впрямь: с чего бы ему унывать? Ведь он и не рассчитывал, и не собирался, и вообще принципиально не хотел в дамки. Просто его самолюбие было уязвлено тем, что этот вопрос решили так несправедливо: не учли, что он приехал в Город-на-Реке гораздо раньше Степана Огузова.

— Будете теперь сидеть в одном кабинете, нос к носу,— улыбнулся редактор. — Да вы с ним как будто и дружите? В Печорск дружно съездили и в гостинице, где живете, вы, говорят, хорошие соседи... Мне всё докладывают, и служебное и неслужебное, я все знаю. А может быть, мне не так доложили?

— Так, точно так,— заверил Алексей. — Вам абсолютно точно все докладывают — как есть.

— Вот и ладно,— поднялся Улитин, на сей раз давая понять, что беседе конец. Не поленился еще раз выйти из-за стола. — Иди оформляйся, поезжай. И возвращайся молодцом... Здесьние люди приговаривают: каков поехал, таков и приехал,— в хорошем смысле, конечно.

У двери придержал за плечо и, заговорщицки скосив глаза, посулил:

— А к возврату будет ждать тебя сюрприз, Алеша... нет-нет, не скажу до поры, не откроюсь, нет, лучше и не спрашивай!

Но он и не спрашивал.

В приемной уже не было Бубеева, он ушел не дождавшись. Там сидела лишь Ася одна-одинешенька над своей пишущей машинкой, голова опущена, ресницы в слезах, нос вспух,— Алексей погладил ее по голове.

Он гладил ее шелковистые волосы, отдыхающие от уз тугой косы, от гребней и шпилек, вольно рассыпанные по подушке, он собирал их в горсть, целовал и опять отпускал на волю — а она сама лежала неподвижная, вытянувшаяся в струнку, бездыханная, он в испуге прижал ладонь, ее подняло вздохом, и он услышал постепенно замирающее после встряски биенье сердца, но веки ее и не дрогнули.

— Ты что?.. Ты где? — спросил он шепотом.

— Умерла,— ответила она,— нету больше. А умирать-то, значит, не страшно...

— Нет, ты живи,— не согласился он,— мне надо, чтоб ты жила...

Его по-прежнему не оставляло нетерпение, как много часов назад, когда он, дозвонившись и найдя ее, ждал в условленном месте, на перекрестке улиц, выбивая дробушки на припорошенном льду, потирая мерзнувшие уши и поминутно взглядывая на часы,— как вдруг увидел и узнал ее, еще далекую, крохотную, сбегаящую от белого куба театра, раскинув для равновесия руки, как крылышки, но дорога была наезжена до глянца и чересчур крута, бежать напрямик нельзя, оскользнешься, упадешь, покатишься кувырком, и это

заставляло спускаться с горы косыми перебежками вбок — то вправо, то влево, налетая с разгона на высокие гребни сметенного снега, отталкиваясь обеими руками и бросаясь в другую сторону, безмерно удлинняя путь, — но все-таки она приближалась с каждой минутой, и он уже различал ее платок козьего серого пуха, синее ватное пальто, мягкие пимы из оленьего меха и цветных лоскутков, самовязные пестрые варежки, он увидел ее пылающие на морозе щеки и опасно побелевший нос, сияющие радостью глаза и приоткрывшиеся нежные влажные губы, она вцепилась ими с разбега в его рот, а было еще светло, и вокруг сновали прохожие, ну и черт с ними, он стиснул ее в таком сильном объятии, что, показалось, сейчас хрустнут косточки, но она вся вся обмякла, будто их у нее и не было, он схватил ее за руку и поволок к гостинице, она испуганно зароптала, но он не слушал, она пыталась упираться, но тротуар был скользким и он вез ее как на салазках, они прошмыгнули в подъезд и побежали к лестнице мимо барьера, за которым восседала дежурная, прибалтийская дама в чалме, но та не повела и бровью, мерно щелкая на счетах...

Он опять склонился над Klarой, целуя ее. Он знал ее тело, знал уже наизусть все ее откровенные и нехитрые повадки, но он так любил ее, что ничего иного ему и не требовалось, она была для него всем, и ему было вполне достаточно ее одной, лишь бы она была с ним.

Однако, любя ее одну, не умея сейчас ни наглядеться на нее, ни насытиться ею после долгой разлуки, он даже в горячке и ослеплении не мог не заметить, что она вдруг становится совсем другой, не тою, что была только что. Притом — вот что странно — эта другая была ему тоже знакома и тоже желанна, и он неожиданно обнаруживал со всей отчетливостью, что в его объятиях вовсе не Клара, а Лилька Панкратова, но не та остервенелая от обиды, какой она ушла в новогоднее утро из дома Дагировых, а та прелестная и смешливая Лилька, которую он незадолго до того ждал в нетерпении у дачных оград Левобережной, и что смотрит он не в глаза цвета гречишного меда, какие были у Klarы, а в бархатисто-черные, вбирающие глубоко в себя свет и не отдающие его обратно, подобные сплошным зрачкам глаза Светланы Дагировой.

Что ж, подумал он, ведь Клара задолжала ему, она была обязана возместить все то, что в Москве он упустил по ее вине, по ее колдовству (теперь уже не было сомнений в том, что это именно она ведьмачила на расстоянии в полторы тысячи километров, отвращая его от других девушек или самих этих девушек отвращая от него), он только никак не мог взять в толк, откуда же она могла знать, какими были из себя эти другие девушки, как умела она безошибочно и всецело превращаться в них, оборачиваться ими поочередно, но это уже его не касалось, это было ее заботой.

Однако это еще раз укрепило Алексея в мысли, что она была для него всем на свете: не только самою собой, но равным образом всеми другими женщинами, которые оказывались на его пути и нарочито либо ненароком пробуждали в нем интерес и желание — не любовь, нет. Он сгреб обеими руками Klarу и рывком повернул ее к себе — нет-нет, он больше никогда и никому не отдаст того, что принадлежит ему, не разрешит и посягнуть, не выпустит из рук...

В дверь постучали.

— Кто?.. — как с того света откликнулся Алексей хриплым, на сломленном дыхании голосом.

Он предположил, что это Степан Огузов, занимавший с семейством двухкомнатный люкс рядом, что это он зашел его проведать либо пригласить к себе на стакан водки, посидеть, поговорить о житье-бытье.

В щелочке света под дверью переминались две тени, две ноги.

— Кто... кто там?

— Дежурная,— был ответ, и он сразу узнал монотонный голос прибалтийской дамы, ее тягучий акцент.— У вас в номере посторонние. Двенадцать часов. После двенадцати часов посторонним находиться запрещено. Освободите.

Двенадцать? Не может быть... Он протянул руку сквозь прутья кроватной спинки, взял со стола часы, разглядел в темноте положение светящихся фосфорных стрелок — они были плотно сомкнуты одна на другой.

Спорить не имело смысла: лучше было дожидаться, пока дежурная уйдет, пока она сама заснет или забудет, и, затаившись, скоротать ночь до утра.

— Хорошо,— сказал он благостным тоном.— Спасибо.

Однако ноги в щелке не исчезали, медлили.

Клара подняла голову с подушки, села, заправила края простыни под мышки, прикрыв грудь, но плечи ее, спина и шея оставались голыми — будто великосветская красавица на балу, еще бы веер,— замерла в опасливом и напряженном ожидании.

Алексея вдруг пронзила мысль о том, что ее придется провожать среди ночи в Слободу, в такую даль, на таком морозе, а потом еще и тащиться назад — ужас.

Он успокаивающе огладил плечо Клары и попытался уложить ее обратно в постель, но она досадливо стряхнула его руку.

Стук повторился и был настойчивей.

— У вас в номере посторонние. Двенадцать часов. После двенадцати нельзя... я позвоню в милицию.

Клара, отбросив светскость, порхнула через него, прошлепала босыми ступнями по полу, зашуршала исподкой.

— Ладно,— сказал Алексей,— сейчас.

Почему-то на этот раз прибалтийская дама поверила: тени под дверью исчезли.

Сидя на стуле и натягивая длинные школьные рейтузы, Клара прислушалась к удаляющимся шагам, потом выругалась вслед сквозь зубы, зло:

— В лоб твою нерусскую мать!

— Ого!..— восхитился он, еще не слышав от нее подобного.— А сама-то, сама? Сама ведь...

— Что — сама? Да мы, если хочешь знать, самые русские и есть, это мы вам, таким белавым, корень и образ дали... Это от нас вы такие чудaki повелись! Вот я рожу тебе — так поглядишь, каков Иван!

— Давай,— ничуть не испугался он, а наоборот, чистосердечно и охотно согласился.

Но Клара опять задышала сердито — из-за дежурной, конечно, с ее дурацкими стуками и неуместными угрозами,— отошла к окну, отпечатавшись на нем черным силуэтом, вроде скифской бабы, овеянной по контуру белым роем вихрящихся снежинок.

— Мы, наверное, всех первой на земле живем. Устали, мочи нет, надоело все. Оттого и забились в самый дальний угол медвежий, чтоб никто не тревожил... а вы и тут нас нашли.

— Я рад, что тебя нашел,— убежденно сказал Алексей.

Она подняла руки, потянулась, зевнула:

— Спа-ать...

— Я сейчас оденусь.

Алексей зашарил по стене в поисках выключателя.

— Не зажигай. И одеваться тебе не надо.

— А как же?

— Мне до Слободы, пожалуй, все равно не дойти... истерзал ты меня.

— Тогда прыгай обратно,— предложил он, откатываясь в постели.

— Нет. Я у Ксеньки Мининой заночую — у подруги, из нашего хора, она рядышком живет.

Клара впотымах надела пальто, повязала платок, подошла к кровати, коснулась его спутанных волос.

— Второй раз тебя отпускаю. Возвращайся скорей и добром... знаешь, как у нас говорят: каков поехал, таким и обратно будь... Ну, прощай, любовь.

Когда дверь за нею притворилась, он опять поймал себя на ощущении, которое с утра владело им: что все это уже было в его жизни однажды или не раз, а теперь шло повтором... Но утром в кабинете Улитина он сумел строго и трезво разобраться в природе этого чувства, и потому сейчас даже не требовалось усилий, чтобы найти причину и выявить суть.

Ведь она уже уходила от него: тогда, при первой их встрече на пароходе «Тютчев», на осыпаемой брызгами палубе, когда он был слишком настойчив и дерзок, и она рассердилась, вырвалась, сошвырнула с плеч его кожанку, пошла прочь раздраженным шагом... И позже, в преддверье, когда она пела на открытии сезона в филармонии, и он в антракте искал с нею встречи за кулисами, и она, выйдя на зов, беседовала с ним надменно и свысока: «Какие разговоры... вы еще сами тут, а сердечко-то, поди, уже и в Москве?» И, подобрав цветастый подол сарафана, в котором выступала на сцене, мерным кокающим шагом взойшла по лестнице, исчезла с глаз...

Но почему взбредли на ум ее уходы? Ведь, прежде чем расстаться, надобно сначала встретиться! И мало ли было у них счастливых встреч.

Когда он впервые увидел ее одиноко бредущей по кромке берега у Прокопьевки в легком ситцевом платье, повторяющем, как маскхалат, цвета и пестроту июньского травостоя, с заколотой на затылке медовой косой,— и Улитин, завидев ее тоже, замаслившись глазками, позвал: «Клара! Клара, девочка!.. Иди сюда, к нам, чего стесняешься?..» И, когда подошла, объяснил ему, гордясь: «Это Клара Истомина, солистка народного хора... О, какой у нее голос!»

А через день, когда он собирался в обиходах покинуть Город-на-Реке, уехать ни с чем — зря забрался в эту глухомань — и прощально кружил по улицам деревянного города, она вдруг явилась навстречу невесте откуда, взяла его за руку, повела за собой к околице, на край света, в Пятую Десяту, и утром, поцеловав, сказала тихо, но уверенно: «Не уедешь, нет».

И была права: он не уехал. А уехав, вернулся. И опять вернется.

Так почему же сейчас память так настойчиво подсказывает мотив ухода, прощания, разлуки?

Да очень просто: потому что она только что ушла от него.

Он подбежал к окну и, дождавшись, увидел, как она потопталась в нерешительности у подъезда гостиницы, приминяя свежий снег, а потом засеменила мимо пожарной каланчи к деревянным домишкам, что теснились на спуске к реке.

2

Едва сойдя с поезда, он увидел эти вышки.

Ему понравилось, что город нефтяников начинался так определенно, так внятно: сразу — переплетения вышек, их деревянные ноги, их обшитые тесом площадки подобно визитной карточке города или его гербу.

Правда, в час прибытия было уже темно, а небо пасмурно, безлунно и беззвездно, и эти вышки было трудно рассмотреть в деталях,

потому что установленные на них прожектора били вниз и в стороны, не на себя.

Однако он не спешил вникать в детали, в подробности, так как знал, что будет на то время и завтра, и послезавтра, и даже неделю спустя. Он был волен в сроках и намеревался прощупать материал основательно, глубоко, как бурят землю, как берут нефть из ее глубин.

И еще не раз и не два на пути от станции к гостинице перед ним вырастали, делая шаг из тьмы навстречу, эти вышки деревянной вязи — то за дощатым забором, то на задворках жилья, то прямо на перекрестке улиц.

Он замечал их и радовался, потому что уже улавливал мотив: эти вышки были старше возрастом, нежели сам город. Их ставили на добычливых местах, ничуть не заботясь о последствиях — где потом поставят дома, где лягут проспекты. Нет, тут не помышляли ни о чем ином кроме самой нефти: где она есть, оттуда и качай.

И лишь потом скважины обрастали строениями: сперва неприхотливыми домиками буровых вахт — абы спать тепло да сухо, смену работай, смену спи; но, конечно, манило к обжитости и уюту, и вставали поблизости дома с крылечками и балконами, со дворами и огородами; а вскоре надобились и продуктовая лавка, и амбулатория, и баня; а там, глядишь, черед за клубом, чтобы посмотреть кино, свести знакомство на танцульке, за детскими яслями, школой; потом сам собой заводился толкучий рынок под открытым небом; вытаптывали поле — гонять футбол; пристегивался к околице погост с крестами да звездами...

Но повсюду — на подворьях, на улицах, у вокзала, на базаре, на кладбище, на стадионе — началом начал, будто вежи дальновидных строителей, оставались стоять нефтяные вышки, с них все пошло.

Однако и до них тут было не пустое место. Здесь стояли дремучие леса. И это тоже, хотя и во тьме, обнаружил приметливый глаз Алексея Рыжова.

Еще на станции вдоль железнодорожной колеи за белой полосой отчуждения щетинился черный ельник. К оголенным просекам улиц иногда с обеих сторон разбойно подступал сосняк. Кварталы домов чередовались с куртинами, с плотными борками. А то вдруг одинокая сосна вымахивала рядом с фонарным столбом. Или скелет сухостоя топырил чахлые ребра...

И делалось не только понятно, отчего этот город назывался Сосны, но и видно было со всей определенностью, из чего он возведен и сложен. Выяснялось, что за лесом далеко не ходили, тем паче не ездили, а рубили прямо на месте вокруг да около, и это шло в сруб, а что в сруб не годилось, шло в топку — и можно было лишь дивиться, что в этом городе, именуемом Сосны, еще не извели все подчистую, что здесь кое-где эти сосны имелись в наличии и тоже годились для визитной карточки, для герба.

Ему дали койку в двухместном номере, он выспался всласть, а проснувшись, увидел соседа, который пил чай, громко раскалывая зубами кусок синеватого рафинада и так же громко схлебывая кляп с обода кружки.

— Здравствуйте,— сказал Алеша, немало изумившись тому, что сосед по гостиничной комнате был старым знакомцем.— Я вас знаю. Вы Геннадий Сергеевич Габов, следовательно из прокуратуры. Помните, прошлым летом мы с вами вместе ездили в Пычим... да?

— Здравствуйте,— ответил сосед, не торопясь, однако, с подтверждением.

— Моя фамилия Рыжов,— помог Алексей.— Я работаю в редакции газеты «Северная звезда», там же, где ваша сестра Анна Сергеевна, она у нас работает бухгалтером, так?

— Ну и что с того? — безразлично и будто бы даже неприязненно отозвался Габов. Завернул огрызок сахара в тряпицу и сунул в кожаную полевую сумку меж бумаг.

Вероятно, он был раздосадован тем, что так легко и быстро опознан первым же встречным, случайным соседом, вот этим мальчишкой, будь он неладен. Ведь Габов опять был не в прокурорской форме, а в штатском: пиджак, свитер, фронтовые галифе, заправленные в валенки, — и весь этот тщательный камуфляж, все его инкогнито раскрыто в один миг.

Но Алешу подстегивало искушение.

— Геннадий Сергеевич, я очень прошу вас... если это, конечно, не является служебной тайной и не мешает расследованию, но я могу вам клятвенно обещать...

— Что?

— Скажите, пожалуйста, по какому вы делу в Соснах? Неужели опять убийство? Поверьте, это не простое любопытство, а профессиональный интерес: ведь я уже видел однажды, лично был свидетелем того, как вы изобличили матерого преступника, как взяли его... Я очень хорошо все это помню. И знаете, мне видится газетный очерк о работе следователя.

— Значит, вас послали сюда, чтобы вы написали такой очерк? — В тоне Габова была едкость. — Занятно. Но вы могли хотя бы предупредить меня заранее. Вместе бы и поехали — и я бы дорогой вас подготовил, изложил версию...

— Нет, цель моей командировки совсем иная, — поспешил объяснить Алексей. — У меня ответственное редакционное задание. Я должен проехать по всей магистрали, до самой Тундры, и написать цикл очерков «Энтузиасты Севера». О передовиках, о лучших людях. Но вместе с тем я совершенно свободен в выборе тем и героев. Меня никто не обязывал пускать слюни. Жизнь сложна, диалектически противоречива, есть свет, а есть тень... Вполне естественно и желанно изображать жизнь с учетом всей этой сложности.

— А, бросьте, — отмахнулся Габов, направляясь к вешалке, снял с крюка потертый кожушок, висевший рядом с добротным пальто Алексея, отливающим завитками каракулевого воротника. — Так я и поверил, что вас сюда послали разбираться в сложностях жизни. Что я — Улитина не знаю? Знаю как облупленного. Ему подавай либо черное, либо белое — притом на заказ.

— Да, тут вы правы, — усмехнулся Алеша. — В нем есть некоторая односторонность. Когда я собирался сюда, он предупреждал: учись, Рыжов, отделять нужное от ненужного, учись управлять своим зрением — одно видь, а другого не видь...

— Что ж тогда вы мне голову морочите? — рассердился следователь. — Шутки шутите? Ваньку валяете?

— Послушайте, — в свой черед обозлился Алексей, — ведь я не обязан на каждый чих своего редактора... — Он выполз из-под одеяла, но сразу почувствовал, как плечи объял холод, и поспешил нырнуть обратно в теплое, согретое, надышанное, завернулся до подбородка. — Разве я обязан...

— Обязаны, — жестко подтвердил Габов. — Впрочем, не знаю, как там у вас в редакции, а у нас в прокуратуре дисциплина строгая. И если прибегать к ученым категориям, которые вы затронули, то существует еще и разделение труда. У вас одна цель командировки, а у меня заведомо другая. Вам «ура» кричать, а мне права качать. Вот и давайте заниматься каждый своим делом... Желаю успеха.

Нахлобучив шапку, вышел за дверь.

Алексей пригляделся к чайнику на столе, пытаясь определить на глаз, горяч он еще или уже остыл и придется самому бежать за кипятком.

На дальнюю буровую повез его Терентий Ефимович Артеев, редактор сосненской городской газетки «За северную нефть». Выпросил в комбинате «козлика», своей машины у редакции не было, и повез.

Вообще, несмотря на то, что Артеев был в годах, он выказывал молодому коллеге почтительность, и Алеша впервые убедился в неукоснительной иерархии, которая расставляет печатные органы по надлежащим ступеням, по их значимости: хотя Артеев должностью и превосходил гостя, но он был всего лишь редактором малоформатного листка, для раскурки, а вот гость представлял республиканскую печать, да еще, как упомянул небрежно, был внештатником центральной газеты.

Машина неслась по накатанному зимнику как по асфальту, только ветер трепал брезент кабины и вдавливал внутрь плексигласовые боковые оконца.

Сквозь них мутно виднелась кисея снегопада, а за летучими хлопьями — белизна уже залегшего снега и деревья, все те же сосны с черными лапами, поникшими под тяжестью намерзших и натрушенных снежных слоев.

Но время от времени таежный заслон прерывался, распахивался — и на вырубке, на опушке, появлялась уже знакомая картина: буровая вышка как центр, как средоточие, как пуп земли, а вокруг нее все остальное — крыши дощатых и бревенчатых строений, над которыми вились дымки, то ли производственные службы, то ли уже законное жилье.

Опять и опять повторялся этот мотив, который Алеша еще вчера уловил в Соснах: скважина на добычливом месте, начало начал, а уж вокруг этой вешки, этого зарода — приметы людского поселения, разрастающегося вширь и ввысь, зачин нового города, которому тоже в пору придумывать имя, сочинять герб...

Да, вдруг подумал Алексей, но что же произойдет, когда из скважин высосут всю нефть, когда иссякнут недра? Что тогда будет с этими селеньями, городами, прущими сейчас, как грибы после дождя? Что станет с людьми, осевшими или уже родившимися в этих городах? Впрочем, все это было так далеко, что не стоило загадывать, утешил он себя.

— Это очень здорово, Терентий Ефимович! Я завидую вам — вы живете среди новизны, все тут молодо, юно. Хорошо!.. Ну вот, скажем, я приехал сюда из Города-на-Реке. А что такое Город-на-Реке? Старый сундук, в котором барахло сто лет пылилось, крышку подыметь — апчхи, в руки возьмешь — глядь, все истлело, и моль насквозь прожрала... То есть нет, я ничего не имею против Города-на-Реке: ну, город как город, даже столица в своем роде, однако запашок стародавний, уездный. А это, извините, не по мне... То ли дело — Сосны! Все заново, все с первого колышка. Подумать только, что еще недавно здесь даже не ступала нога человека, а нынче — город!

— Мне приятно это слышать, — заворочался, томясь возражениями, спутник. — Но боюсь, что вы тут маленько не в ладах с историей. Я ведь, Алексей Николаевич, по образованию историк, до войны преподавал историю, учительствовал в этих местах, неподалеку, село Изьва. Это уж после войны райком направил меня в газету — оторвали от школы, и не скажу, что больно рад... Покурим?

— Давайте, — обрадовался Алеша, принимая папиросу: в нем еще жило представление недавно курящего человека о том, что табачный дым согревает на морозе душу, хотя и знал, что он просто мутит голову и усыпляет кишки. — Но какая тут может быть история? Лес кругом...

Артеев, сощурясь, глубоко затянулся, выдохнул дым вместе с придушенным кашлем.

— Лес-то, конечно, лес. А вот нефть здешняя известна спокон веку. Речки тут чистые, прозрачные, а по ним, замечали люди, повер-

ху масло течет, отливает радугой, со дна черные ключи цыкают. Прямо-таки исходит земля маслом. И масло это земляное считалось в народе целебным... А потом, при Петре Первом, пробы здешней нефти по государевой грамоте посылали исследовать в Голландию, во Францию — да вот умер царь, не дождавшись вестей, и заглохло дело...

Ах вот оно что, подумал Алексей, знакомый разговор, знакомый случай: вот так жэ истово, увлеченно рассуждал о старине и о ее преданьях главный инженер Пычимской плавильни Дидовик, с которым он познакомился минувшим летом.

Он вспомнил о стопке тетрадей в клеенчатых переплетах, перевязанных крест-накрест, которые всучил ему тогда Дидовик, — сколь он ни отбивался от этой чести, от этого дара, но взять пришлось. И лишь однажды, пребывая в меланхолии и поленившись даже развязать бечевку, он заглянул украдкой в страницы, графленые в клеточку, исписанные крупным, будто детским, стариковским почерком: там были сказки о чудских древних копиях, о скифском золоте, там были ученые наслышки Геродота о полночных странах, где воздух полон перьев, которые летают и зимой и летом, хотя летом их меньше, чем зимой... да, насчет перьев Геродот был прав: вот они летят, эти белые перья, стремительно распухая, касаясь лобового стекла машины, сметаясь прочь от ветра, от движения...

Жаль, что он не захватил с собой в поездку эти тетради: был бы прекрасный повод избавиться от них, передавав другому человеку, обуреваемому, судя по всему, той же страстью, Терентию Ефимовичу Артееву, подумал он.

А вслух расхоже пошутил:

— Все это было давно и неправда...

Но Артеев шутки не понял либо не принял, продолжил упрямо:

— Что давно, это так. Однако — правда... И позже эту нефть пытались добывать, даже перегонкой занимались — купцы Прядуновы, Набатовы... — Он прильнул к окошку, взгляделся в сумрак тайги, словно мог там что-то различить. — А еще позднее... представьте, Алексей Николаевич, что по этим глухomanям я когда-то водил школяров, старался приохотить к краеведению. И вот: в самых чащобах, где тропы ногой не нащупаешь, вдруг натыкались мы на заявочные столбы — трухлявые уже, а с номерами, датами. Знаете, каких фирм? Довольно известных: Нобеля, Ротшильда... За ними следом и помельче сошка ринулась: искатели, авантюристы, перекупщики. Развели тут нефтяную лихорадку ого-го, прямо Оклахома! Но попусту — до нефти так и не добрались...

— Вот-от! — не скрыл удовлетворения Алеша. — Все эти предыстории можно просто не брать в расчет. Понимаете, все слишком быстро становится прошлым. Еще сегодня — настоящее, а завтра уже не настоящее, одни воспоминания. Я приведу такой пример: когда нас, студентов, отправляли на практику, за фольклором, нас в институте наставляли: новины — это то, что после войны, то есть после этой войны, а все, что прежде, даже двадцатые и тридцатые годы, нужно считать за старины... Нет, я вовсе не хочу вас обидеть, Терентий Ефимович, тем более что вы историк, но замечьте: всегда есть какая-то новая черта, от которой идет отсчет времени, отсчет жизни... Вы не согласны?

Артеев помолчал, неопределенно шевельнул плечами.

— Наверное, это во многом зависит и от личного мироощущения. В ваши-то годы мне тоже казалось, что все на свете начинается с меня да с моих дружков. А вам представляется, что с вас... Впрочем, в одном пункте я совершенно с вами согласен: что отсчет жизни надо вести с войны, точнее с ее конца... уж коли я оттуда живым вернулся, то, значит, вторую жизнь живу! — Усмехнулся, гася оку-

рок подошвой на железном полу кузова.— Так что пошли по новой, не возражаю...

Машину повело вбок и вправо — она съехала с зимника и затряслась по лежневке, истерзанной траками гусениц, присыпанной свежим снегом.

Над островерхим ельником вознесся пик буровой вышки, перепосанной на разных уровнях обшитыми тесом площадками — все было в дереве, но от этого дерева почему-то исходил железный лязг, и надсадно, взхлеб ревели насосы.

— Приехали, Унь-Яга...— сказал Терентий Ефимович и поспешил заключить, чтоб не возвращаться уже к дорожным словопрениям: — Ладно, я согласен. Тем более что как ни крути, а взять эту северную нефть удалось лишь в войну, когда нужна была позарез.

Бурмастер Иван Акимович Кожемякин поразил Алешу прежде всего слишком броским несоответствием внешнего облика тому привычному типу, с которым связывалось представление о производственном среднем звена: он был уже сильно в годах, поди за семьдесят, но долговяз, поджар, и даже брезентовый плащ с капюшоном, напыленный поверх ватника, поверх шапки, не мог скрыть иссохлости тела, наводившей на мысль о святых мощах. Но главное, конечно, борода: белая, как снег, развевающаяся по ветру шелковистым долгим руном, взметывающаяся на плечо,— при этой бороде и в этом схимническом облачении он был похож не на бурового мастера, а на неистового раскольничьего попа, какие тут, в северных пустынях, когда-то замаливали в скорбях и скудости свои распри со всемогущими владыками...

Брезентовая хламида старика была заляпана сгустками цемента, глинистой жижей, испятнана ржавчиной и мазутом — и Алеша приуныл, вообразив, что за вид обретут его дорогое пальто и щегольские бурки после того, как он побывает у машин.

Однако и отступать было нельзя.

Он взошел на дощатый помост, вскинув подбородок в гордой и мрачной решимости, словно яkobинец на эшафот.

Ноги сразу уловили содроганье деревянного настила. Казалось, что и вышка, несмотря на прочность ее деревянных плетений, ходит ходуном от тряски. И было даже ощущение того, что все окрест — и лес, и всхолмья, и пади — охвачено дрожью, что земля потрясена этим чудовищным напором железа, разворачивающего ее недра.

— Повезло нам! — прокричал Артеев на ухо Алеше. — Попали в самый раз, на бурение! А то могли б застать подъем колонны или спуск: дело нудное и тянется часами... Иван Акимович, на какой глубине бурите?

— Сейчас глубина забоя — тысяча триста семьдесят метров, а проектная — полторы тысячи.

— Какие отложения? Карбон?

— Да, нижний карбон, — подтвердил бурмастер.

Алексей подумал, что лично ему повезло вдвойне: и в том, что попали аккуратно на бурение, и в том, что сопровождать его вызвался Терентий Ефимович Артеев, человек в здешних местах свойский и достаточно сведущий в нефтяном производстве, — он принимал на себя начальную, самую трудную часть разговора, избавляя молодого попутчика от риска обнаружить свое полное незнание дела, от наивных и глупых вопросов, от непонимания самых простых вещей, и Алеша, сознавая это, помалкивал, удовлетворяясь зримым, явным, тем, что поверху.

Они приблизились к устью скважины.

Ротор, громадный металлический жернов, крутил трубу квадратного сечения — все остальное было скрыто от глаз, и лишь мысленно можно было представить себе, как это вращенье передается по-

лой железной колонне, почти на полтора километра встрявшей в земные пласты, и как там, в самом низу, долото грызет каменные толщи, кроша и стирая свои железные зубья о неподатливую породу...

Алеша, как обычно, когда ему случалось находиться подле вертящихся предметов, испугался, что вот сейчас, в самый неподходящий момент его самого подхватит головокружение, внезапный приступ той неведомой врачам болезни, которая — он так предполагал — осталась памятью голодного детства. И он уже оглядывался в беспокойстве, ища, за что бы ухватиться, на что бы опереться, пока будет длиться эта напасть: пока вокруг него будет нестись шальной каруселью тайга, дыбась пиками елей и сосен, а хмарь низких туч, заряженных снегом, будет завиваться воронкой, жутким хоботом смерча, а лица стоящих рядом людей помчатся вкруговую, множась и мелькая будто в хороводной пляске, а он, Алексей Рыжов, будет стоять посредине, почти теряя сознание, но вместе с тем испытывая странное удовлетворение оттого, что все-все сосредоточено на нем, что именно он, а не кто-то другой находится в центре мироздания, а все остальное — лишь вокруг да около.

Однако тут он вдруг почувствовал, а потом и осознал, что приступа не будет, что на сей раз обойдется.

Но почему?.. Вместе с облегчением явилось и некоторое разочарование.

А потому, также вдруг понял он, что здесь, на этом помосте, на видном месте, обнаружилось с предельной ясностью, что вовсе не он является центром мироздания и отнюдь не вокруг него вертится Земля, нет: она вращается, как на оси, как на стержне глобуса, пронзающем ее от макушки до макушки, от полюса до полюса, вокруг бурильной колонны, ушедшей в глубину и алкающей там черной нефти...

Хорошо, подумал Алексей, допустим.

Но разве это справедливо и разве так может быть, чтобы Земля и мироздание вертелись вокруг машины — обычного бурового станка, сколь бы он ни был громаден и ревущ?

Нет, конечно, нет. Ведь и сам этот станок сделан людскими руками.

Значит, все-таки человек! То есть именно о н.

Ну а если не он? Если и впрямь и действительно человек, однако же не он, а совсем другой человек — скажем, вот этот старый бурмастер с летящей по ветру Саваофовой бородой? Тот, который командует буровой и всеми работающими здесь людьми.

У Алеша хватило здравости смириться с подобным предположением. И даже не потому, что он устыдился своего эгоцентризма. А просто потому, что вовремя вспомнил о цели своего приезда на буровую, и вообще о цели командировки на Крайний Север, и о своих прямых служебных обязанностях, и о том, что писать-то ему придется не о себе самом, а о других — в данном случае о знаменитом буровом мастере Иване Кожемякине.

Он вынул блокнот.

— Скажите, пожалуйста, когда вы приехали в Сосны?

— Давно-о... — протянул бурмастер, усмехнулся в бороду. — Хоть кажется, что и недавно, рядышком, будто бы вчера.

— Но все-таки?

— В двадцать седьмом году. Летом, в августе. По Баренцеву морю пароходом, а потом вверх по Печоре, еще дальше притоками — на лодках, на плотках, а уж тут, по тайге, караваном шли, оборудование, груз — все на лошадях да на собственном горбу...

— Иван Акимович прибыл в составе экспедиции, направленной сюда по решению Совнаркома, — пояснил Артеев. — Он и пробурил здесь первую разведочную скважину, которая дала нефтяной фонтан.

Карандаш Алексея бежал по страничке, но чутким ухом он уловил в голосе Терентия Ефимовича нотку торжества, отголосок дорожного спора: итак, что считать новью, а что давью? где будем ставить вешку, вбивать первый колышек? двадцать седьмой год вас устроит? ровно два десятка лет назад...

Алеша, не подавая, впрочем, виду, поразился сроку: двадцать лет — столько, сколько ему от роду... даже чуточку больше: ведь он родился в декабре, а экспедиция прибыла сюда в августе. То есть его еще не было на свете, а бурмастер Иван Акимович Кожемякин уже стоял на этом помосте под вертлюгом, у ротора, у ревущих, хлюпающих глинистой жижей насосов, и его седая борода вот так же развевалась по ветру... ну нет, укорил сам себя Алексей, ведь не все эти годы он бурил одну и ту же скважину, до этого были и другие; менялись буровые, менялись точки, все отдаляясь от базы, от поселка, от города; и кто знает, использовались ли уже тогда, в двадцать седьмом году, эти мощные роторы или же обходились чем-то иным, надо будет расспросить подробнее; и неизвестно, была ли уже седой в ту пору борода Ивана Кожемякина и вообще был ли он тогда бородат, может быть, лицо его было чистым, молодежавым, но об этом как-то неловко спрашивать... Один вопрос тянул за собою вереницу других вопросов, и следовало отделять важное от пустячного, при этом стараться не нарушать последовательности.

— Иван Акимович, а где вы работали раньше, до того, как прибыли в Сосны? Вы и прежде были бурмастером?

— Да. Я еще до революции был бурмастером. Работал в Грозном на промысле — частный тогда был промысел, англичанина Симса, — а уж потом сюда, на Север...

И опять вмешался в разговор редактор городской газеты:

— Я вам уже говорил, что Север сыграл свою роль в самый критический момент: когда кавказская нефть оказалась отрезанной, ее приходилось отправлять вплавь по Каспию в цистернах, через Махачкалу...

— Ясно, — кивнул Алеша.

В его голове уже выстраивались контуры будущего очерка. И он подумал, что такой очерк, пожалуй, мог бы украсить не только странички «Северной звезды», но и — бери выше — мог бы появиться в центральной газете, несмотря на то, что газета была молодежной, а герой очерка был стар, очень стар, но не зря ведь, вспомнил Алексей, главный редактор этой центральной газеты наставлял его: «Не стесняйтесь изображать людей старшего поколения — кстати, они тоже читают нашу газету, — давайте их биографии во всей протяженности, всю долгую и честную жизнь, мы будем воспитывать молодых примером их жизни...» Да, безусловно здесь был именно тот случай.

— Еще вопрос, Иван Акимович... Сколько же скважин на вашем счету, сколько вы их всего пробурили?

Плечи бурмастера приподнялись под брезентом, обозначились резче в иссохшей своей костлявости. Зато взгляд заискрился отнюдь не старческим блеском.

— А кто их знает... Врать не буду: сколько раз брался считать — и в уме и на бумаге — и вроде бы никакую не пропустил, все учел, наперечет. Подобьешь итог, а назавтра вспомнишь — э-э, а вон ту и позабыл, и эта мимо памяти скользнула, и еще... хоть заводи сначала!

Искорки в глазах истаяли, обратившись влагой. Он тронул рукавицей подрагивающее железо.

— Сколько пробурил, не знаю, не сочту... но насчет этой могу точно сказать, что последняя. Да, последняя моя. Все.

Сложил ладони рупором, позвал, стараясь перекричать рев двигателей:

— Аки-им, поди сюда!

От лебедки к ним двинулся вразвалку человек такого же высо-

ченного роста, в таком же брезентовом плаще, закоробившемся на стуже. И когда подошел, протянул гостям руку для пожатия, стало очевидно, что его жесткое лицо с крючковатым птичьим носом схоже как две капли воды с лицом старика — только что без бороды, гладко выбрито.

— Вот познакомьтесь с новым бурмастером, ему сдаю хозяйство... Кожемякин Аким Иванович, сын собственных родителей, стало быть, и мой.

В голосе отца звучала нескрытая гордость, а во взгляде сквозило любованье сыном, а может быть, и самим собою, каким был в молодые лета.

Между тем Алеша определил, что сыну-то уже лет сорок, перестарок, вдвое старше, нежели, к примеру, он сам, Алексей Рыжов. А седобородому папане все еще кажется мальчишкой, неоперившимся юнцом, которому боязно даже доверить буровую в полное владение...

На обратном пути Артеев рассказал, что старшего Кожемякина силком гонят на пенсию — и то лишь потому, что настаивают врачи, зная за ним какую-то хворь и доложив властям, что недолго протянет. Аким же доселе ходил при нем в рядовых бурильщиках. Потому что чин и должность бурового мастера считается ого-го, вроде капитана корабля...

В конце недели они встретились еще раз, и при весьма торжественных обстоятельствах.

По главной улице Сосен, обсаженной по обеим сторонам — вопреки названию города — не соснами, а молодыми березами (они лишь поперечной черной рябью стволов выделялись на фоне снежных сугробов и своей же пышной куржевины, облепившей ветки), — по этой улице двигалась целая процессия: впереди вышагивал знаменитый бурмастер, простерши по ветру, словно личный штандарт, космы седой бороды; за ним, выпятив должностные животы, ступали товарищи из горсовета, из нефтяного комбината; следом, обремененные портфелями и свитками, семенили зодчие из проектной конторы; дальше, приятельски беседуя, уже закрепившись в знакомстве, шли Рыжов и Артеев; замыкал шествие горкомхозовский дворник, тащивший на плечах стремянку да еще в одной руке плотницкий ящик с молотком и гвоздями, а под мышкой — эмалевую табличку свежего облива с четкой надписью: «Улица Ивана Кожемякина».

Алексею был уже известен — из уст Артеева, конечно, — необычный и несколько интригующий смысл предстоящей церемонии: горисполком принял решение назвать одну из новостроящихся улиц именем знатного бурмастера, зачинателя города. Но вот какую из них? Это право было предоставлено самому Ивану Акимовичу — на его выбор, на его взгляд и вкус.

И вот он шел, а все шли за ним.

Алеша обратил внимание на то, как встречные люди, узнавая Кожемякина, почтительно здоровались, иногда не скупясь и на поклон, причем здоровались именно с ним, а не с сопутствующим начальством, ибо даже высокое начальство время от времени сменяется, а вот за этим мастеровым человеком была непреходящая и непрекаемая слава — все понимали.

Алексей возбужденно подыхивал морозцем, дивясь тому, как неожиданно и счастливо слагает сама жизнь событийные колена его очерка.

— Да, знаете, — сказал Артеев, — все эти дни я раздумывал о ваших восторгах перед новым, новизной и — чего греха таить — о некотором вашем пренебрежении к старине. Как это вы давеча лихо выразились? А-а: мол, все это было давно и неправда...

— Я пошутил, — заверил Алеша.

— Понимаю, что шутка. Но я-то об этом думал всерьез... И вот что надумал: наверное, это вообще свойство молодости — возводить свою неопытность, свою наивность в ранг высшей истины, эдакого категорического знания. А может быть, так и нужно. Вероятно, сама природа — она мудра, предусмотрительна — ограждает молодое сознание таким щитом. Вот так постаралась и устроила, чтобы человек выполнил все свои назначения — вплоть до продолжения рода — раньше, чем его начнут одолевать сомнения, терзать вопросы о цели бытия... Ведь с годами все очень усложняется. Вы замечали, как разговаривают старики? Долго, нудно, тяготно — и это всех раздражает или смешит, особенно молодежь: ну, думают, потерял человек нить, забыл, о чем ведет речь... А он ничего не забыл: просто жизненный опыт настолько обширен, что сравнениям, связям нет числа, одно звеньшко тянет за собой другое, а то в свою очередь... И еще потому, что старики менее самоуверенны — они всякое утверждение, всякое отрицание норовят обставить оговорками. Пожалуй, именно из-за этих оговорок так и длинна их речь: на каждое «да», на каждое «нет» есть еще дюжина «если», «при условии», «может быть», «но»...

— Вы сказали — «но»? — перебил Алексей. — Что-то очень знакомое. Мне уже недавно жаловались, что вокруг «но» и «но» — на каждом шагу, некуда от них деться, спасу нет!

— Ну, значит, кто-нибудь из ваших сверстников и жаловался, — предположил Терентий Ефимович.

— Не исключено... Только вот что меня удивляет: почему это вы заговорили от имени стариков?

— Потому что я историк.

— Нет-нет, не по профессии, а по годам... вам сколько?

— Сорок три.

Алеша поразился в душе: действительно много — сорок три. Но вслух сказал:

— А что такое — сорок три? Вон поглядите вперед: как семьдесят шагают!..

Они миновали кварталы зданий, построенных, судя по всему, не столь давно, однако уже заселенных плотно и дружно — это угадывалось по уютной обжитости окон.

Дальше главная улица сворачивала, прерываясь хвойным борком, над которым маячили нефтяные вышки.

Алексей вспомнил, что в первый вечер впотьмах засек эти деревянные конусы, неожиданно возникавшие там и сям, их ажурные переплетения, квадратные гнезда наверху.

Но при всей отрядной узнаваемости они отличались от тех буровых вышек, которые он видел в Унь-Яге, в частности от кожемякинской буровой: те были гораздо выше, метров сорока ростом, и рабочие площадки опоясывали их на разных уровнях, сообщаясь лесенками, — здесь же масштаб был весьма уменьшен, и не было слышно железного лязга, который оглушал в тайге, и бросалось в глаза полное безлюдье: вышки стояли как бы сами по себе, не нуждаясь ни в чьем присутствии, ни в чьей опеке.

— Терентий Ефимович... — заговорил Алеша неуверенно, смущаясь тем, что, проведя в Соснах уже немало дней, он все-таки вынужден то и дело справляться об элементарных вещах, обнаруживать постыдную свою неграмотность. — Мне кажется, что там, куда мы с вами ездили, в Унь-Яге, вышки были другими... ну уж точно, что они были выше, да?

— Конечно, — согласился Артеев. — Потому что там вы видели буровые вышки, а это промысловые, эксплуатационные. Здесь, в черте города, все уже разбурено давным-давно. Пласт истощился, давление упало, скважины перестали фонтанировать, и нефть приходится брать принудительно — выкачивать насосами....

— Там тоже были насосы! — возразил Алексей, в его ушах еще стоял их натужный рев.

— Да, но те насосы гнали воду, глинистый раствор вниз, в забой. А эти, наоборот, качают на-гора, качают нефть... Да вот же, видите, качалки!

Громоздкие маятники кланялись земле, будто бы выказывая ей свое почтение — ну да, подумал он, точь-в-точь как только что на улице встречные люди кланялись седобородому бурмастеру, — однако в их раскачивании была надменная машинная бесчувственность: они не столько просили отдать им то, что надобно, сколько требовали, а еще точней — брали без спросу, изымали, не терпя возражений, а ч а ч а ли, деловито посапывая, и лишь изображали для окружающих, что отбивают поклоны в мольбах...

Навстречу из перелеска, торя в сугробах узкую тропу, тянулась вереничка тугощеких разурмяненных мальчуганов и девчушек, взявшихся попарно за руки, — детский сад возвращался с прогулки, и молодая воспитательница, тоже в польхающем румянце, поторапливала: «Дети, дети, кто там отстал?..»

Он умилился этой сценке, попробовал объединить в воображении, как бы смотря со стороны, два шествия — трогательных карапузов, вероятно родившихся в этом юном городе, и ту процессию, в которой был он сам и которую возглавлял седобородый старец, забивший тут первый колышек, пробуривший первую скважину, это было так наглядно и значительно, символично, что он уже собрался лезть за пазуху доставать блокнот, чтоб записать, чтоб не улетучилось из памяти, но было боязно распахиваться на морозе — ладно, подумал он, хорошее вспомнится само, когда надо.

Дальше опять кипела стройка.

Шиповатая ржавая проволока вилась по кромке забора, а над забором вздымались этажи со сквозными проемами окон и балконных дверей, с обрывающимися строками кирпичной кладки: сырой раствор между ними был подернут инеем, как если б кирпичи скреплялись не цементом, а льдом и снегом и намертво схватывались стужей, — но что сделается по весне, когда все растает, потечет?..

Это была совсем новая улица, даже еще не достроенная до конца, — и он удивился: а почему бы им не остановиться именно здесь, не произнести приличествующие речи и не навесить под дружные рукоплескания табличку «Улица Ивана Кожемякина»? Тут было б в самый раз.

Однако старик размашисто шагал мимо забора, и за ним едва попевали остальные.

Или этой улице уже было дано чье-то имя?

Алексей оглянулся, замешкался, тронутый мелькнувшим воспоминанием.

На углу на стыке заборов торчала вышка: четыре бревенчатых ноги и будка с навесом, с прожекторами, нацеленными окрест, но сейчас не зажженными, потому что и так все видно.

Да-да, подобные вышки ему тоже попадались на пути, когда в день, то есть в ночь приезда он брел от станции к гостинице.

Теперь, кое-что повидав и немного разобравшись в технике добычи нефти, он мог утверждать вполне определенно, что эти вышки не были буровыми, как те, сорокаметровые, в тайге, и не были промысловыми, с качалками, как только что встреченные в городе, — нет-нет, это были вышки совсем иного вида и другого назначения.

И он тотчас же убедился в своей правоте.

Ворота разомкнулись, за ними обнажилась строительная площадка, испещренная котлованами, утыканная сваями, обрызганная крошевом битого кирпича по белому снегу. Затем показались конвоиры в овчинных тулупах, с винтовками штыками долу. А за ними повалила, держа нескладное равнение, толпа людей в мышастых стеганых

бушлатах, ватных треухах и срезанных повыше щиколотки резиновых шаркающих котах. Они шли, заложив руки за спины, переговариваясь украдкой, озыркиваясь по сторонам.

И в ближнем ряду, буквально на расстоянии двух шагов — его даже заставила отшатнуться эта опасная близость — он увидел знакомое лицо.

Слюнявые распущенные губы, заросшая щетиной челюсть, бегучие злые глазки, и — следующая деталь была наиболее памятной и характерной — у него почти не было лба: между косматыми бровями и лезущей из-под треуха остью голой стрижки оставался зазор не более пальца, уложенного поперек. Настолько явно был выражен ломброзианский преступный тип лица и головы, что не могло возникнуть ни колебаний, ни жалости, нет — лишь отвращение и гадливость.

Однако Алексей Рыжов руководствовался здесь не чувством, не зрительным шоком — он на самом деле знал это лицо и этого человека. Более того, он точно знал, какая за ним вина и какая на нем кровь.

Это был пычимский бандюга, тот самый рецидивист, что минувшим летом убил шофера полуторки, ради сотни рублей саданувший его обухом по голове, а тот, бедняга, прошел всю войну, от Москвы до Праги, вернулся домой целым и невредимым, и вот...

Алеша вспомнил, как этого злодея, избалованного и пойманного следователем по особо важным делам Габовым, вели по улице заводского поселка, как он поеживался под ненавидящими взглядами людей, но и тогда — даже тогда! — нагло и слюняво улыбался, как вот теперь.

Волчьи глазки мимоходом скользнули по лицу Алеша, но, сдаётся, он не узнал его, либо сделал вид, что не узнаёт. Или дал понять, что ему до фени, ну чего пялишься, чего зенки выкатил, фраер, с-сука... — сплюнул с уголка губы.

И впрямь, чего он стоит и зачем смотрит — эка невидаль.

Алеша бросился со всех ног догонять своих, торжественную процессию, отдалившуюся уже на порядочное расстояние.

Случайная встреча, конечно, оскорбила то возвышенное и открытое состояние души, какое он нес в себе еще несколько минут назад.

Однако же надо заметить, что эта четырехногая вышка, и этот забор, повитый колючкой, и эта колонна людей в мышастых бушлатах, и, конкретно, внезапное появление в этой колонне знакомого лица — все это не произвело на него слишком тягостного впечатления.

Ибо он знал. Больше того, он даже чувствовал себя причастным к свершившемуся справедливому возмездию: ведь когда еще преступник не был пойман, когда его лишь предстояло взять, именно он, Алексей Рыжов, несколько часов трясся в жаре и пыли вместе с Габовым в раскаленной камерке «черного ворона» с зарешеченным оконцем; и там, в Пычине, как и здесь, в Соснах, они спали с Габовым на соседних гостиничных койках, пили чай из одного чайника; и Алеша самолично видел, как выслеженного и схваченного безлобого бандюгу вели под конвоем к «воронку»; и по этой причине ему, корреспонденту «Северной звезды», на обратном пути уже не нашлось там места, и он остался на шоссе ловить попутку в город...

Да, он испытывал сейчас законное торжество, убедившись, что зло наказано и кара неминуема.

Так почему бы ему и впрямь не сделать для газеты очерк о следователе Габове? Пусть тот и был с ним не всегда любезен.

Догнал Артеева, спросил, смиряя учащенное от бега дыхание:

— Долго еще? Куда мы идем? Город уже кончается...

— То-то и оно что кончается,— подмигнул Терентий Ефимович.— Ведет, как Сусанин... Ох и хитер старик, опять что-то затеял, надумал учудить, с него станется!

Сейчас перед ними простиралась обширная пойма, застланная снегом, а самой речки не было видно — она ушла под лед, укрылась сугробами, и лишь фермы моста, шагавшие над ровным местом, подсказывали, что речка есть, что она затаилась до поры, а уж весною обнаружит свое присутствие, развернется, разгуляется во всю ширь.

Котловину огораживали с трех сторон крутые склоны, поросшие сумрачным ельником, дымными клоками сосен, и только четвертая сторона света имела продолженье к горизонту, была выходом в другие земли и края. И этот выход, догадался он, прорыла безвестная речка — ее работа.

Город и впрямь кончался у этой черты — дальше залегал пустырь.

Но в отдалении, словно зимний мираж, просматривались очертания такого же города или поселка, как тот, который они только что прошли насквозь: заводские трубы и конусы нефтяных вышек, кровли домов и срезы стен, еще не подведенных под крышу.

Он вспомнил, что однажды видел уже нечто похожее. На Печоре, в Печорске — там тоже новорожденный город состоял из двух половин, разделенных слякотным ничейным пустырем. И эти две половины, у которых были разные хозяева, не только не тянулись друг к дружке, а, наоборот, распозались в противоположные стороны, чурясь, избегая встречи...

— Вот тут,— рассек ладонью воздух Кожемякин,— вот так!

Движение его руки было четким и понятным: напрямик через пустырь, отсюда и дотуда, от околицы до околицы, половина к половине, чтоб было целое.

— Ну что вы, что вы, Иван Акимович! — забегали вокруг старика отцы города, потрясая портфелями.— Какая же это улица? Тут и нет никакой улицы...

— Нет — так будет! — заявил бурмастер.

— Да когда еще будет?

— А нам не к спеху! — ухмыльнулся Иван Акимович, оглаживая седую бороду.

— Но позвольте,— всполошились зодчие из проектной конторы, засуетились, разворачивая бумажные свитки, поднося к его глазам чертежи.— Здесь ничего не предусмотрено, видите, это место даже не значится в градостроительном плане!

— Ничего, нарисуете,— добродушно махнул рукой старик.

И сколько ни пытались его вразумить, сколько ни объясняли, ни уговаривали, стоял на своем, указуя на пустырь: здесь, мол, туточки.

Кончилось тем, что сопровождавший их дворник, вздохнув облегченно, скинул с плеч стремянку, прислонил ее к одинокой сосне среди сугробов и парой гвоздей приколотил к стволу эмалевую табличку с надписью «Улица Ивана Кожемякина».

3

Поезд медлил на полустанке, будто примерзнув к рельсам. Потом колеса визгнули, деранули юзом: очевидно, смазка в осях совсем застыла, не давая им вращаться, и паровоз тащил состав волоком — с таким скрежетом шло холодное железо по цепкому от стужи железному накату.

В тамбуре послышалось топанье подкованных льдом подошв, что-то грохнулось об пол, а потом раздались ругливые голоса.

Алексей не спал: он боялся заснуть и не проснуться, околевав на холоду. Он просто лежал на верхней полке, завязав у подбородка тесемки пыжиковой шапки, задрав меховой воротник пальто, подтя-

нужно к животу колени, сжавшись в тесный комок, чтоб не упускать ни живинки собственного тепла.

А между тем в вагоне топилась печка: старый проводник то и дело подкидывал лопатой в ее зев грудки угля, там трепетал огонь, но и он был бессилен одолеть минусовую стынь.

Алеша ворохнулся, перекатил замлевшее тело на другой бок, к окошку: оно лохматилось бородою инея, рама и стены тоже были подернуты белым налетом с припухлыми сгустками — как отравная плесень на съестном,— процарапал щелку, подышал на нее, не давая затянуться тотчас, одним глазком успел выглянуть наружу.

Странно: хотя там была ночь — и по часам и по календарю там была беспробудная полярная ночь,— но она была озарена светом то ли от сияния луны, от свеченья звезд, то ли это снега, заметшие тундру, источали такую слепящую белизну, что она разгоняла темень, то ли это мороз раскалил все вокруг добела.

Голоса в тамбуре не умолкали, набирая бранчивость.

Он подумал, что надо бы выяснить, что там происходит. А может быть, это занемевшие ноги подсказали голове, что нельзя оставаться в неподвижности, что надо растормошиться, размяться, не то совсем как-то.

Опершись о края полок, Алеша спрыгнул вниз.

Вагон, в котором он ехал, был почти пуст, лишь в дальних отсеках виднелись неподвижные фигуры, овитые клубами живого дыхания,— то и были пассажиры, попутчики.

С трудом оторвал дверь от косяка, протиснулся в тамбур.

И сразу глотку заткнуло кляпом: невыносимый холод, что был в вагоне, показался блаженной теплынью по сравнению с тем, что было здесь. Нашло оцепенение, от которого кровь остановилась в жилах, как от ужаса. Веки мгновенно смерзлись, не разнять ресниц. Губы, зачужев, отвисли.

В тамбуре было трое: уже знакомый старичок-проводник, что топил печку, и еще двое незнакомых, видно, только что влезших на полустанке, но это были солдаты, а солдаты всегда и всем свои — в сырмятных полушубках, рукава сведены и воткнуты один в один, а винтовки зажаты под мышками.

— Пусти, отец! Будь человеком — пусти...— просил солдат.

— Не пущу. Сейчас уйду отсель, замок изнутри защелкну — и все дела, и баста, хоть пропади.

— Нет, ты нас пусти, отец. Не то мы сами не доедем и его не доведем...

Они препирались громко и напористо, но рты едва шевелились от стужи, и слова, отлетев, спекались в невнятицу.

— Не могу я вас пустить. Вам за него, я знаю, премию дадут, так? А мне — опять же из-за него,— мне что? Меня из-за него, наоборот, лишат премии, выговор влепят, а то и совсем попрут с работы... Ну нельзя, понимаете, нельзя! Да где же это видано, чтоб мертвяка, прости господи, чтобы труп тащить в пассажирский вагон?..

Только сейчас, уронив взгляд, Алексей обнаружил, что в тамбуре, если не считать его самого, было не трое, а четверо.

За валенками солдат у наружной двери лежало тело в мышастом бушлате, стеганых штанах, закорявившихся бахилах. Синяя кисть руки замерла в царапающей хватке. Было видно и лицо, опущенное тем же инеем, напоминающим отравную плесень, что была на стенках вагона.

Это мертвое лицо на миг показалось ему знакомым: узкая, в палец, полоска ломброзианского преступного лба, торчливые скулы, звероватый оскал зубов.

Право же, он без колебаний, если бы потребовалось опознание, изблещил бы в нем все того же бандюгу из Пычима: это он, точно он.

Но ведь Алексей всего лишь несколько дней назад видел его за сотни верст отсюда, в Соснах! Как же так? Или мертвая гримаса и опущка инея исказили до неузнаваемости, до схожести другое лицо?..

— Ну ладно, вот что,— сказал проводник.— Заходите в вагон по очереди. Один пускай греется, а другой пусть в тамбуре стережет,— старичок хихикнул,— чтоб третий не убег...

Пышущий холодом охранник ввалился в дверь следом за Алешей и сразу приник к печке.

— Что, поймали? — спросил Алексей.— Или застрелили?

— Да нет, нашли по следу, а он уж сам замерз... нашел время, дурья башка, чтоб бегать: пятьдесят градусов мороза.

— Пятьдесят?

— Сорок шесть было утром, а к ночи, поди, сильней... Сам загнулся и нас, гад, чуть до смерти не довел.

Солдат оттянул сыромятные, мехом внутрь, рукавицы, распротер пальцы прямо над колышущимися языками пламени.

— А бывает, что им все-таки удается? — продолжал осторожно расспросы Алексей.

— Бывает. Но те больше летом бегают, когда можно схорониться в тундре, подкормиться чем попало, хоть ягодой... Те, которые поопытней, они лета ждут, промеж себя говорят: «Вот зеленый прокурор придет, срок убавит». Это, значит, у них лето и есть зеленый прокурор...

Однако память Алексея все еще удерживала смертный оскал зубов — то ли в последней муке, то ли уже в потусторонней улыбке — и этот безобразный узкий лоб, как бы притянувший остриженное темя к самым бровям.

— А бывает,— спросил он, стараясь не выказывать особого интереса,— что человек, ну, беглый, что он хотел бы пробраться к югу, но заблудился, сбился с пути и вместо юга пошел на север и сам того не заметил?.. Я просто так спрашиваю: это может быть?

— Всяко бывает,— буркнул солдат и оглянулся на дверь.

Чутье не обмануло его: из тамбура постучали кулаком — напарник требовал смены.

Алексей хотел было еще раз выйти и присмотреться внимательно: тот или не тот? Но сам себя убедил в никчемности этого намерения. Какая разница? Ведь если даже спроворился убежать тот убийца, которого он впервые увидел в Пычине, как он шел под охраной к «черному ворону», озыркиваясь по-волчьи, ежась под невидящими взглядами людей, и как в Соснах он брел от вахты, опутанной колючкой, в колонне таких же злодеев в мышастых бушлатах,— если даже ему удалось совершить побег, то все равно он заплутался в снегах, сбился с пути, потащился вместо юга еще дальше на север, и задохнулся от стужи, и упал, и замерз, и теперь, никому не опасный, лежит в тамбуре, да и то под недреманным присмотром.

На какой-то миг его сердце тронула жалость к мертвому человеку, к покойнику, кто бы он ни был. Эта жалость вообще свойственна молодости, поскольку она еще не притерпелась к чужим смертям и поскольку само понятие смерти, загадку смерти она еще не примеряет к себе как нечто слишком отдаленное, о чем вполне возможно и не думать — впрочем, как и о загадке жизни,— но оттого боль стороннего сочувствия делается острее: жалеешь другого, а не себя, потому что тебя, может быть, и обойдет стороной эта напасть...

Он вслушивался в собственное сердце с придирчивостью диагноста: неужели оно так нетвердо, что может пожалеть кого угодно?

Но был слишком лютый холод в этом заиндевелем вагоне; и если даже его сердце смягчилось жалостью, то оно тут же и заледенело, отвердело от стужи, сделалось таким, каким, считал он, ему полагалось быть.

И еще очень кстати пришло воспоминание: как в Спас-Погосте, куда он недавно прибыл из Москвы и опоздал к рейсовому автобусу, как там в станционном зале, где на деревянных скамьях, крашенных под то же дерево, сидели впритирку, лежали, привалясь к мешкам, где орали младенцы и выясняли отношения бражники, как там между скамеек мерной поступью шагали лейтенант и два сержанта вот в таких же полушубках из сыромяти, заглядывали в лица, а те лица, что были обронены во сне, вздергивали, ворочали так и сяк, в профиль и анфас, изучая черты.

В общем, он мог быть вполне спокоен на этот счет: никто не убежит.

Возле печки опять появился проводник, зашуровал лопатой в ящичке с углем.

— А тебе, молодой человек, вроде бы на Стойбище сходить? Ну так собирайся, подъезжаем...

Поезд тронулся и ушел в туман как в небытие.

Проводив его взглядом, Алексей обернулся: увидел неподвижный вагон с теплящимся оконцем и окоченелым столбом дыма над крышей.

Было похоже, что это последний вагон поезда, намертво прикипев к рельсам, все-таки оторвался от хвоста ушедшего состава и остался стоять в тундре.

Алеша подумал не без опаски, что если дело так пойдет и дальше — если на каждой станции будет теряться по вагону, — то к концу пути дотянет лишь один чумазый, выбившийся из сил, еле ворочающий шатунами паровоз.

Но где же станция?

Заметил у вагона колышущийся свет ручного фонаря, пошел туда.

Мужик в необъятном овчинном тулупе, с заиндевелыми, обросшими сосульками усами топтался на ступеньке. Оказалось, что вагон стоит не на рельсах, а подле насыпи и колес у вагона нет, будто они отмерзли и отпали, — отъездился, стоит на культях, на приколе, на вечной стоянке.

— Скажите, где станция? — спросил Алеша.

— А вот...

Мужик, подняв фонарь, осветил стенку вагона. На ней кривоногими буквами было выведено: «Ст. Стойбище».

— Ясно, — кивнул Алексей. — А поселок далеко?

— Нет, недалеко.

Станционный смотритель — или кем он тут служил — повел фонарем в сторону, как бы высвечивая дорогу в пустынной тундре.

— Три километра. Прямо и прямо на огни... А хочешь — дождись утра, чайку попьем, обговорим житье. Только утро нынче позднее — к обеду.

— Нет, я пойду, — сказал Алексей.

У него не было ни малейшего желания сидеть в промерзшем вагоне без колес и ждать, покада настанет утро к завтрашнему обеду, а он еще и сегодня не ужинал.

— Ну тогда иди — прямо и прямо.

Алеша зашагал по скрипучему снегу. Через сотню метров оглянулся, но теперь уже и этот последний вагон, отставший, оторвавшийся от поезда, исчез в морозном тумане.

Шел прямо и прямо, как было ему указано, высматривая дальние огни.

Но это оказалось совсем не просто, поскольку не было возможности различить, где, какие и чьи огни в сплошном полыханье света, которым было залито пространство.

Полная луна рассиялась вполнеба, от краев ее диска выметнулись на четыре стороны, как лопасти пропеллера — нет, при чем тут про-

пеллер,— как мельничные крылья, но не мельница, нет, как лучи прожекторов, но тоже не они,— а как знаменье свыше, простерлись поперечины лунного креста.

И звезд не счастье. Они были так крупны и объемны — даже самые мелкие из них, ничтожные пылинки звездных вихрей,— были так близки, хоть дотянись и тронь. Еще они были подвижны: не только в ощутимом крене всего мироздания, но и каждая наособицу — они вращались, мерцая гранями, улавливая свет друг дружки и отраженно посылая его вовне.

При этом крупницы звезд в своем коловращенье издавали внятный шорох. Сначала он предположил, что это от его шагов, что это под его подошвами хрустает сухой снег, и остановился, вслушиваясь,— но нет, не снег, а шорох звезд в стылом небе.

Алексей подумал, что в такую холодную и ясную ночь эта высь не может обойтись без полярного сияния, что сейчас самая пора заняться сполохам где-нибудь на краю свода и покатиться безмолвным раскатом света, как раскатом грома, изумляя, повергая в страх все земное, переметнуться через небо и уйти за другой край, а потом выплеснуться с прежней стороны и погнать нахлестом бурун, погибельный девятый вал света, одновременно вычерпывая, выбирая на себя бездну, обнажая дно,— и обрушиться всею мощью на отлогий беззащитный оком. Но, как это ни странно, северное сияние отсутствовало: наверное, в небе и без того было слишком тесно от ночных светил, чтобы дать еще кому-то место и волю играть в нем.

Проваливаясь в сугробы до колен — чемодан плащом ложился на снег,— с трудом выдирая ноги, вынося туловище, еле владея спертым от стужи дыханием, Алексей с трудом одолевал метр за метром, испуганно озираясь, боясь, неровен час, тоже заблудиться и сгинуть, как тот, что лежал в тамбуре уехавшего поезда.

Самое главное, что впереди не было даже проблеска тех огней, о которых говорил мужик на станции,— только снежная равнина, наглядно вспученная, округлая, как глобус. Впрочем, она была отнюдь не гладкой. Белое пространство испещрено ямами и всхолмьями, и этот рельеф приобретал все более резкие очертания: снежные гребни становились хребтами, а ямы делались глубокими кратерами, отороченными по кольцу зубьями. Он догадался, почему это так: луна клонилась к горизонту, а поскольку ее свет преобладал в общем свеченье, то контраст света и теней усугублялся, световые пятна набирали яркость, увеличивались в размерах, а тени в свой черед вытягивались, удлинялись, делались острее.

Но смятенный дух Алексея уже по-иному воспринимал окружающий мир. Ему вдруг показалось, что все поменялось местами.

Что эта пустынная круглящаяся равнина, по которой он брел, оступаясь и проваливаясь, что это вовсе даже и не земля: ну где тут земля? нет под ногами земли, а только сыпучий порошок,— что это не земля, а луна, на которую он попал неисповедимым путем, закинут сюда и брошен на веки вечные, как тот оторвавшийся от поезда вагон на станции,— ну кому он нужен? кто озаботится его судьбой? кто захочет вернуть его обратно?

А в небе над ним это огромное светило — оно и есть Земля.

Ну да, он различал на сияющем диске темные пласты материков, и светлые пространства морей, и всю причудливость береговых линий. Или, может быть, наоборот: моря темны, а суша светла — он не знал что где, но это и не имело значения, важно было другое: что там, на Земле, осталось все, что ему знакомо и дорого, все родное ему, ведь он оттуда родом.

Там остались благодатные долины меж высоких гор, там раскинулись сады, отягощенные плодами, виноградники в спелых гроздьях — он, правда, никогда еще не видывал наяву этих долин, а только любовался ими в подвальном ресторанчике, где их запечатлел на сте-

нах искусный живописец, но все равно; там осталось теплое и ласковое южное море, в котором он, Алеша, тоже никогда еще не купался, хотя с детства мечтал об этом, зато видел в кино, как купаются другие... Конечно, там, на Земле, не всюду была одинаковая теплынь, а встречались и более суровые места: он вспомнил замерзшую Неву, где обмылки льдин, припорошенные снегом, присыпанные гарью, были наново впаяны, как мухи в янтарь, в прозрачный и чистый лед; и безлюдный в новогоднее утро Охотный ряд, по которому метались шустрые завитки поземки; и окраинные десятки Слободы, где низкорослые избы утонули в сугробах, а желтый свет их окошек едва сочился над уровнем дороги... Но даже те края — непогодные, знобкие, простудные — были гораздо милей его сердцу, нежели эти чужие лунные ландшафты, по которым он сейчас брел.

Они еще и потому были милей, что там, на Земле, остались все родные и близкие ему люди: мать, сколь ни натянуты были их нынешние отношения; смешная и добрая тетка Надежда Андреевна, у которой он воровал из буфета сахар, а она делала вид, что не замечает; и даже другая тетка, которую он никогда в жизни не встречал и о которой узнал лишь недавно во время поездки в Москву, увядшая красавица Вера, обитавшая в заграницах вместе с его двоюродным братом Полем, которого он тоже никогда не видел и не подозревал о его существовании, — даже они показались ему сейчас ближе, потому что были так отчаянно далеки, на другой планете, а ведь все-таки родня, родная кровь...

И не только о родне речь. Там, на Земле, осталась Клара, беззаветная в своей любви, посулившая родить ему сына, когда он вернется из дальних странствий (но откуда он вернется, с Луны? откуда еще никто не возвращался на Землю); и черноокая Светлана Дагирова, предполагавшая, что он что-то знает, хотя на самом деле он не знал ничего такого, чего бы не знала она сама и чего бы не знали все другие, вот разве что теперь, побывав на Луне, он мог бы похвастать, что знает нечто, чего никто не знает; и пепельнокудрая Лилька Панкратова, хотя они и поссорились, но ведь можно еще помириться, когда его вызовут на экзамены в Москву, только вот вопрос: как он узнает о вызове и как доберется отсюда, с Луны, до Химок?..

И даже совсем, казалось бы, чужие люди, которых ему не за что было любить и жаловать, даже они казались ему милей: редактор «Северной звезды» Семен Ильич Улитин, заславший его сюда, на Луну, не дав отдохнуть и понежиться на Земле; и энциклопедист Бубеев, уверявший, что «выпуклость» надо смотреть на «вогнутость», хотя и здесь, на Луне, бугры оставались буграми, а ямы ямами — ого, не сверзиться бы в эту! — и все-то он врал; Вась-Вась; и даже глухонемой литправщик Зыков, маравший и корезивший его писания, — даже он и все другие, которых не за что было любить, казались в отдалении не такими уж и скверными людьми, ну люди как люди.

В том-то и дело, что там, на Земле, были люди какие ни есть.

А здесь их не было совсем.

Здесь он был так одинок, что впору завывать, вскинув голову на лик Земли, как воют на Луну собаки.

Он шел, недоумевая: почему же он еще не замерз на таком лютом морозе, на таком долгом пути? Но он уже понимал, что в человеке заложено редкое свойство: умение приспособиться, притерпеться ко всему.

Ведь вот лишь час назад он околевал на полке вагона, в котором хотя и топилась печка, однако был адский холод. Но именно туда, в этот адский холод, просились пустить их, ломались солдаты в сырмятных кожухах, потому что в тамбуре мороз был еще более жгуч. А за стенкой вагона, в тундре, по которой тащился, скрежеща коле-

сами, поезд,— там была крошечная стужа, от которой леденеет кровь и сжимаются в кулак мозги.

Даже самый свирепый холод бывает чуточку теплее или холоднее другого холода.

Все на свете относительно. И горький пьяница Вась-Вась был прав отчасти в своих несуразных витийствах.

Алеша вспомнил, как прошлым летом в Пычиме он стоял у бурлящего пекла вагранки, вот-вот вскипит в жилах кровь и от него останутся одни мощи,— и тогда инженер Дидовик, сжался, вывел его из цеха на улицу, а там был полуденный июльский нещадный зной, но он овеял прохладой и свежестью после жара огнедышащей плавильни.

И если у вагранки было градусов пятьдесят сверху, а здесь, в этой окаянной тундре, пятьдесят ниже нуля, то он, Алексей Рыжов, уже испытал на собственной шкуре перепад в сто полных градусов.

Вот как вынослив человек.

Но жаль, что это лишь снаружи — в том мире, где он живет и обитает,— а внутри, в нем самом, один-единственный градус меняет все: тридцать шесть и шесть — ты здоров, а тридцать семь и семь — ты хвор, иди к врачу, проси больничный лист.

Впрочем, с горечью подумал он, какой больничный лист, какой врач, какое здоровье, какая хворь? Ведь все это бывает только на Земле, а здесь, на Луне, он лишен всего этого, он избавлен даже от хворей, потому что уже мертв — ну разве может живой человек оказаться на Луне? — он давно уже мертв, хотя еще шевелится, переставляет ноги, хотя в его помутненном сознании еще бродят странные мысли...

Внезапно он заметил, что в роящейся круговерти небесных светил, в скрещениях и преломлениях лучей возникло что-то новое... да-да, несомненно, этого не было раньше... это сразу изменило, перестроило мир.

Пыльные столбы света вознеслись над снежной равниной, множась, выстраиваясь колоннадой — словно античные колонны Карфагена, которые Алеша видел на старом фотоснимке в теткинском бюваре с застезжками: колонны, которые ничего не подпирали, кроме неба, не несли на себе никакого бремени, никакой тяжести, а стояли сами по себе, просто уцелев и не роняя собственного достоинства.

И, еще не видя самих огней, он догадался, что эти столбы света поднимаются над огнями людского жилья, над огнями поселка, к которым он держал упрямый путь, как указывал ему станционный мужик,— прямо и прямо, на огни.

Луна откатилась, отдалилась, опять заняв свое хотя и видное, но скромное место в небесах — все-таки это была Луна, а не Земля, с чего он взял, что Земля,— и звезды потускнели, поубавились числом, а сам небосвод почернел, он уже не источал того свечения, что раньше, потому что появились другие, появились живые огни.

В морозную пору любой земной свет стремится ввысь, уходит в столб, в вертикаль — таков закон.

Но пройди еще сотню шагов, Алексей догадался, почему он не сразу обнаружил эти огни, этот поселок в голой тундре.

Крыши одноэтажных строений были вровень со снежным покровом: продолговатые дощатые бараки врыты в котлованы, чтобы им легче противостоять катящимся по тундре буранам, чтобы их не продували насквозь ледяные ветры, чтобы им быть поближе к тому теплу, которое хранили земные недра, ведь как-никак это была Земля.

Дежурный с красной повязкой на рукаве долго изучал его паспорт, даже те странички, где ничего не было, вчитывался в командировочное удостоверение, потом сказал:

— Свободную койку найдем... но сначала вали в баню, пройди санобработку, а там дадут квиток — предъявишь здесь.

— Какая баня? Какой квиток? — опешил Алексей и посмотрел на часы. — Половина двенадцатого, ночь... какая баня может быть в это время?

— У нас баня круглосуточно, поспеешь.

— Да не нужна мне ваша баня! Сами идите в баню, если надо... А я спать хочу. Я з-замерз совсем, черт подери, рук-ног не чую, ведь пятьдесят градусов!

— Ничего, — усмехнулся дежурный, — там, в санпропускнике, согреешься: выдадут одежду с прожарки — руки отдернешь, горячо, не обожгись...

— Какая еще прожарка? — возмутился гость. — С войны эти прожарки — вот так! — Он секанул ладонью по горлу. — Нажарились, хватит... Или у вас тут еще война? Или слух досюда не дошел, что уже кончилось?

Лицо дежурного построжело пуще прежнего, сделалось совсем неприступным.

— Война не война, а имею приказ: без квитка, без санпропускника в гостиницу не помещать — и весь разговор.

— Какой приказ? Чей это приказ?

— Начальника Стойбища. Даден мне под расписку, а обсуждать приказы не положено.

Алеша собрал все силы, хотя они уже иссякали — так хотелось спать, — напряг всю выдержку, чтоб не сорваться на крик, не доводить дело до громкого скандала. Снова полез за пазуху, достал редакционное удостоверение, вдобавок к паспорту и командировке выложил на стол перед дежурным еще красную коленкоровую книжницу, на которой было тиснуто серебром «Северная звезда».

— Я специальный корреспондент республиканской газеты, приехал сюда по заданию редакции. Меня не касаются ваши порядки, кто бы их тут ни завел. Поймите же в конце концов, что я не подчинен вашему начальству, у меня есть свое. И поэтому...

— Со своим и выясните, — перебил дежурный. — А нам оно до пупа. Наше дело — выполнять приказы собственного начальства. Мы и выполняем, иначе голову сымут. Лучше вали, парень, в прожарку, не трать зря времечка — и впрямь скоро двенадцать...

— Нет уж, я не со своим начальством буду выяснять этот вопрос, а с вашим! — взорвался Алексей. — А вы за это ответите... Как звонить начальнику? Какой номер?

Схватил со столика еще немymi от холода пальцами эбонитовую трубку.

— Как его фамилия? Ну!

Дежурный моргал обалдело. Лишь сейчас с его лица сползла мина грубого высокомерия, сменившись выражением суеверного страха и жалостливого сострадания.

— Турубанов... первый...

— Дайте первого, — сказал Алексей в трубку. — Турубанова мне. Если нет на работе, соедините с квартирой.

— Даю кабинет, — отозвался женский голос.

Ну конечно, еще бы, усмехнулся в душе Алексей. Он знал о ночных, приуроченных к Москве бдениях начальства повсюду — что в самой столице, что в Городе-на-Реке, что в каком-нибудь Стойбище. Покуда хозяин в своем кремлевском кабинете — а он работает ночами, и вызывает к себе, и звонит, и спрашивает со всею строгостью, — до той поры, покуда он не уезжает, никто не смеет покинуть своего кабинета, не отходит от телефона, пребывает на месте, торчит как штык.

— Турубанов слушает, — ответил в трубке глуховатый баритон.

— Здравствуйтесь, — сказал Алексей. — С вами говорит Рыжов, спецкор газеты «Северная звезда». Я только что прибыл сюда по командировке. У меня важное и срочное задание редакции. Хочу уст-

роиться в гостинице, но тут... извините, но тут происходит какая-то ерунда: меня гонят в баню, ссылаясь при этом на ваш приказ. Я объясняю товарищу, что это недоразумение,— Алексей повернул голову вместе с трубкой к дежурному,— но тем не менее...

— Зайдите,— сказал баритон в трубке.

— К вам? Да, я непременно зайду, у меня к вам есть ряд вопросов. Переночую, отдохну, а завтра....

— Зайдите сейчас.

— Что? Сейчас? Но я даже не знаю, где...

— Вам покажут. Соседнее здание.

Мембрана щелкнула, оборвав беседу.

Он вышел на улицу, находясь в предчувствии нового ожога стужи, а ведь он еще не оправился от прежнего, и его опять обожгло, пронизало до костей, будто бы он был наг.

Но желтые окна напротив были совсем рядом, и этот путь еще можно было осилить, и уж в любом случае это было предпочтительней, чем среди ночи, валясь от усталости, засыпая на ходу, тащиться в баню,— и где еще эта баня?

Теперь он отдавал себе отчет в том, почему его так возмутил — более того, оскорбил! — сам факт, что его посылают в баню, в вошебойку. Память еще слишком отчетливо, в деталях и подробностях, хранила обстановку эвакуационных тыловых санпропускников. Да что там память! Ноздри еще чуяли запах раскаленных проволочных колец, которые выбрасывали из окошка прожарки вместе со спекшейся, закоробившейся, задубевшей от жара одеждой, исподней и верхней... Он вспомнил, как в сорок четвертом мать приехала в Городище, чтобы забрать его из детдома, увести с собой: ему пришлось снова остричься, хотя и так он был стрижен под ноль, снова довелось понюхать каленого жара пропускника, выжигавшего каждую складочку, каждый шов белья. И все равно, когда они доехали до Ленинграда, он опять был весь завшивлен, и опять прямо с вокзала пришлось ехать в баню, в прожарку.

Алексей знобко и брезгливо повел плечами, сгоняя с них щекотливое копошенье, хотя и понимал, что это вовсе не от мерзостных насекомых, а это холод проникает под одежду и пупырит тело.

Конечно же, теперь, когда он стал взрослым, когда он сделался известным и значительным человеком, ему не могло не претить напоминание о той поре, когда он был жалкой вшивотой...

Однако что за нравы в этом Стойбище! Хамоватые дежурные, санпропускник, дикие приказы о том, чтобы гостей среди ночи отсылать в баню... И впрямь, знают ли здесь, в этой глухомани, о том, что война кончилась почти три года назад?..

В коридоре приземистого здания дальняя дверь, обитая кожей, была распахнута настежь — он понял это как знак, что ему надлежит войти туда.

В приемной никого, лишь зачехленная машинка. И еще дверь на таком же плотном подбое — он не стучась приоткрыл.

— Разрешите? Здравствуйтесь.

— Здравствуйтесь.

Из-за письменного стола встал мужчина лет сорока, светловолосый, в неброской проседи. Он был в военном: галифе, китель, и вполне возможно, что на плечах его даже были погоны, но меховая безрукавка покрывала их. Зато Алеша с удовлетворением отметил, что обут он в такие же точно фетровые бурки с отогнутыми голенищами, как на нем самом, и это придало ему уверенности, что он встретился с человеком своего круга и они поймут друг друга с полуслова, обо всем договорятся без хлопот, а то ведь какие-то странности, какая-то баня.

— Турубанов.

— Рыжов. Очень приятно.

Хозяин кабинета сел за стол, без улыбки справился:

— С чем пожаловали?

Алексей выложил ему все, с чем пожаловал: и красную книжицу с серебряным тиснением, и командировочное удостоверение, где все было черным по белому.

Начальник Стойбища — почти с той же дотошностью, что и туповатый дежурный в гостинице,— вчитывался в его документы, а потом повторил свой вопрос, но уже в ином — это сразу уловил Алеша,— в еще более суровом тоне:

— Зачем вы приехали?

— То есть как?..— растерялся Алексей.

На минуту к нему вернулось то же отдающее кошмаром предположение, которое уже возникало на улице, когда он шел сюда: что в этом безвестном Стойбище, затерянном в тундрах, люди настолько оторвались от жизни, от остального мира, что, может быть, они и впрямь еще не знают о том, что война давно кончилась; что, может быть, они не имеют никакого понятия и о других недавних событиях, скажем, о денежной реформе, и до сих пор — вот умора! — все еще продают и покупают здесь за старые деньги, которые ничего теперь не значат и ничего не стоят; что они — подумать только! — уже год или два не читали газет, не слушали радио: допустим, вышла из строя единственная, как на дрейфующей льдине, рация — и баста; и быть может, этот человек в меховой жилетке, начальник Стойбища, впервые слышит о такой газете «Северная звезда» и теряется в догадках, каким образом этот приткий корреспондент спроворился попасть сюда, на дрейфующую льдину,— неужели спустился на парашюте?..

Но мечась в этих недоуменных и опасливых мыслях, Алеша вдруг увидел на письменном столе — рядом, у локотка — рыхлую кипу газет, и сверху как раз лежала «Северная звезда», и, кажется, это был совсем свежий номер, которого он еще не читал. Но тем более: значит, хозяин этого кабинета и этого Стойбища все-таки регулярно почитывал «Северную звезду» и обязан был иметь хотя бы общее представление о том, что пишут в газетах, и кто пишет, и как иногда приходится газетчику мытариться в дальних странствиях, чтоб было что написать, а другим почитать...

— Видите ли...— сказал Алексей, стараясь не выдавать своего раздражения, а быть рассудительным и терпеливым, поскольку — это он уже понял — здесь, в Стойбище, вряд ли мог оказаться еще кто-то, обладающий большей властью, чем этот человек в меховой безрукавке, кому он сейчас мог бы позвонить по телефону в служебный кабинет или на квартиру и выразить свое недовольство тем, что его недостаточно радушно принимают; нет, он уже понял, что здесь и на сто верст вокруг нет большей власти.— Видите ли,— сказал он,— я выполняю важное задание редакции газеты «Северная звезда», вот этой,— он тронул газету, лежавшую сверху,— мне поручено проехать по всей магистрали из конца в конец и написать серию очерков под рубрикой «Энтузиасты Севера». Я уже побывал в Соснах, взял материал о нефтяниках — это, знаете ли, очень интересно! — и мне еще предстоит добраться до Тундры, написать о шахтерах Заполярья...

— Ну и добирайтесь,— прервал его речь Турубанов.

— Нет, погодите...— протестующе вскинулся Алеша.— Я ведь не случайно оказался здесь, в Стойбище, не отстал от поезда, не заблудился. В моем командировочном удостоверении — взгляните еще раз— в числе пунктов назначения прямо указано: Стойбище... Вот я и приехал в Стойбище.

Турубанов, прихмурясь, опять погрузился в чтение его командировки.

И, воспользовавшись этим, Алексей Рыжов заговорил с особой убедительностью, со всем пылом, на какие был способен:

— Когда я уезжал, редактор «Северной звезды» Семен Ильич Улитин подчеркнул: это небывалая стройка, эпохальная стройка! И там еще никто из нашего брата газетчика не бывал, ты, то есть я, он меня имел в виду,— объяснил Алеша, на мгновение скромно потупясь,— ты, сказал он, будешь первым! Тебе предстоит открыть эту стройку, открыть эту тему...

— Открыть? — Турубанов перевел быстрый взгляд с бумажной полоски на его лицо, высвеченное исподним светом настольной лампы. И повторил: — Открыть?

— Ну да. Он так и сказал: тебе, то есть мне, предстоит открыть, а уж за тобой, то есть за мной, потянутся другие газетчики — потянутся, как гуси...

— Как гуси? — переспросил начальник Стойбища.

И, поразмыслив, аккуратно сложил его командировочное удостоверение, сверху наложил, как гнет, книжицу с тиснением, протянул:

— Завтра в двадцать два тридцать вы уедете отсюда. Раньше поезда, к сожалению, нет.

— Но почему?

— Незачем нас открывать. До открытия еще далеко... Мы прокладываем трассу в исключительно трудных условиях, буквально прорубаясь сквозь скалы. А климатические условия здесь — сами небось почувствуете... Трудно. Очень трудно. Наша дорога строится без плановой сметы, по фактическим затратам: сотней миллионов больше, сотней миллионов меньше — не имеет значения, все равно... Вы понимаете, что это значит? Думаете, государству денег не жалко? Жалко. И промбанк у нас прижимистый. Но это значит, что грудности здесь — сверх любых допусков, выше всех исчислений... Главное — построить дорогу. Построить ее в срок. И мы построим. Вот тогда пусть едут корреспонденты, пусть тянутся... вы сказали, как гуси? Ну вот тогда пусть и гогочут!

Турубанов, смягчив взгляд и тон, посмотрел на него.

— Не обижайтесь. Если так уж хочется быть первым — успеете. Вот приезжайте через полгода, нет, чтобы быть точным... — он пошуршал листками настольного календаря, — через пять месяцев, да, десятого июля. Когда мы прорубим это окно в Азию. Уложим колею, наведем мосты. И я отправлю вас первым поездом — с цветами, с флагами, с духовым оркестром, — да что там, я вместе с вами поеду. Через Полярный Урал, по врге, по ледниковой долине туда, за Камень, к Оби, в Салехард!

Но этот щедрый посул не развеял уныния гостя.

— Я не хочу... не хочу на готовенькое, понимаете? — простонал Алексей. — Об этом и писать неинтересно, когда все уже сделано. Я должен сам увидеть, как прорубаются сквозь скалы, как штурмуют этот Камень. Вы думаете, я боюсь? Нет, не боюсь... если чего и боюсь — так упустить, прозевать. Я и так уже все пропустил, все прозевал в своей жизни и ни в чем не участвовал... Так хоть это! А вы предлагаете мне прокатиться с духовым оркестром, зовете к шапочному разбору. Товариш Турубанов... — взмолился он.

— На трассу я вас не пущу.

— Почему?

— Не пущу. Кстати, и сама трасса не здесь, не рядом. Это довольно далеко отсюда, Собь-Елецкий перевал... а здесь, в Стойбище, только управление стройки.

— У меня есть время. Я готов ехать на трассу, где бы она ни была. Лишь бы увидеть своими глазами, как работают люди.

Взгляд Турубанова опять померк, сделавшись совсем отчужденным, даже враждебным.

— Не увидите, — сказал резко. — Сейчас на трассе не работают: актированные дни — мороз за пятьдесят, а в горах еще и с ветрами.

Прижимы, ущелья забиты снежными пробками — местами четырехметровой глубины, — и никак не удается расчистить... Мы вынуждены активировать день за день. Простаиваем. А ведь дату пуска нам не отсрочат ни на день... Понимаете? Опоздаем — голову съмут с плеч и все!

Начальник Стойбища уперся лбом в сомкнутые на весу кулаки: хотел того или не хотел, а вышло, что показал наглядно, как бьются лбом о камни, а они не уступают, не поддаются, не дают продвигаться ни на пядь...

Алеша, тоже близкий к отчаянию, подумал, что есть, наверное, лишь одно-единственное средство достучаться в замкнутую душу человека, если хочешь что-то узнать о других людях, — спросить у него о нем самом.

— Простите, я не знаю вашего имени-отчества.

— Евгений Савельевич.

Алексей привычно сунул руку в карман за блокнотом, за карандашом.

— Не надо, — остановил его движенье Турубанов. — Имя-отчество и так запомните, а больше ничего записывать не придется.

— Хорошо, — покорился корреспондент. — Евгений Савельевич, эта стройка — так мне говорили — возникла совсем недавно. А где вы работали до нее?

— Строил БАМ.

— А что такое... БАМ? Извините, я впервые слышу.

— Байкало-Амурская магистраль, дублер Транссибирской железной дороги. Ее начали строить перед войной. Точней, сама идея БАМа, изыскания, проект — все это еще раньше, гораздо раньше. Но восточные перегоны были уложены в сорок первом году — начинали оттуда...

Алексей боялся теперь проронить хоть звук, мучась, как болью, невозможностью вынуть из кармана затрепанный в дороге блокнот. Удержит ли память все эти неожиданные названия, цифры, даты?

— Война заставила прекратить стройку. А те участки колеи, о которых я сказал, в сорок втором пришлось демонтировать и срочно перебросить к Волге: там в степи построили рокаду с севера, от Иловли к Сталинграду. Не будь этой дороги... — Турубанов помолчал, колеблясь, однако досказал: — Не будь этой дороги, Сталинград вряд ли бы выстоял.

— Вы там были?

— Да.

— Но ведь Сталинград — это уже давно, почти история. Почему же не возобновили стройку на Байкале, на Амуре? Почему вы не продолжаете строить... БАМ, так, кажется?

— Так. Видите ли, тогда, в канун войны, необходимость была острой, крайней: японцы оккупировали Корею, захватили Китай, затевали провокации на нашей границе — помните, Хасан, Халхин-Гол? — Он с некоторым сомнением взгляделся в лицо корреспондента. — Или вы тогда еще были...

— Нет-нет, я все это помню, — заверил Алеша и добавил: — Мой отец был бригадным комиссаром.

— Значит, должны понимать. В любой момент японцы могли нанести удар и парализовать Транссибирскую дорогу — ведь до нее там рукой подать...

— Да, я понимаю.

— Ну а теперь положение изменилось в корне. Японцы разгромлены и вряд ли сумеют в скором времени прийти в себя. Из Кореи их выставили — правда, на юге там хозяйничают американцы. Зато в Китае побеждают красные, вот-вот... — Турубанов, покосившись на ворох газет, закончил: — Трансполярная магистраль сейчас для страны важнее.

На миг Алексей представил себе тот бесконечный, студеный, спыткливый путь в три километра — от одинокого вагона на станции до этих вот врытых в землю барачков, — путь, который он только что с трудом одолел; и представил себе то, чего не видел въяве, — скальный коридор меж утесов Полярного Урала, забытый плотным пыжом снега; и представил себе русло Оби в чешуйчатом панцире ледяных торосов, которое тоже пока не видел и, кажется, не имел надежды увидеть сей раз; и вдруг осознал ничтожность этих расстояний и пространств по сравнению с бескрайней далью Сибири и невообразимой для ума далью Дальнего Востока, — голова у него пошла кругом, закружилась знакомым кружением слева направо, выворачивая шею.

Но в этой вертящейся голове катался, как шарик, еще один вопрос, который следовало задать.

— Евгений Савельевич, вот вы говорили о Байкало-Амурской дороге, о рокаде к Сталинграду... их строили рабочие, инженеры, и, конечно, среди них были лучшие люди... Скажите, пожалуйста, кроме вас, кто из них работает здесь, на строительстве Трансполярной магистрали? Может быть, вы назовете несколько фамилий?

Начальник Стойбища поднялся, вышел из-за стола, прошагал, поскрипывая бурками, к двери кабинета и остановился подле нее.

Алексей понял, что его выпроваживают без лишних слов.

У порога хозяин пожал ему руку.

— Запомните, десятого июля — первый поезд на Салехард. Можете сказать вашему редактору, что я пригласил вас в этот рейс... А завтра в двадцать два тридцать прошу вас отбыть из Стойбища. Командировку отметите у секретарши.

— Хорошо, до свиданья.

— Нет, еще не все, — удержал его руку Турубанов. — Сейчас отправляйтесь в баню, пройдите санобработку, получите справку и с ней — в гостиницу. Извините, но приказ существует для всех, и я не вижу причины делать из него исключения... Баня у нас направо третье строение, увидите — высокий дымоход... До свиданья.

Назавтра к обеду, когда слегка развиднелось, он вышел из гостиницы подышать морозцем.

Туман осел, и в створе улицы, между низкими крышами барачков, за простертой белизной равнины он увидел черный дымок паровоза — состав шел на юг, ему же надо было еще далее на север.

А в другом, противоположном конце этой единственной улицы, тоже за белой скатертью тундры, отчеркнув эту белизну от белесого сумрака неба, тянулся горный хребет, то острозубый, то пологий, стертый ледниками, и лишь в одном месте эта цепь прерывалась, будто потеряв звено, — Алеша догадался, что там и был Сось-Елецкий перевал, по которому тянут дорогу.

Стремительный снежный вихрь приближался с той стороны, обрстая визгом полозьев, топотаньем копыт, гортанным и веселым криком:

— Ко! Ко-о-о!.. Ко-о-о!

По улице на бешеной скорости промчалась оленья упряжка, и в считанные мгновенья, покуда она была перед глазами, Алексей успел увидеть все: облепленные инеем, как мыльной пеной, дымящиеся бороды оленей, ветвистые, неодинакового росчерка — даже на одной голове не знающие равенства и симметрии — рога с припухлыми набалдашьями, дюжину неутомимых ног, легкие, как перышко, нарты, длинный шест в руках погонщика, его совик из того же оленьего меха, сужающийся от подола кверху, как юрта, смуглокожее, глазки в щелку, лицо (ненец, дитя природы) — все пронеслось и исчезло, и лихой клич сник вдали:

— Ко-о-о!.. Ко-о!

Он усмехнулся: ну хоть что-то, хоть э т о он здесь увидел.

Конечно, его не могла не снедать забота о напрасном приезде в Стойбище. Ведь он так и не достиг своей гордой цели: раньше всех написать о строителях Трансполярной железной дороги. Ему не разрешили, его не пустили на трассу, указали от ворот поворот. Обидно... И дело даже не в обиде, не в журналистском померкшем азарте. Хуже: он не выполнил редакционного задания, может быть, самого важного из тех, что были ему заданы.. Как и чем он оправдывается?

Однако в глубине души таилось и оправдание, и утешение, и, более того, даже похвала своей осмотрительности: ведь самым трудным условием в его нынешней поездке была отнюдь не сноровка обязательно и непременно все увидеть, а напротив — увидеть лишь то, что нужно для дела, что годилось для газеты, а то, что не нужно и не годилось, того и не следовало видеть, на то и не стоило обращать внимания. «Что надо — то видь, а что не надо — то мимо глаз...» — вспомнил он поучение Улитина, слышанное еще при первой их встрече в редакции, когда Алеша будто бы невзначай наведалься в «Северную звезду».

Так вот: с этой точки зрения все обстояло благополучно и правильно, он был вне упреков. Его не пустили на трассу, не разрешили писать об этой стройке просто потому, что о ней еще рано писать, а он и не настаивал сверх меры, сверх приличий. Он мог считать исправно выполненным свой служебный долг: он не видел того, чего не следовало видеть, и не будет писать об этом, не сболтнет лишнего — значит, все правильно.

Его путешествие близилось к концу, он был уже на пороге своей давней, романтической, детской еще мечты — побывать за Полярным кругом, в Заполярье.

А накануне отъезда ему говорили, что Северный Полярный круг, обозначенный на карте цепочкой настойчивых тире, проходит по той же параллели, на которой расположено Стойбище, где-то тут.

По снежной тропинке шагал прохожий с авоськой, в которой побрякивали жестью о жесть смазанные тавотом банки тушенки.

— Здравствуйте,— обратился к нему Алексей Рыжов,— будьте добры, не скажете ли, где здесь находится Полярный круг?

— Скажу,— с готовностью откликнулся прохожий, кажется, очень обрадованный возможностью показать заезжему человеку единственную местную достопримечательность.— Вот здесь...— Он указал на стрележь улицы.— Вот здесь, по самой середине проходит Северный Полярный круг. Собственно, улица и проложена с таким расчетом, чтобы по самой середине... у нас это все знают, даже детишки... так что пожалуйста.

— Спасибо,— поблагодарил Алеша,— большое спасибо.

И выждав, покуда прохожий с тушенкой отдалится, он торжественным мерным шагом пересек полосу снега, на котором были еще свежи выбоины от оленьих копыт и блестел четкий след санных полозьев,— пересек и вернулся обратно.

Он понимал, конечно, что эта линия вообще-то достаточно условна — и на дороге и на карте,— но он так долго мечтал о ней, что поневоле задохнулся от волнения. Кроме того, им владело сознание важности самого момента: он отдавал себе отчет в том, что эта линия — нечто большее, нежели воображаемая граница между Приполярьем и Заполярьем. Нет-нет, это было гораздо значительней: он заступал сейчас какую-то черту в своей жизни — черту между тем и этим, хотя он и сам еще не представлял себе, между чем и чем.

И, поразмыслив, он еще раз пересек улицу туда и обратно для верности, в запас.

Ударил колокол. Клеть сорвалась и полетела вниз, как в пропасть, кишки повело к горлу. Потом возникло спасительное ощущение того, что лифт завис в воздухе, однако мимо глаз неслись — вверх, вверх — сырые стены шахтного колодца. Падение было очевидным и стреми-

тельным — сердце считало секунды, — пол ткнулся оземь, пружинисто подпрыгнул, замер.

Они вышли на площадку рудничного двора, освещенную так ярко, что показалось странным, зачем они нацепили на каски круглые лампочки, зачем навесили на пояса тяжелые аккумуляторы — вон как светло.

У клетки дожидались подъема шахтеры, человек десять. Один спросил:

— Как там погода наверху? Не тает?

— Нет. Минус тридцать шесть, — ответил Ерофеев, механик, которому поручили водить по шахте корреспондента. — Метет сильно.

Алексей догадался, что здесь это принято, под землей: справляться о погоде на земле у только что спустившихся людей, как если бы они прибыли из дальних краев.

Он коротко, но пристально взгляделся в лица этих людей, толпящихся у клетки, пытаясь прочесть что-либо, но лица были одинаково и непроницаемо закопчены, лишь страшно поблескивали белки глаз и зубы, а их одежда была точь-в-точь такая, какую выдали Алексею и его провозжатым: брезентовые куртки и штаны, каски с лампочками под козырьком, резиновые сапоги — но у них-то, вновь прибывших, все было еще чистым, а у этих, ждущих подъема, все было покрыто густым слоем угольной пыли.

Опять тренькнул колокол, клеть вознеслась.

— Нам сюда, — сказал Ерофеев, двинувшись направо по широкому коридору, где бетонные стены хранили следы побелки, вдоль них тянулись плети кабеля, а под ногами были рельсы узкоколейки. — Это называется откаточный штрек...

Алексей достал из робы блокнот и пометил, как называется, но, хотя они еще только шли к углю, страничка сразу запятналась сажевыми отпечатками пальцев.

В черном зеве штрека показались два электрических глаза, нагнувшись гул.

Ерофеев протянул руку, заставляя их посторониться, прижаться к стене.

Мимо проследовал электровоз, тянущий за собой вереницу вагонеток, доверху груженных поблескивающими глыбами угля.

— Это оттуда? — прокричал Алексей сквозь гул и лязг.

Он привык к тому, что результат работы чужих рук, как правило, попадался ему на глаза раньше, чем он видел сами эти руки.

— Да, наверное, это из лавы Сидорова, — подтвердил механик, — во всяком случае, с того участка.

Но когда электровоз сгинул и они прошли сотню шагов, штрек неузнаваемо переменялся. на стенах уже не было бетона, взамен тянулись доски, по которым обильно сочилась влага, и на этой сырости разрослась патлатая плесень, никогда не видевшая иного света, кроме огней электровоза и огоньков горняцких ламп, но ей, наверное, было достаточно и этого либо совсем ничего не требовалось: и так хорошо, было б за что уцепиться и была б вода, а воды тут хватало. Сапоги хлюпали по лужам, и когда Алексей взглядывал себе под ноги, он видел в потревоженной черной воде, в ряби пляшущий луч шахтерской лампочки и дробящееся на части опрокинутое свое отражение: громадные ноги в резиновых сапогах, коническое туловище и маленькую голову с огоньком во лбу — таким он был в луже.

— Ну да, — сказал он, размышляя вслух, — здесь, наверное, много воды потому, что вечная мерзлота... ведь она и здесь тоже, на глубине?

— Что? — с озабоченной готовностью переспросил шагавший рядом спутник.

Алексей повернул голову, высветил его своей лампочкой и обнаружил, что это уже не Ерофеев — наверное, механик, которому этот

путь был привычней, забежал вперед,— а рядом с ним сейчас шел Валентин Владимирович Махнач, инспектор политотдела по культуре, которого прикрепили к Алексею Рыжову на весь срок его пребывания в Тундре, чтобы он его сопровождал повсюду, сводил с необходимыми людьми и давал разъяснения по всем вопросам.

Вот почему провожатый засуетился, уловив вопрос, но не услышав, какой именно.

— Здесь, наверное, вечная мерзлота...— повторил Алексей, но не стал договаривать.

Он уже сообразил, что Махнач не является крупным авторитетом в горняцком деле и, вполне вероятно, что он, как и сам Алексей Рыжов, нынче впервые в жизни спустился в угольную шахту. Во всяком случае, это можно было предположить, видя, как он неловко и опасно переставляет ноги в слякоти, как растерянно озирается вокруг окропленными стеклами своих очков, как дышит надсадно и порывисто — впрочем, он был грузен телом, одутловат, хотя вовсе и не стар годами.

Алексей поспешил догнать Ерофеева: тот хоть знает в этом сыром подземелье все ходы-выходы, с ним не заблудишься, не пропадешь.

Впервые у него на душе возникло гнетущее и мрачное чувство, какого он никогда прежде не испытывал: вокруг был кромешный мрак, и тяжкие своды нависали над головой, и было страшно подумать, какая толща земли давила на этот кротовый ход... Как обычно случается, вспомнились нехстати речи главного инженера пычимской плавильни Дидовика: «Чудские могилы? Сами себя хоронили? Ерунда... Это не могилы, а копи, да-да, самые настоящие копи... они вели проходку по всем правилам горного искусства: шахтная крепь, стойки... только, понимаете ли, даже при соблюдении техники безопасности случаются обвалы, катастрофы... тогда земля и хоронит людей заживо, а потом находят скелеты — много, скелет на скелете... и придумывают красивые сказки».

Он ощутил озноб на спине: успел продрогнуть в этой мокряди.

Они еще долго плутали в лабиринте подземных ходов, поднимались, спускались.

— Осторожно, здесь круто,— предупредил Ерофеев, останавливаясь у темного лаза, из которого наружу пробивались электрический свет, напряженный рокот, слышались порой живые голоса, отдаленные и гулкие.— А где майор?

— Я здесь,— пропыхтел Махнач за плечом Алексея.

— Пошли!

Спускались, цепляясь за шероховатую стенку забоя, ставя боком и на ребро подошвы сапог, принув головы.

— Богатый пласт — метр семьдесят,— сказал механик.

Врубмашина работала близко, в верхнем ярусе лавы. Мощный прожектор бил навстречу, слепя, и Алексей разглядел как следует машину, лишь миновав ее. Она, плоская как утюг, лежала брюхом на породе и трудно ползла в гору, выбирая на себя трос. Из ее бока торчало железное крыло, по которому бежала цепь, похожая на велосипедную, только много больше: крупные и острые зубья цепи подрезали пласт угля, прогрызали в нем глубокую щель.

— Это называется бар! — прокричал Ерофеев в ухо Рыжову, показывая на зубастое крыло.— Обратите внимание, как машинист ведет заруб, как он чисто берет: ни вершка не оставляет, будто слизывает. Молодец!..

— Да, я вижу! — Алексей наскоро записал в блокноте про бар и насчет чистой работы, все гуще пятная страницу сажей.

По железным рештакам, переваливаясь и грохоча, скатывались глыбы жирного угля, их сопровождал почтительный шорох отколовшейся дробной крошки.

А там, где ниже врубовки уже была отпаленная пустота, крепильщики вколачивали меж кровлей и полом деревянные стойки.

На борту машины было начертано мелом «5=4», и Алексей хотел уж было справиться, как понимать эту арифметику, но его опять опередил своими пояснениями Ерофеев:

— Эта врубмашина называется ГТК-3: горловская тяжелая канатная! А скоро мы перейдем на горные комбайны!.. — надрывал в шуме связки механик. — Понимаете, наша «Капитальная» считается самой старой шахтой в бассейне, но здесь не то что обушка или кайла не выдывали — даже отбойного молотка! У нас сразу пошли врубовки!..

Пусть это было и важно, но Алексея прежде всего интересовала не машина, а человек.

Лицо машиниста было тоже сплошь залеплено черной пылью, но белки глаз скосились — и в них была не то чтобы настороженность, а скорей приглядка.

Ведь Сидоров, наверное, не знал, что в его лаву нынче пожалует корреспондент газеты, а если его и успели предупредить об этом, то он не мог знать заранее, как тому глянется его работа и как он сам понравится, хорошо о нем напишут или худо... Впрочем, нет, подумал Алексей, эти знатные стахановцы, лучшие люди, как правило, уже достаточно избалованы вниманием и отлично понимают, что худо о них никто не напишет, но все равно даже самый лучший и самый знатный человек не может не испытывать смущения и беспокойства, зная, что вот опять явились по его душу писать о нем.

И еще Алексей подумал, что корреспондентская должность дает известные преимущества: ведь тот о нем ничего не знал, а он уже загодя все знал об этом человеке — что ему двадцать лет, что он уроженец здешних северных мест, окончил ремесленное училище и еще курсы механизаторов, кандидат в члены партии и депутат горсовета, а недавно награжден орденом Трудового Красного Знамени, — и более того, он знал о нем даже такие подробности личного плана, что не женат, не пьет, не курит. Все эти сведения подобрали в отделе кадров, а потом еще проверили и согласовали в управлении комбината, когда понадобилась кандидатура для очерка, так что не было причин сомневаться, что кандидатура всесторонне взвешена и годится на сто процентов, что в ней не обнаружится ни случайной червоточинки, ни малейшего изъяна, а будет все как надо.

И, собственно, Алексею пришлось самому облачаться в шахтерскую робу, спускаться в лаву и ползать тут на карачках лишь затем, чтобы увидеть своего героя при деле — как он тут рубает уголек.

— Клим Гаврилович. — прокричал он, заглянув в блокнот, — значит, вы родом из Троицкого Посада?

Врубмашинист зажал реверс, выключил ход.

— Оттуда...

— Скажите, пожалуйста, вот вы сами — Сидоров... а вам не доводилось встречаться в Троицком Посаде с Матрешей Даниловной Сидоровой?

— Как же нет? Родная бабка. — улыбнулся он.

— Ваша бабушка? — оживился Алексей.

Он почуял, что репортерское счастье само идет в руки: знатный печорский механизатор оказался внуком знатной печорской сказительницы. Вот это была удача!

Правда, предстояло уточнить один деликатный и, может быть, даже печальный вопрос, поскольку еще минувшим летом директор Дома народного творчества Матвей Кузьмич Малафеев делал намеки, что старуха сильно болела и должна была всенепременно помереть. Но, конечно, справиться об этом надлежало со всей осторожностью:

— А как она поживает? Как ее здоровье?

— Не знаю... Сей год я в Сочи ездил, в санаторий, а в деревню не заезжал. Так что не знаю.

— А вы ей разве не пишете? Или она вам не пишет?

Врубмашинист, стряхнув с руки брезентовую рукавицу, вытер тылом ладони губы — и рука сделалась такой же черной, как и лицо.

— Я-то не пишу, некогда... А она как напишет? Ведь неграмотная она.

Это не удивило Алексея: он знал о том, что порой даже самые известные сказительницы, державшие в уме десятки тысяч строк, оставались всю жизнь неграмотными.

— И родители не сообщали? — пробовал настаивать он.

— А кто сообщит? Отец на войне убитый, мать в город уехала, брат-сестра тоже... Некому.

Да, подумал Алеша, прав был Матвей Кузьмич, сетуя, что если даже помрет старуха, то и известить об этом будет некому — что ты, что ты, ведь деревня.

— А может, вы сами про нее что-то знаете? — в свой черед обнадежился шахтер. — Вы как с моей бабкой знакомы?

— К сожалению, я лично не знаком с Матреной Даниловной. Я только читал в газете ее сказ о войне... там еще, помню, «злые вороги»... — Он вдруг со стыдом и досадою вспомнил, что, проработав уже столько времени в «Северной звезде», так и не удосужился полистать газетные подшивки, найти этот сказ, прочесть самому, он лишь со слов Улитина запомнил, что там были «злые вороги», да иначе и быть не могло. Но он подтвердил: — Читал в газете.

— Хо-хо-хо!.. — вдруг расхохотался Клим Сидоров. — Ну так это не она. Поди, другая Матрена Даниловна, их там полно, в Троицком-то Посаде. А чтоб наша в газеты писала... хо-хо-хо!

Судя по всему, знатного шахтера очень распотешила весть о том, что его родная бабка на старости лет повадилась писать в газеты, к тому же не ведая грамоты.

Этот веселый смех в тесной угольной лаве, да еще в присутствии сошедшего начальства, сразу привлек внимание крепильщиков, работавших невдалеке. И, как водится в подобных случаях, они, побросав свои дела, подтянулись, подкарабкались к врубмашине: что за веселье? какие шутки? нельзя ль и нам посмеяться?

Они приблизились, все страшные: на черном белые глаза, белый оскал зубов...

Алексей вздрогнул. Но не потому, что испугался черных лиц и белых глаз. Он, наверное, и сам уже был достаточно чумаз, эка невидаль.

Взгляд его приковало одно из надвинувшихся лиц, показавшееся безусловно и давно знакомым: узкий, в палец, ломброзианский лоб, на котором волосы начинали расти прямо от бровей, — и хотя лоб этот был скрыт сейчас козырьком каски, он угадал, что все равно это так, тот самый лоб, он слишком хорошо его помнил... и те же волчьи глазки, торчливые скулы и та же слюнявая усмешка...

Но как это может быть? Ведь несколько недель назад, только начав свое долгое путешествие, он видел этого человека совсем в другом месте: как тот брел от вахты, от забора, опутанного колючкой, в колонне таких же злодеев, одетых в мышастые бушлаты, — ну да, это было в Соснах... а потом, всего лишь три дня назад, он видел этого человека лежащим навзничь в стылом тамбуре вагона с откинутой синей кистью руки, застывшей в царапающей хватке, — правда, тогда лицо его было опущено налетом инея, похожим на плесень, а сейчас это лицо густо, до непроницаемости, закопчено угольной пылью... Но как могло статься, что человек, который был определенно мертв, опять вдруг оказался живым, встал на ноги, спустился в шахту и вкалывает тут как ни в чем не бывало?.. Как вообще могло случиться, что этот человек, законно и поделом лишенный воли, имел свободу появляться то здесь, то там, возникая, как привидение, бук-

вально по пятам преследуя его, Алексея Рыжова, вот уже сколько времени?..

Или это не он?

Алеша в растерянности оглянулся.

Махнач и Ерофеев переговаривались, и было похоже, что механик в чем-то оправдывается перед инспектором по культуре.

— По местам! Работать! Всем заниматься своим делом...— напустился на крепильщиков Ерофеев.

И, подойдя к Алексею, объяснил:

— Эти люди вам не нужны... да и машина простаивает, вагонетки ждут. Врубай, Сидоров! Он в этом месяце идет на рекорд: пять тысяч тонн...

Цифра была значительной, и Рыжов поспешил записать ее.

— Алексей Николаевич,— прокричал на ухо оказавшийся рядом Махнач,— мы вам завтра еще устроим встречу с Сидоровым там, наверху...

— Ладно,— согласился Алеша, пряча блокнот. Кивнул врубмашинисту: — До свиданья.

Погребся вверх по угольной осыпи.

Но Ерофеев остановил его, показал жестами: выходить будем низом. И, пропустив их с Махначом вперед, зашуршал следом замыкающим.

Конечно, Алексей был немного сконфужен тем, что так несолидно повел беседу с Климом Сидоровым: надо было расспросить подробней об устройстве врубовки, о цикле ее работы — как ее спускают обратно, когда она дойдет до конца лавы, о том, как готовился рекорд,— а он вместо этого затеял в рабочее время разговор о бабушке из Троицкого Посада, притом еще неизвестно, та ли это бабушка.

Участок, по которому они спускались, был уже весь надежно укреплен рядами стоек, подпирающих своды забоя с отслоившимися кое-где плоскими серыми коржами породы.

Он, сняв рукавицу, огладил походя сосновый стволочек весь в золотистой тонкой чешуе, и сразу ладонь увлажнилась липучей смолой — здесь, в замогильном подземелье, это ощущение показалось даже приятным, напомнив о живой и благодатной земле, простирающейся где-то очень далеко и высоко над головой, хотя там сейчас и носились крученые лихие метели, хотя там, в голой тундре, и нельзя было высмотреть, сколько ни гляди, ни одного деревца.

И еще это мимолетное прикосновение вызвало в памяти образ минувшего лета. Как на Белоборской запани девушки в выцветших косынках проталкивали баграми лес в кошелю: пиловочник сюда, шпальник туда, а рудстойку — ее вон туда... И даже он, Алексей, испробовал это занятие: гонял багром плывущие навстречу лесины, и было отраднo предположить, что одна из этих лесин, рудстойка, которой назначено подпирать кровлю в забое,— что именно она сейчас и встретилась снова на пути, и он, узнав, ласково и свойски хлопал ее ладонью.

Ему нравился мир, в котором царил очевидная и внятная целесообразность, где повсюду прослеживался черед и порядок, где все поддавалось осмыслению без лишней натуги, где дважды два было четыре...

Он запнулся, вспомнив иное, только что виденное уравнение: «5=4». Оно было начертано мелом на борту врубмашины, он сразу заметил и хотел спросить тогда же, однако отвлекся созерцанием зубастой цепи бара, режущей уголь.

— Что значит пять равно четырем? — спросил он Ерофеева.

— Пятилетку — в четыре года,— объяснил тот.— Еще с тридцатых годов повелось. Понимаете, в январе Сидоров нарубал три тысячи восемьсот тонн, а в этом месяце...

Сторонний звук прервал его речь.

Ерофеев, быстро оглянувшись, обеими руками толкнул Алексея в грудь.

Валясь назад, он почувствовал, что падает на кого-то другого — догадался, что это Махнач, — они вместе опрокинулись за уступ забоя, а механик навалился на них, как медведь, прижал к стене всем телом, давя на ребра и сам стараясь расплющиться в блин.

Лишь долю секунды Алексей видел: тяжелая стойка — комлем вперед — пролетела им вдогон стрелой, почти не касаясь пола, но уже заносясь боком, и вот потрясенный слух уловил, как она ударила по крепи в самом низу с тем особым тусклым звоном, который дерево вышибает из дерева.

Они услышали это явственно, хотя сверху по-прежнему доносился рев работающей врубовки, — значит, там, в этом шуме, даже не заметили, как стойка сорвалась и полетела вниз, там ничего не знали об этом.

Или заметили? Знали? Или...

Лицо Ерофеева маячило рядом, и Алеша увидел, что даже под слоем угольной пыли оно мертвенно побледнело. Он сообразил, что и его лицо так же бледно от испуга и что, наверное, лицо Махнача с его нездоровой блеклостью сейчас тоже бело как мел.

Они все трое поняли, что только что мимо них пронеслась — пролетела мимо не задев, а могла задеть и смести напрочь с кона, как городошная бита сметает чушки, — сама смерть.

Минуту спустя они двинулись дальше и шли молча.

В голове Алеши мелькнула опасливая мысль: а не он ли виноват в случившемся? Может быть, он слишком неосторожно приласкал сосновый ствол, что оказался на его пути, и тот, шатнувшись, упал, покатился, пошел в разгон, полетел вниз...

Но он вспомнил, как плотно, стуча обухами, вгоняли крепильщики эти стойки, и тотчас отmel наивную догадку, покаянный детский обман души, дескать, сам виноват, — нет, его взрослый ум подсказывал, что он не виноват, ни в коем случае.

А если нет, то кто же? Почему? Зачем?..

Поднялись на-гора и, сдав лампы, попрощались с Ерофеевым у душевых: тому полагалось в итээрзовскую, а им, бери выше, в директорскую.

Он вновь и вновь намыливался густо — до щипа в глазах, до скольжения пяток — и опять становился под упругие колкие струи душа, испытывая такое наслаждение, что хотелось смеяться взахлеб. Это был не только восторг омовения, очищения от угольной пыли, которая, проникнув сквозь брезент, въелась во все поры, засмолила каждый волосок, но и нечто большее: радость счастливого спасения, избавление от верной гибели, воскрешение из мертвых.

Едва он зажмурился, как память повторяла во всех запечатленных деталях, подробно и точно, однако замедленно, как иногда показывают в кино: сосновая стойка летела комлем вперед, почти не касаясь пола, неминуемо, прицельно...

Он вспомнил теперь, на что она была похожа, эта крепежная стойка, летевшая по лаве, — он видел однажды, когда отец брал его на морские учения на Балтику: из-под козырька торпедного аппарата выскакивало громадное веретено, плюхалось в воду и несло вперед в неглубоком погружении, оставляя за собой белую борозду; но тогда, когда он видел это, след уходил от корабля в море, отдалялся, стремясь к парусной мишени, и пенный бурун взрыва вскидывался там... А здесь борозда не уходила прочь, наоборот, она приближалась, настигала, уже было видно скользящее длинное тело, и уже ничего не оставалось как сосчитать последние секунды...

Со всей отчетливостью он представил себе, как это было: след несся наперерез флагманскому крейсеру «Киров», и можно было уга-

дать ту роковую точку, где две прямые пересекутся, — и тогда эсминец «Яков Свердлов» ринулся вперед и, круто повернув, подставил борт — и все, и это было последнее, что видел его отец, бригадный комиссар Рыжов.

Вода захлестнула уши и ноздри, проникла в горло, вспучив грудь и едва не разорвав легкие, — он вскинул руки в отчаянном порыве, в почти бессознательном броске прочь от смерти и — шальной, безумный — выскочил из душевого отсека, судорожно глотая воздух...

Кто-то предупредительно и услужливо накинул ему на спину простыню.

— Пожалуйста, прошу вас... — Старичок пространщик бережно, под локоток повел его к дубовой скамейке, тоже застланной чистой простыней. — Сейчас мы немножечко остынем, прохладимся...

Алексей огляделся: рядом, в двух шагах, отряхивался, как пес, Валентин Владимирович Махнач, на его студенистые белые плечи тоже была накинута простыня, сквозящая влажными пятнами.

Старичок проворно сбегал к резному буфету купеческой спесивой осанки, достал пару бутылок пива, два высоких стакана, принес, поставил, сквырнул зубчатые колпачки и стал наливать, любуясь, как пышно восходит кружево пузырей.

— Пожалуйста, настоящее московское пиво... прямо из Москвы!

У него была профессорская седая бородка, и, кабы не она, старичка можно было бы принять за покойного профессора Шамшина — у того как раз бородки и не было.

Понес бутылку Махначу.

Тот по-прежнему был гол, но уже в очках. Жалобно оглядываясь, спросил:

— Туалет у вас где?

— Пожалуйста за мной...

Пространщик зарысил к неприметной дверке, распахнул ее перед инспектором, согнулся в почтительном поклоне.

Алеша догадался, что у Махнача хотя и с некоторым опозданием, но все же прихватило животик от случившегося страха.

Отхлебнул пива. С наслаждением поиграл обсыхающими лопатками. Сильно хотелось курить; папиросы были в одежном шкафчике, он порылся, вытянул одну и стал разминать еще влажными пальцами.

— Здесь курить можно? — обратился он к вернувшемуся старичку.

— Конечно, можно, у нас все можно! — Старичок выхватил из кармана своего белого халата коробок спичек, сноровисто чиркнул, поднес огонек. — Пожалуйста, прошу вас. — И завелся искательным шепотком: — Мне очень, очень приятно! Мне так приятно встретить здесь журналиста — у нас так редко бывают журналисты, впрочем, вы первый... а ведь я в былые времена тоже имел касательство... Я знаю, что молодежь не любит стариковских наставлений, но все-таки я позволю себе одно, одно-единственное, я выносив его годами, так сказать, плод раздумий... Самое главное — ясность! Ясность мысли и ясность стиля. То есть ясность стиля уже вытекает из ясности мысли. А неясность влечет заблуждение, и чаще всего буквальное: пойдешь налево — придешь направо...

Алексей слушал эту речь в истоме, в обволакивающей слабости, вызванной глотком табачного дыма.

Ну вот, думал он, вот еще один занудный диалектик вроде Вась-Вася, еще один неудачник, который пытается учить его уму-разуму. Но тот хоть и впрямь был когда-то заправским энциклопедистом... а этот смешной старикашка, банщик, пространщик! А собственно, откуда взялось само это слово — «пространщик»? От пространства? Алеша огляделся: да, здесь, в предбаннике, было просторно, здесь было вольно дышать телу и яснеть в прохладе уму.

— Я сто раз говорил Карлу Радеку,— торопливо продолжал старичок,— я говорил: «Тебе не хватает ясности. Ты излагаешь тезис, формулируешь кредо, а на кончике пера у тебя висит анекдот...» Нет, так нельзя! И результат известен, результат плачевен. Я уверяю вас: только ясность мысли!

Ну это еще вопрос, куда может завести ясность мысли, подумал Алексей, имея в виду самого старичка.

Он не ошибся, когда предположил, что этот пространщик очень похож на профессора Павла Петровича Шамшина— это сходство проявлялось даже в том, как пылко он спорил со своими бывшими оппонентами, уличая, обличая их, хотя, наверное, иных уж нет, а те далече.

И столь же безошибочно Алексей уловил в речи банного старичка знакомые слуху обороты витиеватой речи коренного петербуржца: «Мне очень приятно... я уверяю вас... в былые времена...»

При этом у него вдруг в голове возникла странная ассоциация. Он представил себе в этом предбаннике другого старого газетного волка, а именно редактора «Северной звезды» Семена Ильича Улитина: будто бы именно он тут шустрит в белоснежном халате, из-под которого выглядывают голые ноги, а меж лацканами сквозит волосатая всклокоченная грудь, и будто бы он стелет на скамьи сухие простыни, разливает по стаканам пиво и подносит зажженные спички.

Это было очень потешно и мстительно сладостно— представить себе такое,— но Алеша подумал, что ему, говоря по совести, не за что мстить Улитину, ведь тот не сделал ему ничего плохого. И он, устыдившись, испытал острую жалость к Семену Ильичу: легко ли ему мотаться в этом предбаннике с его одышкой, с его больным сердцем!.. Но тотчас же он отринул эти нелепые и глупые мысли, поскольку Семена Ильича Улитина здесь не было и не могло быть, а был вот этот невесть откуда взявшийся старичок с бородкой, рассуждавший о ясности мысли,— однако чувство жалости и сострадания уже не покидало души и вопреки разуму обратилось на самого старичка.

— Но, извините, каким же образом вы...— неуверенно промолвил он.— То есть я хочу спросить, в чем, собственно...

— Ах что вы, что вы! — воскликнул пространщик и, сняв с плеча полотенце, начал обмахивать им Алексея, овеать его.— Не извольте беспокоиться. Я здесь вполне устроен и очень доволен... Вы знаете, у нас лучшая душевая на комбинате! — с нескрываемой гордостью продолжил он.— То есть наша «Капитальная» — самая лучшая шахта, а на ней самая лучшая душевая — это всеми признано. Надеюсь, вам у нас понравилось?

Взгляд старичка был устремлен поверх порхающего полотенца. Алеша оглянулся.

Махнач возвращался, ступая по мягкому ковру деревянными подметками банных сандалий, всем своим видом свидетельствуя облегчение.

Они оделись и ушли.

И сразу за порогом надшахтного здания попали в секучую заметь пурги, заставившую склониться, согнуться пополам, локтями загородить глаза, чтоб их не выбило снежной дробью.

Это было столь же внезапным перемещением из одной стихии в другую, как испытанное часом ранее, когда из черного угольного подземелья они за несколько секунд — ударил колокол, и клеть рванулась вверх — перенеслись в надземный мир, светлый и блаженный, очутились среди вальяжных дубовых скамей директорской душевой,

шагнули под струи душа, с наслаждением освободились от грязи, а потом — белые полотенца и хорошее пиво.

Но вот несколько шагов, припертая ветром дверь — так, что пришлось налегать плечом, — и они опять оказались во власти стихии, бесприютной, ледящей, пронизывающей до костей, норвящей свалить с ног и в несколько мгновений замести бесследно.

К счастью, у ворот их ждала комбинатская «эмка» с прогретым мотором и с колесами, опутанными цепями, — они влезли и поехали, одолевая встречный ветер, высвечивая фарами снежную круговерть.

И тут даже с некоторой тоскою вспомнились шахтные недра, надежно защищенные от любых буранов всей толщей, всей броней земли, хранившие глубинное живое тепло, от которого стены штреков сочились подтаявшей вечной мерзлотой и лохматились живой плесенью...

Казалось, они даже не двигались, а стояли на месте среди летящих, мятущихся снежных вихрей. Но порой сквозь белые рои проникало мутное зеленое свечение, и можно было догадаться, что это светофор железнодорожного переезда — они переезжали колею, будто переваливали через насыпь.

А порой это свечение было красным, но еще более размытым и далеким — значит, они ехали мимо шахты, ведь тут была не одна, их было много раскидано окрест, и над их копрами маячили красные звезды, извещавшие о том, что добыча идет по графику.

Затем обочины дороги чуть расступились и свету прибыло: с обеих сторон из сугробов торчали короткие стебли с матовыми белыми шарами — они напомнили Алеше ряды светильников на эскалаторах московского метро, — но он уже знал, что это верхушки уличных фонарей, утонувших в снегу. Они горели сутки напролет, и днем и ночью, потому что стояла беспросветная полярная ночь, отделяющая день ото дня лишь числом календаря.

Но вместе с тем эти фонари обозначали, что они уже въехали в город, в Тундру.

Дома тоже ушли под снег — он засыпал первые этажи, подбирая к вторым, а третьих тут еще не было, — и различить их можно было разве что по крышам, но и это было не просто, потому что на крышах зданий громоздились многоярусные сугробы, из которых ветер высекал, как из мрамора, ваял по своему хотенью диковинные заступы: вскинутые головы, вздыбленные горбы, тяжелые лапы, свисающие изогнутые хвосты — ни на что не похожие чудища. Впрочем, нет, они были похожи на приبلудных сфинксов Васильевского острова, хранивших свои вечные и никому не нужные загадки.

И хотя опознать эти крыши, эти здания было никак невозможно, Алеше вдруг показалось — ведь он уже не первый день жил в Тундре, — ему показалось, что они миновали гостиницу, в которой он остановился, да-да, проехали мимо. Может быть, шофер заблудился в пурге, а Махнач, погруженный в раздумья, не заметил этой промашки?..

— Валентин Владимирович, — тихо, не вдаваясь в панику из-за пустяка, спросил он, — куда мы едем?

— Ко мне домой, — ответил Махнач.

В тоне его была такая уверенность, что Алексей не стал ни спорить, ни расспрашивать подробней. Он сообразил, что этот пункт, как и весь распорядок дня, железно спланирован и согласован где надо.

Лишь одно обстоятельство нынешнего дня никак не могло быть заранее предусмотрено.

И Алеша решил выяснить это до того, как они окажутся в частной домашней обстановке.

— Валентин Владимирович, эта стойка в лаве... вы понимаете, о чем я говорю... это — случайно?

— Может быть, и случайно,— сказал Махнач.— Но, может быть, и не случайно. Я доложу начальству. Мы разберемся.

— То есть вы допускаете...

— Да,— коротко и резко прервал собеседник, давая понять, что этот разговор не для шофера.

Алексей покорно смолк.

Он только сейчас с предельной ясностью осознал, что произошло и что могло произойти.

Вот сейчас — в этот момент — он был жив, здоров и ехал в гости.

А могло случиться так, что он уже несколько часов как был бы мертв.

Он вспомнил страшные белые глаза и белые оскалы — на черном — крепильщиков, потянувшихся на смех врубмашиниста Клима Сидорова. Как их шуганул механик Ерофеев: «По местам! Работать! Всем заниматься своим делом...— И объяснил ему: — Эти люди вам не нужны». И те отошли, недобро озираясь.

Кто они были?.. Злодеи из карательных отрядов, полицаи, старосты? Или власовские головорезы, бандеровцы, о которых рассказывал Улитин, напутствуя его в эту трудную командировку в Заполярье? Или просто бандиты из «Черных кошек», уголовщина, рецидивисты вроде того, без лба, которого брали в Пычине?.. Ну что им, душегубам, у которых руки в крови по локоть,— что им стоило загубить еще одного человека, еще двоих, троих?..

Счастье, что механик Ерофеев был настороже, ведь он знал, что за публика работает в лаве, и в последний миг оттолкнул их за уступ, прикрыл собственным телом,— и тогда комлем вперед пролетела стойка...

Да-да, конечно: тут не было никакой случайности, а был явный умысел. Теперь Алексей был убежден в этом независимо даже от того, когда и как разберутся с этим делом. К нему вновь пришло озарение, абсолютная ясность мысли, а ясность мысли — это главное, как сказал... кто сказал?

Старичок пространщик оведал его, сидящего на дубовой скамье, порхающим белым полотенцем, опасливо поглядывая вокруг, а сам вел вкрадчивые речи, поучал его, внушал ему шепотком нечто такое, чего нельзя было сказать в полный голос — да, да! — а он, лопух, развесил уши, разинул рот... Да кто он был таков, этот бородатый старикашка, ладившийся под профессора?

А он-то, он-то, разнежась телом, раскиснув духом, впал в снисходительную жалость: «...каким же образом... в чем, собственно...»

Хорошо, что никто посторонний не слышал его лепета.

Сейчас он был жив, здоров и ехал в гости. А мог быть мертв.

Алексей, ожесточась, сцепил зубы и поклялся самому себе, что впредь — никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах — он не поддается более этой постыдной жалости.

Но он сразу отмяк и согрелся, переступив порог квартиры Махнача.

Тут была теплынь: ребра батарей источали жар и, казалось, даже розоватый свет раскаленного чугуна. Ковры устилали пол, укрывали стены, а на широкой тахте поверх ковра была еще распластана шкура белого медведя с когтистыми лапами и оскаленными ненастоящими зубами. Над тахтой висела двустволка, к ней патронташ как бы в намек гостям, что этого медведя завалил в честном поединке сам хозяин дома.

Но Алеше случалось видеть такие медвежьи шкуры, белые в желтоватых подпалинах, с густым и долгим ворсом, за стеклами витрин на Невском и в Столешниковом — они тоже пугали оскалом и страшной ценой.

Что ж, для таких недоверчивых гостей вроде него повыше ружья, под самым потолком, висел другой трофей: оленины рога, раскидистые, как дерево, ветвящиеся вверх и вбок несметным числом ростков,— и тут уже не было причин сомневаться, что красавца оленя с царственными рогами сразу наповал в тундре сам Валентин Владимирович Махнач, оленины тут хватало, Алексей убедился, что были.

— Прошу любить и жаловать,— хозяин подвел его к супруге,— Лариса Федоровна.

— Очень приятно,— сказал Алексей.

Хозяйка была невеличка ростом и диво как уютна с виду, может быть, оттого, что на ее пухленькие плечи была накинута меховая пелеринка, то ли кунья, опять-таки с мужниных удачливых выстрелов, то ли из кошки драной, облагороженной искусным скорняком, и хотя в квартире было натоплено до одури, плечи Ларисы Федоровны все же зябли, вот она и накинула.

Ей было лет двадцать семь либо все тридцать. То есть, догадался Алеша, она была почти на десять лет старше его и примерно на столько же моложе своего мужа.

Он вдруг понял, что в этой квартире помимо уюта пахло бездетностью и не первым браком, но это его не касалось.

К тому же, кроме самих Махначей, в квартире были еще живые существа.

В его колени ткнулась, обнюхивая, молодая немецкая овчарка с поджатым хвостом и бдительно вскинутыми ушами.

— На место, Альма,— приказал хозяин, и та послушно отошла прочь.

Поднялся навстречу мужчина в ладно сшитом двубортном костюме, худощавый, узколицый, склонил редеющее темя, представился:

— Хвоцинский.

— Очень рад,— сказал Алексей, пожимая руку.

— Что ж, наверное, сразу за стол? — предложила, улыбнувшись, Лариса Махнач.— Голодны небось как звери? В шахту лазали, по морозу мотались...

Она была кругом права, Алеша убедился в этом, когда, игриво повернувшись, она повела их к накрытому овальному столу. У него закружилась обморочно голова при виде всего, что там было: соленые грузди в кольцах репчатого лука, нежная речная сельдь, оленины окорок, запеченный целиком, обрызганный каплями сверкающей и влажной рдяной брусники.

Хвоцинский разливал водку из графина, в котором плавали белесые скобочки чеснока.

— Тундровка,— объяснил он.— Цинговка. Очень полезно для десеи, а вкус!..

— Благодарю,— потупился Алексей, глотая слюнки.

— Алексей Николаевич, мы надеемся, что ваш приезд...— заговорил Махнач, устремив на него далекий и странный взгляд, процеженный линзами очков и резным хрусталем рюмки,— что ваше пребывание...

— О, да брось ты свои доклады,— не стерпела жена и, легко чокнувшись, сказала: — За ваше здоровье! Вы не будете возражать, если я просто — Алешей? Вы ведь совсем еще молоды.

— Пожалуйста,— охотно разрешил он.

— А я — Лариса, и все. И пошли.

Она выпила первой, они следом, дружно набросились на закуску.

Плотный ветер с разбега бил в окно зарядами снежной картечи, стекла дрожали и постанывали.

— Какая пурга, не упомяну даже...— сказала, прислушавшись, Лариса.— Мы тут ко всему привычные, а жуть берет. Но вам, Алеша, вам не страшно?

Он поразмыслил над ответом, чтобы не выглядеть храбрящимся чванным мальчишкой, и выразился так:

— Видите ли, я уже приспособился... То есть если бы я приехал сюда прямо из Москвы или, допустим, прямо из Ленинграда... или если бы даже я приехал сюда прямо из Города-на-Реке, то да, конечно, я бы, наверное, испугался: такая темень, такая пурга и такой мороз... Но дело в том, что один очень умный человек — я имею в виду нашего редактора Семена Ильича Улитина, — он сказал: Рыжов, ты будешь двигаться на север постепенно, привыкая, приспособляясь в пути... И знаете, он, в общем, оказался прав: это пошло мне на пользу. Я ехал с останковками — неделю там, а неделю там. Например, Сосны: это совсем другой Север, другой климат...

— Да, — подтвердил Махнач, — там даже сосны растут, высокие, ого-го! Я видел, я там был в командировке, в Соснах.

— Я тоже был и тоже видел, — снисходительно улыбнулся Алексей. — Что? О, спасибо, спасибо. Но тогда, если позволите, я скажу тост: за прелестную хозяйку дома, за вас, Лариса... э-э...

— Просто Лариса, — сказала она. — Пошли.

Они выпили по второй, завеселев глазами.

— Но вы ешьте, ешьте, — озаботилась хозяйка, — вы ничего не едите, а это очень вкусно: духовая оленятина, она мякенькая, нежная, вы понюхайте, какой дух!

Он благодарно кивнул ей и понюхал.

— Да, так я говорю, — продолжил Алеша, — я двигался постепенно. Сначала я был в Соснах, потом в Печорске... впрочем, нет: в Печорске я был еще в прошлом году — ведь я здесь уже давно, на Севере, с прошлого года. А потом я приехал в Стойбище, был жуткий мороз — около пятидесяти, но ничего... Валентин Владимирович, а вы бывали в Стойбище?

— Нет, — с сожалением покачал головой Махнач, — только проездом, в окошке.

— Ну вот, а я бывал. Там проходит Северный Полярный круг, прямо по улице... А оттуда я уже приехал сюда, в Тундру. И, понимаете, пока я ехал, пока я жил там и там, я постепенно приспособился. Я вообще довольно быстро приспособляюсь — наверное, у меня такой организм.

— Организм — это еще не все, — возразила Лариса. — Много зависит от характера.

— Значит, у меня и характер такой. Я очень быстро и очень легко приспособляюсь.

— Человек вообще очень быстро ко всему приспособляется, — философски заметил Махнач, теребя загривок Альмы, подошедшей к столу за подачкой, он дал ей с ладони мяса.

Теперь Алеша окончательно отогрелся в этом домашнем завидном уюте.

Ему подумалось, что вот через несколько дней он отбудет из Тундры в Город-на-Реке, увозя с собой так много новых впечатлений и приобретая так много новых знакомств. Однако ему бы хотелось увезти отсюда не только приятную память, но и что-нибудь повещественней, чтобы там — в отдалении времен и пространств — можно было не только вызвать воображением испытанное, а и дотронуться рукой, оживляя в себе бывшие чувства. Чтобы это не осталось лишь рассказами, которым не всяк обязан верить: будто он на самом деле был в Заполярье, под семидесятой параллелью северной широты, был там в самую крошечную пору полярной ночи, в самый разгул пурги, что он действительно был полярником, пусть и недолго.

Отсюда, из-за стола, ему краем глаза была видна тахта, на которой лежала шкура неубитого медведя, а выше висело никогда не стрелявшее ружье, а еще выше могучим и безродным генеалогическим деревом ветвились олени рога, — и он подумал не без зависти, что са-

мым лучшим и наглядным подтверждением его рассказов о дальних странствиях могла бы, конечно, быть вот эта прекрасная шкура и эти великолепные рога — о, как бы ему хотелось занять подобную шкуру и вот такие рога! — но он тут же сообразил уныло, что, собственно, ему и негде развесить, расстелить свои рога и шкуру, потому что у него еще нет своей квартиры, собственного дома, уютного и теплого, как вот этот дом, куда он явился нынче желанным гостем.

— Но вы не думайте, Алеша, что у нас тут глушь и дикость, тундра и тундра,— поспешила развлечь впавшего в задумчивость гостя Лариса.— Нет, что вы, иначе бы все тут с ума посходили. У нас тут — культура, у нас театр.

— Да-да,— обрадовался Алексей,— мне говорили в редакции, когда я сюда собирался: ты учти, Рыжов, что там не только шахты, в Тундре, там даже есть музыкальный театр, они там распевают оперы, и ты, то есть я, про это обязательно напиши.

— Мы надеемся, что вы напишете об этом, Алексей Николаевич,— сказал Махнач, улыбаясь ему.— Вы удачно приехали: у нас завтра как раз премьера.

— «Паяцы», опера Леонкавалло! — воскликнула, не пряча восторга, Лариса.

— Да, «Паяцы»,— подтвердил Валентин Владимирович.— Мы пойдем все вместе, уже оставлены места... Хорошие места? — обратился он к Хвощинскому.

— Третий ряд, середина,— сказал тот.— Самые лучшие места.

— Вадим Сергеевич — администратор нашего театра,— объяснил Махнач.

Хвощинский привстал и еще раз учтиво поклонился Алексею.

— Ну, давайте за премьеру,— предложила хозяйка,— за успех!

— Нет, это не положено, есть примета: за успех — после премьеры,— остерег жену Валентин Владимирович, но рюмку все же поднял.— Давайте за просто так.

— Конечно, за просто так,— согласилась Лариса.— Пошли!

Они дружно выпили.

— Видите ли, Алексей Николаевич,— продолжил затем Махнач,— у этого нового спектакля есть своя история, своя, так сказать, предыстория, довольно любопытная. Я вам расскажу...

— А можно, я расскажу?— перебила жена, сгорая от нетерпения.— Ты очень скучно рассказываешь, резину тянешь, как доклад... Можно, я расскажу?

— Ну расскажи,— снизошел к ее желанию муж.

— Все началось с Вероники Петровны, с нее...

— Вероника Петровна — супруга начальника комбината,— сказал на ухо Алексею Хвощинский.

— Она посмотрела где-то кино «Паяцы», трофейное, с Джильи... и ей так понравилось, хоть удавиться!

— Вероника Петровна прекрасно разбирается в кино, в театре, в музыке,— объяснил Махнач,— очень культурная женщина. Она окончила...

— Два класса, третий коридор,— уточнила хозяйка.— Но вы меня не сбивайте. Ей так понравилось, что она приказала мужу: пускай в театре поставят «Пяцев», срок — к такому-то...

— Мы запоздали чуть-чуть,— раскаянно поскреб затылок Валентин Владимирович.— Но тут, понимаете ли, были уважительные причины. О том и речь. Мне пришлось ехать в Москву...

— Кто будет рассказывать — ты или я? — возмутилась Лариса Федоровна.

— Ты, ты...

Вот-вот, подумал Алексей, вот так всегда и бывает: одни ездят, а другие за них рассказывают.

— Ему пришлось ехать в Москву в командировку — ведь он инспектор по культуре. Нужно было срочно достать партитуру «Паяцев», чтобы раскинуть роли и начать репетиции, ведь она, Вероника Петровна, дала срок, а с ней не шути... Ну, он приехал в Москву и давай бегать по нотным магазинам: на Неглинку, на Арбат, на Герцена — нигде нету, все есть, а «Паяцев» нету.

— Тогда я прямо в Большой театр, — не утерпев, встрял в ее сказ Валентин Владимирович.

— Подожди, не перебивай... Тогда он прямо в Большой театр, но и там не вышло: партитура есть, а не дают, самим нужна.

— Ах, если бы я мог поехать в Москву вместе с вами! — приложив ладонь к щеке, будто бы терзаясь зубной болью, простонал Хвошинский. — Надо было заказать переписчикам, послужить им за срочность...

— Но ведь вы не могли поехать в Москву, — перевел на него ледяные стекла очков Махнач. — Зачем же вы теперь говорите?

— Я и говорю: е с л и бы я мог.

— Если б да кабы, то во рту росли б грибы, — упрекнула его и Лариса. — Задним умом все умники. Ну да ладно. В Москве он ничего не достал. Покатил в Ленинград, в родные места, мы ведь сами ленинградские...

— Что вы говорите! — обрадовался Алексей. — Мне очень приятно. Я тоже питерский, точнее — Кронштадт. Но потом — Охта.

— А я с Лиговки... Ну вот. Стал он бегать по Ленинграду: на Невском нет, на Литейном нет, все есть, а «Паяцев» нет!

— А времечко идет, идет, — вздохнул Махнач.

— Времечко идет, а он, представляете, бегаёт там высунув язык... Короче говоря, возвращается он в Тундру с пустыми руками — без партитуры. Вы представляете?

— Представляю, — сказал Алексей, ощутив на спине гон мурашек.

Теперь он со всей отчетливостью представлял себе, какого личного мужества требует работа инспектора по культуре. То тебе вслед пускают стойку в лаве крутого падения, то ты возвращаешься в Тундру без партитуры. Ходьба по проволоке. Игра со смертью.

— И что же?..

— Вот, — рассмеялся Махнач, довольный его сочувствием. — Я же говорил вам, что у этого спектакля своя история, своя, так сказать, предыстория, притом весьма любопытная...

— Можно, я доскажу? — перебила Лариса.

— Ну доскажи.

— Срок кончается, а партитуры нету. А с Вероникой Петровной шутки плохи... — Лариса округлила глаза, в них был тихий ужас. — И вот тогда Одинец и Варсонофьев сами написали эту оперу, «Паяцев». То есть на афише, конечно. Леонкавалло, а на самом деле — они.

— Но ведь Алексей Николаевич, наверное, не знает, кто такие Одинец и Варсонофьев, — робко заметил Хвошинский.

— Я не знаю, — повинился Алексей. — Извините, впервые слышу.

— Странно, — сказала Лариса, — они оба довольно известные. Одинец — это дирижер в нашем театре, раньше он дирижировал в Киеве. А Варсонофьев — тенор, драматический тенор, правда, он уже пожилой, но голос у него еще сильный — что там Джильи! Джильи против него — колода... Он когда-то пел в Мариинке, еще до войны, я даже слушала его в «Пиковой ладме», Германом. А вообще он знает наизусть все оперные партии. И вот он, Варсонофьев, напел Одиенцу всю оперу, а Одинец все записал с его голоса, с его слов, а где Варсонофьев забыл, он досочинил — и сам оркестровал, да-да... Вы представляете?

Алексей моргал оторопело не в силах представить такое. Он впервые такое слышал и просто не верил своим ушам.

Однако Валентин Владимирович Махнач смотрел прямо на него сквозь холодные стекла очков, и в этом взгляде было торжество и подтверждение, что правда.

— Да-да! — повторила Лариса. — Они всю оперу написали заново, от увертюры...

— Там нет увертюры, — мягко поправил Вадим Сергеевич. — В «Паяцах» нет увертюры, там интермедия и пролог.

— Ну какая разница? От начала до конца, от пролога до всей этой... поножовщины, помните, там все друг друга режут?

— Да, — кивнул Алексей, вновь ощутив холодок меж лопаток.

— И музыку и слова — все сами, все, все... а на афише, конечно, Деонкавалло.

— Но что же дальше? — спросил Алексей, нашаривая в кармане бокснот и вместе с тем отдавая себе отчет, что писать об этом все равно не придется, что этой любопытной истории суждено остаться изустной.

— Завтра премьера, — улыбнулся Махнач. — Мы чуть-чуть опоздали, но тем не менее... Сегодня последний прогон, а завтра премьера. Вы приглашены.

— Да что же мы сидим всухую! — воскликнула хозяйка. — Вадим, налейте. Вон там стоит бутылочка — ликер, шартрез, давайте на ликерчик перейдем, уже пора.

Хвощинский разлил в рюмки зеленую тягучую жидкость.

— Давайте за искусство! — с воодушевлением предложила Лариса. — За искусство, хотя оно и требует жертв: сколько из-за него приходится бегать, волноваться... За искусство!

Ее поддержали, выпив молча.

Алексей, облизывая сладкие губы, испытал вдруг раздражение от этой болтовни об искусстве, от этих чрезмерных претензий, от этой тундровой светскости. Ах, Леонкавалло, ах, шартрез, ах, медвежья шкура... какой-то Одинец, какой-то Варсонофьев, какая-то Вероника Петровна — два класса, третий коридор... Они тут о себе больно много воображали, мнили бог весть что. И, безусловно, их следовало поставить на место, но без грубости, без хамства, а с тем невозмутимым дендизмом, который отличает жителя сразу трех столиц.

— Мне было очень интересно все это слышать, — сказал он. — Тем более что мне самому часто приходится бывать на спектаклях, в концертах, писать о них... Кроме того, вы понимаете, что помимо службы еще бывают и просто дружеские приглашения. Совсем недавно я был в Москве, и там один мой приятель — он солист балета Большого театра — пригласил меня посмотреть его в «Ромео и Джульетте». Я пошел. Как раз в тот вечер танцевала Галина Уланова...

— Ах, Уланова! — пылко откликнулась Лариса. — Я еще помню ее в Мариинке. Послушайте, но ведь так нельзя: всех-всех из Ленинграда забирают в Москву, не напасешься!

Алексей переждал несколько секунд, чтобы подчеркнуть, как бестактно прерывать его пустыми восклицаниями, и продолжил спокойно:

— Да, Уланова великолепна, но дело не только в ней. Я смотрел на сцену, слушал музыку, нечаянно оглянулся, а совсем рядом, в ложе, сидит Прокофьев, да-да, композитор, автор, Сергей Сергеевич Прокофьев, он сам. Сидит, а перед ним коробочка монпансье, и он кидает леденцы в рот, как семечки, вот так.

Он показал, как тот кидал леденцы, сам весело рассмеялся, но никто за столом почему-то не поддержал его смеха: Махнач, Лариса и Хвощинский смотрели на него отчужденно, будто бы не слишком веря его словам и в очевидном напряжении дожидаясь, что он скажет дальше... Алексей подосадовал на себя за то, что вылез с этими леденцами вместо серьезных речей, и подобрался, построжел.

— Успех был колоссальный. Аплодисменты без конца. Прокофьева вызвали на сцену, он поцеловал Галине Сергеевне руку, а она его вот так...— Он опять, не удержавшись, наглядно изобразил, как балерина целует лысину композитора.

Но и это не произвело на сидящих за столом того впечатления, на которое он рассчитывал: они по-прежнему сидели с постными физиономиями, хотя минут десять назад восторгались и ахали по другим, совсем ничтожным поводам.

Это вывело его из себя, разозлило, и он, придав голосу нотки надменности, сказал:

— Я знаю, что музыку Прокофьева не все понимают, что некоторым людям она просто недоступна, они до нее еще не доросли. При этом я заметил, что иногда ее не понимают даже люди, причастные к искусству. Вот я только что упомянул артиста, который пригласил меня в Большой театр, мой давний друг, и надо воздать ему должное: он в этом спектакле танцует как бог. Но он совсем не приемлет музыки, под которую танцует, она ему, представьте себе, не нравится. Он даже, бывает, жалуется, поет: «Я воспитан на Чайковском, на Глазунове, а тут какой-то зубовный скрежет...»

— Ну да, он воспитан на мелодии,— поддакнула чужим речам Лариса.— Я его прекрасно понимаю.

Алексей посмотрел на нее долгим взглядом, от которого, он заметил, у нее враз занялись щеки,—или же это было от крепкого ликера?

— Весь вопрос в том, что о понимать под мелодией,— сказал он.— У Прокофьева она сложнее, непривычнее для слуха. У него мелодия не мотивчик, не шарманка...

Он заметил, как все сидящие за столом боязливо ссутулились, как они попрытали глаза в смущении и растерянности, пасуя перед весомостью его доводов, уличающих их в невежестве, в тундровом провинциализме. Он бил их не щадя.

— Может быть, Алексей Николаевич еще не читал?..— осторожно и тихо произнес Хвошинский.

— Ну да, конечно,— сочувственно посмотрела на него Лариса Федоровна.— Вы долго были в пути — вы сами говорили, что целый месяц,— и, наверное, в дороге вы не следили за газетами. Вы просто еще не читали.

— То есть как не читал? — возмутился Алексей.— Я всегда читаю газеты и слушаю радио.

— Значит, вы пропустили.

— Что пропустил?

— Постановление о музыке,— сказал Махнач, устремив на него далекий и странный взгляд, процеженный толстыми линзами очков.— Там вашего Прокофьева клюют в темечко. Вот за это самое: что нету мелодии, нету гармонии, сплошная какофония, сумбур, зубовный скрежет... Короче говоря, за формализм.

— Но вы не огорчайтесь,— поспешила утешить гостя хозяйка,— там не его одного, там еще и других: Мурадели, Шостаковича, Хачатуряна...

Мысли Алексея метались в лихорадке, а пальцы нервно перебирали край скатерти. Он уже догадался, что они не шутят, не разыгрывают его. Значит, он на самом деле пропустил в дороге какие-то номера газет, а там и было. Но мудро ли, что пропустил? Ведь он ехал и ехал целый месяц по лесотундрам, по тундрам, где мороз подкатывал к пятидесяти, где бушевали пурги, где еще совсем недавно вообще не ступала нога человека. И хотя теперь здесь построили железную дорогу, в станционных киосках не было свежих газет, а в здешних гостиницах, черт бы их побрал, не то что газетных киосков, а, стыдно сказать, приличных уборных не было, а на улицах такая тьма и такие завалы снега, что к газетным щитам не подступишься,— где же он

мог прочесть? Так что ничего предосудительного не было в том, что он пропустил номер за какое-то число или даже пару номеров, эго диво.

Но признаться в этом он все-таки не мог.

Он видел, с каким злорадным торжеством смотрели они на него — эти жалкие ценители искусств, — какое удовлетворение они испытывали оттого, что он подсекался, как салага, и трепещет, и бьется, и разевает в задышке рот... Нет, он не мог им позволить даже краткого торжества, он не имел права каяться в своей оплошке хотя бы потому, что здесь, в Тундре, он представлял не только самого себя, Алексея Рыжова, но и два солидных печатных органа, и он был обязан заставить их считаться с этим.

Он откинулся с спинке стула, пригубил из рюмки зеленого киселя, усмехнулся высокомерно.

— Вы не дослушали, не дали мне договорить... или, может быть, вы просто не поняли моей мысли. Дело в том, что рисунок мелодии у Прокофьева и у некоторых других современных композиторов настолько сложен, что его невозможно ухватить слухом. То есть пока вы сидите в театре или в концертном зале, пока вы слушаете, вам кажется, что вы улавливаете мелодику. Но попробуйте — нет, вы попробуйте, попробуйте! — завтра или даже час спустя попробуйте ее напеть! И вы убедитесь, что не можете, что у вас ничего не осталось на слуху... Да зачем далеко ходить? Я расскажу вам, что было после того, как я посмотрел «Ромео и Джульетту», ведь я имел в виду рассказать вам именно этот случай, но вы не дали мне договорить... Выхожу я из Большого театра, — он поклонился галантно Ларисе Федоровне, — с вашего позволения, выхожу не один, а с девушкой, дочерью генерала, которую я пригласил в театр, но это уже подробностей, — и вот мы выходим, на улице такая благодать, легкий приятный морозец, снег кружится медленный пушистый... Я и не заметил, как тихонечко запел — ну замурлыкал себе под нос. А спутница моя вдруг останавливается и спрашивает: «Что это ты напеваешь?» Я говорю: «Как что? Это Прокофьев, из балета...» А она от удивления делает вот такие глаза: «Да ты что? Какой же это Прокофьев? Это Бизе, это гадание Кармен...»

Лариса тоненько визгнула и зашлась в хохоте так, что под ее куньей пелеринкой заколыхались полные плечи. Она смеялась, откинув голову, и Алеша обратил внимание, какой у нее нежный зобок на шее.

Вадим Сергеевич похихикивал сдержанно, скорей из вежливости, чем от души.

А Махнач, отсмеявшись всласть и утерев платком веселые слезы под стеклами очков, обратился к Алеше с видом просительным, даже несколько униженным:

— Алексей Николаевич, пожалуйста... я выступаю сейчас с докладами на эту тему, и мне был бы очень кстати этот примерчик, так сказать, из самой жизни. никем еще... это сочувственно встретит аудитория, она очень любит такие вещи.

— Берите, — разрешил Алексей. — Но, конечно, без ссылок на имена. то есть я имею в виду себя лично.

— Разумеется, — заверил хозяин.

— Валентин Владимирович, — Хвоцинский постучал ногтем по циферблату своих наручных часов, — нам пора. Уже полвосьмого.

— Полвосьмого? — озаботился Махнач. — Так нам давно пора, что же вы...

Отягощенный едой и беседой, он трудно поднялся со стула.

— А куда? — не сдержал любопытства Алексей.

— На прогон. У них сегодня последний прогон «Паяцев», — объяснила Лариса. — Последний прогон перед завтрашней премьерой.

— А можно и мне?

Он тоже встал и тоже почувствовал, как грузно и неповоротливо тело после обильной трапезы, как затекли ноги, как тяжела и мутна от хмеля голова.

Махнач и Хвоцинский уже одевались у вешалки.

— Вы хотите с нами?— переспросил Валентин Владимирович.— Ну что ж, если вы очень хотите...

— Не надо,— решительно вмешалась Лариса.— Зачем ему ваш прогон? Смотреть, как актеров гоняют туда-сюда? Как Одинаец стучит своей палочкой: «Сначала... сначала!»? Завтра премьера, а сегодня ему перебьют интерес, испортят все впечатление...

— Тоже верно,— бормотнул Махнач.

— А что я здесь буду делать?— взмолился гость.— Все уходят.

— Но ведь я не уйду,— усадила его обратно на стул Лариса.— Я буду с вами. Я буду вас развлекать. А они скоро вернуться... Вы когда вернетесь?

— Часа через два,— сказал Хвоцинский, снова взглянув на часы.— Там уже, наверное, начали и пойдут без антрактов.

— Ну что нам два часа! — тряхнула плечиком Лариса.— Дождемся, не помрем со скуки.

Махнач в сыромютном белом полушубке и летчицких косматых унтах топтался у порога комнаты, явно мешкая, хотя они и опаздывали, хотя им и было давно пора.

— Альма! — позвал он.

К нему метнулась на упругих молодых ногах желтая с черным верхом овчарка, готовно села рядом, вскинув уши и вывалив язык.

— Алексей Николаевич,— сказал Махнач,— пожалуйста, подойдите к Ларисе.

— А зачем? — спросил Алеша.

Они сидели с хозяйкой визави, прекрасно видя друг друга через стол, имея возможность беседовать, не напрягая голоса, и без труда дотягивались рюмкой до рюмки, когда наставало время чокнуться и выпить.

— Нет, вы подойдите к ней, я вас очень прошу,— настаивал Махнач, теребя черный собачий загривок.— Понимаете, Альма прошла специальную дрессировку — не дома, а в настоящей школе, на площадке,— и я хочу вам показать дрессуру.

— Но зачем?— усмехнулся Алеша.

Ему это было не в диковину, он навидался различных дрессированных собак: одни служили на задних лапах, другие подавали домашние шлепанцы, третьи доставали из речки мяч, а четвертые, когда им кидали палку, несли ее обратно,— все это не считая цирка.

— Ну пожалуйста, подойдите к моей жене,— умолял Махнач.— Вы только приблизьтесь к ней, я очень прошу!

Алексей встал — ведь нельзя было отказать хозяину в такой пустячной просьбе — и двинулся вокруг овального стола.

Но когда до Ларисы Федоровны оставалось всего лишь два шага, его остановил на месте глухой и свирепый рык.

Альма, оскалив белые и длинные клыки, вздыбив шерсть, рванулась к нему, царапая когтями пол, и если бы Валентин Владимирович не удерживал ее за ошейник, она бы уже налетела, набросилась, повалила — звон какие мышцы ходили на ее груди,— и от него бы, от Алеши, уже летели во все стороны клочья одежды и на его горле уже сомкнулись бы и защелкнулись в мертвой хватке эти страшные клыки.

— Спасибо.— Он повернул обратно.— Мне было очень интересно. Великолепный пес и отличная дрессура.

— Нет-нет, еще не все,— сказал Махнач, благодарно поглаживая Альму меж ушей.— Теперь подойдите с этой стороны, отсюда — вы просто подойдите к моей жене, приблизьтесь к ней.

— А это обязательно? — уже на грани обиды спросил гость.

— Я очень прошу вас — приблизьтесь.

Покорно вздохнув, Алеша опять пошел вокруг стола.

Сиплый рык собаки заставил оглянуться в испуге — она вскинулась, загребая в воздухе лапами, она была вне себя от ярости, она готова была растерзать его, и Махнач, багрово набрякнув лицом, едва удерживал ее за ошейник.

— Валентин Владимирович, нам пора,— напомнил Хвоцинский, с непонятной ухмылкой наблюдавший у двери за этой игрой.

— Да-да, я сейчас...— Махнач держал собаку у ноги до тех пор, пока Алексей не вернулся на свое место.— Ну пока,— сказал он,— вы не скучайте, мы скоро вернемся.

Они вышли, напустив в прихожую с улицы крутого морозного пару.

— Ну его, этот прогон,— повторила капризно Лариса.— Будет там Одинец стучать своей палочкой: «Сначала... сначала...» Что, я не знаю? Только все впечатление испортит.

Алеша, испытывая лихорадочное ощущение — то, когда остаешься в квартире наедине с молодой женщиной,— вынул папиросы, спросил хрипловато:

— Можно?

— Можно. Дай-ка и мне, я иногда...

Ему понравилось, как она легко и сразу одолела этот переход с «вы» на «ты». Он зажег спичку, потянулся к ней через стол, однако из угла тотчас донесся знакомый свирепый рык. Лариса переняла у него огонек, пахнула дымком и так же легко обошла этот дурацкий овальный стол, вокруг которого гостю было заказано двигаться,— она обошла этот стол и села на тахту на медвежью белую шкуру, оказавшись в приятной близости.

Рычать на хозяйку Альма не посмела.

— Ну так о чем мы с тобой будем разговаривать? — сощурясь от дыма, спросила Лариса.— О театре? О музыке? Или о литературе?

— Да хоть о чем.

— Тогда смотри.— Она закинула ногу на ногу.— Ты ленинградец, тебе это будет интересно.

— Что, ножка? — улыбнулся Алеша.— Я вижу: хороша... Но разве такое интересно только ленинградцам?

— Остряк.— Она все же чуточку запунцовела.— Ты на лодочки посмотри, на туфельку. Нравится?

Он пригляделся: туфелька мягкой коричневой кожи выглядела и впрямь очень изящной и ладной, потому что не тщилась показать самое себя, а лишь очерчивала высокий округлый подъем ноги, который был похож на припухлый и нежный зобок на шее Ларисы.

— Да, нравится.

— Еще бы. Это от Зоценки,— гордо сказала она.— Понимаешь, от самого Зоценки!

— Что?

— Туфли.

— От какого Зоценки? — все более удивлялся он.

— Какого-какого. Ну от писателя, от знаменитого... Он ведь смолodu сапожничал, вот и теперь подрабатывает. Печатают-то его не шибко, он и взялся снова... В Ленинграде сейчас модницы, самые львицы ходят в лодочках от Зоценки. А я хоть и не львица, но сумею раздобыть — переплатила подружке ой много...

«А тебя, случаем, не надули?» — мысленно поддел Алеша. Но вдруг помимо воли неожиданно для самого себя поперхнулся смехом и затрясся на стуле.

— Ты что? — недоуменно округлила глаза Лариса.

— Ха-ха-ха-ха!.. «Ложи,— говорит,— взад...»

— Что? — Она смотрела на него в тревоге, опасаясь, не рехнулся ли.

— Ну, пирожное... в «Аристократке», помнишь? Ха-ха-ха!.. «Ложки обратно, к чертовой матери!» А буфетчик говорит: «На ём надкус сделан и пальцем смято...»

В глазах Ларисы заискрилось воспоминание, она сама дрогнула и, припав к медвежьей шкуре, расхохоталась.

— Да-да! А какой-то дядя высунулся. «Давай,— говорит,— я докушаю...» Ха-ха-ха-ха!..

— «...и докушал, сволочь!»

Их обоих качал и опрокидывал неумемный смех, и у него и у нее из глаз брызгали веселые слезы, и, понемногу приходя в себя, успокаиваясь, затихая, они все еще вздрагивали, как после рыдания.

«А ведь вот,— успел подумать Алексей, с трудом возвращаясь в серьезность,— когда талант, то все получается талантливо, даже лодочки».

— Иди сюда,— позвала, оглаживая мех, Лариса.

— Я боюсь.— Он оглянулся на овчарку.

— А ты не бойся. Это она при нем старается, когда он ее за ошейник держит. Она от его злости чумеет... Ну пересядь.

Альма, бдительно наострив уши, следила от двери за каждым его движением.

Он привстал, ощущая дрожь в коленях, и медленно, почти паря — будто орел, перелетающий со скалы на скалу,— перенесся со стула на тахту.

Собака вскинулась и пошла напрямик к нему. Он в испуге, как в детстве, подобрал ноги.

— Альма, на место! — выдав голосом волнение, крикнула хозяйка. И, защищая, привлекла его к своей груди.— На место!

Альма остановилась, поглядывая недоуменно.

— Лежать! — строго приказала Лариса. Повторила ласково: — Лежа-ать...

Собака растянулась на коврик у тахты, положив на лапы длинную узкую породистую морду.

— Не бойся. Что она — дура? — шепнула, скидывая лодочки, Лариса.— Что я — дура?..

Под утро, уже в гостинице, ему приснился жуткий сон: что Махнач, накинув на себя медвежью шкуру и приставив к голове растопыренные олени рога, бежал на него с очевидным намерением с ходу проткнуть и пригвоздить к стене — Алеша в последний миг успел отпрыгнуть в сторону,— но оказалось, что в том-то и был подвох, убийственный и коварный умысел: Махнач служил прикрытием, он был лишь для отвода глаз, а когда пробежал мимо, из-за спины его вылетела, как торпеда, сосновая рудстойка — комлем вперед — и ударила Алексея прямо в лоб...

Он застал и проснулся. Голова разламывалась со вчерашнего, от смеси водки и ликера, которой они накачались в ночь-полночь, когда Махнач и Хвоцинский вернулись с прогона и застали хозяйку с гостем чинно сидящими за столом.

В умывалке долго ополаскивал лицо ледяной водой, но голову под кран подставляя боялся, чтоб потом не застудить на улице, выйдя с влажными волосами. Утираясь полотенцем, заметил в зеркале, что веки и ресницы остались насурмленными, как у провинциальной красотки, как у Ларисы Махнач: угольная пыль въелась в поры, ее не удалось отмыть ни мылом, ни водой, ни вчера, ни сегодня — и это всего лишь за один спуск, за несколько часов, проведенных в забое. А как же тогда у заправских шахтеров, которые там что ни день либо день через день?

Впрочем, он имел возможность нынче же это выяснить, так как в десять ему предстояло посетить героя будущего очерка, врубмаши-

ниста Клима Сидорова, у него дома: Махнач дал адрес, объяснил, как найти, а ввечеру обещал заехать и отвезти на премьеру в театр.

Алексей вышел на улицу.

В ту ночь, накуролесив, выдав напоследок шороху, унялась бушевавшая всю неделю пурга: она отлетела, как все тут обычно отлетает, к югу — по голой тундре, гонимая арктическими ветрами вдоль щита Полярного Урала.

И хотя кругом все равно и поутру была ночная темень, небо прояснилось, отстоялось от мути, от снежной круговерти — и сейчас были отчетливо видны дальние красные огоньки над копрами шахт и даже различались конуса терриконов из-за резкости сочетания черного с белым, породы и снега.

Он без труда нашел улицу Кирова: в ѓе горловине срьдє сугробов, увязнув до колен, будто бы без постамента, стоял бронзовый Киров со свитком планов в руке.

Клим Сидоров ждал его — здравствуйте, проходите, шапку вон туда, — он оказался русоголовым парнем, но брови и ресницы, Алексей угадал, у него были точно засмолены навек.

Обстановка квартиры не отличалась роскошью — стол, табуретки, раскладушка, и все, — и еще две детали, которые сразу же засек наметанный глаз газетчика: на стене среди почетных грамот висел на голубой ленте с синей каймой орден Трудового Красного Знамени, тронувший память Алексея узнаваемыми символами его детства — колосьями, шестеренкой, серпом и молотом.

И предмет совсем иного плана — с оконной задвижки свисала авоська, а в ней бутылка водки.

Он подумал, что это кстати, что предстоящий разговор потек бы оживленней и душевней, но хозяин, переняв его взгляд, поспешил объяснить:

— Вы не обращайтесь внимания... это, наоборот, для терпения, для закалки. Я раньше пил, а теперь не пью. Тут с шальных денег да с темной ночи спиться недолго.

Алексей слегка подсадовал, и его чуть покорило неуместное прямодушное парня. Но вместе с тем он и обрадовался: даже это лыко годилось в строку — он напишет об этой бутылке в авоське, об этой необычной закалке, поучительной и смешной.

— Скажите, Клим, — он присел к столу и вынул блокнот, — как вы готовитесь к рекорду? Мне сказали, что в феврале вы решили рубать пять тысяч тонн?

Он уже набрасывал на страничке вероятный ответ собеседника, когда карандаш запылся, уловив слишком долгую паузу.

— Да... — вскинул Алексей ожидающий взгляд.

— Знаете что, вы не пишите про это, не надо. Насчет рекорда не надо.

— Но почему?

Парень, отвернувшись, поламывал серые пальцы с израненными ногтями.

— Потому что... Вот вы спросили, как я готовлюсь? А вы бы лучше у начальства спросили: как они готовятся, как стараются? Потому что я всю эту механику знаю, не впервой. Загодя лаву подготовят, чтоб цикл шел как по маслу. Навальщиков, крепильщиков выделяют вдвое. И со всей шахты будут порожняк гнать ко мне, чтоб ни минуты простоя. А в других забоях, наоборот, уголь будет навалом лежать на решетах без движения, потому что вагонеток нету, все — мои...

Клим придержал взволнованное дыхание.

— Ну дам я рекорд. И они дадут — отрапортуют, отзвонят. Им почет и мне, конечно, уважение. Только, если по правде, у нас на «Капитальной» с цикличностью дела хреновые, и у меня в том числе: то рекорд, то полцикла в сутки... Организация работ плохая, штурмовщина, тряска. А чтоб прикрыть — туфту разводим...

— Вот как? — переспросил Алексей, напутывая грифелем клубок на листке.

Он опять чувствовал, что эти неожиданные признания его отнюдь не удручают. Ведь все это можно так и выложить в очерке, как говорит этот парень — его словами и в его устах.

Всю дорогу от Сосен до Тундры, на долгих перегонах между городами и стойбищами, трясясь на верхних полках, Алексей Рыжов прикидывал: что именно из виденного, слышанного, узнанного он прибережет для Москвы? Его блокнот исписан от корки до корки, там хватит на дюжину очерков, и всему достанет места в «Северной звезде». Но что-то самое интересное, гвоздевое следовало послать в Москву Аржанникову в оправдание чести быть внештатным корреспондентом центральной газеты. И он пошлет. Но что?.. Сначала ему казалось, что это будет схожий с красивой легендой рассказ о старом бурмастере Иване Кожемякине, который завещал назвать своим именем окраинный пустырь — чтоб там пролегла новая улица города... Потом Алексей надеялся, что ему удастся побывать на строительстве никому еще не ведомой Трансполярной магистрали воспользоваться правом первооткрывателя, но на трассу его просто-напросто не пустили, велели приезжать в другой раз, летом.

Теперь, однако, он понимал, что более всего для комсомольской газеты сгодился бы очерк об этом парне, которого вчера он видел в деле, за реверсом врубмашины, в угольной лаве, круто падающей под уклон, а сегодня видит его в этой пустой и нелепой квартире, — о двадцатилетнем парне, не столько окрыленном своей ранней славой, сколько обремененном ею, снедаемом заботами и думами... да, это интересно.

— Вы что, один живете в этой квартире?

— Один. Да ну ее к лешему, — вовсе заугрюмел Клим. — Я уж обратно в общежитие просился... Понимаете, я и после ремесленного пять лет в общежитии жил. Привык: сам вовремя не проснешься — ребята разбудят, а тут...

— Бойтесь проспать? Купите будильник.

— Купил. Только теперь я за час до него просыпаюсь — и жду...

— А вы жениться не собираетесь?

— Собрался, да не вышло.

— Что так?

— Дружок увел.

— Кого?

— Ее...

Клим, не скрывая огорчения, понурил голову.

Нет, все-таки он был излишне откровенен и доверчив. И пожалуй, за этим было больше простоты, чем прямодушия.

Алексей сунул в петельку карандаш, захлопнул блокнот.

Но у него еще были вопросы, которые не имели отношения к будущему очерку и потому не требовали записи.

— Значит, вы уверены, что Матрена Даниловна Сидорова не ваша бабушка? То есть что это не она — известная печорская сказительница?

— Нет, не она. Поди, какая другая Матрена Даниловна, их там полно, старух, в Троицком Посаде, и все — Сидоровы. Мы, правда, не посадские, а опоньские, из деревни Опонь, по соседству. Так вы среди посадских поищите... — Клим отвлекся ненадолго какой-то мыслью, вызвавшей на его губы мягкую улыбку. — В детстве, правда, она мне сказывала сказки, бабушка... но чтоб в газету — не-ет! Ха-ха-ха!... — опять, как и вчера, расхохотался от сердца шахтер.

— Хорошо, с этим все ясно. — Алексей прихмурился, давая понять, что теперь шутки в сторону, разговор пойдет не шутейный, а весьма серьезный. И, наклонясь, приглушил тон. — Как вы считаете, кто именно вчера пустил нам в спину рудстойку? Припомните, Клим

Гаврилович, может быть, вы заметили какие-то странности в поведении работавших в лаве людей... может быть, обратили внимание на чье-то лицо?

Алексей положил указательный палец поперек лба, подсказывая, пытается вызвать у собеседника зрительную ассоциацию с тем узколобым, у которого волосы росли прямо от бровей.

— Постарайтесь вспомнить.

Сейчас он ощутил удовольствие перевоплощения: он понял, что именно так говорил бы и спрашивал на его месте и в данной ситуации Геннадий Сергеевич Габов, следователь прокуратуры по особо важным делам.

Но Клим смотрел на него, недоуменно смаргивая своими навечно засмоленными ресницами.

— Рудстойку? Елки-палки, да это же хуже снаряда... могло убить насмерть.

— В том-то и дело,— подчеркнул Алексей.

— А я и не знал ничего про это, никто не сказал... И слышать не слышал: ведь когда врубовка работает, ничего, кроме нее, не слышать, такая она ревучая... Да неужто?

Оркестр в яме настраивался, как обычно, в прихотливой, неуправляемой разноголосице, но Алеше всегда чудилось, что и эта сумятица — один начал раньше, другой вступил позже, а третий еще не начинал продувает мундштук,— что и это подвластно какой-то неписаной, не сочиненной, но существующей и полной значенья партитуре, которая имеет целью не только дать настройку инструментам на единый лад, на единое «ля», но еще изображает в звуках суетную круговерть людской толпы: вон тот уже нашел свое место и важно уселся, а этот еще кладет поклоны, сверяя билет с номерами рядов и кресел, а те двое как ни в чем не бывало ведут в проходе беспечный разговор, будто не для них надрывно верещит последний звонок,— и всю эту бестолковщину саркастически изображает оркестр, засевший в яме.

Но они вчетвером — Алексей Рыжов, Лариса по левую руку от него, Хвоцинский по правую, а сам Махнач тоже слева, но поодаль, за Ларисой,— они уже давно сидели на своих местах, третий ряд, середина, поглядывая вокруг.

На плечах Валентина Владимировича были майорские золотые погоны, а на плечах Ларисы песцовая горжетка. Но это никак не выделяло их среди прочей публики.

Почти все мужчины в этом театральном зале были в погонах, золотых и серебряных, широких и узких, с просветами разной масти и со звездами разных величин. А те, у кого не было погон, имели созвездия в петлицах мундиров, лавровые, дубовые и пальмовые ветви на рукавах.

Алеша смотрел на все это золото и серебро, на все это шитье растерянно и потрясенно. Дело в том, что он, сын военного моряка, комиссара, с младенческих лет безошибочно разбирался в знаках различия военных людей. Он прочитывал и понимал, как прописи букваря, сочетания треугольников, кубиков, шпал и ромбов, чередование широких и узких шевронов на обшлагах — это раньше, до войны. Но и позже, когда не стало отца, а он еще не знал о себе, что ему не суждено быть военным человеком, что из-за давнего очага в легком он не годен,— он сразу научился понимать значения просветов и звезд на погонах, петлиц и лампасов, язык эмблем и пуговиц.

И его озадачило, повергло в растерянность не то, что в театре было так много людей в погонах, а то, что люди, заполнившие этот зал, сверкающие золотом и серебром, вовсе не были военными людьми. Он даже не мог взять в толк, хоть убей, какие рода державной деятельности, какие могучие ведомства, какие важные службы они

представляют, какие у них чины и какие ранги. Он, конечно же, сознавал, что это повышает авторитет, придает вес, что это дисциплинирует на всех ступенях выше и ниже — да, верно, — но он просто не успевал за нововведениями, память не вмещала обозначений, кто есть кто.

Его отчасти утешало лишь то, что у некоторых из этих невоенных людей в военной форме пестрели на груди планки орденских ленточек, значит, они все же побывали в сражениях, хлебнули военного лиха.

И еще он испытывал сейчас сильное смущение оттого, что во всем этом многолюдном зале, среди всех этих чинно восседающих мужчин лишь он да еще администратор Хвоцинский были не в военной форме, не в мундирах, не в погонах, а в своей жалкой штатской одежке — будто голые, — и он ежился от этого неприятного ощущения, ему хотелось прикрыться рукой.

Что же касается женщин, то все они, как и Лариса Федоровна, гордо несли на плечах чернобурок, рыжих лисиц, дымчатых и белых песцов, неопровержимо доказывающих, что их мужья такие же удачливые и меткие охотники, как и майор Махнач.

И еще можно было заметить, что меха эти тоже различались в ранге, имели какую-то сугубо дамскую, но непреложную иерархию.

— Видишь?.. — Лариса приклонилась к его уху, зашептала, задышала горячо (он даже отстранился, испугавшись, как взглянет на эту интимность строгий муж). — Впереди и чуточку правей... видишь? Это Вероника Петровна и ее муж, начальник комбината.

Алексей посмотрел, увидел золотые погоны и чернобурку богатого серебра, но больше ничего он не успел разглядеть, потому что свет в зале померк, занавес высветился снизу, а из оркестровой ямы послышались властные аккорды струнных и робкие рулады флейт.

Потом из складок вишневого бархата высунулась голова — усталое и печальное лицо с густо забеленными глазницами в черных обводах и гипсово-белым подбородком, с кроваво-красной щелью рта:

Позвольте... Позвольте...

К рампе вышел клоун в затасканном костюме с драными рюшами, в стоптанных башмаках, низко склонился, помахав выгоревшей пыльной шляпой.

Простите за смелость... Но должен я вам представиться здесь. Пролог перед вами!.. Пленяя вас игрой, пройдут по сцене старые маски. Пускай же, как встарь, Пролог вновь предваряет действие высоким слогом. Но не затем, чтобы вас лицемерно уверить: «Те слезы, что мы проливаем, поддельны, на страдания наши спокойно смотрите...»

Ухо Алексея улавливало знакомые ходы речитатива, впитывало слова, и он успел еще раз подивиться тому, как были естественны в пении интонации живой речи, как эти прозаические, нескладные, даже косноязычные фразы свободно ложились на музыку, которая — теперь, повзрослев, он понял это — была прекрасна.

Нет! Нет... Наш автор желает вам рассказать неподдельные страдания. Он хочет вам показать, что и актер — человек. Он лишь о правде одной помышлял, правдой лишь вдохновлялся. В душе его восставали грустной толпой воспоминанья. О них слезами он рассказывал, а рыдания ему помогали...

Алеша почувствовал, как в горле защеботало, как задергались произвольно веки. Он впился ногтями в ладони, но боль нисколько не помогла унять захлестнувшую его вдруг плаксивость.

Он оглянулся — украдкой, в смущении, — и вот именно эта оглядка выручила его: он увидел скучающие, надменные лица и понял, что зал совсем иначе, нежели он, внимает обращению. Певец при всем старании не смог ни расшевелить присутствующих, ни разжалобить их, ни выжать слезу — нет, зал покуда стыл в безразличии и настороженном недоверии, дожидаясь, когда же кончатся эти никчемные присказки и начнется само действие.

Так что же тогда он сам разнюнился? Совсем по-бабьи, стыдно... Алексей сглотнул комок, застрявший в горле, расправил плечи, выпрямился.

Итак, вы здесь сейчас увидите, как люди друг друга любят, и злобы жестокой деяния, и страдания наши, и крики ярости, и смех безжалостный. Позвольте ж просить вас позабыть на время, что перед вами комедианты. В души наши вы загляните, и что мы люди тоже, вас помнить прошу я. Что подобно вам на земле живем мы, и любим, и страдаем... Мысль пьесы ясна вам, Пролог смолкает, черед представленью. Итак, мы начинаем!

Занавес распахнулся, и за ним — ошеломляюще ярко — засинело калабрийское знойное небо, полное солнца и щебета ласточек.

Алеша зажмурился: это опять было внезапным перемещением из стихии в стихию; как вчера, когда они за несколько мгновений перенеслись из черных и сырых недр угольной шахты на-гора, в надземный мир, в тепло, чистоту и уют директорской душевой; как нынче, когда поутру он выглянул из окна гостиницы и увидел вместо сатанинских вихрей пурги просто сумрачный белый покой Большеземельской тундры; и наоборот — но это было очень, очень давно, — как однажды, когда он вышел в Москве на улицу Горького, к Пушкину, стоявшему среди юной листвы деревьев, и вдруг все окрест занавесилось кутерьмой метели, запуржило-запуржило, выстелило снегом крыши, а дело было в июне... вот так и сейчас его перенесло в Калабрию.

Дудели трубы. Смеялись пейзаже, завидев фургон бродячих комедиантов.

Тонио хотел помочь Недде сойти с повозки, но муж, Канио, огрев его палкой, отогнал прочь и сам взял на руки свое сокровище, любовь, Недду, Коломбину, бережно опустил ее наземь.

Из третьего ряда Алеше было видно, что старый паяц был и впрямь в преклонных годах, поди за пятьдесят, ему нелегко дался этот молодецкий жест, тем более что ноша оказалась изрядной: Недда была рослой красавицей — Алеша даже предположил, что, встань он сам рядом с нею, та возвысилась бы и над ним, да, пожалуй. Но у нее была поразительно тонкая и гибкая талия, на которой легко, без натяжки сомкнулись бы пальцы рук. У нее были длинные стройные ноги — Алеша убедился в этом, когда ее снимали с повозки. У нее были густые рыжие волосы, рассыпавшиеся по плечам, ниспадающие к пояснице, что несколько скрадывало рост. И еще он обратил внимание на ее ноздри, трепетные, как у молодой кобылицы.

— Дымченко, — сообщила ему на ухо Лариса. — Она в Харькове при немцах пела, путалась то с одним, то с другим... Но ты можешь себе представить: ее любит — нет, не там, не на сцене, а на самом деле... нет-нет, не Канио, не Варсонофьев, а Одинец, дирижер... они даже хотят пожениться, когда выйдет срок.

Лишь сейчас, после того как она просветила его, Алеша присмотрелся к дирижеру. Он, высоко взмахивая руками, чтобы видно было всем поющим, вел свадебный хор колоколов: дон-дин... дин-дон... Он был, как и положено, в черном фраке с порхающими фалдами, в белом жилете и с белой бабочкой на шее. Так вот, значит, какой он, этот знаменитый Одинец, написавший заново «Паяцев».

Дин-дон... дон-дин... Ах, подумал Алеша, как великолепны хоры в этой опере, а он раньше не понимал этого, только и знал что «Смейся, паяц...».

Но вскоре глаза его, и слух, и мысль опять вернулись к Недде. Она пела балладу о стае вольных птиц — у нее оказался небольшой, но чистый голосок, — и Алеша вдруг представил себе на этой сцене, в этих декорациях, изображающих солнечную калабрийскую деревеньку с часовней, в обрамлении вишневого театрального бархата не Дымченко, не эту кобылицу, а скромную невеличку Клару Истомина и подумал, торжествуя, как дрогнул бы этот чванный зал, услышь он хотя бы одну-единственную ноту ее медвяного голоса... Впрочем, подумал Алексей, этого, увы, не могло быть, поскольку у Недды колоратурное сопрано, а у Клары меццо, это была не ее партия.

Однако воспоминание о Кларе уже не оставляло его. Он подумал: как же это могло случиться, что на сей раз она не почувяла беды, не предотвратила его измены? Ведь у него по-прежнему не оставалось ни малейшего сомнения в том, что тогда, в Москве и Ленинграде, когда он впервые уехал от нее, она знала о каждом его шаге и вмешивалась тотчас, как возникала опасность: в снежный вечер на Волхонке, когда Светлана Дагирова спрашивала: «Ты что-то знаешь?» — она, Клара Истомина, выставила его перед нею дураком и тупицей, который не знал ничего, кроме того, что и без него все знали; а Лена Распопова, самая красивая девочка на свете, влюбленная в него с детской поры, прочла без труда, что он любит другую, будто это было написано у него на лбу, и только не написано, как зовут. Все это, несомненно, были козни Клары Истоминой, не зря же она сама признавалась, что еретница, а что и бабка ее еретница, он убедился сам.

Но как же Клара не уследила за тем, что его соблазняет пухленькая жена майора Махнача? Почему не помешала им остаться вдвоем? Или просто опоздала заметить — через такую-то даль, — а когда спохватилась, то было уже поздно...

Лариса опять приклонилась к его плечу, он с готовностью подставил ухо, ожидая, что она обратит его внимание на кого-нибудь в зале или сообщит пикантные подробности о ком-нибудь на сцене, но она, не пряча насмешки, прошептала:

— А в тебе сладострастья не-ет... ты — как бычок.

Еще не успев сообразить, взять ли это в обиду или счесть шуткой, Алеша в неподдельном испуге покосился на Махначу. Однако музыка звучала достаточно громко и тот не мог услышать, да и вообще он не смотрел на них, а следил за происходящим на сцене сквозь толстые линзы своих очков — и взгляд его был неподвижен и странен. Он наблюдал чужую любовь, чужую измену, чужую ревность, будто бы сопоставляя, каково другим, а каково самому. Но знал ли он что-нибудь об этом, подозревал ли? Заметил ли он, что вчера, когда они с Хвоцинским вернулись с прогона, заметил ли он, что фамильные рога над тахтой подросли еще на несколько веточек? Или он даже не предполагал за своей благоверной способности к таким отважным и лихим проделкам?.. Ну-ну, а зачем бы тогда эти фокусы с дрессированной собакой Альмой, готовой на глазах хозяина растерзать человека?

Знал, все знал — чутье подсказало Алеше, что он не ошибается, — знал и прежде, и вчера, когда уходил и когда вернулся, и даже сейчас, вот в эту минуту, когда Лариса насмешливо шепчет что-то своему соседу справа, заезжему мальчишке, он догадывается, он знает, что шепоток ее бесстыден.

Но что, что делать?.. Ведь не станешь кричать на весь зал, на весь свет, что жена изменяет тебе с первым встречным, что она шлюха, что ты рогат! Ведь не будешь прилюдно утирать слезы отчаяния и заламывать в страдании руки, как этот старый паяц Канио!.. Нет.

конечно. И остается лишь одно: сидеть в окаменелой неподвижности, стараясь не смотреть по сторонам, избегая чужих глаз, сидеть, сцепив зубы, делая вид, что тебе очень интересен этот балаган на сцене.

О нет, вдруг понял Алеша о себе: все что угодно, любые муки, любые пытки он вынесет, но только не такое, нет-нет, боже упаси.

Играть? Когда точно в бреду я, ни слов я, ни поступков своих не понимаю... И все же должен я играть! Что ж, ты разве человек? Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха!.. Нет, ты паяц!

В голосе Варсонофьева был тот рыдающий звон, который присущ старым и опытным драматическим тенорам, а он, по всему видно, был стар и опытен.

Ты наряжайся и лицо мажь мукою. Ведь зритель платит, смеяться хочет он. Вновь Арлекин похитит Коломбину... Смейся, паяц, и всех ты потешай! Ты шуткой должен скрыть рыдания и слезы, а под гри-масой смешной — муки ада. Ах, смейся, паяц, над разбитой любовью, смейся и плачь ты над горем своим...

Алеша выбросил вперед руки и громко заплескал ладонями. Он не обязан был дожидаться, пока начнут другие, — всегда кто-то начинает первым, бывает, что и не дождавшись последнего звука, срываясь в ошалелом восторге, в потрясении, в самозабвенном и благодарном чувстве.

Но уже через несколько секунд он услышал со всей отчетливостью и понял, что аплодирует один, совсем один в этом полном людей зале. На него удивленно оборачивались, рассматривали с боков, нагибаясь, не скрывая интереса, даже лезли из-за спины поглядеть, что за чудак.

Странно: он прекрасно помнил, что в этом месте, после этого ариозо, всегда полагалось хлопать, как ни спой. В чем же дело? Неужто в этом зале собрались такие ценители бельканто, что на них не угодишь? Неужели никому не понравилось пение Варсонофьева? Но ведь он спел очень хорошо, великолепно спел... Так в чем же дело?

Богатая серебром чернобурка в первом ряду колыхнулась, и в ней, как в полынне медленно повернулась голова в пышной прическе, в густой пудре, с глазами, которые были презрительно сощурены, а уголки губ в заедах темной помады были опущены, стыдя. Но золотые погоны рядом с этой чернобуркой даже не шевельнулись, храня достоинство и спокойствие.

Лариса поймала в воздухе плещущие руки Алексея — обе сразу — и силком опустила их, прижала плотно к коленям, к своим коленям, чтоб верней.

Валентин Владимирович Махнач искоса заметил этот жест, но одобрительно кивнул.

Между тем занавес задернулся, вспыхнул свет, застучали сиденья, зрители потянулись к выходам, переговариваясь, посмеиваясь, — но вполне возможно, что эти смешки и пересуды уже не относились к выходке заезжего меломана, к его неуместным рукоплесканиям. Просто все спешили покурить в антракте, наведаться в буфет.

Сам же Алексей Рыжов пребывал, конечно, в смущении и растерянности. Но ведь его никто не предупредил заранее, что здесь, в этом театре, не положено хлопать. Он вспомнил, что и в некоторых других театрах было запрещено аплодировать до конца спектакля, чтобы не разрушать настроения души, тонкой атмосферы искусства. Да-да, кажется, этот строгий порядок завел в своем театре Станиславский...

В кабинете администратора, куда их привел Хвощинский, уже был подан чай с лимоном, пирожные.

Но они молчали напряженно и тягостно, брэнча без толку вкруговую ложечками в стаканах.

Для этого, конечно, были причины.

Вероятно, Алексею следовало извиниться за то, что он не знал, что нельзя аплодировать, но вместе с тем он имел полное право спросить и с них самих: почему его не предупредили заранее? Он бы понял, согласился и воздержался от рукоплесканий. Теперь, пожалуй, Махначу не избежать взбучки от Вероники Петровны, а уж он в свой черед отыграется на тех, кто под ним: на своей жене, на своем администраторе. Впрочем, подумал Алеша, скорей всего Валентин Владимирович сейчас не столько раздражен его злосчастными аплодисментами, сколько пышет ревнивой злобой, подогретой событиями на сцене, где и впрямь назревала поножовщина, где запахло кровью... Но зачем, зачем, подумал Алексей, так непосредственно реагировать на вымысел, совсем не принимать в расчет условности искусства? А может быть... Он отхлебнул горячего чаю, пронзенный догадкой: а может быть, инспектор по культуре майор Махнач нарочно возвратился из служебной командировки с пустыми руками, так и не добыв в Москве и Ленинграде нужную партитуру? Может быть, он просто не желал, чтобы здесь ставили оперу Леонкавалло, где так откровенно изображались его отношения с женой, не хотел, чтобы их грязное белье трясли перед всей Тундрой?.. Мысль эта показалась Алеше не только забавной, но и соблазнительной. Он понял, что теперь готов бесстрашно встретить и отбить любой личный выпад инспектора. Пусть он только посмеет заикнуться, что-то сказать, что-то спросить — и тогда Алексей задаст ему встречный вопрос, то есть даже и не задаст вопроса, а произнесет одно-единственное слово — *н а р о ч н о?* — и Махнач умолкнет, поблуднев, пошатнется, схватится за стул, нет-нет, он упадет на пол — даже если этого не было и он ни в чем не повинен, — рухнет, покаянно стучась лбом о половицы, моля о пощаде, вот так, вот так-то, голубчик.

Вполне успокоенный, Алеша оглядел стены кабинета, где они пили чай.

Его внимание привлек портрет Сталина, висевший над письменным столом.

Он еще никогда не видел этого портрета, то есть он знал наперечет все сталинские портреты — и фотографические, и рисованные, и писанные маслом, — как знали их и остальные люди, ценя их в совокупности, но отдавая предпочтение одному из них и радуясь, если именно этот любимый портрет появлялся на праздничной газетной странице или в будний день встречался взгляду на стене.

Теперь уже редко давали его изображения довоенной поры — в полувоенном строгом кителе, застегнутом на все пуговицы до самого подбородка, — где он еще черноус и черноволос, хотя отец, лично знавший Сталина, уверял Алешу, что у Сталина были не столь уж редкие среди грузин рыжеватые волосы и такие же рыжие усы. Но с войны — точней, с ее победного перелома — на всех портретах он был уже в мундире с высоким, расшитым золотом воротником, в маршальских погонах с гербами, притом все чаще и все гуще его грудь заслоняли ряды орденов и медалей на пестрых лентах, лучистые звезды из платины и золота, в эмали и бриллиантах — впрочем, справедливости ради надо заметить, что все эти регалии были в наличии лишь на полотнах живописцев, только им, вероятно, он соглашался позировать при полном параде, или же эти детали просто домысливало их пылкое воображение, а на фотоснимках, упрямый в своем аскетизме, он был без орденов и, даже сделавшись генералиссимусом, позволил себе одну исключительную привилегию перед своими маршалами: носить не стоячий жесткий воротник, а отложной, мягкий, привычный, с **ши-
нельными** **петлицами**.

Зато все портреты нынешней поры честно воспроизводили плотную седину его висков и усов, и можно было предположить, что вскоре наивные разноречия о цвете его волос — был ли он чернявым или рыжим, — все это примирит, скроет, забелит ровная седина подступающих семидесяти лет.

И на портрете, висящем над письменным столом в кабинете администратора, было все то же: военный китель, сгущающиеся седина, знакомый взгляд... но именно этот взгляд привлек к себе пораженное внимание Алексея. Он был сосредоточен, пронизан мыслью и гневливой волей. Пожалуй, если бы глаза на этом портрете смотрели прямо перед собой — глаза в глаза, — то такого взгляда было б и не вынести, он повергал в трепет, подавлял, сламливал. И художник, учтя это, отвернул голову вправо совсем немного — больше было тоже нельзя, так как слишком явно обозначились бы немощи старческой шеи, поэтому художник лишь чуточку отклонил подбородок, а дальнейшее движение — этот общий поворот направо — было продолжено глазами, уведенными вдаль, исполненными думы, нелегкой, даже мучительной, но непреклонной... В том, видимо, и был замысел: чтобы этот взгляд не казался сосредоточенным на одном человеке, на тебе самом, когда ты стоишь перед портретом, но чтобы ты улавливал, как безграничен его оком, как далеко ему дано и велено заглянуть.

Алеша встал с места, направился к письменному столу, чтобы рассмотреть портрет в подробностях.

Широкое чистое поле бумажного листа, обрамляющее голову, уже подсказало ему, что это карандашный рисунок, но вблизи обнаружилось, что все здесь изобретательней и сложней. Голова и плечи были вначале нанесены на бумагу широкими размывами туши, дававшими фон нужной меры: то совсем легкий и прозрачный, то непроницаемый, близкий к черни; однако все это было лишь подмалевком для дальнейшей работы пера и грифеля, которые кропотливо и тщательно, но уверенно, смело — тут во всем была видна рука мастера — воспроизводили живую плоть лица, давно утратившего гладкую свежесть молодости, его вялую кожу в сеточке едва заметных морщинок, а на них ложились главные морщины, борозды, черты, те, что создают само лицо; в невидимых сосудах теплился замедленный и густой ток крови, острия волосков на щеках прокалывали бритую синеву, поры одышливо ловили воздух... а глаза, глаза...

— Какой портрет, — вымолвил наконец-то Алексей, — какой прекрасный портрет! Я впервые вижу его... Кто художник?

— Это наш... это Фисак, — объяснил, подойдя, Хвощинский. — В сегодняшнем спектакле его декорации.

— Не может быть! — воскликнул Алексей.

— Все может быть, — тихо подтвердил администратор. — Вам очень нравится? Если хотите, я покажу вам его мастерскую, это за сценой... Валентин Владимирович, — обратился он к Махначу, — что, если я проведу нашего гостя к Фисаку?

— Ведите, — сказал майор.

Алеша догадался, что Хвощинский решил убить сразу двух зайцев — показать ему мастерскую театрального художника и оставить Махначу наедине с женой, чтобы снять возникшее напряжение либо, напротив, дать ему разразиться в супружеском скандале.

Они окольными коридорами миновали шумное фойе и очутились за кулисами, где Алексей почуял уже знакомый ему запах пыльных сукон, струганных досок, грима и пота.

Им предстояло подняться по крутой лестнице, и вдруг Алеша увидел то, что уже видел однажды в своей жизни и хорошо запомнил, верней он не только видел, а это было с ним самим, однако теперь он увидел это со стороны: у нижней ступеньки стоял дирижер Одинец в своем безупречном черном фраке и белой манишке, стоял, печально

понузив голову и уронив как плети кисти рук в тугих накрахмаленных манжетах, — а над ним, на площадке лестницы, стояла, опершись на перильце, Недда, Коломбина, Дымченко: при взгляде отсюда, снизу, она казалась еще более рослой и статной, густые волосы ее были разметаны по плечам, а кобыльи ноздри трепетали от злости... да-да, он узнал то самое крыльцо, где снизу просят милостыньку, а сверху подают либо гонят прочь.

— Здравствуйте, — вежливо поздоровался Алексей, проходя мимо дирижера.

Тот растерянно и жалко поклонился в ответ.

На площадке, когда они взошли, Хвощинский свойски похлопал Недду по задку, круглящемуся внезапно и пышно, как гитарная дека за грифом, от бесподобно тонкой талии, похлопал и сказал:

— Опять ругаетесь, детки?

— Здравствуйте, — вежливо поздоровался Алексей с Неддой, но она не удостоила его ответом.

Алеша заметил, что здесь, за кулисами, Вадим Сергеевич шагал свободней и размашистей, что он вышрямился, приобрел завидную развязность манер и тона: вероятно, в этой закулисной атмосфере он чувствовал себя более привычно и уверенно, чем в кабинете администратора, хотя он и был им.

Эта непринужденность чувств передалась и Алексею Рыжову. Он подумал, что Недда все-таки слишком крупна ростом, что она выше не только его самого, но превосходит в этом отношении и дирижера Одинца, он подумал, что они будут смешны, если поставить их рядом, что они не пара, нет, что ничего у них не выйдет и этой свадьбе не быть. Да и зачем Одинцу такая жена, подумал он с презрением. Ведь он уже знал о ней, что она пела немцам и спала со всеми немцами, какая мерзость, шлюха.

— Пахан! — закричал Хвощинский, толкнув коленом дверь.

Они вошли в просторное и холодное, как чердак (или это и был чердак?), помещение, где лампы в жестяных колпаках свисали на длинных шнурах, словно поганые грибы, проросшие на сырости вниз головами, где стены, беленные небрежно, были увешаны яркими картонами, а еще повсюду были расставлены грубо сколоченные мольберты, на которых тоже красовались пестрые картоны, одни уже законченные, можно было понять, что на них, а другие лишь в первоначальных броских пятнах. Тут было как в лесной чащобе, где много деревьев и трав, но ни живой души, — и Хвощинский закричал снова:

— Ау!.. Пахан, где ты?

На этот зов из-за мольбертов вышел пожилой человек в стеганом ватнике и таких же ватных штанах, заправленных в резиновые коты, в шапке с оттопыренными ватными ушами — да, здесь было чертовски холодно, потому и руки его были в перчатках с отстриженными кончиками пальцев, чтоб удобней работать; он держал стеклянную банку с водой и полоскал в ней кисти, и Алеша заметил, что потеки, сбегавшие с этих кистей, еще сохраняли свой чистый цвет — синий, красный, зеленый, — но эти шевелящиеся, как водоросли, цветные космы уже переплетались между собой.

— Пахан, принимай гостя, — представил Хвощинский, — это Алексей Николаевич Рыжов, корреспондент газеты «Северная звезда».

— А-а... — отозвался Фисак.

— Мне очень приятно, — сказал Алексей, размышляя, не подать ли руку, но вовремя сообразил, что у того руки заняты, моют кисти.

— Он хочет посмотреть твои художества, — объяснил администратор. — Надеюсь, ты не будешь возражать?

— Смотрите, пожалуйста... — Фисак пожал плечами, однако можно было догадаться, что он польщен вниманием, потому что любой

художник жаждет внимания, дорожит и живет им.— Но я не буду вам ничего объяснять, я не умею рассказывать,— добавил он.

— Ладно, сами как-нибудь,— отмахнулся Вадим Сергеевич.

Действительно, объяснения были совершенно излишни. Алексей ни разу не впал в озадаченность, обходя мольберты, он безошибочно узнавал что и где. Он увидел залитую солнцем и небесной синью деревню с часовенкой в Калабрии, которая полчаса назад была на театральном сцене — распахнутая вширь, и ввысь, и в глубину,— и здесь ему тоже послышалось ликующее щебетанье птиц и колокольный звон, хотя сейчас не было ни оркестра, ни хора, а были только краски, брошенные на картон. А рядом он увидел высланную белым снегом опушку, речной берег, заброшенную мельницу в косых снежных сувоях, а сверху тоже опадали белые хлопья, и в ушах зазвучала предсмертная теноровая тоска: «Куда, куда...» — но странным образом эта дуэльная опушка напоминала сумрачные равнины тундры, а мельница сбоку была похожа на заметенный пургою шахтный терриконник, как он увидел это нынче утром.

В дешевеньком овальном багете под стеклом был портрет офицера в черном доломане со шнурами поперек груди и в черном же плаще, закинута на плечо, а белые букли парика обрамляли лицо с горящими адовой решимостью черными глазами — и Алеша сразу понял, что Герман, и сразу узнал Варсонофьева, хотя у того на самом деле, он заметил из зала, были светлые, полные мутной голубизны глаза, какие бывают у стариков и младенцев.

И тут же он увидел Недду, Коломбину — да нет же, какая Недда! — он увидел золотокошую девушку в простеньком сарафане и небогатом середнячком кокошнике, нежный румянец на щеках, сомкнутые в щелочки ноздри, свежие губы — а звать ее, он угадал, Антонидой, — и вдруг, пораженный, понял, что про нее все нагали, оклеветали со зла, очернили, а она никогда не спала ни с немцами, ни с поляками, ни даже с суженым своим, она невинна, кроткая горлица, так за что же ее сюда? — возмутился он и обернулся в пылом недоумении.

Фисак болтал кистями в банке и, кажется, был всецело поглощен этим занятием. Чистые краски давно перемешались, обретя грязно-серый цвет под стать его ватнику и его шапке.

— Пахан,— сказал Хвоцинский,— Алексей Николаевич видел Сталина в моем кабинете, и он ему здорово понравился.

— Да, мне очень понравился портрет, очень! — подтвердил Алеша.— Вам удалось выразить... какая в нем непреклонная воля, сколько силы! А глаза — какая пронизательность! У меня даже мурашки по спине...

Художник слушал похвалы, скромно потупясь, и Алексей заметил, что сероватые его брови похожи на кисти, которые он мыл, — щетинистые жесткие хвостики, вздернутые кверху.

— А вы знаете... — Фисак назидательно поднял палец, вылезший из перчаточной прорехи, и сказал негромко, но убежденно: — В нем есть... В нем-таки есть!

— Пахан,— уловив согласие, возникшее между собеседниками, вмешался тотчас Хвоцинский,— сделай нашему гостю подарок — сделай ему повторение, а?

Алексей счастливо обмер душой, поняв, о чем речь.

Но губы Фисака искривила гордая усмешка из тех, что вправе позволить себе лишь художники, знающие великолепие своего таланта и колдовство своего мазка.

— Нет,— сказал он,— мне это скучно... я никогда не делаю повторений, потому что мне это одна скука и больше ничего.— Он посмотрел на Алешу, и в его взгляде затеплился какой-то огонек.— Я сделаю для молодого человека, раз ему так понравилось, вариант.— Фисак опять поднял палец, выглядывающий из прорези перчатки смешно,

как голова петрушки.— Не повторение, а вариант. В немножко другой технике...

— Пахан, ты гений! — Вадим Сергеевич восхищенно потрепал его по стеганому ватному плечу.

— Спасибо,— растроганно пролепетал Алеша.

Из-за двери и снизу сквозь пол донесся требовательный звонок, нужно было спешить в зал.

Хвоцинский явился к нему в гостиничный номер за час до отправления поезда.

— Машина ждет,— сообщил он и продолжил торопливо, чтобы опередить вопросы: — К сожалению, Валентин Владимирович не сможет проводить вас лично — он на совещании у начальника комбината. Поручено мне. А Лариса Федоровна велела передать привет и наилучшие пожелания, ну как водится...— Взгляд его был сощурен и хитер, Алексей понял, что Вадим Сергеевич гораздо больше знает о жене своего начальника, чем ему определено должностью.— Вы готовы?

— Да,— сказал Алеша, запирая чемодан.

— Но еще вот это...

Хвоцинский, стянув газетную обертку, раскатал на столе шуршащий ватман, дохнувший белизной. На нем была голова Сталина в том же решительном полуобороте, продолженном движением глаз вправо,— Алексей опять почувствовал, как застучало благоговейно и преданно сердце,— та же седина в усах, плотнеющая седина висков, все было точно таким, как на портрете, который висел в кабинете администратора, однако было и различие, сразу делавшее этот лист совершенно новым произведением. Художник ввел цвет: это была то ли красная тушь, размытая до прозрачности, то ли акварель, кое-где сгущающаяся в золото, а кое-где обретающая телесное тепло, но этим цветом было прописано все — и вязь маршальских погон, и петлицы алого сукна, и смуглая кожа лица.

— Здорово...— только и выдохнул Алеша.

— Здорово,— подтвердил Хвоцинский.— В чемодан влезет?

Они примерили к ребру — не влезало, оставался лишек, но не резать же.

— Ладно,— сказал администратор, скатывая ватман опять в трубку и обертывая жерло газетой.— Довезете так.

— Вадим Сергеевич,— Алексей в неловкости сунул руку за борт пиджака, нащупывая бумажник,— я бы хотел, вы понимаете... Сколько это может стоить?

— Деньги? Ни в коем случае.

— Почему же?

— Нельзя. Ему не нужны деньги.— Хвоцинский помотал головой, но, уловив огорчение гостя, смягчился чуть.— Впрочем, вы можете соорудить пахану гостинец, сверточек: сахарку, колбаски, маслица, сгущенки — это да, он будет рад.

— Но когда я успею? Ведь уже надо ехать.

Вадим Сергеевич глянул на циферблат своих часов.

— О да, нам пора — вдруг еще придется торчать на переездах...— Администратор сунул под мышку бумажную трубу и подхватил чемодан.— Ничего, договорим попутно.

Их ждала та же самая «эмка», на которой они ехали с шахты — Алеша узнал в лицо шофера,— но с колес были сняты гремучие цепи, потому что дорога вполне укаталась после долгих пург. Они сели и поехали.

— Алексей Николаевич,— сказал Хвоцинский сразу, как они тронулись, и Алеша догадался, что эта речь была припасена заранее,— у меня тоже к вам есть один вопрос сугубо личного и бытового плана. Вы позволите?

— Ну конечно.

— Видите ли, мне в июле предстоит отпуск — очередной, как говорится, трудовой. Притом целых два месяца — здесь у нас двойные отпуска, Заполярье... И вот я уже сейчас прикидываю помаленьку: куда бы поехать, где провести заслуженный отдых?

— Поезжайте в Сочи! — без особых колебаний откликнулся Алеша.

Хотя он сам ни разу не был там, на Черном море, на Кавказе, но он имел об этом некоторое представление, в частности по роскошным панно Ираклия Тоидзе в подвальчике «Арагви». Кроме того он вспомнил, что врубмашинист шахты «Капитальная» Клим Сидоров минувшим летом отдыхал именно в сочинском санатории и как будто остался доволен.

— Благодарю вас, — растроганно приложил руку к груди Вадим Сергеевич. — Мне это многие советовали... О, если бы я мог поехать в Сочи! — Он помолчал, вздохнул. — Но дело в том, что я не могу поехать в Сочи.

— Тогда езжайте в Ореанду, — предложил Алексей, вспомнив другое: что редактор «Северной звезды» Семен Ильич Улитин ежегодно ездил отдыхать именно в Ореанду и что, кроме него, туда ездили не менее уважаемые люди вроде заведующего отделом обкома Евгения Логиновича Полупанова; и вдруг у Алеши в голове мелькнула мысль о том, что минет год — и у него самого окажется право на отпуск, и, может быть, ему тоже дадут путевку в Ореанду, в Крым, и он наконец-то увидит мечту своих довоенных пионерских детских лет — Артек.

— Ореанда — это Ялта? — переспросил Хвоцинский и опять вздохнул, не пряча уныния. — К сожалению, я не могу поехать в Ялту... Видите ли, у меня несколько ограниченные возможности, и я должен остаться в их пределах. То есть я могу провести свой отпуск либо здесь, в Тундре, либо поехать в Город-на-Реке... Вот, собственно, об этом я и хотел вас расспросить подробней: что, если я летом поеду в Город-на-Реке?

— Но это превосходная идея! — безоговорочно поддержал ее Алексей Рыжов. — Город-на-Реке — это очень, очень... вы не пожалеете!

— Вот и я прикинул: все-таки это намного южнее Тундры и говорят, что там здоровый и целебный климат, много кислорода, правда?

— Чистейшая правда. Там великолепный климат: зимою холодно, а летом жарко — даже можно купаться в реке, — заверил Алеша. — Например, я в прошлом году купался в Вычегде.

— А там есть приличная гостиница? Как она называется?

— Видите ли, там всего одна гостиница, и она никак не называется, просто гостиница, — объяснил Алеша. — Но, уверяю вас, это вполне приличная гостиница — я в ней живу.

— Отлично, — заерзал на сиденье обнадеженный Вадим Сергеевич и продолжил свои дотошные расспросы: — А как там в смысле культуры? Ведь не станешь круглые сутки купаться, захочется и пообщаться с людьми... Я имею в виду — есть ли там общество?

— Да, разумеется. Там есть очень интересные и очень культурные люди. — Алеша перебрал в уме несколько известных ему лиц, и мысль его набрела на Вась-Вася Бубеева — почему-то именно на него пал выбор, — и он поспешил обосновать этот выбор, убедить собеседника и себя самого: — Например, в нашей редакции работает человек, который раньше выпускал энциклопедию, то есть это человек поистине энциклопедических знаний! Вы бы послушали, как он рассуждает...

— Ну, положим, насчет этого, Алексей Николаевич, я стараюсь быть осторожным — по части рассуждений, — подобрался Хвоцинский и несколько мгновений хранил вид строгий, недоступный, однако позже скосил на Алешу знакомый сощуренный и хитрый взгляд. — Я имел в виду не всяких умников, а другое... как там насчет женского общества? Есть ли там красавицы?

— Да-а,— ответил Алексей.— Там очень много красавиц, полно красавиц! А вы знаете,— оживился он, лишь сейчас сделав открытие, о котором даже не предполагал минуту назад, ибо оно открылось ему именно в этом разговоре,— вы знаете... Город-на-Реке — это редкий город,— он улыбался счастливо,— в сущности, там все девушки — красавицы. Я даже сам удивляюсь, что на свете есть город, в котором живут одни красавицы. Да.

— Но вы понимаете — мне ведь и утонченность нужна, не только... — Вадима Сергеевича все еще одолевали сомнения.— Я надеюсь, не какие-нибудь там деревенские девахи, не Феклушки?

— Нет, что вы! Ведь это — г о р о д,— подчеркнул Алексей.

Администратор, поверив и сдавшись, откинул голову к стеганой коже и погрузился в мечтательность.

Все переезды на их пути оказались свободными, светились зеленым, они успели ко времени без суеты. Алексею досталось нижнее место в мягком купе с линкрустовыми стенками, плюшевыми занавесками на окнах, он продышал очко в заиндевевом стекле и увидел Хвоцинского, приветливо машущего рукой.

Когда состав двинулся и проводник спросил билет, Алеша, сунув руку за пазуху, вдруг обомлел, спохватился, что забыл дать Вадиму Сергеевичу денег, чтобы тот купил и передал Фисаку гостинец, продуктовый сверточек — ну как же он мог забыть и что же Хвоцинский не напомнил ему! — но поезд набирал скорость, городские огни утонули в кромешной тьме, он сел на мягкий диван, уйдя в другие воспоминания о только что покинутой Тундре, и вскоре они заслонили эту досадную оплошность, и он позабыл о Фисаке и о не купленном гостинце.

5

— Семен Ильич искал вас,— сказала Ася,— кажется, что-то срочное.— Но заметив, что Алексей взялся за ручку двери редакторского кабинета, упредила: — Его сейчас нет у себя.

— А где?

— Не знаю, вышел, давно уж.

— Я найду! — пригрозил Алеша.— Я из-под земли достану!

Ася посмеялась шутке.

Он отправился искать Улитина, заглядывая поочередно во все двери коридора. Тут не было и там не было.

Сунулся в кабинет ответственного секретаря: Бубеев понуро сидел за письменным столом с рожей пунцовой, горящей со вчерашнего, а может быть, и позавчерашнего — Алексей не знал, он с ним не пил,— Вась-Вась поднял на него соловый, измученный, жаждущий, молящий взгляд, но Рыжов поспешно закрыл дверь, все равно Улитина там не было.

На всякий случай он приоткрыл дверь, за которой в одиночестве терзал чужие страницы глухонемой литправщик Зыков — они были в натянутых отношениях, хотя, если честно признаться, Зыков в последнее время почти не трогал написанного им, Рыжовым, что было безмолвным признанием,— однако и здесь редактора «Северной звезды» не нашлось, да и о чем бы Улитину беседовать с человеком, который говорить не может и не слышит ни черта?

Но, как это ни странно, именно Зыков, уловив в глазах Алексея вопрос, сразу догадался, кого и что ему надо.

— Мбу... мбу...— сообщил он.

При этом Зыков кивнул на стену, приложил к своим глухим ушам обе ладони чашечками, донцами внутрь, а пальцами сыграл будто на клавишах рояля, повторил:

— Мбу... мбу...

Алеша понял: Улитин в рубке радиослухача, что в самом конце коридора. Там была дверь, тоже обитая плотно с обеих сторон, чтобы

ни туда, ни сюда не проникали звуки. Впрочем, туда редко кто заглядывал — не велено, запрещено, чтобы не чинить помех приему.

Дело в том, что «Северная звезда» не имела телетайпной связи с Москвой и принимала тассовские сообщения по радио, по эфиру. На слух записывались тексты не только срочных телеграмм, но и обширные официальные материалы — доклады, отчеты, — иначе пришлось бы ждать, покуда в Город-на-Реке доставят, перегружая с одних колес на другие, столичные газеты, перепечатывать оттуда с недельным опозданием, а подписчик не дурак, он живо сообразит, что незачем и подписываться на «Северную звезду», лучше обойтись «Правдой», она всегда верняк, — и тираж местной газеты упал бы до таких опасных пределов, хоть закрывай лавочку.

Однако в подобном положении находилось большинство захолустных редакций, жутко удаленных от центра: там тоже не было телетайпов, которые сами отстукивали бы на бумаге переданные Москвой вести. И потому круглые сутки на условленных волнах шли сеансы радиосвязи: столичные дикторы медленно, членя слоги, выдерживая томительные паузы, начитывали тексты, а радиослухачи принимали материал, записывая от руки либо сразу печатая на машинке, если горазды.

День и ночь мужские и женские голоса из Москвы — бессонно, тягуче, запивая хрипотцу глотком воды, — диктовали слово за словом, строку за строкой, страницу за страницей. И точно так же день и ночь посменно, шалея от напряжения, боясь пропустить букровку, вздремывая, как под гипнозом, от монотонности чужого голоса, просящаясь на полуслове, радиослухачи записывали новости — важные, тревожные, радостные, пустячные — строка за строкой, страница к странице, вон уж какой ворох, тащи в секретариат, сдавай в набор, тискай в завтрашнем номере.

Улитин был в рубке.

Завидя в щелке двери Алексея, он поманил его, похлопал ладонью по сиденью стула рядом с собой и предостерегающе поднес палец к губам: мол, никаких расспросов, молчок, слушай, есть что послушать.

Зеленый глазок индикатора в приемнике то размыкал, то смыкал веки, улавливая колышущийся звук.

Слухач в тугих наушниках, чтобы слышать только дикторский голос и не слышать собственной трескотни, колотил по клавишам довоенного, черного с золотом «Ундервуда».

— ...премьер-министр Готвальд... даю по буквам: Григорий, Ольга, Тарас, Василий, Александр, Леонид, мягкий знак, Дмитрий... Готвальд... подробно проанализировал причины недавно возникшего правительственного кризиса, точка. Как известно, запятая, в результате национально-дефис освободительной борьбы и освобождения Чехословакии... повторяю: Че-хо-сло-вакии... от немецко-дефис фашистских захватчиков бывшие реакционные правящие круги, запятая, предававшие свою родину и сотрудничавшие с немецкими оккупантами, запятая, были лишены своей прежней экономической и политической власти, точка. После освобождения Советской Армией нашей страны, запятая, сказал Готвальд, запятая, были национализированы крупная промышленность и банки...

Алеша вслушивался в речь, пытаясь уловить то важное, то главное, что заставило редактора «Северной звезды» засесть в рубке радиослухача, не дожидаясь, пока принятый и вычитанный тассовский материал принесут ему на стол.

Ведь уже не первый день и не первую неделю — все это началось в феврале, когда Алексей был в командировке, — Чехословакию сотрясали бурные события. Правые силы пытались совершить контрреволюционный переворот в стране, где еще не до конца свершилась

революция,— не зря же Черчилль в своей фултонской речи два года назад похваливал Чехословакию за то, что там народная демократия никак не может утвердиться. И вот реакция бросила открытый вызов: буржуазные министры подали в отставку, требуя сформировать правительство без коммунистов... а без коммунистов — значит, прежде всего без Готвальда?.. Ну это шиш им: рабочие объявили всеобщую забастовку, организовали комитеты действия, сформировали отряды народной милиции... И правые растерялись, дрогнули. Клемент Готвальд сформировал новое правительство, в которое вошли и коммунисты, и социал-демократы, и просто честные люди, патриоты. Вероятно, сейчас по радио как раз и читают программное выступление Готвальда в парламенте...

Все шло правильно, события развивались так, как надо и как можно было предвидеть.

Что же всполошило Семена Ильича, привело его сюда, в радиорубку? Почему на лице его озадаченность и тревога? Странно...

Улитин, обернувшись на миг, вероятно, заметил недоуменно вскинутые брови своего молодого сотрудника. Вытянул из стопы уже напечатанных страниц одну, где текст был краток — всего лишь несколько строк,— протянул Алексею.

Он пробежал эти строки из конца в конец, начал сызнава, вчитываясь пристальней и пораженней: «Прага, 10 марта. (ТАСС) Чехословацкое телеграфное агентство опубликовало следующее официальное сообщение президиума совета министров Чехословакии: «Рано утром 10 марта 1948 г. трагически окончил свою жизнь, исполненную труда на благо родины и народа, министр иностранных дел доктор Ян Масарик. Вследствие своей болезни, усугублявшейся бессонницей, по всей вероятности, в момент нервного припадка он решил покончить жизнь, выбросившись из окна своей служебной квартиры на двор Чернинского дворца...»

Ян Масарик? Сын первого чехословацкого президента Томаша Масарика?.. Алеша, не веря своим глазам, перечитал фамилию по буквам: Михаил, Алексей, Сергей, Алексей, Роман, Иван, Константин... Ма-са-рик... да, он.

— Это предательство! — сказал на ухо Семен Ильич.— Это нож в спину.

— Кому... нож? — не понял Алексей.

— Как кому? Народной демократии, революции.

— Но ведь он же сам... он сам... умер.

Темные глаза Улитина смотрели сейчас ему в глаза так прямо и так близко, что слились в один огромный, как булыжник, глаз.

— Ты еще не знаешь, Рыжов, что такое классовая борьба. Не постиг. А это вещь жестокая! В ней даже смерть — лишь ход, лишь средство... себя не пожалеешь.

Он отвернулся, негодуя дыша.

Алеша поник в смущении, хотя негодование редактора вряд ли относилось к нему лично. Но все же было стыдно. Конечно, он еще не постиг и не знал. А ведь пора бы! Не мальчик, не маленький.

Тем более что когда он был совсем еще маленьким мальчиком, даже тогда ему не раз были преподаны эти суровые уроки.

Он вспомнил, как однажды они с отцом шли на катере от Толбухиной косы, от Рифа, к гавани, огибая остров Котлин с юга. Сквозь марево сильно парящего залива проступали зыбкие силуэты военных кораблей на рейде. То тут, то там вырастали из воды, будто скалы, отвесные каменные стены старинных фортов и батарей, и были видны торчащие из амбразур жерла крепостных орудий. Справа по ходу, на материке, пластались причалы и пакгаузы Ораниенбаума, а слева вычерчивалась знакомая зубчатая кромка маяков, башен, шпилей, церковных куполов и длинных казарменных крыш Кронштадта.

Над их головами, будто атакуя остров, с ревом пронеслось звено серебристых тупоносых «ястребков» с красными звездами на крыльях — и взмыло круто.

— Папа,— спросил он,— это правда, что тогда — ну, тогда, понимаешь? — наши аэропланы бомбили гавань и форты, ну, мятежников, правда?

— Бомбили,— подтвердил отец.— Но толку от этих бомбежек маловато было, скорее для страха... Пушки били верней.

— Папа,— глотая от волнения слюну, спросил он о том, о чем давно хотел спросить, но не решался,— неужели они были против советской власти? Ну, эти клешники, матросы...

— Клешники? Да не клешники, а писаря! Ведь главарь их, Петриченко,— он писарем был, эсеровская шкура. И царский генерал Козловский с ним. И недобитое офицерье. А на кораблях — полно сынков кулацких...

— А они взаправду были против советской власти?

Отец долго и сосредоточенно раскуривал трубку на брызжущем ветру.

— Понимаешь, они заявляли, будто не против советской власти, а только против коммунистов. Подавай им, видишь ли, Советы без коммунистов. Можешь себе представить, каких Советов захотелось царским генералам... Эко жулье! — Он сплюнул за борт.

— Но, может быть, они и вправду не хотели скидывать Советы?

— Д-да?... Это ты от каких старух наслушался? — Отец пытливо заглянул в глаза сына, но взял себя тотчас в руки и продолжил спокойно: — А как ты думаешь, Алеша, они буржуев звали на помощь для того, чтобы укрепить советскую власть?

— А разве они звали?

— Звали. По радио сносились с буржуями из иностранных держав, у Ллойд-Джорджа просили помощи... Во как.

— Сволочи! — от сердца ругнулся Алеша, теперь убежденный до конца.

— Но-но... — остерег сына комиссар Рыжов: ведь мама не разрешала употреблять такие слова, даже когда речь шла о классовых врагах.

На подходе к гавани была видна высокая антенна Минной школы, и Алеша подумал, что как это странно, что Попов изобрел радио именно в Кронштадте, в этой Минной школе, а враги уж будто только и ждали этого изобретения, чтобы сноситься с буржуями и требовать помощи...

И еще он подумал — уже теперь, сидя в редакционной радиорубке, — что если бы его земляк, кронштадтец Попов, не изобрел радио, то как бы «Северная звезда» получала срочные сообщения из Москвы и как бы ее редактор Улитин мог следить за тем, что делается в мире?

Зеленый глазок радиоприемника подмигивал загадочно, когда колебался звук.

— ...реакционные элементы организовали заговор против республики с целью свержения нового, запятая, демократического строя, запятая,— продолжал начитывать диктор,— но народ разгадал коварный замысел реакции и дал сокрушительный отпор проiscaм врага, запятая, стремившегося лишить трудящихся Чехословакии... повторяю: Че-хо-сло-вакии... всех демократических завоеваний, точка. Народ единодушно потребовал изгнания из правительства всех предателей и заявил, запятая, что в правительство могут войти только люди, запятая, целиком преданные демократической республике...

А, собственно, почему, подумал Алеша, он должен постигать это знание, это классовое сознание только с чужих слов: из поучений отца и матери, едких укоров Улитина, из диктовки столичного диктора, из газет, из институтских лекций — почему? Разве не ему самому, Алексею Рыжову, все: о лишь неделю назад в лаве крутого падения

шахты «Капитальная» пустили в спину — да-да, именно в спину, как суют под лопатку нож! — пустили вслед крепезную стойку, пролетевшую комлем вперед, подобно торпедe, нацеленной в борт корабля, и если бы главный механик Ерофеев не оттолкнул его за уступ, не прижал к стенке забоя, то он, Алексей Рыжов, лежал бы распластанным, мертвым.

Семен Ильич поднялся, тронул его плечо, указал на дверь, тем давая понять: идем, все, больше ничего важного не будет, а работать надо, дела не ждут.

Однако в кабинете, пройдя за свой редакторский стол, он отнюдь не заспешил погрузиться в рабочее кресло и Алексею не предложил, как обычно, сесть, а, взяв со стола какую-то бумажку, посмотрел на него с нескрываемым торжеством и сказал:

— Дорогой Алексей Николаевич, мне выпала приятная обязанность... не первый раз ее выполняю, но ведь и не каждый день такая радость: вручать человеку...

В какую-то безмерно малую долю секунды меж его словами Алеша успел представить себе — и даже понять, что ничуть не ошибается, что так и бывает, при таких вот словах и чувствах и обязательно стоя, руки по швам, — что именно так вручают ордена, первый орден вроде того, каким наградили врубмашиниста Клина Сидорова, — и он испытал сладкое головокружение, совсем не похожее на те обморочные круговерти, что временами одолевали его.

— Позволь вручить тебе ордер, — сказал Улитин, протягивая бумажку, — ордер на вселение в квартиру... ну, не целая тебе там квартира, конечно, а комната — сколько тут? Ого, шестнадцать квадратных метров, это прилично! Прими как знак, но и как должное, а заодно — мои поздравления по сему случаю... Ну а теперь садись.

— Спасибо, — вымолвил Алексей, заглядывая в бумажку.

Хотя это оказалось вовсе не тем, что он сперва вообразил в налетевшем вихре радостных предчувствий — право, как он мог хотя бы подумать, смешно даже, — но вместе с тем он не испытал и разочарования.

— Это новый дом на Коммунистической, только что построили, — сказал Улитин, — совсем близко отсюда, до работы пять минут пешком.

— На Коммунистической, — улыбнулся Алеша, вертя бумажку, — а знаете, Семен Ильич, в Кронштадте до войны я тоже жил на Коммунистической, на бывшей Княжеской... какое интересное совпадение.

— Ну вот видишь, как говорится, из грязи — в князи!

— Что? — оторопело поднял глаза Алексей. — Я не понял.

— Да нет, просто шутка... Значит, так: квартира трехкомнатная. Ордер на две комнаты — Степану Игнатовичу Огузову, твоему непосредственному заведующему отделом, все же их четверо — еще жена и двое маленьких. А третья комната тебе, мой друг, в твое полное распоряжение, не забывай вносить квартплату. Многовато, конечно, для одного — шестнадцать метров, — Семен Ильич расплылся в маслянистой улыбке, — но мы, брат, учитываем перспективу: нынче ты один, а завтра ты вдвоем, а послезавтра детиски пойдут мал мала... нет, тут сроки, конечно, подольше, однако в том и перспектива, что имеем в виду вопросы долгосрочные... Понял?

— Я понял, — вполне серьезно ответил Алексей, его уже не сильно задевала манера Улитина вечно соваться в чужие интимные дела.

— Надеюсь, ты не в претензии, что вместе с Огузовым? Характер-то у него, конечно, не из легких, но вы, насколько я знаю, подружились... Обойдетесь без кухонной склоки?

— Обойдемся.

— Ну тогда беги к домоуправу за ключами.

— Спасибо, Семен Ильич,— сказал Алеша, стараясь, чтобы благодарность звучала не формально, а сердечно, ведь он и впрямь был благодарен от сердца,— большое вам спасибо.

— Кушайте на здоровье,— отмахнулся Улитин,— а вообще... Ты-то хоть понимаешь, какво это для редакционного бюджета — оплачивать номера в гостинице, да еще по двойному тарифу из-за давности проживания, а у Огузова еще и люкс, представляешь? Только и успеваем в банк перечислять, а вам хоть бы хны... А тут еще, между прочим, все едут и едут к нам новые работники — кто из армии, а кто без армии,— и ведь всех приходится поселять в гостинице, где же еще? И опять, опять — только и летят шальные государственные денежки... Твой номер займет Пашутин, как только ты съедешь. А пока он кантуется в общем номере. Мате-ерый газетчик...

Семен Ильич увел глаза в окно, будто размышляя, стоит ли посвящать своего молодого собеседника в некоторые тайны, однако, судя по всему, его самого до такой степени обременяли чужие сокровенности, что он уже не мог терпеть и был вынужден порой сбрасывать лишнее бремя, лишний груз,— да и Алексей Рыжов среди прочих мог считаться сотрудником старым, со стажем, уезжавшим-приезжавшим и вполне заслуживающим доверия товарищем.

— Пашутин был редактором областной,— сказал вполголоса Улитин,— но — штрафник... По такому смешному делу. Решил с женой развестись, но чтоб не было звона на весь город — ведь полагается объявление печатать,— поставил на четвертую полосу, тиснул два экземпляра и заменил другим, чужим, а эти два вырезал — и в суд, пожалуйста, все честь по чести. А метранпаж наступал — и конец... Опытнейший работник — областную вел, представляешь? Как я. Вот бы кого мне в замы,— затосковал взглядом Семен Ильич,— и не было бы лучше, отличный мужик. А нельзя: строгач у него по партийной линии за то же самое объявление... Придется сажать на пропаганду.

Улитин почесал обеими руками пухнущую от забот-хлопот голову, сказал:

— Ну иди. Въезжай на белом коне.

Не было у них ни кола ни двора — одинаково, что у Алеши, что у Огузовых. То есть двор теперь был: пустая гулкая квартира с высокими потолками, пахнущими свежей побелкой, и стенами, отделанными в пестрый накрап. А кола не было. Сразу выросли в цене утраченные преимущества гостиничного быта: все ведь там — и стол, и стул, и зеркало, хоть и казенное, а есть.

Надо было начинать полный обзавод, ладить оседлое хозяйство. С чего начать?

Серафима, жена Степана Огузова, распорядилась начать с главного, с кровати — на чем спать. Бабья мудрость, а поди оспорь: права.

Степан кликнул Алешу на помощь, и они все вместе отправились в хозмаг, что был на съезде, возле пристани. Огузовых детишек, Вовку да Кольку, ходячих полутораговыхых близнецов, оставили дома без присмотра, ничего им не делается — поревут да замолкнут.

Серафима выбрала громадную двуспальную кровать из стальных гнутых труб, выкрашенных — что за дурость — под дерево, зато верхние дуги в никеле и все завертки, все шишаки тоже блестящего никеля — богатая и просторная кровать.

Алексей навесил на плечи тяжелые спинки, а Степан, крикнув, вскинул на горб железную раму с панцирной сеткой, но это был такой страшный груз, что его, здорового мужика, закачало и повело не туда, как доходягу дистрофика, и было опасение, что если он рухнет под этой тяжестью, то уж не встанет — и зачем тогда кровать, пускай земля ему пухом.

Они переиграли: составили кровать обратно, ладненько вогнав железные втулки в пазы, трягнули, чтоб — навеки, и, ухватив за труб-

чатые решетки с обеих сторон — Степан впереди, Алеша сзади, — двинулись вверх по Коммунистической.

Серафима мелкими шажками семенила сбоку, в радости поглядывая на приобретение.

Она была невеличка против рослого мужа, и было даже странно, как смогла выносить двойню и благополучно разродиться — мальчишки вышли здоровущие, в отца. В мочках маленьких ее ушей болтались деревенские сережки полумесяцами, личико было тонким и белым, довольно приятным, но ее не красила улыбка, потому что спереди не хватало зуба, словно проломленный забор, а кто ей проломил — Степан или до него — Алексей не спрашивал, да и не очень его интересовало, но из-за этого зуба она в разговоре иногда присвистывала.

— Леша, а ты себе не купишь? — засвистала попутно Серафима, они еще с гостиничного соседства были на «ты». — Сам-то на чем?

— Я подумаю, — сказал Алеша, отшутился: — Мне второй раз не дойти.

— Ты бы тюфячком обзавелся, не на полу же, — посоветовала ему Серафима и добавила озабоченно: — Нам тоже тюфяки надо, для кровати этой и детям на топчанок... так что все равно опять идти.

За рынком улица кидалась круто в гору, и тут они, уже оступаясь на все четыре копыта, как загнанная лошадь, остановились без уговора, скинули ношу на утоптаный снег и, трудно дыша, уселись на пружинистую сетку, тугую, не заезженную, не заспанную, она даже не сильно прогнулась под ними.

— Подвиньтесь, я тоже, — сказала Серафима. Села, попрыгала, как воробушек. — Ой хорошо!

— Еще хорошее будет, — пообещал муж. — За тобой, Симча, бутылка. Или две.

— А как же, — согласилась она, — новоселье нынче справим. Алешу позовем, а ты, Алеша, позови Краля... а?

— Клару, — терпеливо поправил Алексей.

Он уже имел случай представить Клару семейству Огузовых, когда они жили в гостинице дверь через дверь, им даже довелось однажды скоротать вчетвером теплый вечер — пили водку, играли в подкидного дурака, Серафима была отчаянно азартна в этой игре, а Клара ей не уступала. Алеша заметил, что жена Степана Огузова, хотя она и была постарше Клары, относилась к ней с безмерным уважением, и он сначала подумал, что из-за того, что Клара в ее глазах была артисткой, запеваает в хоре, но дальше он понял, что Клара Истомина, девушка из Слободы, была в ее глазах городской жительницей, ведь сама она, Серафима, выросла в еще большей глуши, в деревне под Ерашами, где жил и артельничал ныне Игнат Огузов, и вот туда нагрянул победителем сынок Степан Игнатович — весь в орденах и славе — и, не встретив особого сопротивления, завоевал сердечко Серафимы.

А в Городе-на-Реке именно Клара покорила ее воображение городскими манерами и городской выходкой, но Серафима, сколь ни старалась, так и не научилась правильно выговаривать ее имя — все Краля да Краля.

— Я уже позвал, — признался Алексей, — она вечером придет.

С горы, вышагивая медленно и важно, в ботинках красной кожи, будто гусь лапчатый, спускался худрук местного театра Станиславский, притом не Алексеев, а в самом деле от рода Станиславский.

Алеша понял, что приятной встречи и обмена любезностями не избежать: день, народу мало, нигде не спрячешься, да и зачем бы ему прятаться. Но он не хотел, чтобы Станиславский застал его вот так, сидящим на кровати среди улицы, — поэтому он встал и сам пошел на сближение.

— О, я вас приветствую! — воскликнул Олег Васильевич, изысканным движением, дерг-дерг за пальчики, снимая теплую перчатку. — Куда путь держите? Вы, кажется, с мебелью — переезжаете?

— Нет, я просто помогаю, — сказал Алексей. Но он не находил причины, почему бы не похвастать и собственными обретениями: — Впрочем, можете поздравить — я получил квартиру.

— Примите поздравления. — Станиславский тряхнул его руку. — А знаете, я уже давно получил квартиру, прошлым летом, тотчас по приезде.

— А где? В новом доме? — поинтересовался Алексей, ощутив укол ревности, потому что этот человек, прибывший в Город-на-Реке в один и тот же день и час, что и он, как будто состязался с ним в успехах, всякий раз опережая: когда Алексей впервые появился в закрытой столовой, он уже сидел там как ни в чем не бывало, додел котлету, а теперь вот выяснилось, что и с квартирой он успел намного раньше.

— Мне дали квартиру в театре, в самом здании — это очень удобно. Вы знаете, — настоящий Станиславский заметно оживился, — сейчас в газетах ругают конструктивизм, в «Культуре и жизни» лягнули Корбюзье, вы не читали? Ну и не надо... А между тем в конструктивизме что-то есть. Пускай это и не ласкает глаз — все эти кубы, объемы, бетон, стекло, вся эта обнаженность, — я отнюдь не в восторге, но знаете, тут на каждом шагу убеждаешься в целесообразности, находишь удобство и смысл. Я уж не говорю о том, что театр великолепно спланирован — от вешалки до кулис, — но даже такая, казалось бы, мелочь: в здании театра предусмотрена квартира для главного режиссера — о, это очень важно! Я могу ходить на репетиции днем и ночью, не надевая пальто, — встал и пошел. Кроме того, это очень дисциплинирует актеров и персонал сцены — они отдают себе отчет, что все время на виду, что от меня ничего не укроется, не-ет, шалишь!.. — Олег Васильевич рассмеялся в явном удовольствии и продолжил серьезно: — Но при этом учтена и сама специфика нашей профессии: главные режиссеры, как правило, недолговечны, то есть я подразумеваю, что на периферии они довольно часто меняются, происходит естественная циркуляция творческих сил, — и вот, представляете, один главреж уезжает, другой приезжает ему на смену, а квартира уже готова, ждет-дожидается хозяина, только подмести и вымыть окна, проветрить. Не нужно месяцами обивать пороги начальства, умолять, требовать... Нет, это очень удобно! Конструктивисты молодцы.

— Как ваша «Нора»? — спросил Алексей, угадав, что пора перейти от быта к творчеству. — Вы извините, я не видел спектакля, был в командировке, в Заполярье, целый месяц.

Губы настоящего Станиславского знакомо подобрались куриной гузкой, извивами молнии взбежала по лицу гримаса раздражения.

— Ах, пожалуйста, не спрашивайте меня об этом... Плохо, очень плохо: всего четыре представления — и пришлось снять, пустой зал. Дело, конечно, не в моей постановке и даже не в Ибсене. Просто — скверная актриса, бездарная, глупая, толстая. Хотя о возрасте дам говорить и не принято, но о т а к о м возрасте, я полагаю, уже можно. Ну какая из нее Нора?..

— Зачем же вы дали ей эту роль? — укорил Алеша.

— А что я мог поделать? — в свою очередь ответил режиссер укором. — Вы знаете, чья она супруга? — Он возвел очи горе, давая понять.

Однако Алексей не понял, он пока еще не знал, кто тут чья жена, он и мужей-то еще не больно знал.

— Ах, вы бы видели в этой роли Сенчугову — там, в Средней Азии! Как она пела, а как танцевала — вы помните, в пьесе Нора пляшет тарантеллу? Да что танец — просто движения... Публика ва-

лила валом.— Олег Васильевич горестно вздохнул и развел руками.— Я говорю о своей бывшей жене, она ушла к полковнику, впрочем, мне сообщили, что он уже генерал. Как бежит время.

— А что вы теперь собираетесь ставить? — спросил Алеша, вдруг испытывающий прилив сострадания к этому, в общем, не очень счастливому человеку.— Ваши планы?

— Я хочу теперь поставить что-нибудь русское, очень русское. Я чувствую, что это опять войдет в моду — очень скоро, помяните мое слово — грядет неизбежно... Я намерен поставить что-нибудь из русской классики, например «Каширскую старину» Аверкиева.

— Разве Аверкиев — классика? — усомнился Алексей.

— Видите ли, я хочу поставить что-нибудь еще более русское, чем классика. Аверкиев в самый раз.

— Вы уже ставили это в Средней Азии?

— Да. И, представьте себе, ходили, даже очень — ведь это для них своего рода экзотика: характеры, страсти, быт. Слезу пустить можно. И опять-таки — Сенчугова...

Олег Васильевич прервал свою речь, недоуменно вскинул брови, что-то углядев за плечом собеседника.

— Господи, какая дикость! — тихо возмутился он.— Прямо на улице...

Алеша обернулся.

Степан Огузов повалил Серафиму поперек кровати, налег на нее, утробно хохоча, а она отбивалась что было сил, совала кулаки ему прямо в лицо, сучила белыми чесанками, но тоже смеялась захлеб, тонко взвизгивала, и от этой борьбы железная кровать ходила ходуном, шаталась, скрипела в пазах и грозила развалиться.

— Но ведь они не на самом деле, а нарочно, — объяснил Станиславскому Алеша, стараясь его успокоить.— Они балуются.

— Я вижу. Тем не менее.

— Они молодые, им весело. А вам что — завидно?

— Как вы догадливы, — усмехнулся Олег Васильевич, но тотчас придал глазам выражение строгости.— Все же улица не для подобных игр. Сегодня на улице, завтра — на сцене, в кино... кошмар! — Он тронул перчаткой свою бровную круглую шапку с черным бархатным верхом, сказал: — До свиданья.

С трудом выдернув ножки кровати, пронзившие плотный снег, Алексей и Степан снова взялись за ношу и потопали в гору.

Но Серафима не дала им в тот день передышки: опять нарядила в хозмаг за постельными принадлежностями, еще велела купить кое-какой посуды, а под вечер отправила за водкой и съестным.

Ждали Клару, она вот-вот должна была прийти.

Алексей раскатал по полу тюфяк, протертый нитями сквозь лоскутки, чтоб держалось крепче, взбил подушку, пока еще без наволочки, все прикрыл теплым байковым одеялом. Подумал, что надо будет обзавестись парой стульев, это обязательно, без письменного стола пока можно обойтись: подоконник был широк и светел, сиди пиши, поглядывай в окно. Он достал из чемодана пепельницу с ружейкой в пенной волне — чугунную раковину с Венерой Пычимской, — поставил ее на подоконник под правую руку, а под левую положил ворох газет со своими статьями (гляди-ка, а ведь порядочно уже набралось) и туда же кинул связку тетрадей в клеенчатых обложках, нелепый дар инженера Дидовика, заняться которым у него не было ни досуга, ни охоты.

Потом Алексей бережно развернул тугую ватман, на котором был изображен суровый генералиссимус Сталин, и, поискав на стене приличествующее место, приколот его прямо к штукатурке четырьмя канцелярскими кнопками.

Отошел, полюбовался, остался доволен.

Только сейчас почувствовал гудящую тяжесть в натруженных за день ногах, опустился на тюфяк, огляделся.

Комната, несомненно, приобрела обжитой вид.

Душу обволокло счастливым покоем.

Нет, он не переоценивал окружающего комфорта — тем более что еще не было стульев, — однако он сознал со всей отчетливостью непреложный факт: что это его комната, что впервые он сделался независимым человеком и полным хозяином своей жизни.

К каким только скитаниям не принуждала его судьба, каких пристанищ не изведал он в свои двадцать лет. Притрушенные сенцом нары в деревенской школе под Тихвином. Гудкая и холодная монастырская келья в Городище, где за щелью окна серые дожди секли озеро Неручь. Тахта в теткиной комнате на Разгуляе, там было тепло и не слишком голодно, но он все равно чувствовал себя приживалом, нищим студентом, ворующим из сахарницы. Гостиница, из которой он только что съехал — ну это еще ничего, — и унылая череда гостиниц, неразличимых для памяти, в которых он кантовался на пути от Спас-Погоста до Тундры...

Нет, не только это. Ведь были в его детстве и беспечные годы, когда был жив отец, когда мать еще не очерствела и не издергалась, как теперь, — были светлые годы, но и в ту пору семью их носило с места на место, он едва обвыкал в одной квартире, как уже переезжали в другую, он едва успевал запомнить имена и фамилии соучеников по классу, как вдруг оказывался в чужом незнакомом классе, и хотя имена там большей частью оставались теми же — Володя, Игорь, Марат, Ким, — но они уже сочетались с другими фамилиями и другими лицами. Сборы, переезды, перемены, опять сборы... Он так и не вынес из детства образа и запаха родного дома.

Не потому ли всякий раз его охватывала зависть, когда он переступал порог чьего-либо жилища, особенно того, где хозяевами оказывались люди молодые, как он сам, устраивавшие свою жизнь основательно и долгосрочно: будь то квартира Костенок в Печорске — сержанта Гриши и его жены Алевтины с молокозавода, — за их окошком мохнатились сосенки; будь то еще совсем пустое, как у него, жилье врубмашиниста Клима Сидорова, где на одной стене висел орден на синей ленте, а на окне — авоська с бутылкой, и еще там был звонок из нарядной для побудок.

Но теперь и у него был собственный угол, даже четыре угла, а в кармане брэнчали ключи от двери, и эти ключи не надо было, уходя, сдавать дежурной.

— Але-еша, — постучала в дверь Серафима, — иди встречай — Краля пришла.

Отужинав, они играли в подкидного дурака. Он проигрывал кон за коном, только и знал что выкладывал рубли, и они от него уплывали, привет. Он проигрывал, когда сдавали другие и когда сам тасовал прилежно — все равно он оставался в дураках. Не то чтобы ему не везло, не было счастья, не шла хорошая карта, нет, карта шла, и бывало так, что у него набирался полный веер дам, валетов, королей, попадался и туз — и проиграть было невозможно, а он проигрывал: ему накидывали мусора не в масть, его побивали козырными семерками и девятками, ваших нет. Кон загребала Клара, реже Серафима, а Степан хотя и не больно-то преуспевал, зато был осторожен, сметлив и в конце концов остался при своих, чем утешился, — но в картежном деле кто-то должен обязательно проигрывать, продуваться в прах, тут без жертв не обходится, и этой жертвой оказывался именно он, Алексей Рыжов...

Наутро он почему-то проснулся в тревоге. Он вдруг понял, что просто-напросто не умеет играть, а если не умеет — то зачем? Мысль

эта была ясной, какой бывает она в голове только что очнувшегося ото сна человека, здравая мысль: он не умеет. Да, он тоже пытался, как другие, хитрить, коварно выжидать, прикидываться дурачком, внезапно идти на риск — но все напрасно, он не умел играть. Вероятно, для этого нужно обладать каким-то особым складом ума, а у него был не тот склад, нужно иметь характер, которого он не имел, то есть у него есть, конечно, характер, только другой... Но, право, зачем ему это нужно? Зачем брать карты в руки, на кой черт они ему сдались? Велика ли потеря в жизни — вовсе не играть в карты? Тем более известно, что если кому не везет в картах — непременно везет в любви.

Он приподнялся на локте и заглянул в лицо Клары. Оно было бледным во сне, с упавшей далеко за ресницы тенью подглазий. Она крепко спала, дышала ровно, но вдруг замерла на полувздохе, открыла глаза и сразу улыбнулась ему.

Вчера он не успел занавесить окно либо просто прикрыть его газетами, но ничего, стекла были ровно затянуты промеж рам белой, как шелк, узорчатой тисненой пеленой инея. Небо за этой пеленой не голубело, а лишь наливалось мартовским рассветом близкого в эту пору равноденствия: краски зари тронули иней, просочились сквозь него.

Алексей опять посмотрел на Klarу и увидел, как к щекам ее медленно возвращается румянец, как будто он был отсветом и частичей этого утра, как губы ее — она облизнула их, сухие и блеклые, — ожили, налились, запунцовели.

Он полюбовался ею и сказал:

— Клара, послушай... я вчера еще хотел...

Но она опять, как вчера, не дала ему договорить: обвила рукою шею и сильно притянула к себе...

После он опять заговорил надломленным и сильным, обрывающимся голосом:

— Да послушай же... я люблю тебя... выходи за меня замуж.

— Что? — издали прошептала она.

— Выходи за меня замуж.

Клара села, окунула в ладони лицо, будто умывалась в бадейке, руками же отерла его насухо.

— Значит, правильно я вчера тебя слушать не стала. Утро вечера мудренее... — Взглянула на него строго. — Только ты, дружок, для такого разговора штаны надень, да и я тоже.

Отойдя к окну, она долго и тщательно расчесывала полукруглой дешевой гребенкой свои длинные волосы, тяжелыми медовыми потоками ниспадающие к коленям.

— А где жить мы с тобою будем, Алеша?

— Как где? Уж теперь-то... — Он широким жестом обвел пустые стены. — Теперь есть где. Остальное наживем.

— Вон как тебе у нас понравилось, — прошепелявила Клара, держа в зубах шпильки. — Краше места и нет на свете. Лучше всякой Москвы.

— А что в Москве? Что я там потерял? — Он пожал плечами небрежно. — Ты учти: у меня в Москве ничего нету, даже такой вот норы — я там у тетки живу, в племянничках... Думаешь, она сильно обрадуется, если я еще тебя приведу: «Здравствуй, тетя, вот моя жена, прошу любить и жаловать, и оформлять прописку...»? Она, конечно, добрая тетка, но может и выгнать обоих, имеет право.

— Но у тебя ведь, Лешенька, мать в Ленинграде и дом свой, ты говорил — две комнаты... Мать родная не выгонит? Или она меня такую не примет — больно, скажет, деревней пахнет... как ты думаешь, что ж ты замолчал?

— Я учусь в Москве.

— Не беда, переведешься в Ленинград. И я тоже поступлю в Ленинградскую консерваторию, туда еще не пробовала, надежды больше.

— Что ж мы,— усмехнулся он ее наивности,— так и будем на две стипендии куковать?

Она помолчала, скалывая волосы витой копешкой. Потом, когда закончила и убедилась, что не распадется, и когда его вопрос отпал за давностью, спросила сама:

— Так ты мне что предлагаешь, Алеша? Давай начнем сначала, от печки: ну пойдем в загс, распишемся, сыграем свадьбу какую-никакую, а потом что? Дальше-то что?

— Дальше? Будем жить, как люди живут,— он кивнул на стену, за которой, как он полагал, спали Степан и Серафима, во всяком случае именно туда втаскивали вчера громадную кровать,— как все живут.

Клара подошла к нему, ступая знакомой ему надменной походкой, вынося носок перед другим носком, посмотрела близко в глаза.

— Как все... Ну а если я не хочу — как все? Если я не такая, как все, тогда мне что с собою делать? В прорубь лезть?

— О, куда понесло... либо в Москву, либо в прорубь — середины для тебя нет.

— Замолчи! — крикнула она и топнула ногой во гневе.— Я учиться хочу! Я в опере петь хочу — Марфу, Далилу, Кармен... Слышишь?

Как не слышать. Он слышал однажды: да-да, именно Кармен он и услышал тогда, на пути из Большого театра, на Манежной улице, безлюдной в вечерний час, такой пустынной и тихой, что, казалось, улавливался шорох снежных хлопьев, ложившихся поверх уже выпавшего снега, и подошвы прокладывали цепочку по нехоженой пороше, как в лесу, а рядом был Кремль... впрочем, были две цепочки следов, одна подле другой, но сейчас не о том речь.

— Я слышу. Не кричи, пожалуйста, там ведь спят, зачем чтобы они... — сказал он рассудительно.— Я понимаю, что ты мечтаешь петь в опере. Но ведь когда-нибудь и здесь будет опера. Драматический театр уже есть, значит, будет и опера, конечно, будет!

— Да к той поре, когда тут опера будет, у меня голос кончится — что ж ты думаешь, он навек? И молодость — навек? Нет, Лешенька, смолоду все мы глупые, не понимаем, что молодость всего на миг, а дальше хоть и не старость, но уже не молодость. Это нам еще будет казаться, что мы молодые, а больше никому, нет... Ты заметь, как мы на пожилых людей глядим спесиво, гордо, а они на нас — не с завистью, а с жалостью, потому что они уже знают то, что нам пока невдомек...

— Клара,— остановил он ее пыл,— я ведь совсем забыл тебе рассказать. Там, в Заполярье, в Тундре — я имею в виду город Тундру,— там уже есть опера. Я был, слушал, ничего — есть голоса... Но там произошел такой смешной случай. Решили ставить «Паяцев», а партитуры нет, они туда-сюда, в Москву, в Ленинград — не нашли. Тогда они — ты только представь себе! — написали заново «Паяцев» с голоса, оркестровали — и премьеры...

— Ты мне зачем об этом рассказываешь? — спросила она совсем тихо, и это, пожалуй, было опасней крика.— Зачем?

Алексей растерялся. Он почувствовал, хотя и смутно, что рассказ его невпопад и что об этом вряд ли стоило рассказывать так игриво и так весело, как у него получилось. Он попытался извернуться:

— Нет, дело не в «Паяцах», а в том, что если даже в какой-то несчастной Тундре есть оперный театр, то здесь, в столице, в Городе-на-Реке, уж непременно...

Клара рывком натянула пальто — он даже не успел ей подать его,— так же поспешно и резко обмотала голову платком, глянула на него помутившимися от ярости глазами, выдохнула:

— Не ходи за мной!

И скрылась за дверью, потом он услышал, как хлопнула и наружная дверь квартиры.

Подожел к окну, чтобы увидеть, как она побежит по улице, и постучать — мол, вернись, зачем же так вспылчиво и опрометью, зачем ребячиться? — но стекло было в инее, и он не увидел ее.

Алеша подумал, что вообще он совершенно напрасно завел речь о Тундре. У него возникло предположение, что случившееся там — его измена — не укрылось от ясновидения Клары (ведь он уже верил в эту ее способность), и если майор Махнач заподозрил что-то, если даже проворный администратор Хвоцинский щурился всезнающе и хитро, провожая его, то она, Клара, тем более могла угадать, какие грешки числились за ним, но молчала, терпела, держала это в себе, покуда он сам вдруг не заговорил о Тундре, — и тогда прорвало ее.

Он вздохнул, кляня себя за болтливость, но сказанного было не вернуть. А она, перекипев, сама вернется — не сегодня, так завтра.

Взгляд Адексей случайно пал на стопу тетрадей Дидовика, лежащую под рукой на подоконнике, и он, как обычно не развязывая шпагата, которым она была перетянута крест-накрест, машинально отогнул уголок клеенчатой обложки, перемусолил наугад несколько страниц, графленных в клеточку, поймал чернильные строки: «...команы издревле жили между Каспийским и Черным морями, в тех странах, где до того кочевали аорсы и зыраки, то бишь эрзя (мордва) и зыряне, которые...» Он отлистал страничку назад, заглянул: «...посланник французского короля Людовика IX писал Мангу-хану, что команы имеют обыкновение делать насыпь над могилами покойников и на них ставить статуи, лица которых обращены к востоку и которые руками держат чашу на пупе, и что у некоторых найдено по 16 лошадиных кож, из которых по 4 были обращены на каждую сторону света и...» Это было забавно, однако читать дальше мешал шпагат, уже врезающийся в палец, но и распутывать было лень, Алеша предпочел пропустить страницу, пробежал начало следующей: «...скифы, судя по месту их жительства, должны быть чужь, древние финны, то же, что зыряне или команы...»

Долгим зевком перекосило рот, веки тяжелели и сами собой слипались. Все-таки минувшая ночь была напролет бессонной, он заснул лишь под утро, увидя и во сне игру в карты, потом проснулся, и тотчас проснулась Клара.

Добро хоть нынче воскресенье, не надо идти на работу. Он бросился ничком на измятый тюфяк, приник щекой к подушке, она уколола его тонкой остью пера, но он пренебрег этим уколом и мгновенно заснул.

(Продолжение следует)

СЕРГЕЙ ОСТРОВОЙ



ГОРОДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

Ночное чудо

В каменных тетрадах городов —	Тень стены качнулась на излом.
Тонкие рисунки проводов.	Тихо пьет Сиреневый бульвар
Птицы хохлят перышки слегка.	На звезде настоящий отвар.
Нотная кольшется строка.	Город спит. Как спится испокон.
Отдыхает небо. И гранит.	Сколько непрочитанных окон!
Ни тебе трамвай не зазвенит.	Сколько в этом городе людей,
Ни тебе Садовое кольцо	В каждом человеке — чародей!
Лишнее не вымолвит словцо.	Он такое диво сотворит,
Зыбкие фонарные круги.	Что любой заблещет колорит.
Чьи-то запоздалые шаги.	В каменных тетрадах городов —
Чей-то нервный голос за углом.	Тонкие рисунки проводов...

Родитель

Есть на окраине старенький дом.
Смотрит с трудом. Дышит с трудом.
Полуослепший. И полуглухой.
Мыши играют чердачной грухой.

Дом просыпается тихо. Неспешно.
Что-то в усы напевает потешно.
Время сверяет. Заводит часы.
Ликом светлеет от свежей росы.

Крайним окошком, которое справа,
Гасит звезду серебристого сплава.
Крайним окошком, которое слева,
Ловит зарю золотого запева.

И начинает свой день. Как обычно.
В чем-то впервые. А в чем-то вторично.
Где-то расщедрившись. Где скуповато.
Я в этом доме родился когда-то.

Он мне дороже дворцов элитарных.
Высокомерных. И высокопарных.
Сколько тут выросло разного люда.
Сколько шагов начиналось отсюда...

Награда

Я что-нибудь от жизни получу,
Когда пройти сумею по лучу?
Не по канату. И не по доске.

А по лучу. На утреннем песке.
 А по лучу. Во весь его размах.
 Повисшему на розовых домах.
 А по лучу. Пронзившему зенит.
 Упавшему на мрамор и гранит.
 А по лучу. Вдоль парковых аллей.
 На празднике июльских тополей.
 А по лучу. Что высветил траву.
 И город мой, в котором я живу.
 Кто вам сказал, что старый наш бетон
 Не отражает золотистый тон?!
 Учитесь же — я сам вас научу —
 По городу ходить, как по лучу.

...Зовы

Что там, за кромкой поля?	Что там, за серым камнем?
Что за седым бугром?	Что там зажглось вдали?
Или дождей неволя?	В нынешнем дне и в давнем
Или обманнный гром?	Лики моей земли?
Что там, за речкой синей?	Зовы. За вехой веха.
Что там летит в зенит?	Глухо рокочет гром.
Или среди России	И как виденье века —
Хлеб на ветру звенит?	Утренний космодром.

Ноябрь

В день непогожий, в день тоскливый
 И в затяжные холода
 Я, человек теплолюбивый,
 Я солнцу радуюсь всегда.

И — как тут знать — не оттого ли
 Мне мнится встретить в ноябре
 Большое солнце в чистом поле,
 В той, в золотой своей поре?

Оно рванется мне навстречу.
 Махнет огнем по ноябрю.
 И солнце я очеловечу.
 И первый с ним заговорю.

Непогодь

Каркнула ворона. Месяц вышел.
 Посветил немного. И погас.
 И пошла стучать по мокрым крышам
 Ведьма, устрашающая нас.

Ведьма ночи. Ведьма черной тучи.
 Ведьма непогоды проливной.
 До чего ж глаза ее дремучи.
 Ни светинки нету. Ни одной.

Хлещет ливень. В три ручья. В четыре.
 Прохунилось небо. Льет и льет.
 И не капли падают, а гири,
 Душу пробивая напролет.

Размывая грани и барьеры,
 Все на свете вымокло дотла.
 Где же у природы чувство меры?
 Где ее рубеж добра и зла?

Неужели непогодь всевластна?
 Бьет прицельно. А не наугад,
 Никаким приметам не подвластна?
 Никаким наукам невдогад?

Доживу. Я верую. Он будет,
 Час прозренья этот. И тогда —
 Непогоду станут делать люди.
 Только для контрастов. Иногда.

Прогулка

Толчея на перекрестке.
 Пешеходные ручьи.
 Переменчивые блестяшки
 Электрической свечи.

Мимолетные сюжеты.
 Прихотливый звукоряд.
 Милицейские манжеты
 Белым пламенем горят.

Постовые. Постовые.
 А у них из-под руки,
 Будто искорки живые,
 Мчатся автогоночки.

Старый тополь в два обхвата.
 Листьев медленный балет.
 Кто-то спросит возле МХАТа
 Лишний, может быть, билет.

И, ни в чем не притворяясь,
 Помечтаю на Тверском,
 Постепенно растворяясь
 В этом чуде городском.

Не богатый, не сановный,
 Я иду к себе домой
 Сквозь вечерний, сквозь
сыновний,
 Самолучший город мой.



ВЛАДИМИР КРАСИЛЬЩИКОВ

★

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

Главы из повести

Жить оставалось меньше суток. Истекал рядовой рабочий день. Начался он по обыкновению после одиннадцати, зато и не кончался до полуночи. Столько дел!.. Телеграмма на завод имени Буденного: прекратить отставание в поставке паровозных пружин. Телеграммы Ижорскому заводу и заводу имени Ленина: обеспечить прокатку труб. Разрешение летчику Петрову обменять легковой «газик» на «эмку». Поздравление мастеру Надеждинского металлургического завода Малыгину: рад вашему успеху, привет! Отказ в просьбе Главоргхимпрома о деньгах на восстановление сгоревшего архива: если дубликаты сохранились, для чего тратить полтора миллиона? Доклад о капитальных работах по Главредмету. Приветствие строителям судовых двигателей: «Перед работниками Коломенского завода имени Куйбышева стоит важнейшая задача построить в этом году дизелей 188 тыс. л. с. безукоризненного качества и тем самым усилить обороноспособность...» Параллельно вновь и вновь — возвращение к тезисам доклада на Пленуме ЦК, который предстоит послезавтра...

Внушительно грузный, он легко оторвался от кресла, метнулся к окну, словно ему вдруг не хватило воздуха и простора и он спешил надышаться, набегаться. Ни единого прохожего в проулке, куда обращены оба окна. Как всегда, молчалива и упрекающе строга старинная церковь, залитая светом слева, с площади Ногина. Косицы поземки. Студеная, пронизывающая ночь. Ветер безошибочно находит щелки в громадных оконных рамах, шелестит отклеившейся полоской бумаги. Там, за широкими зеркальными стеклами, страна и земля, народ и народы. Там, в мире за заиндевелым окном, кроме великого множества друзей и сотрудников, у него немало врагов. Первый из них — Гитлер. Страна еще не воевала с Гитлером, а он, народный комиссар тяжелой промышленности Союза Советских Социалистических Республик, уже скрестил свою сталь с его, Гитлера, сталью в Испании. И сталь Гитлера оказалась крепче.

Гитлер в своей программе говорит:

— Идея борьбы так же стара, как сама жизнь, ибо жизнь сохраняет только тот, кто растаптывает чужую жизнь... Мы, национал-социалисты, сознательно подводим черту под внешней политикой Германии довоенного времени. Мы начинаем там, где Германия кончила шестьсот лет назад... Мы кладем конец вечному движению германцев на юг и запад Европы и обращаем свой взгляд к землям на востоке... Мы переходим к политике будущего — к политике территориального завоевания...

Представились улицы Берлина, давно любимые. Сейчас, наверное, в снегу и ярко освещены...

Ему было девятнадцать, когда из Берлина он писал родным в Грузию: «Берлин — город огромный, с красивыми садами, в которых воздвигнуты памятники здешним всевозможным тиранам начиная с XII века. Это портит естественный вид здешних садов... Чувствую я себя хорошо. Хожу по магазинам, прислушиваюсь к говору на немецком языке. Теперь уже сам могу купить хлеб, бумагу, марки... Хожу к преподавателю. С трудом могу читать и писать. Это пока...» Его захватило тогда торжество труда, воплощенного в бетоне и стали, и он писал, потрясенный: «На широких улицах совсем не видно земли — всюду асфальт. Нельзя представить себе движение: это нужно увидеть собственными глазами. Все мчится очень быстро, но в то же время соблюдается строгий порядок. Электрический трамвай, автомобили, экипажы — несутся, как ветер, но жертв на улице нет. Железная дорога проходит над крышами домов, очень часто двухэтажных. Поезд ходит вокруг города. Имеется больше пятидесяти станций. На каждой остановке поезд стоит две минуты. Нужно быть молотком, чтобы уснуть спать в вагон. Есть еще поезда, которые движутся, как и трамваи, электричеством. Пути проложены под землей. От электрического света светло, как днем...»

Да, бесспорно, молодцы твои ребята, Серго. Совсем недавно в этом кабинете один из твоих любимцев, Емельянов, докладывал, как выполнил твоё задание — узнать, что немцы считают более целесообразным: мартены или конверторы. Рохлинг, матерый волк индустрии, проболтался, что, конечно, конверторы. «Спрашиваю однажды Рохлинга, почему вы японцам ничего не показываете, а нам — пожалуйста... Знаете, что он мне ответил? Японцы, говорит, мигом схватят, у себя применят, а вы пока раскочаетесь, новинка состарится. Рохлинг отлично знает европейскую металлургию, и прежде всего нашу. По каждому из наших заводов делает такие замечания, что осведомленность его обескураживает. Немцы не теряют время даром».

Вернулся к рабочему столу. Самолетные часы на нем показывали уже не 17, а 18 февраля. Переложил страницу календаря, подвинул его на строго отведенное место. Сел.

Неотступно давила тревога тагильской истории: в начале февраля там арестованы как враги народа начальник Уралвагонстроя и несколько его сотрудников. Тогда же Серго направил в Тагил своего заместителя и начальника Главстройпрома, чтобы разобрались в положении дел и ускорили пуск стана для вагонных колес «Грифин».

Позвонил в Тагил:

— В каком состоянии строительство и в чем заключалась вражеская деятельность?

Начальник Главстройпрома, которому Серго безоговорочно доверял, доложил, что завод построен хорошо. Завершение работ не требует больших усилий, и поэтому необходимо начать укомплектование будущего производства квалифицированными рабочими и административным персоналом.

— Ну а все-таки! Вражеская деятельность в чем?

В ответ трубка напряженно затихла. Слышно было только отдаленное потрескивание. Говоривший собирался с духом. Наконец:

— Кроме небольших недостатков, которые, к сожалению, сопутствуют и очень хорошим стройкам, мы ничего не обнаружили.

— Понимаю... Постарайтесь как можно скорее выехать в Москву, а по пути напишите докладную...

В пачке бумаг под рукой без труда отыскал сводку о выплавке металла за 16-е. Да, можно — нужно залюбоваться этой сводкой. Отлично знал, что суточная выплавка стали опять выше пятидесяти

тысяч тонн, но хотелось вновь и вновь увидеть эти выстраданные пятьдесят — хотя бы на бумаге.

Как хорошо, как здорово! Изо дня в день по пятьдесят. И как это мало для такой страны, для ее процветания.

Вошел Семушкин. Серго понимающе поднял взгляд:

— Устал? Выгоняешь?

— Зинаида Гавриловна второй раз уже звонит.

— Сдаюсь. Только... Набросай, пожалуйста, телеграмму Гнедину — пусть приедет и покажет свой новый краситель. Да! Вот еще: девятнадцатого на десять часов закажи пропуск профессору Гальперину — до Пленума надо успеть доспорить о проблемах Кемерово. И еще. Не вздыхай так, пожалуйста. Последнее: напиши в Киев, директору завода «Большевик». Безобразия, понимаешь! Какое невнимание, неуважение к ветерану труда! Пусть помогут старому кадровому рабочему Гончарову и доложат мне, что сделали.

Вновь обвел взглядом рабочий кабинет. Как хорошо в нем! Уходить не хочется. Сколько здесь прожито-пережито! Когда, откуда начался твой, Серго, путь сюда? Из Ильичевой школы в Лонжюмо? Или с Пражской конференции, организованной по его заданию? Или от бесед с ним в Разливе, от совместных трудов в Октябре?

Уже в дверях задержался: не забыть бы, не упустить из виду... Вернулся к столу. Под стеклом на нем листок со словами Феликса Дзержинского, которые записал для себя и держал перед глазами вместо портрета на память: «Я не умею наполовину ненавидеть или наполовину любить. Я не умею отдать лишь половину души. Я могу отдать всю душу или не дам ничего». Пододвинул блокнот, размашисто, но четко набросал на следующий рабочий день:

«Газовые месторождения в Дагестане.

Йод и бром Берекеевский.

Проект приказа».

Искусный шофер мягко тронул с места — и сразу тяжелый «паккард» понесся, точно взмыл над заснеженной площадью Ногина. Заспешили навстречу трамвайные мачты, расчищенные рельсы, перемыты под фонарями. Скользящая — шины завывли — брусчатка подъема от Москворецкого моста, мимо храма Василия Блаженного.

Когда пересекали Красную площадь, попросил шофера:

— Останови, пожалуйста.

Вопреки строжайшим правилам следования членов Политбюро, к изумлению и явному неудовольствию сопровождавшей на хвосте охраны, выпрыгнул из кабины. Придерживая полы шинели на вьюжном ветру, подошел к Мавзолею. Остановился перед часовыми. Поднял взгляд к мраморным буквам «Ленин»...

Москва. Саратовский вокзал. Глухая ночь. Лишь два фонарика тускло теплятся в стылой мгле. Поземка по перрону. Пар, трескучий на морозе, вдоль короткого состава. Призывный — в путь, в путь — запах угольного дыма. Но век бы не пускаться в тот путь. В обледенелом, прошитом стужей вагоне томятся язычки свечей. Молчат товарищи. Стараются не глядеть друг на друга, больше в пол смотрят, будто никак не разглядят въевшиеся в него подсолнечную лузгу да махорочный пепел. Прячут лица в поднятые воротники, в надвинутые малахаи, в заиндевелые башлыки, а Серго — в туго застегнутые клапаны выдавшей виды буденовки.

Понуро стучат колеса — понуро стучит сердце. Скоро, должно быть, рассвет, но небо кажется иссиня-черным — синее пустыни полей, чернее леса, чернее тебя самого. Не отсюда ли «небо с овчинку»?

Скрипят розвальни — по снегу, по снегам, в которых, кажется, тонет все живое, цепенеет вся страна, вся земля. В горку, сквозь поле, сквозь лес. Кто-то изнемог, бухнулся в сено. Кто-то присел рядом на край саней. А Серго шагает и шагает, словно пробивает головой тьму.

Впереди огонек — мигнул, исчез в еловом лапнике, снова мерцает. На лесистом взгорье открывается усадьба. Остановились перед въездом.

Неспешно, по-прежнему ни слова, прошли через флигелек во внутренний двор. За ним высится легкий и светлый среди лесной черноты дом с колоннами. Остекленная дверь ведет в тепло, тишину, покой...

Всегда перед усопшим чувствуешь смутную вину, а тут вина была определенная. В двадцать первом, едва освободили Тифлис, Серго добился создания Кавказского бюро ЦК, возглавил его, посвятил себя тому, чтобы Азербайджан, Грузия, Армения, Дагестан, Горская республика, Нахичевань стали советскими. Возродить нефтепромыслы и хлопководство! Финансы и торговлю! Ирригация и обводнение! Борьба с малярией! Электрификация!

— К сожалению,— говорил Серго,— до сих пор есть на свете такие круглые идиоты, которые считают возможным политическое и экономическое существование Закавказья без связи с РСФСР. Это сущая чепуха. Нечего обманывать себя и создавать иллюзии. Никакая из Кавказских республик не могла бы справиться с теми огромными экономическими и политическими затруднениями, в которых они находятся, без помощи российского пролетариата, без помощи Российской социалистической республики.

Однако далеко не все в Кавбюро так думали и поступали. Националисты подрывали единство партийной организации. Серго был беспощаден к ним. Но и они не оставались в долгу — организовали травлю человека, олицетворявшего политику, которая привела к объединению республик в Союз. Ленин поддерживал:

— Решительно осуждаю брань против Орджоникидзе...

А когда на Десятом съезде партии при выборах в ЦК делегаты Кавказа дали отвод, Ильич не колеблясь заступился — и Серго был избран громадным большинством голосов. Ильич вообще высоко ценил тебя, Серго, говорил, что врать ты не способен.

Все так, но... Когда ты, Серго, избил одного из противников... Фу! Гадость какая! Вспоминать тошно. А что поделаешь? Было. В застольной беседе тот разоткровенничался: ориентируем республику на дешевый товар, на Константинополь. Слыхали?! Мы думали, что ориентируемся на советскую власть, на социализм, а он...

Понятно, националисты не преминули воспользоваться этим мордобитием против Орджоникидзе, против партии и Союза республик. И хотя на Пленуме Центрального Комитета Серго искренне признал, что срыв недопустим, Ленин продиктовал секретарям: «Возмущен грубостью Орджоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского»... Это были последние слова, продиктованные Лениным. За два с половиной месяца до этого тяжело больной Ильич диктовал:

«Если дело дошло до того, что Орджоникидзе мог зарваться до применения физического насилия... то можно себе представить, в какое болото мы слетели...

При таких условиях очень естественно, что «свобода выхода из союза», которой мы оправдываем себя, окажется пустою бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ. Нет сомнения, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке...

...приняли ли мы с достаточной заботливостью меры, чтобы действительно защитить инородцев от истинно русского держиморды? Я думаю, что мы этих мер не приняли, хотя могли и должны были принять.

Я думаю, что тут сыграли роковую роль торопливость и админи-

страторское увлечение Сталина, а также его озлобление против пресловутого «социал-национализма». Озлобление вообще играет в политике обычно самую худую роль.

Я боюсь также, что тов. Дзержинский, который ездил на Кавказ расследовать дело... отличился тут тоже только своим истинно русским настроением (известно, что обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения) и что беспристрастие всей его комиссии достаточно характеризуется «рукоприкладством» Орджоникидзе. Я думаю, что никакой провокацией, никаким даже оскорблением нельзя оправдать этого русского рукоприкладства и что тов. Дзержинский непоправимо виноват в том, что отнесся к этому рукоприкладству легкомысленно.

Орджоникидзе был властью по отношению ко всем остальным гражданам на Кавказе. Орджоникидзе не имел права на ту раздражаемость, на которую он и Дзержинский ссылались. Орджоникидзе, напротив, обязан был вести себя с той выдержкой, с какой не обязан вести себя ни один обыкновенный гражданин...

Тут встает уже важный принципиальный вопрос: как понимать интернационализм?..

...нужно примерно наказать тов. Орджоникидзе (говорю это с тем большим сожалением, что лично принадлежу к числу его друзей...)

«Принадлежу к числу его друзей...» Чем сильнее любил тебя Ильич, тем труднее и опаснее задания давал, тем строже спрашивал с тебя, тем с большей силой восставал на неправду — неправоту. Умирая, он продолжал воспитывать тебя, Серго.

Крута, ох крута лестница в Горках! Отчего товарищи поднимаются так шумно? Тише! Нельзя здесь шуметь сейчас.

Надежда Константиновна сидит на диване в полутемной проходной — у раскрытых дверей его комнаты. Почему-то именно сейчас приходит в голову, что только за годы эмиграции написала она тридцать тысяч нелегальных писем — и тебе, Серго, в том числе. Не одно. Непривычно жесткое мягкое лицо — закаменело. Запали глаза. Будто свело скулы. Но... просто, деликатно, четко отвечает сжимающему ей руки Серго:

— В последний, можно сказать, день жизни смотрел киноленту о производстве тракторов на заводах Форда. То и дело просил замедлить показ — так жадно вглядывался!

«О производстве тракторов... Так жадно вглядывался...» До последнего вздоха держал в голове весь мир и свою страну. Обдумывал, как помочь:

— «В области нэпа мы не столько сражались, сколько были сражаемы... Советский тип государства (первый паровоз плох!). Начало стройки. Голод. *Разрыв* (пропасть) между необъятностью задач и нищетой материальной и нищетой культурной. Засыпать эту пропасть. Чего не хватает? Культурности, умения. Три великие вещи сделаны и завоеваны неотъемлемо. Четвертая, и главная: **фундамент социалистической экономики?** Нет еще. Переделывать многожды, доделаем. Мы себя в обиду не дадим. Нас не побили — и не побьют, и не обманут. Не злоупотреблять декретами... переорганизациями... Скромная работа культурная, культурно-хозяйственная. **Проверка исполнения!!!**»

Скорбно, но свободно дышит Серго в его комнате.

Как живой! Совсем не изменился. Только лицо непривычно спокойное. И в смерти его есть свое мужество. Улыбается? Или нет? Задумался? Сейчас потребует: действуйте, товарищ Серго. Совсем живая — чуть приподнята — верхняя губа. Усы щетинятся. Изумлен слухившимся, не верит, иронизирует.

Бывал Серго на пышных похоронах — еще мальчишкой. Тревожное любопытство, тяга к страшному, непостижимому гнали поглазеть

на тифлиссские катафалки. Часто за ними несли на подушечках ордена, а тут... Нет у Ленина орденов. Но зачем Ленину мишура? Да-а!

Дотронулся до своего ордена. У тебя-то вот есть орден Красного Знамени, а у него... Что, если?.. Но ведь Горбунов уже прикрепил собственный орден на грудь Ильича. Стоп! Это вот повыше всех орденов будет... Конечно! — Ильич больше тебя, больше Горбунова, больше любого причастен к тому, что из тюрьмы народов стал Союз республик...

Снял, прикрепил Ленину свой значок члена ЦИК СССР...

Рассвело. Красный гроб, чуть покачиваясь в окружении обнаженных голов, проплывает над лестницей. Слышно, как стонет ветер за окнами. Тихо вынесли — без оркестров, без пения.

Теснясь, нестройно двинулись по аллее, которая вдруг стала узка. Напирают, сдавливают толпы народа. Неудобно нести, тяжело — до чего ж тяжело! Но вот и простор дороги через поле. Снег — докуда хватит глаз. Опережая скорбную колонну, скользят розвальни: крестьянин сбрасывает еловый лапник — мячит путь Ильичу.

Уходя Ильич предупреждал, что без спасения тяжелой промышленности, без ее восстановления мы не сможем построить никакой промышленности, а без промышленности — погибнем. Мечтал о ста тысячах тракторов. Но попробуйте строить тракторы, автомобили, самолеты без каучука. Без шарикоподшипников, которых тоже нет! Без качественных сталей, совершенных станков, алюминия!.. По плану ГОЭЛРО хотим удвоить довоенное производство, но пока это лишь далекая цель, мечта. Об Урало-Кузбассе, Волго-Доне, металлургических заводах Курской аномалии, тоже загаданных при Ильиче, пока только мечтаем...

Как никогда было тяжело. В двадцать пятом, сразу после ухода Ленина, Четырнадцатый съезд партии решил держать курс на индустриализацию. В двадцать шестом Серго избран кандидатом в члены Политбюро, утвержден председателем Центральной Контрольной Комиссии партии, назначен народным комиссаром Рабоче-Крестьянской инспекции, заместителем председателя Совнаркома, Совета Труда и Оборона.

Трудно. Бюрократизм, хаос, ляпанье. Равнодушие, наплевательство, халатность. Казнокрадство, взяточничество, вредительство. Нищета, голод, страх берут за горло руками тех, для кого прихоть собственного брюха выше совести и светлейших стремлений человечества. Кому как не председателю Центральной Контрольной Комиссии — наркомку Рабоче-Крестьянской инспекции встать стеной? Недруги издеваются:

— Торжество материализма упразднило материю — штанов нет.

В стране, занимающей шестую часть света, нет станкостроения, автомобильной, тракторной, химической промышленности, авиационной!.. Вспомнилось, как в двадцать первом Ленин назвал трех главных врагов, которые стоят перед человеком независимо от его ведомственной роли:

— Три главных врага, которые стоят перед ним, следующие: первый враг — коммунистическое чванство, второй — безграмотность и третий — взятка.

Заседание Политбюро. Обсуждение докладов председателя Высшего Совета Народного Хозяйства и председателя Госплана предстоящему Пленуму ЦК об основных показателях экономики на первый год первой пятилетки. Куйбышев и Кржижановский говорили долго, но слушали их с напряженным вниманием. И теперь, когда Сталин, поднявшись из-за своего необъятного стола, спрашивает, кто хочет высказаться, все молчат. Захватила, да, пожалуй, и потрясла картина такого рывка вперед... «Вот бы Ильич поразился, — думает Серго. — Порадовался ли бы?.. Уж не хочешь ли сказать?.. Хочь».

Слева за просторным столом, сверкающим чистотой, — Куйбышев. На два года моложе Серго, большевик тоже с мальчишеских пор, тоже поистратил здоровье по тюрьмам, в октябрьских боях, на гражданской, один легендарный туркестанский поход чего стоит! — через пустыню в тыл к белым, пили черт знает что, что и называть-то неудобно. Все выдержал, все одолел. Недаром так любит повторять строки, кажется, им же написанные в ссылке:

Будем жить, страдать, смеяться,
Будем мыслить, петь, любить,
Бури вгортят, ветры зяются...
Славно, братцы, в бурю жить!

Да, большое дерево сильный ветер любит. Вся жизнь Валериана в бурях. Ненавидит кривду, самодовольство, чист и честен, истинно государственный ум, не перестающий совершенствоваться. Куйбышева Серго сменил на постах председателя ЦКК — наркома РКИ. И хотя Валериан Владимирович стал председателем ВСНХ, членом Политбюро, все же смотрит на Орджоникидзе как-то ревниво.

Справа Кржижановский. Недавно в связи с чисткой написал в анкете: «Член партии с 1893 года». Незадачливый сотрудник ЦКК изумился: «Но тогда же и партии еще не было». «Для кого еще не было, для кого уже была», — ответил председатель Госплана. Корифей. Ильич обращался к нему «дорогой друг». Вместе основали Союз борьбы, разрабатывали первый в истории хозяйственный план...

Одно дело драться с противником. Трудно возражать друзьям.

Первый пятилетний... Его поручили разработать еще в двадцать пятом Особому совещанию по воспроизводству основного капитала под председательством Пятакова. Серго опасался, что Пятаков создаст план с перехлестами в «сверхреволюционном» духе Троцкого. Тем более что Пятаков объявил — завершен первый научный опыт перспективного планирования; исполняются дерзкие мечты утопистов. Но «сверхиндустриальный» размах Пятакова обернулся куцым планом: устаревшая техника и технология, черепаший темпы, мизерные вложения, притом исключительно из бюджета. Валериан на Объединенном пленуме сказал тогда: «Мы не допустим такого позорного обстоятельства, чтобы партия и правительство на свое рассмотрение получили пятилетку, которая вся проникнута, дышит, пропитана действительным пессимизмом, действительным неверием в возможность развития промышленности у нас». Неудачными оказались и вторая и третья попытки. Четвертый вариант разработала комиссия Куйбышева. Предусмотрели высокие темпы роста, повышение качества производства, создание новых отраслей, внедрение достижений науки и техники. Запланировали подъем всех районов, республик, чтобы развивать индустрию равномерно, полнее использовать общие богатства, побольше брать от самого производства. И это во многом заслуга Валериана...

Под его руководством за три года промышленная продукция увеличилась вдвое. Он выиграл, возможно, и решающее сражение за первоочередное развитие тяжелой индустрии против Рыкова, лидера правого уклона, возглавлявшего Совет Труда и Оборона. Сверхчеловеческую нагрузку несет Валериан на своих плечах. Но... Не хочется, как не хочется!.. Принципиальность украшает биографию и усложняет жизнь... Серго смотрит на увеличенную фотографию Ильича, читающего «Правду», она — над рабочим местом Сталина...

— Говори сидя. — Сталин притормаживает его движением руки с трубкой. — Сиди, пожалуйста.

— Стоя лучше... Мы старались изыскать в нашем народном хозяйстве те резервы, которые в нем имеются и обнаружение которых поможет нам еще шире развернуть наше социалистическое строительство, еще выше поднять наши темпы.

Куйбышев сидит в излюбленной позе — опершись головой на кулак. Он резко поворачивается как бы навстречу удару, запускает крупную пятерню в крутую шевелюру. Кржижановский еще безмятежно спокоен, слегка благодушен. Сталин перестает набивать трубку, пронзительно, остро косит через плечо — в упор: ну-ка послушаем... Ворошилов, Молотов, Калинин, Киров, Каганович, Андреев, Микоян — все обращаются в слух. Чувствуя, что волнения не подавить, Серго повышает голос:

— Мы обследовали состояние дел в черной металлургии, и это обследование показало, что серьезно продуманного и проработанного пятилетнего плана по металлургии у нас нет.

— Митинг! — вспылал Куйбышев. — Доказать надо.

— Терпение, — властно остановил Сталин и кивнул на Серго: — Слов на ветер не бросает. Слушаем, товарищ Орджоникидзе.

— Можно и доказать. Пожалуйста. Значительно приуменьшена возможность использования наличного оборудования...

— Сам любишь говорить: на одной ладони два арбуза не удержишь.

— Надо. Время такое пришло, дорогой. Погоди, не перебивай. Сто раз ударь, но хоть раз выслушай!.. Недостаточно предусматриваете такого рода рационализаторские меры, как сортировка руд, постройка агломерационных, то есть обогатительных, фабрик для спекания руд. Рост коэффициента использования доменных печей намечается лишь на один-два процента. И это в то время, когда кубометр объема доменной печи выплавляет в Югостали пятьсот пятьдесят килограммов чугуна в сутки, а заграничные печи дают до тысячи четырехсот. Так же плохо используются мартеновские цехи. Квадратный метр пода на Югостали дает три и четыре десятых тонны, тогда как в Европе — до семи с половиной тонн!

— Вот память! — улыбнулся Ворошилов.

— Попробуй забудь! — ответно усмехнулся Серго. — С обрезанными крыльями и орел не полетит... Далее. Капитальное строительство... — хотел сказать «ведете», но зачем же валить все на одного, — ведем в высшей степени нерационально. Разбрасываем его по очень широкому фронту, строим очень долго и дорого. Доменная печь номер четыре завода имени Томского заложена в двадцать пятом, не задута и сегодня, в середине двадцать девятого. Импортное оборудование осваивается в высшей степени медленно, часто заказывается то, что не требуется в первую очередь, и наоборот...

— Что скажете, товарищ Куйбышев? — спросил Сталин. — Трудно опровергнуть? Когда успел постичь, Серго?.. У тебя все? Добавить десять минут? Как, товарищи?.. Мы слушаем вас, товарищ Орджоникидзе.

— Да, правдивое слово никогда не приятно, а приятное редко правдиво. — Серго вздохнул раздумчиво и сочувственно, обращая слова не столько к Куйбышеву, сколько к себе — о своем. — Но большие паруса только сильный ветер может надуть. В стране жестокий голод на чугун, а реконструкция Югостали, по пятилетке ВСНХ, предусматривает снос десяти доменных печей...

— Короче, что предлагаешь?

— Ни в коем случае не сносить! Решительно провести рационализацию подготовки сырья. Повысить коэффициент использования доменных печей на тридцать пять процентов, а не на один-два. Не разбрасывать средства на реконструкцию по широкому фронту, а сосредоточить людские и материальные средства на пяти заводах, не вызывающих сомнений в смысле наибольшей эффективности затрат, а сами работы по реконструкции вести максимально возможными темпами. Подхожу к самому главному, к самому важному — к созданию второй угольно-металлургической базы на востоке страны.

— Российское могущество Сибирью прирастать будет.— Сталин взглядом как бы попросил извинения: больше не перебью.

— Да, еще Ломоносов пророчил! — подхватил Серго.— Правда, он говорил: Сибирью и Ледовитым океаном. Это существенно. Придвину войну, пришедшую из Европы, захват Донбасса и Приднепровья, что уже, к несчастью, бывало и в восемнадцатом и в девятнадцатом, когда мы оставались без угля, без чугуна. Между тем дела на Урале гораздо хуже, чем даже на Югостали. Лопата, топор здесь владыки. Получаемый на древесном угле высокого качества чугун тратится на кровельное железо. Надеждинский завод в день сжигает столько дров, что, если выложить их в ряд, получится стена в метр шириной, в семь метров высотой и в километр длиной. И при таких условиях ничтожное внимание уделяется переходу на минеральное топливо!.. Товарищи с Магнитки докладывали на Совнаркоме, что им нужно в будущем году девяносто шесть миллионов штук кирпича, а для доставки у них имеется девяносто шесть лошадей...

Обо всем этом вновь вспыхнут споры и на Пленуме ЦК и в партийных ячейках. Политбюро поручит изучить проблему комиссиям специалистов и лишь потом признает позицию Серго правильной. ЦК примет постановление: не только строить новое, но и бережно использовать старое — максимально повысить темпы индустриализации. Решение ЦК о развитии металлургии на Урале положит начало созданию второй угольно-металлургической базы. Центральный Комитет поставит перед черной металлургией задачу занять второе место в мире по производству важнейшего металла.

Но как подняться, когда никакой помощи извне, напротив, капиталистическое окружение враждебно, когда оппозиционеры суют палки в колеса, называют индустриализацию авантюризмом, а коллективизацию — политикой голода? Как подняться, если гириями на ногах бюрократы, казнокрады, невежды, нерадивцы, разгильдяи, нытики, вредители?

Ответить должен Шестнадцатый съезд партии. Он открывается 26 июня 1930 года в Большом театре. 2 июля с отчетным докладом ЦКК—РКИ выступает Серго. Обращаясь к собравшимся, он время от времени поглядывает на длинный, во всю сцену, стол, за которым сидят крупнейшие люди страны, мозг ее. Там десять лет назад рядом с тобой сидел Ильич. Вон туда он ступал, произнося: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны...» Как тепло было в этом насквозь простывшем тогда зале! А теперь... Душно. Спасибо, что боржом наготове — со льда, бутылка в спотела. Нет, не в июльской жаре причина. Что московская жара кавказцу? Просто тогда ты был, как говорят военные, надежно прикрыт Ильичем, а теперь — с тебя первый спрос.

Его доклад — жесточайшая критика хозяйственников.

—...Работа на заводах здесь шла с какой-то преступной медлительностью. Продолжительность постройки аналогичных судов на германских верфях десять—двенадцать месяцев вместо наших двадцати шести — пятидесяти пяти месяцев. Спрашивается, почему германские рабочие должны работать лучше на капиталистов Германии, чем наши рабочие на наших заводах, строя свои пароходы?..

Возим громадное количество хлопка, и в этом году из-за того, что мы не могли ввезти такого количества, которое нам необходимо, мы должны остановить наши фабрики. Мы должны принять все меры и как можно скорее расширить посевы...

Вы знаете, с какой лихорадочной быстротой мы строим наши тракторные заводы, вы знаете, с каким невероятным напряжением мы строим наши автомобильные заводы, вы знаете, какое количество нефти они потребуют. Все дело, товарищи, в том, чтобы решения нашей партии и нашего правительства проводились как следует. А насколько они плохо проводятся, я об этом буду говорить...

Убежден, если перед нашими рабочими поставить вопрос, отдавать ли заказ, который мы можем сами выполнить, за границу или оставить у нас, то любой рабочий скажет: ни в коем случае его за границу не отдавать, а сделать здесь, на наших заводах... (Бурные аплодисменты. Голоса: «Правильно!») Почему, например, железные конструкции мы должны ввозить из-за границы? Разве мы не можем их делать? А сколько надо было драться, чтобы заставить отказаться от ввоза их! То же самое с прокатным оборудованием и блюмингами...

Громадный орудийный завод, построенный во время войны Виккерсом, в самом удручающем и возмутительном положении. Ящики с импортными станками свалены почему-то даже не на пол, а на те дорогие и редкие станки, которые уже установлены. Между тем на мощном оборудовании этого завода можно и должно делать весьма ценные предметы, которые мы импортируем,— прокатные станы, аппаратуру для химических заводов, коленчатые валы для дизелей и лесопильных рам, весьма ответственный бурильный инструмент для нефтяной промышленности и крупные карусельные станки...

Месяц назад я был в Ленинграде и вместе с товарищем Кировым пошел на металлический завод имени Сталина. Секретарь ячейки этого завода, товарищ Семичкин, обращается ко мне и товарищу Кирову с заявлением, что если мы ему поможем, то завод может производить гораздо больше турбин, чем сейчас. Для этого потребуются лишь выбросить оттуда производство мелких турбин и перевести завод на постройку турбин только двух мощностей — двадцать четыре тысячи киловатт и пятьдесят тысяч киловатт (эти турбины гораздо больше нам нужны). И такая сравнительно маленькая рационализация даст колоссальный эффект. Очень часто мы недооцениваем той громадной силы, которую представляет партийная ячейка на предприятиях. (Аплодисменты.)

Отрываясь от текста доклада, говоря по памяти, от себя, Серго замечал, что Куйбышев за столом президиума слушал с таким же интересом, как все, но по-особому внимательно, будто боясь шевельнуться...

Узнавая с трибуны работников ВСНХ, видел по выражению их лиц, что они обескуражены, а то и подавлены. Жаль. Конечно, правдивое слово и железо пробивает, но до чего же горько, тяжело, страшно брать на себя роль тарана! А что поделаешь? Надо. Лишь богач да глупец делают то, что хотят.

После заседания Куйбышев первым вышел из театра, сел в черный правительственный «паккард» — не на переднее сиденье, как обычно, а позади шофера. С ним он любил потолковать, но на этот раз не произнес ни слова за всю почти часовую дорогу.

На даче отказался от еды, поужинал стаканом крепкого чая, резко поднялся из-за стола и ушел к себе в мансарду.

Полуночью секретарь его Михаил Федорович нашел на стуле у кровати конверт и листок бумаги, на котором было написано, что Валериан Владимирович так и не смог уснуть всю ночь. Если повезет и удастся заснуть под утро, то, пожалуйста, не будите: рабочий день сложится таким образом, что основные дела предстоят во второй половине. А вот письмо, лежащее в конверте, надо поскорее прочитать товарищам...

Срочно вернувшись в Москву, Михаил Федорович собрал в кабинете председателя ВСНХ ведущих сотрудников, прочитал вслух:

«Я почувствовал, что вы взволнованы выступлением т. Орджоникидзе. Взволнован и я. Что говорить, картина получилась убийственная. Я вот не могу заснуть и решил написать вам выводы, к которым я пришел. Верна ли критика в целом (о частностях не стоит говорить)?.. Верна. Абсолютно верна... Вот представьте себе картину: пахарю нужно во что бы то ни стало вспахать десятину до захода солнца. Завтра

будет непогода, завтра уже поздно. Нужно вспахать до захода солнца во что бы то ни стало. Лошадка добросовестная, работает бойко, тянет по совести. Но этого мало...

Мы, хозяйственники, несмотря на добрую волю многих из нас, нуждаемся в такой резкой постановке вопроса, чтобы лучше работать, чтобы достигнуть нужного максимального напряжения...

1) Устами Серго говорит партия, ее генеральная линия;

2) Партия, как всегда, права;

3) Хозяйственники не должны превращаться в какую-то касту, они должны вместе с партией, помогая ей, вскрывать безбоязненно недочеты и впрягаться в работу;

4) Хозяйственники должны самоочищаться и более смело пополнять свою среду свежими пролетарскими силами...

Не надо допустить, чтобы хозяйственники выступили с критикой доклада Орджоникидзе. Если вы согласны со мной, примите нужные меры...

Не унывайте, друзья! Для дела рабочего класса важно не самочувствие хозяйственника, а успех продвижения вперед. Острая постановка вопросов, как бы она ни нарушала благодушное самочувствие, движет вперед, — значит, она благо».

Назначив Куйбышева председателем Госплана, 10 ноября Президиум ЦИК поручает Орджоникидзе возглавить Высший Совет Народного Хозяйства. Декабрьский Объединенный пленум ЦК—ЦКК переводит его из кандидатов в члены Политбюро.

— Предупреждал Ильич, что хозяйственное строительство — бескровная и длительная война — потребует не меньше, а больше героизма, чем вооруженная борьба, — скрипит Семушкин сдавленным сиплым баском.

Анатолий Семушкин плечист, коренаст, подвижен. Крутое скуластое лицо с крупным широким носом, с пронзительно откровенными глазами внушает ощущение основательности, покладисто-надежной силы. Неразлучны еще с гражданской. Московский ткач, красногвардеец, чекист, Семушкин был приставлен к Серго для охраны. Приглянулся. Выдержал испытание делом. Понимает все не с полуслова — с полувздоха. Официально именуется начальником секретариата — по существу преданный друг, неотлучный помощник.

В сопровождении Семушкина Серго входит в новый кабинет, занимает пост. Занимает ли? С чего начать? Переставить мебель? Свистать всех наверх в припадке реорганизаторского зуда? Зачем так иронично?.. Многое и многих действительно придется менять. Надо упростить центральный аппарат? Надо избавить предприятия от опеки по пустякам? Нельзя превращать ВСНХ в вулкан, извергающий на заводы бумажную лаву?.. Телефонный звонок: Сталин спрашивал, как подвигается строительство Уралмаша.

— Как? Стоит полным ходом.

— Возьми под личный контроль, каждый день докладывай.

И пошло. Телефоны дребезжали на разные голоса:

— Товарищ Орджоникидзе! Для реконструкции Макеевского завода блюминг надо заказывать за границей, а с валютой, сами знаете...

— Неужели нельзя построить на замечательных заводах Питера, на Ижорском, скажем? Разве мастерами оскудели? Рук нет?

— Руки — золото, а вот головы... Сидят конструкторы.

— О черт подери!.. А что, если просить ГПУ выпустить на поруки? Пусть бы работали под конвоем, как Рамзин?.. Фамилии?

— Тихомиров, Неймаер, Зиле и Тиле.

— Записал, Анатолий? Соедини с Менжинским...

Серго оглядывает громадный кабинет, касается батареи отопления, греет левый — недавно оперирован — бок. Еще одно «надо»! Пока что тепло дает сюда обычная кочегарка, а не МОГЭС, от которой

только начали прокладывать трубы. Недопустимо так медленно вводить достижение науки. Хм!.. К этому достижению, кстати, причастен и Глеб Максимилианович: наши ученые первыми выдвинули идею теплофикации — централизованного комбинированного получения электричества и тепла. Сколько тепла надо стране! Как должно беречь каждую пылинку угля, каждую капельку нефти! А тут: высочайшая экономичность, культура производства и потребления, не приходится развозить топливо по котельным, чище воздух в городах, теплее в домах... Стоп, стоп, стоп! Вот главное...

Наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека. Кто это сказал? Антон Чехов? Я это говорю. Всюду, везде есть свои гении. Академик Губкин, например. Помню его по работе в Баку. Спроектировал, как скорее и лучше возродить промыслы, вместе с Серебровским проводил в жизнь... Потом открывал залежи Курской аномалии, богатейшие месторождения нефти между Волгой и Уралом... А Лебедев? Предложил метод производства синтетического каучука, который признан лучшим на международном конкурсе, проведенном ВСНХ. Наконец-то избавимся от кошмаров резинового голода... А Крылов?! Легендарный академик. Патриарх и любимец флота. Царский генерал, единодушно избранный начальником советской Морской академии. Выдающийся математик, механик, астроном, кораблестроитель, изобретатель, автор учебников, основоположник современной теории корабля, с благодарностью принятой во всем мире... Уже вносит свой вклад в наше строительство: придумал, как перевезти, и перевез морем тысячу паровозов, заказанных нами в Швеции и Германии... Заполучил военные корабли, угнанные Врангелем... Проектировал и строил первые отечественные линкоры типа «Севастополь», первые советские лесовозы и танкеры. Крылов — наш Ньютон. Академик Вернадский — наш, можно считать, Леонардо и Ломоносов разом — предсказывает век использования внутриатомной энергии, хотя многие отрицают такую возможность. Как знать?.. Кто окажется прав?.. А еще у нас есть Чаплыгин! Вавилов! Карпинский! Вильямс! Комаров! Бах! Прянишников! Павлов! Обручев! Циолковский! Горький — да, именно Максим Горький, первый академик по разделу человекознания. Да если такие Архимеды придут к тебе, Серго!..

— Слушай, Анатолий, я поручу научно-техническому управлению собрать совещание ведущих ученых, а ты помоги провести на должном уровне. Понимаешь, дорогой? На достойном большевиков уровне. Пожалуйста, не вздыхай тяжко. Знаю: и без того за троих везешь. Но я не спрашиваю, трудно ли. Я говорю: надо.

И вот Архимеды входят в кабинет председателя Высшего Совета Народного Хозяйства, где уже собрались ведущие сотрудники.

Первым согбенно несет себя легонький старец в очках. Кажется, все лицо — очки и седая борода. Просторно в черном, былых времен, пиджаке. С богом беседует.

Бессменному с девятысот семнадцатого президенту Академии наук восемьдесят четыре. Родился при Гоголе, пережил четырех царей, пять войн, работал с Менделеевым. Киты науки, у которых на двоих до пяти гочек зрения, единодушно сходятся в том, что капитальные труды и важные открытия позволяют признать Карпинского не просто основателем русской геологической школы, но и ученым с мировым именем. Благодаря доброте, правдивости, благожелательности он снижал уважение и ближайших сотрудников, и многих, кто о нем лишь слышал или читал. Первый выборный президент Российской академии, почетный член многих иностранных обществ и академий, Октябрь принял сочувственно, стал перестраивать работу так, чтобы наука служила революции. Но по плечу ли ему новая ноша, хватит ли его на то, чтобы возглавить изучение производительных сил такой страны, поставить их на службу национальному подъему?

Тем временем старик представлял пришедших с ним:

— Вице-президент Глеб Максимилианович Кржижановский. Академик Губкин Иван Михайлович. Горбунов Николай Петрович. Их, надеюсь, не надобно аттестовать? И Веденеев с Винтером вам известны?

— Наши днепростроевцы...

— И наши, быть может, в не меньшей степени.— Президент сделал особое ударение, не оставлявшее сомнений в научной ценности строительных работ.— Убежден, в не столь отдаленном будущем оба станут академиками. Не сомневаюсь! — И продолжал представлять:— Академик Ферсман Александр Евгеньевич, выдающийся минералог, один из основоположников геохимии. Открыл Хибинское месторождение апатитов, где мы уже добываем, как любят говорить газетчики, камень плодородия. За то ему поклон и премия имени Ленина... А это член-корреспондент Павлов Михаил Александрович. Полагайте его основателем нашей школы доменщиков. Особо должен быть полезен пятилетке тем, что ратоборствует против утвердившегося в инженерии и науке мнения, будто нецелесообразно увеличивать размеры доменных печей... Член-корреспондент Байков Александр Александрович. Стезя и стихия — стали высокого качества: орудийные, инструментальные, шарикоподшипниковые. Занимается и рельсовым металлом, и общей теорией твердения цементов, что бесполезно и для Днепровской плотины и для фундаментов Магнитки. Профессор Федоровский Николай Михайлович. Чего вы директор, Николай Михайлович? ВИМС... В переводе на русский это означает Всесоюзный научно-исследовательский институт минерального сырья. Далее... Эргард Викторович Брицке. Член-корреспондент. Химик и металлург. По его, а также Самойлова и Прянишникова почину еще в восемнадцатом учрежден Институт прикладной минералогии, преобразованный затем во Всесоюзный институт минерального сырья, о коем только что говорено. В девятнадцатом при содействии и попечительстве Владимира Ильича у нас создан Институт по удобрениям, ныне Институт по удобрениям и инсектофунгицидам, который Эргард Викторович, осмелюсь утверждать, весьма успешно возглавляет. Наконец, вот, пожалуйста, академик Архангельский Андрей Дмитриевич. Прирожденный геолог. Лауреат премии имени Ленина. Что его интересует? Трудненько перечислить. И еще труднее назвать, что не интересует...

Всех президент называл с добрым расположением, с интересом влюбленного, всеми гордился как бы от имени рода людского — за род людской, но больше других любил Архангельского: хоть и не ученик, но последователь, продолжатель. Сразу было заметно, что любимец, по тому, как поддерживал Архангельского под локоток, как молодцевато вскидывал голову, встряхивая белой копешкой волос, и по тому, как закончил тираду об Архангельском, очевидно ревнуя к славе Губкина:

— Вместе с Иваном Михайловичем руководил изучением Курской магнитной аномалии. Вместе поднимали и ставили Горную академию. Так что, не говоря о почтенном ее ректоре, — кивок в сторону Губкина, — совсем не худших отрядили мы в первый советский, как это ругают нынче, вуз. Я бы сказал: в альма-матер молодых ученых-большевиков. И вот вам, пожалуйста, результат в лицах.— Указал взглядом на трех молодых людей, теснивших их у дверей.— Подойдите, голубчики. Впрочем, Иван Михайлович их лучше представит.

— С радостью.— Губкин одернул коротковатый пиджак, оправил галстук, явно мешавший ему.— Вот это Иван... — Запнулся, но выговорил, густо, по-владимирски окая:— Тевадросович Тевосян.

— Ваню! — обрадовался Орджоникидзе.— Я тебя не узнал! Богачом будешь.

— Уж он будет! — Губкин скептически усмехнулся.— Бакинские товарищи оборудовали его для учебы в Москве лисьей шубой — он ее

отдал больному соседу по общежитию. Между прочим, там с ними был и Саша Булыга. Ныне Фадеев, «Разгром» написал, роман. Так Тевосян и пробегал все зимы вот в этой самой кожаной кацавейке. Будто родился в ней...

Серго разглядывал Тевосяна. Щупловат, но крепко шит. Иссиня-воронные, гладко зачесанные назад густейшие волосы. Острый и вдумчивый взгляд, пристально-выжидающий, даже настороженный свет в глазах. Серго знал его по работе в Баку. В партии Тевосян с шестнадцати лет. И к двадцати восьми успел не так мало. Воевал за советскую власть в Азербайджане: секретарем подпольного комитета, потом районного, уже не подпольного. Вместе с ним, тогда девятнадцатилетним, был избран на Десятый съезд партии. Прямо со съезда в числе других делегатов Ваню отправился штурмовать мятежный Кронштадт. Потом продолжал партийную работу, окончил Горную академию, пошел рядовым мастером на «Электросталь», вытаскивал завод из прорыва. Думается, не только аскетическая скромность, неумение и нежелание обременять собой других привлекают в нем, но прежде всего неистовое трудолюбие, отличающее натуры высокоодаренные. Когда о молодом работнике говорили «человек долга и чести», Серго вспоминал Тевосяна. Каждое мгновение он стремится приносить пользу, точно знает, что не так-то много будет их ему отпущено, мгновений.

Будто услышав и поддерживая Серго, Губкин продолжал:

— Кажется, он никогда не помышлял привлечь внимание, но всегда его замечали, выдвигали, взваливали на него ношу...

— Вы расскажите, как он у Круппа...— Это напомнил худощавый ушастый молодец, очень сосредоточенный и, видно, обязательный и дотошный. В добротном немецком костюме, в белоснежной сорочке, наутюженной женой (только жены так безукоризненно утюжат). Весь какой-то опрятно-домашний, ухоженный, готовый к немедленному действию. Сразу возбудил симпатию и доверие.

— Емельянов Вася,— представил Губкин,— извините, Василий Семенович. Оставлен при лаборатории электрометаллургии. Сказанное о Тевосяне применимо и к нему. Недаром друзья. Вместе в гимназии, вместе в подполье, вместе были командированы стажироваться в Германию. Быстро овладели немецким. Понятно, крупповские мастера не больно-то спешили делиться... Знаю Емельянова и Тевосяна, потому утверждаю: за границей не развлекались, а стояли у мартепов, блюмингов, анализаторов... Теперь прошу обратиться к следующему. Он самый старший из троих, ему стукнуло двадцать девять.

— Завенягин. Знаю,— кивнул Серго.— Уже встречались по делу.

— Я бы определил Авраамия Павловича как человека исключительно ранней зрелости,— говорил Губкин,— государственной, если хотите, мудрости. Горная академия, как известно, основана по совету Ленина. Первый набор — партийная молодежь с фронта. Нас не удивляли студенты, которые год назад были комиссарами дивизий, секретарями губкомов. Но Завенягин как-то, знаете, выделялся, пусть не обидятся остальные... Большевик с семнадцатого, к двадцати годам успел поработать секретарем окружкома в Юзовке. Студенты звали его не иначе как по имени-отчеству. Обостренное чувство ответственности, завидная работоспособность, глубина, ясность, компетентность. Потребовался мне в помощь проректор — кого выбирают студенты? Завенягина! Лаборатории в плачевном состоянии — что предлагает проректор? Возьмем заказы от московских заводов на восстановительные работы — и им поможем, и сами оборудуемся на заработанные средства... Буквально через несколько месяцев в академии загудели станки, приборы, приспособления для опытов по обогащению руд и углей, начались исследования производства свинца, латуни, ферросплавов, алюминия...

«А что,— думал Орджоникидзе,— не назначить ли Завенягина директором Гипромеза? Ты сумасшедший! Доверить Институт по проектированию металлургических заводов человеку, который вчера сидел за партией!.. Риска боишься! Спокойной жизни ищешь, а она в прошлом веке закончилась — нам одно беспокойство осталось. Тебе сколько было, когда Ильич доверил организовать Пражскую конференцию? Двадцать пять... Наука наукой — что есть величие человека, если не мысль? Но и о самом человеке не забывай. Стоп! Вот оно... Вырастить руководителей по принципу: коммунист, ученый, хозяйственник в одном лице... Академики, профессора в директорских креслах, в наркомовских... — По-матерински оглядел трех молодых ученых, именно по-матерински, словно предчувствуя славное будущее, предстоявшее им. — Завенягина — директором Гипромеза?.. Тевосяна и Емельянова — совершенствовать дальше?.. Пусть опять едут в Германию, Америку... — Вновь оглядел их. — Растить! Денег нет, говорите? Последние штаны снимем. Наша будущая интеллигенция должна дать духовную пищу народу, стать культурным его вождем, истинной солью земли».

Серго предупредительно усаживает Карпинского на председательское место, спохватывается: не слишком-то приятны старику заботливые напоминания о его немощи, сопротивляется, ярится, пододвигает стул Серго поближе к свесу — на равных будем.

Серго волнуется. Не осрамиться бы, как тот директор института — из комиссаров, — упрекавший ученых, что выписали многовато журналов на английский язык и ни одного — на американском, главном языке техники...

— Дорогие товарищи! Маркс характеризовал социализм как общественное производство, управляемое общественным предвидением... Настоятельная потребность времени — связать науку с производством. Время с теми, кто идет вперед... — Досадуя, привычным взмахом руки, сжатой в кулак, Серго как бы перечеркивает все предыдущее, начинает снова: — Мы пригласили вас, чтобы вместе помечтать... Давайте, как Ленин, помечтаем с карандашом в руке. Что уже разведано настолько, чтобы строить рудники и шахты? Что и где разведать дальше, куда бросить ударные отряды геологов? Какая нужна металлургия, химия, энергетика? Вам первое слово, Александр Петрович. — Уже не сдерживает, не опекает старика: хочет говорить стоя — пусть говорит стоя!

Начинает президент издалека. Рассказывает, как фермеры запросили у Дарвина помощи: катастрофически упали урожаи красного клевера. Великий ученый рекомендовал завести побольше кошек. Что это — насмешка гения? Или точное знание? Красный клевер опыляется только шмелями. А шмелиные гнезда разоряют мыши, которых развелось множество. Почему же в округе мало кошек? Да потому что резко сократилось число старых дев и засидевшихся невест по причине возвращения солдат с войны. Но это кстати.

А Серго отметил: блестящий пример диалектики. Слушать старика приятно, а наблюдать за ним интересно. Может, верно — старость бывает красива?

Карпинский между тем говорил:

— Сила народа в интеллигенции, умеющей честно чувствовать, думать, работать. Когда спросили Ньютона, как он открыл закон тяготения, Ньютон ответил, что он об этом много думал. Эдисон сказал, что в его изобретениях девяносто восемь процентов потенция и два процента вдохновения. Гоголь восемь раз переделывал рукопись! Тот же Ньютон говорил: «При изучении наук примеры не менее поучительны, нежели правила». И я воспользуюсь его советом. Не в силу дворцовых интриг или августейшего благоволения Ньютон был назначен управляющим Монетного двора — королевский министр справедливо рассудил, что во всей Британии Ньютон был самым подходящим человеком

для этого, и не промахнулся. Ньютон быстро увеличил выпуск монет в восемь раз по сравнению с тем, что его предшественник считал пределом... Алексей Николаевич Крылов сделал, на мой взгляд, прелюбопытнейшие переводы из тридцати томов корреспонденции Наполеона. Вот они, со мной, извольте... «Гражданину Орнани, астроному. Науки, которые доставляют честь человеческому уму, искусства, которые украшают жизнь и передают потомству великие деяния, должны быть особенно чтимы свободными правительствами... Я приглашаю ученых объединиться и представить мне свои соображения о мерах, которые надо принять, или о нуждах, которые они испытывают, чтобы придать наукам и искусствам новую жизнь и новое существование». Сенаторами, пэрами Франции, неизменными собеседниками Наполеона стали Карно, Лагранж, Пуассон, Бертоле, Фурье, Вольта и другие небожители. Президенту Института — то есть Академии наук: «Избрание меня выдающимися людьми, составляющими Институт, оказывает мне честь. Я хорошо чувствую, что, ранее чем стать с ними равным, я долгое время буду их учеником». Готовясь к завоеванию Египта, Наполеон образует при армии комиссию, в которую входят крупнейшие астрономы, математики, химик, археолог, воздухоплаватель Доломье, издает декрет, предписывая Институту сделать обзор успехов науки и искусств с момента Великой французской революции, впредь практиковать такие обзоры в торжественной обстановке. Устанавливает ежегодную премию в виде золотой медали ценою в три тысячи франков за наилучший опыт по гальванизму и поощрение в шесть тысяч франков за открытия, подобные трудам Вольты в области электричества и магнетизма, предвидит исключительную роль этих едва еще замеченных сил природы: «Моя цель состоит в поощрении, в привлечении внимания физиков на этот отдел физики, представляющий, как мне чувствуется, путь к великим открытиям...»

Тут же подумалось — в Лонжюмо, любуясь одним из первых аэропланов, Ленин, проводив чудо-машину восхищенным взглядом, вздохнул мечтательно:

— Либкнехт вспоминал о прелюбопытнейшем разговоре с Марксом. Маркс издевался над победоносной реакцией, которая воображала — точно так же, как теперь наша, российская, реакция воображает, будто революция задушена, и не догадывалась, что естествознание подготавливает новую революцию. Маркс тогда с воодушевлением рассказывал Либкнехту, что на одной из улиц Лондона видел выставленную модель электрической машины, которая везла поезд. Маркс, по словам Либкнехта, заметил: «Последствия этого факта не поддаются учету. Необходимым следствием экономической революции будет революция политическая». Да-с. Так-то...

И сейчас каждое слово Карпинского Серго воспринимал как напутствие и... упрек. В самом деле. Разве не ясно, что хочет сказать президент Академии, нажимая на воспоминания о Наполеоне? Тонкий, деликатный человек. Не может просто стукнуть кулаком: «Так вас раззтак! Ленин завещал вам, чтобы наука не оставалась мертвой буквой или модной фразой, чтобы действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом, а вы...» Но разве мало мы сделали и делаем для науки? А разве много, если престарелый президент ездит у нас на трамвае? В каких условиях он живет? Как питается? Не знаешь, а должен знать.

Бесспошно, наука — первейшая производительная сила. И до чего глупы или — хуже! — злонамеренны те, кто противопоставляет «простому народу» интеллигенцию. Вот уж истинные-то враги народа! Термином «человек труда» вроде бы выносят за скобки учителей, врачей, академиков. Будто они не работают вообще и на пятилетку в частности! Будто вообще у нас возможен «человек не труда!» Ах, умница Горький! Как хорошо написал в «Правде» об ученых! «Я имел высокую честь возвращаться около них в трудные 1919—20 годы... На-

блюдал, с каким скромным героизмом, с каким мужеством творцы русской науки переживали мучительный голод и холод, видел, как они работали и как умирали. Мои впечатления за это время сложились в глубокий и почтительный восторг перед вами — герои свободной, бесстрашной, исследующей мысли. Я думаю, что русские ученые, их жизнь и работа в годы войны и блокады дали миру великий урок мужества и выдержки». Ай, молодец! Не случайно Алексей Максимович называет интеллигенцию ломовой лошадкой, впряженной в тяжкий воз российской истории. И недаром во все времена — повсюду! — народ почитал интеллигенцию. Весть о прибытии доктора Пирогова в села распространялась звоном церковных колоколов...

Ощувив некое беспокойство соседа, Карпинский расценил его по-своему:

— Покорнейше прошу извинить за столь долгое предварение, но... Тот же Алексей Николаевич Крылов представил в Академию доклад, где справедливо сетует, что вредоносное заблуждение о несовместимости теории и практики сказывается и посейчас. Разрешите указать хотя бы на учет и планирование, напоминающие мне статистике того исправника, который в графе «Свободные художники» написал: «Ввиду заключения конокрадов Абдулки и Ахметки в тюрьму свободных художников во вверенном мне уезде нет». Да-с... Теперь извольте изложить точку зрения на богатства Русской платформы, изучению коих посвятил жизнь. Хорошо бы карту, голубчик.

— Она позади вас. Пожалуйста.

— Прекрасная карта! Извольте проследить границы этого обширнейшего участка земной коры... Сверху платформу образуют осадочные породы. Снизу — древнее докембрийское складчатое кристаллическое основание, к которому приурочены главным образом месторождения руд — Криворожское, Курская магнитная аномалия. Думаю, следует всерьез копнуть и гнейсы и чарнокиты западной Башкирии, Татарии... Успскойтесь, Глеб Максимилианович, голубчик, будет время поспорить. Да-с. Присутствие кристаллического основания под осадочными толщами Русской равнины честь имел доказать ваш покорный слуга в восемьсот восемьдесят седьмом. Современное представление о Русской платформе, или плите, введено и обосновано Андреем Дмитриевичем Архангельским, присутствующим среди нас и с вождением взирающим на бутерброды. К осадочным породам и структурам осадочного чехла приурочены различные весьма богатые месторождения. Нефть и газ в отложениях Поволжья и Приуралья, что блестяще доказано Иваном Михайловичем Губкиным. С каменноугольными отложениями связаны месторождения Подмосковского бассейна, Днепровско-Донецкой и Польско-Литовской впадин... Мы владеем половиной чернозема планеты, несметными запасами минерала номер один, как теперь стали называть воду. Но она же и хлеб насущный наш...

Речь президента задела, поощрила. Выступили все. Каждый говорил интересно, густо о том, что его волновало, но только его, потому, что называется, дул в свою дуду, а хотелось объединить усилия, направить в главное русло. Что, если прибегнуть к излюбленному приему Ильича, который нарочно выдвигал доводы противников, как будто они его собственные?

— Хорошо, — как можно равнодушнее вздохнул Серго, — но... — И сделал качаловскую паузу, чтобы позволить слушателям оценить весомость этого «но». — Тут предлагалось построить железную дорогу в обход Байкала с севера к Тихому океану и до Якутска, начать разработки Курской аномалии, поставить сверхгидростанции на Волге, Ангаре, Енисее, даже Кольме. Но возможно ли это?

Глеб Максимилианович, крепенький, седенький, взвился над столом, словно пружина взметнула, даже показался выше ростом.

— Возможно ли?! Вы ли это произнесли, товарищ Серго?! — Первым клюнул! — Да еще в восемнадцатом Ильич отрядил меня в Жигули на предмет изыскания возможностей строительства гидроцентрали. Не забуду и восьмое мая двадцатого года. На юге Деникин и Врангель. Киев захвачен пилсудчиками. В центральных и северных губерниях вводим военное положение. В Москве горят артиллерийские склады, под Москвой — торфяники. А на заседании нашей комиссии обсуждается доклад о водных силах Ангары и возможностях их использования. Для нас не стоял вопрос «возможно — невозможно». Мы, как вы призываете, товарищ Серго, — с карандашом в руках: бетона потребуется столько-то, полная стоимость такая-то, сверхмощность гидроэлектрических установок такая-то. К докладу приложили карту, на ней обозначили одиннадцать створов, пригодных для строительства. Выше Иркутска, у Братского, Усть-Илима. А вы, товарищ Серго!.. Эх! — И сел рядом с Горбуновым столь же стремительно, как поднялся.

Кстати! Если бы Горбунов не пришел, его надо бы выдумать. Теперь Николай Петрович работает в Госплане. Молодой ученый был любимым помощником Ильича, секретарем Совнаркома и личным секретарем. Заведовал научно-техническим отделом ВСНХ в пору привлечения к революции научно-технических сил, управлял делами Совнаркома, Совета Труда и Оборона... Это он, Горбунов, прикрепил свой орден к френчу умершего Ильича... Живая связь с той титанической работой, которую вел Ильич, привлекая ученых и Академию к исследованию производительных сил страны. Именно та работа дала нам Академию, научную базу производства, ГОЭЛРО в частности.

Теребя смоляную бородку, заговорил Архангельский:

— Весьма сожалею, что по нездоровью не присутствует Владимир Афанасьевич Обручев. Тем не менее всем известны труды Обручева, делающие честь Академии. Геолог, географ первого ряда. Заслуженный деятель науки. Премия имени Пржевальского, большая золотая Константиновская медаль от Русского географического общества, премия имени Чихачева от Парижской академии — дважды...

— Премия имени Ленина в двадцать шестом, — подсказал Ферман, склонил крупную голову с крутым чистым лбом, казавшимся еще больше и выше оттого, что уж очень рьяно бог лица прибавил, развел грубыми, в длинноватых рукавах потертого английского пиджака ладонями каменотеса. — Все это регалии, но красноречивые...

— Обручев — признанный лидер исследователей Восточной Сибири, — вступил Архангельский. — Недаром председательствует в нашей академической комиссии по изучению вечной мерзлоты. Утверждает: «Будем строить там из бетона и кирпича!» Работы Обручева позволят прогнозировать месторождения, то есть вести поиски не наугад, а наверняка. Богата Сибирь! Жаль, нет нефтяной жемчужины в ее короне...

— Позвольте! — обиженно перебил Губкин.

— Помилуйте, Иван Михайлович! Где доказательства?

— Пока никаких. Лишь интуиция. По-ка!

— Интуицию в цилиндры не впрыснешь.

— Престранно слышать от академика! Даже открытия дифференциального, интегрального исчисления невозможны были бы без фантазии. Нет, это не я вам говорю — это Ленин говорит.

Карпинскому пришлось вмешаться:

— Иван Михайлович! Голубчик! Удар ниже пояса.

Но Губкин не унимался:

— Именно Ленин поддерживает и обнадеживает, настаивая на том, что фантазия есть качество величайшей ценности. Припомните опыт того же Александра Евгеньевича в Хибинах. Припомните нашу одиссею с Курской аномалией, со «вторым Баку», как теперь величают самые заклятые оппоненты. А ведь совсем невольно читали отходную: «И нет и быть не может». Ан на-кась выкуси!

— Почтеннейшие олимпийцы! — Президент не на шутку вспылал, даже по столу прихлопнул ладошкой, чего Серго уж никак от него не ожидал.— Прошу подбирать выражения. К порядку!

И все послушно утихло.

После того как доложили о работах Обручева, Карпинский попросил выступить Байкова, Павлова и Федоровского. Все трое, точно заранее условившись, заговорили не о своих, а о молодого геолога Урванцева и его жены открытиях.

— Вблизи норильских озер целый рудный район!.. Свадебное путешествие молодой четы — он и она одержимы Севером... Экспедиция была отряжена еще Лениным, работала с девятнадцатого в жесточайших условиях, наперекор, казалось бы, непереносимым лишениям...

— Нашли никель! Кобальт! Медь! Такие попутчики, как серебро, платиноиды! Считайте, подарили нам станки, автомобили, пушки, броню, авиацию, флот, часы, всевозможные приборы...

— Я не преувеличиваю! Качественной стали нет без полиметаллов, хрома, никеля. Надо строить там заводы!

— За Полярным кругом?! Снег не тает двести сорок четыре дня в году. Дорог никаких...

— Построим от Дудинки!

— От зимовья?

— Зимовье станет городом, портом!

— По тундре, по вечной мерзлоте — рельсы?!

— Невозможное могут только люди!..

Тевосян заговорил о немецких прокатных станах, до которых нашим пока, к сожалению, как до неба. Но у нас есть двадцатишестилетний энтузиаст Саша Целиков. Два года назад окончил МВТУ, бывалые прокатчики поражаются дельности, изяществу его изобретений. Он еще и Круппа за пояс заткнет — вот увидите! Вообще стоило бы обратить особое внимание на МВТУ. Там учатся такие ребята, как Слава Малышев, например...

Емельянов напомнил об академике Иоффе и Петре Капице, работавшем в Англии у Резерфорда. Поставил в пример германских промышленников, которые ой как следят за каждым шагом физики. Может, и нам пора бы оценить ее по достоинству, не пробросаться бы, собрать для начала своих физиков, прислушаться к ним?..

Завенягин тактично доказывал товарищу Серго, что мы, будучи родины электрической сварки, непростительно отстаем в этом деле. Кувалдой клепаем домны, подъемные краны, корабли. А между тем в Киеве работает Евгений Оскарович Патон — в условиях, недостойных того, что замыслил. Но работает и уверен: будут у нас цельносварные домны, нефтепроводы, подводные лодки, танки, мосты. Вот бы создать институт электрической сварки во главе с Патоном!..

Тевосян сидел как именинник, с укором поглядывал на товарищей, работавших челюстями не хуже академиков. Серго передал ему записку: «Слушай, кацо! Если у тебя больной желудок, я попрошу принести что-нибудь диетическое». Все же Тевосян не притронулся к бутылкам, но, спрятав записку в портфель, от души налег на бутерброды.

Орджоникидзе радовался, что замысел его, кажется, удастся. На молодых он смотрел так, точно знал уже, что Тевосян станет командармом всех прокатных станов, мартенов, домен — народным комиссаром, министром черной металлургии, заместителем председателя Совета Министров... Емельянов — главой Государственного комитета по использованию атомной энергии, крупным ученым... Завенягин — строителем города за Полярным кругом, Норильского горнометаллургического комбината, министром среднего машиностроения, заместителем председателя Совета Министров, дважды Героем Социалистического Труда... Конечно, никто ничего подобного еще не знал и не мог

знать. До этого было далеко — целая жизнь. Но это носилось в воздухе, этим была пропитана атмосфера кабинета. И в ней работалось вольготно, вдохновенно. Все говорили пристрастно, даже трепетно, ревнуя к делам — за дела. Каждый чувствовал, что сейчас с ним происходит что-то решающее, а возможно, и главное. Может, сама судьба твоя сливается, сплавляется с судьбой страны?

Сообща за несколько дней набросали примерный, в общих чертах перспективный план. В первую очередь строить... Кривой Рог, Урал, Керчь, Сибирь, Казахстан с его Карагандой, Грузия с чиатурским марганцем, Армения с ее медью. Затем дальний прицел. Сквозь него видеть будущее. Все нанесли на карту. Экономически обосновали. Дали в ЦК. Там одобрили: действуй, Серго, согласно выработанной программе...

С тех пор крупнейшие ученые стали первыми его друзьями и советчиками. Поднимали уважение к себе, к человеку, к человечеству! Он улыбался, когда они приходили к нему. Да, черт подери, мир создан для хороших людей — плохие лишь подтверждают это. Дураки те, кто жадничает, суетится, толкает друг друга в погоне за символами и гребет, гребет к себе — под себя, как куры. Умные пекутся о благе всего человечества. Только в этом истинное наслаждение и счастье.

Перед заключительным заседанием Серго зашел в кабинет Сталина, чтобы обговорить детали его выступления. Смутная, подспудная тоска угнетала и томила всякий раз, когда входил сюда. В памяти всплыло древнее, слышанное еще на Кавказе от дяди Дато: «Если ты слишком дружен с вождем, знай: в один прекрасный день он убьет тебя».

— Гамарджоба, Сосо.

— Гагимарджос, дорогой.

...Не заискивать. Не терять лицо. Кого назовешь князем, тот примет тебя за холопа.

Давно и крепко связаны они друг с другом. Сначала Серго знал Кобу по листовкам, по газете, которую тот выпускал с Ладо Кецховели. Познакомились в девятьсот шестом. Потом общая камера бакинской тюрьмы. После Пражской конференции работали вместе в подполье как члены ЦК. Вместе приехали из Москвы в Питер перед тем, последним арестом Серго и Шлиссельбургом. Снова вместе в семнадцатом — и в июльские дни, и во время поездок Серго в Разлив связным от ЦК, и на Шестом съезде, выступая против явки Ленина на суд, и в Октябре. Вместе и на южном фронте против Деникина. После гражданской восстанавливали Советы и партийные комитеты в Закавказье. После смерти Ильича дрались против Зиновьева, Каменева, Троцкого — прежде всего за индустриализацию. Не первый день дружны домами, особенно Зина с Надей — Надеждой Сергеевой Алилуевой.

Стараясь собраться, Серго хотел, но не мог избавиться от желания заступиться за товарища, несправедливо, по его разумению, обиженного Сталиным. Прекрасно знал, к чему приводят подобные заступничества, но не смог промолчать:

— Зря так жестоко прогнал Кржижановского из Госплана.

— Ты же первый его критиковал! И поделом.

— Поделом, но... Пригласил бы старика, обласкал теплым словом. Ведь еще Ильич его на Госплан поставил.

— И сожалел! — подхватил Сталин с характерным жестом указательного пальца справа вниз налево, точно кол вбил. — Кто ел перец, у того и рот горит. Слишком мягкотел для такой должности. Слишком доверчив. Каждому готов раскрыть объятия и душу. Думает, все его друзья-приятели, когда вокруг волки. Это не я — это Ленин ему говорил. Советовал завести злую собаку, чтобы охраняла

от прохвостов. Собрал около себя рамзиных! Целовать за это? Не инкубатор я, чтобы обогревать. Пусть спасибо скажет, что теперь в Академии... И вообще... дороговато платим за либерализм Старика...

— Пожалуйста! — Серго вспыхнул, порывисто встал со стула, словно метнулся в сторону. — Не говори при мне так о нем.

Сталин осекся. Оба молчали, думая об одном и том же. И чувствовали и знали, что думали об одном и том же — о письме Ленина к съезду, названном потом завещанием, где Ильич называл Сталина выдающимся вождем ЦК, но предупреждал, что, сделавшись Генеральным секретарем, он «сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью... Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно — более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д.».

— Не любишь ты людей, Сосо, — произнес Орджоникидзе, чтобы погасить возникшее отчуждение.

— Суворов сказал: вперед — мое любимое правило. А идущий впереди — мост для идущего следом. Приходится держать себя сообразно. Наши предки спали много веков — теперь мы вынуждены, мы должны, мы обязаны бодрствовать.

— Потому бей невинного, чтоб виноватый восчувствовал.

— Не совсем так, а вернее, совсем не так. Скорее жалеть волков — жертвовать овцами. Маркс учит нас, что если характер человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать обстоятельства человеческими. А пока мы этого не сделали... Желание победить — и стимул и резерв победы. Ни на миг не уклоняйся от цели. Советую. Между прочим, это продлевает жизнь. Очень верное средство, хотя пользоваться им нелегко.

Не знает он жалости. Немало врагов у него, даже в родной Грузии, и тем более в Грузии, — одни боготворят его, от других слышал: «Он и собачий язык знает, и дорогу в ад». Идейная жизнь — самая интересная и самая противоречивая. Он говорит о себе: «Я лишь скромный ученик Ленина». Но не мешало бы поуважительнее относиться к учителю. Бесспорно, он самая выдающаяся после Ильича личность, порожденная переменчивым и жестоким веком... Человек-энергия, словно создан в олицетворение слов Шопы: «Если действовать не будешь, ни к чему ума палата». Весь ум в действии, в деле. Несокрушимая сила воли. Резкий, жестокий. Беспощаден в беседе и тем более в споре, одарен чувством юмора, сарказм его бывает убийствен. Точно воспринимает твои мысли, четко, предельно просто выражает собственные. В критические моменты, а также в моменты торжества одинаково сдержан и никогда не поддается иллюзиям.

— Бить кувалдой, — заметил Серго, — можно заставить человека при помощи силы, но думать силой заставить нельзя.

— Слушай, кацо, ты газеты читаешь? Про Гитлера слышал? Если Гитлер придет к власти — война. Гитлер — это война. Понимаешь?

— И все-таки! — Серго стоял на своем. — С ласковым словом горного оленя подоить можно.

— Подумай, какой гуманист! Слушай, ты в ссылке был, должен знать, что такое побег с коровой.

— Конечно: двое уславливаются бежать, подговаривают третьего — корову, которого по дороге съедят.

— Это действительность той страны, где мы родились, выросли, живем, которую любим и хотим сделать процветающей. Той страны,

за которую готовы отдать и отдадим себя целиком, без остатка, только бы освободить ее от подобной «самобытности». Любой ценой! Любыми средствами, методами, включая и варварские!

— Вряд ли варварскими привлечем интеллигенцию, Сосо. А между тем инженеров для работы в конструкторских бюро у нас мало, их слишком мало, их надо беречь, по-товарищески подойти к ним. Конечно, вредителям место в ГПУ, но к инженерам, которые честно работают с нами, должно быть самое внимательное отношение. И без того им приходится работать в атмосфере, отравленной рамзинными, чарновскими и другой сволочью. Кстати, о том же Рамзине. Завершает дело всей жизни, часто к нему ездю. Надеется, что прямоочный котел высокого давления даст небывалый съем пара. Я верю в успех. Ты понимаешь, Сосо, что это значит, если мы начнем строить и устанавливать на своих станциях котлы такой экономичности, такой мощности, какие и не сняты еще никому в мире?!

— Ты говоришь так, будто не я и не ради того котла вытащил Рамзина. Будто любезный тебе Рамзин с суда, который приговорил его к расстрелу, пошел сидеть, а не работать над своим — верю в это — выдающимся изобретением...

— Прекрасно! И это должно стать принципом.

— Ну, насчет принципов погоди. ГПУ не успевает...

— Нельзя сажать Пушкиных, Ломоносовых, Ньютонов, даже если они по своей социальной малограмотности выступают против нас. Ты знаешь, что мне на днях Туполев ответил, когда я приехал к нему в ЦАГИ? Спрашиваю: «Что вы делаете, Туполев?» «Выигрываю войну, да вот никак не могу — шасси нового бомбардировщика подводит...» Даже Наполеон понимал! Знаешь, как он относился к ученым?

— Про Наполеона я все знаю. И про будущего Наполеона тоже. А ты вот никак не хочешь о нем подумать.

— Нет иных признаков превосходства, кроме доброты!

— Возможно... Только не слишком ли мы добренькие? Трещим: контрреволюция, антисоветизм, антибольшевизм. Что это? Где это? Милюков, Керенский в эмиграции?.. Муссолини? Гитлер? Да, Милюков и Керенский. Да, Муссолини и Гитлер. Но не только, а может, и не столько они. Антикоммунизм — в каждом наркомате, в каждом Совете, в нас самих.

— Так мы далеко зайдём!..

— Барство, чванство бюрократов всех рангов. Наши сановники губят наши благие начинания на корню путем чисто чиновничьего убийства живого дела, как говаривал Старик... Я тебе как товарищу говорю: объявляю им войну не на жизнь, а на смерть, до полного истребления — или я, или они. Можем ли мы либеральничать, когда в стране беспорядок, неорганизованность, недисциплинированность? Когда, я бы сказал, повальная эпидемия преступного несоответствия слова и дела — несоответствия, которое компрометирует нас? Равнодушие! Бюрократизм, хаос, ляпанье, которые Старик считал злейшими нашими врагами! Коррупция — уголовно наказуемое злоупотребление служебным положением. Семейственность и протекционизм, которые народ не прощает, которыми тычет нам в нос: «Блат выше Совнаркома»!.. Можем ли мы допускать все это вообще и тем более зная, что до войны остаются считанные годы? Есть ли у нас время разбираться, какой удар необходимый, а какой лишний? Можем ли мы позволять себе роскошь разбирательства, какой горшок поделом, а какой зря кокнули?

— Горшки-то уж больно хороши... Каждый удар — сломанные судьбы и погубленные ценности. Храм Христа Спасителя сносим, а зачем? Одни век за веком строят, а другие с маху!.. Этак мы до коммунизма никогда не достроимся. Хорошо, что Исаакиевский со-

бор не успели, но, боюсь, и до него дойдет. Или давайте Кремль расколошматим?

— Не стоит. А вот орлов на башнях изволь заменить... Подумай, какой набожный! Храмы господни ему подавай!

— Разве в боге дело? Я, как ты знаешь, безбожник с мальчишеских пор, но...

— Построим дворец — с колоннами, до неба, с монументом Ильича.

— Разве нельзя в другом месте?

— Хватит! Так надо.

— Зачем?!

— Надо — и все. Что у тебя еще?

Но Серго не унимался:

— Рамзин вел политику омертвления капиталов, но куда ему!

Никто, ни один враг не способен причинить нам столько вреда, сколько мы сами себе причиняем!

— Тут, пожалуй, ты прав... Но людей, у которых хватательный инстинкт преобладает над остальными, можно излечивать, только снимая с них головы.

— И все-таки!.. Снятая голова — пропавшая голова. Не только для того, кто ее потерял. Американцы шутят: оптимисты изобретают самолет, а пессимисты — парашют.

— Сейчас оптимистам и пессимистам надо делать одно — главное. Наше время — особое из особых.

— Этим все можно оправдать, включая и то, что никогда оправдано не будет... Я пришел обговорить твое предстоящее выступление, Сосо, уточнить...

— Уже уточнил. Иди. Я тебе отвечу там.

Дом Московского совета профессиональных союзов. Первая Все-союзная конференция работников социалистической промышленности. В зале знаменитые мастера, получившие от Серго персональные приглашения, директора заводов, главные инженеры, секретари парткомов, крупнейшие конструкторы, академики. Серго председательствует шестой день подряд.

Возникает некое движение: Сталин приехал!

Все, кто в президиуме, вскочили с мест, окружили так, что из партера стал не виден... Властно раздвигает окруживших, решительно шагает к трибуне. Достает из кармана аккуратно сложенные листки. Запускает большой палец за борт френча, опираясь другой рукой о край трибуны. Пристально осматривает хоры, боковые ложи. Наконец поднимает правую руку:

— Товарищи!

Шум вспыхивает снова. Задние тянутся к трибуне, выглядывают из-за спин.

Сталин смотрит на Серго, точно требует: уйми же их. Еле заметно улыбается в усы. Орджоникидзе трогает колокольчик. Сталин говорит. С легким акцентом. Дикция четкая.

— В истории государств, в истории стран, в истории армий бывали случаи, когда имелись все возможности для успеха, для победы, но они, эти возможности, оставались втуне, так как руководители не замечали этих возможностей, не умели воспользоваться ими, и армии терпели поражение.— Он говорит негромко. Движения скупы, в ударных местах поднимает правую руку и с плеча кидает ее, заостренную указательным пальцем, точно врубает в тебя свою мысль.— Как могло случиться, что мы, большевики, проделавшие три революции, вышедшие с победой из жестокой гражданской войны, разрешившие крупнейшую задачу создания промышленности, повернувшие крестьянство на путь социализма,— как могло случиться, что в деле

руководства производством мы пасуем перед бумажкой?.. Как могло случиться, что вредительство приняло такие широкие размеры? Кто виноват в этом? Мы в этом виноваты...— В упор, жестко смотрит на Серго.

«Логика топора» — припомнилось чье-то сравнение. Серго почти осязаемо представил топор. Политика — дело беспощадно кровавое, да-да, конечно же, слово — это дело. И верно, у каждой эпохи, у каждого дня, мига свое главное слово. Быть может, главные слова мига, дня, эпохи, произносятся сейчас, в этом зале?

Сталин словно исчерпал первый горизонт мыслей, спокойно, нежадно отпил боржом, выровнял дыхание, заговорил вновь:

— Иногда спрашивают, нельзя ли несколько замедлить темпы, придержать движение. Нет, нельзя, товарищи! — повысил голос так, что даже тембр огрубел.— Нельзя снижать темпы! Наоборот, по мере сил и возможностей их надо увеличивать... Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно. Помните слова дореволюционного поэта: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь». Эти слова старого поэта хорошо заучили эти господа. Они били и приговаривали: «ты обильная» — стало быть, можно за твой счет поживиться. Они били и приговаривали: «ты убогая, бессильная» — стало быть, можно бить и грабить тебя безнаказанно. Таков уж закон эксплуататоров — бить отсталых и слабых. Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты слаб — значит, ты не прав, стало быть, тебя можно бить и поработать. Ты могуч — значит, ты прав, стало быть, тебя надо остерегаться.— Сталин еще суrowее глянул на Серго, точно укорял за недавний спор.

«Может быть, действительно излишняя жестокость — вовсе не излишняя? Некогда разбираться, как и чем тушить пожар, когда дом уже горит,— туши чем попало, лишь бы затушить. Поистине у великих людей великие радости и великая скорбь. Но ведь и я хочу того же, чего и Сталин. Мало хочу? Слабо?.. Историческая необходимость заставляет нас действовать и дает нам силы. Сама же не подвластна нам, никому. Прав Сосо, в чем-то прав. История не делает ничего, ничем не обладает, ни за что не борется — мы делаем, обладаем, боремся. Своими нетерпением, нетерпимостью мы убыстряем ход истории. Прогресс науки подчиняет нам мир, самое историю отнюдь не затем, чтобы мы сладко жрали, крепко спали, обильно удобряли землю. Нет. О нет! История ежеминутно испытывает нас, проясняет, кто мы и зачем. Без моей помощи и участия ей, истории, не обойтись. В том-то, верно, и суть, и прелесть, и величие исторической роли каждого! Но... В чем-то и не прав Сосо, глубоко не прав. Несмотря ни на какие превратности судеб и зигзаги истории, путеводными для меня будут доброта, мудрость, любовь. До конца останусь им верен. Убежден, они прежде всего перейдут к потомкам лучшей частью нашего наследства, будут и пребудут бережно хранимы как память о нас — в память о нас».

А Сталин уже заканчивал:

— В прошлом у нас не было и не могло быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас рабочая,— у нас есть отечество и мы будем отстаивать его независимость.

Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество было побито и чтобы оно потеряло свою независимость? Но если этого не хотите,

вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоящие большевистские темпы в деле строительства его социалистического хозяйства. Других путей нет. Вот почему Ленин говорил во время Октября: «Либо смерть, либо догнать и перегнать передовые капиталистические страны». Мы отстали от передовых стран на пятьдесят — сто лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.

«Нет ничего прекраснее фрегата под парусами, танцующей женщины и скачущей лошади». Да извинят его древние, так полагавшие. Да простят ему фрегаты, женщины и лошади. Для него прекраснее — трактор, сходящий с конвейера...

В Сталинград поезд пришел под вечер. И тут же вагон председателя ВСНХ — на заводские пути, а сам председатель — в цехи. Все же успел, правда мельком, увидеть город, памятный по восемнадцатому. Та же привокзальная площадь, те же улицы, облезлые дома, разбитые мостовые. Тащится линияль, битком набитый трамвай. Милиционер регулирует движение: один грузовик, две подводы, две тележки-«рикши». Прохожие, отплевываясь от пыли, спешат занять очередь в хвосте к лабазу под вывеской «Кооператив». Но солнце грело по-весеннему, на совесть. В его лучах по ходу поезда открывалась иная картина: новый город как бы бросал вызов старому. Медно полыхая в лучах солнца широкими окнами, здание главной конторы представилось сказочно стеклянным, фантастически красивым. Завод возникал как нечто неправдоподобное, прекрасное, разумное.

Серго обходил завод с директором, главным инженером, парткомовцами, с Семушкиным, специалистами ВСНХ и любовался, как хорошо вписывались корпуса в высокий правый берег на виду всей Волги. Громады из бетона, стали и стекла будто бы кто опустил прямо с неба на эту пока еще неродную для них почву. Да, пока неродную. Загаженная мусором и прошлогодним бурьяном земля — на этой земле загубленный металл: искореженные рамы, расколотые маховики и блоки цилиндров. В лучах долгого — двадцать четвертый день апреля — заката, словно досаждая Волге с белым пароходом, литейный цех ослепительно черен от кровли до цоколя, глух и слеп от сажи. Так изображают ад современной индустрии.

В литейном зале все дрожит и трясется, даже снопы света от потолочных прожекторов пропитаны пляшущими пылинками. Закопченный и обгорелый ковш остановлен против желоба вагранки — огненная струя грозно грохочет в ковш.

Ладонью Серго заслонил лицо от нестерпимого жара, поднялся по витой лестнице.

С колошниковой площадки хорошо видно, как кран несет наполненный ковш, как неотвратимо ленты шести конвейеров везут набитые формовочной землей стальные ящики — опоки.

Загрузочный кран скребет над головой. Формовочные машины грохочут так, что в трех шагах с трудом разбираешь слова сопровождающих. Грозь мгновенной смертью, шипит чугун. Душно, пыльно и неистребим запах горелой земли, пропитанной машинным маслом. Прежде среди товарищей немало было тех, кто и в тюрьмах и в подполье справедливо гордился: «Мне что? Я литейщик — все вынесу». И Серго особо уважал людей этой профессии.

Походил, присмотрелся. Стоп! Не все, далеко не все так разумно и прекрасно, как показалось на первый взгляд. Остановился в проеме камеры для выбивания отливок из форм. Рабочий в защитной маске скосился на Серго, должно быть, недружелюбно: сколько, мол, вас тут шляется. Снял рукавицу, черной ладонью отер черный лоб, оставив мокрые полосы, да так саданул кувалдой по блоку цилиндров что тот развалился, испустив дух черными клубами дыма.

— Ломать не строить! — глянул на Серго с явным осуждением, словно тот был виноват, что кропотливый труд целого цеха, целой армады машин и рабочих — насмарку.

Серго осмотрел курганы горелой земли. Их разбивали кирками и ломами, разгребали лопатами, увозили тачками.

— Что за люди? — спросил Серго у директора.

— Субботник... — уклонился тот от прямого ответа.

— А если бы я не приехал?.. Что за люди? Откуда?.. Скажи!

— Технический отдел. По зову партийной организации.

— «По зову»... — Серго с трудом сдержал ярость. — Инженеры... А скажи, дорогой, что значит слово «инженер»? — Обратился к техотделцам, орудовавшим метлами: — И вы не знаете?

Люди смущенно рассматривали легендарного большевика. Серго видел, что они хотели поговорить, но робели.

— Не знаете... «Инженер» — французское слово, от латинского «ингениум» — способность, изобретательность. Выходит, способный, изобретательный. Сколько еще продлится субботник?.. Стало быть, придете домой в три часа ночи или позже. В четыре ляжете, а в семь вставать... Товарищ Грачев, ты считаешь, это достаточный отдых для того, чтобы инженер выполнял прямые обязанности — посвятил способности, изобретательность, гениальность тому, чтобы грязь выгребалась не раз в неделю, а регулярно и необязательно людьми с высшим образованием, чтобы конвейеры загружать полностью, чтобы не разбивать бракованные отливки с помощью кувалды, а чтобы вообще брака не было — и навсегда изгнать кувалду? А? Как ты считаешь?

Весь следующий день Серго ходил по заводу — и всюду беспорядок и грязь, грязь и беспорядок. Вдоль главного конвейера бежал, виртуозно матерясь, мастер в засаленном комбинезоне. Возле колонны с пусковой кнопкой и таблицей учета выпущенных тракторов его поджидал молодец, обтянутый коротковатой кожанкой, как выяснилось потом, корреспондент многотиражки. Задыхаясь и захлебываясь бранью, мастер остановил конвейер.

— Тракторы готовые ждут, а конвейер стоит, — корреспондент обернулся к Серго за поддержкой, — вот я и пустил...

— Вон отсюда! — сорвался Серго и, не успев пожалеть о том, что позволил себе сорваться, спросил мастера: — Часто у вас так?

— Да, почитай, каждый день. Умельцев бы нам хоть по штуке на сотню энтузиастов! — Объяснил рассудительно: — Здесь, на выходе, за сушильной камерой всего пять готовых машин, а перед красильной затор, сборщики зашились — я и остановил конвейер. А этот!.. У людей дураки загляденье каки, а наши дураки вона каки: дом жгут и огню рады. Конвейер пошел, ребята мои растерялись, один даже в красильную въехал на тракторе. В Америке бы за такое художество!.. От черта крестом, от медведя пестом, от дурака ничем.

— В Америке по командировке был?.. — Серго улыбнулся. — У Форда в Детройте такая же грязь?

— Скажете! Работу не начнут, если в цехах не как в горнице у жинки.

— Скажи, дорогой, ты сегодня сотню тракторов мог бы собрать?

— Было бы из чего! Думаете, интересно мне прохладиться из-за неравномерной подачи деталей? Поденщик я, что ли? Беда не в одной грязи, товарищ Серго. Каждый тут сам по себе, это при конвейерном-то производстве! Никто ничего не умеет, говорят? — покопился на директора. — Да мы, тульские, блоху подковали. Дайте только порядок и ритм...

— Дальше один пойду, — объявил Орджоникидзе, когда мастер поспешил на свое место. — Хочу с рабочими потолковать, может, больше скажут, чем вы. — Подал знак неотлучному Семушкину, чтоб и тот не сопровождал.

— Позвольте остановить завод на десять дней! — взмолился директор. — Наведем порядок, отладим...

Серго сочувственно, даже с состраданием оглядел директора. И директор понимал, что нельзя останавливать завод ради наведения порядка. Но устал и вымотался так, что не только сердце — кости болели. Забыл, когда ел-пил не на бегу, когда спал по-человечески, в досталь. Забыл, когда последний раз обнимал жену, виделся с детьми: он уходил из дому — они еще спали, возвращался — уже спали. Постоянно угнетал его страх смерти (он и в самом деле умрет вскоре, не вынеся своего митарства). И Серго видел все это — угадывал по его землистому лицу, понимал по ввалившимся глазам сдавшегося человека, чувствовал все это, но спросил:

— Знаешь, какое кино Ленин смотрел в последний день жизни?

— Откуда ж мне знать? Чарли Чаплина, может? Веру Холодную?

— О производстве тракторов.

Через одиннадцать — всего через одиннадцать! — лет здесь разразится битва, что определит ход истории во второй половине века. Ни директор, ни Серго до тех пор не доживут. Но завод до тех пор даст тысячи тракторов и танков, которые предрешат победу. Вот здесь, на этом самом месте, эта самая земля взорвется дымом и пламенем. Резервуары нефтехранилища вздыбятся огненными смерчами до неба, скроют солнце, обрушатся с берега лавами огня, едкого, горького чада. Реки полыхающей нефти, бензина, гудрона впадут в Волгу, воспалят ее, спалют пристани, пароходы на рейде. Вокруг засмердит плавящийся асфальт. Подобно спичкам вспыхнут столбы с проводами. Гром, грохот, визг бомб, снарядов, мин. Гул разрывов. Скрежет рушащегося железобетона. Проклятия гибнущих. Летчики, возвращаясь отсюда на полевые аэродромы за Волгой, не смогут взять в рот ни кусочка. Рабочие тракторного, отражая непрерывные атаки на завод, не уйдут из цехов — восстаноят тысячу триста подбитых танков. В критический момент, когда будет решено взорвать завод и заложат взрывчатку, комиссар фронта, недавний секретарь обкома, доложит об этом по прямому проводу в Москву. Сталин спросит: «Рабочие будут защищать взорванный завод?» «Нет, товарищ Сталин». «Не взрывайте». И рабочие выстоят до конца, потому что будет на родной земле СТЗ — пусть кусочек его цеха, пусть оплавленная капелька станка. Камня на камне не останется от этих стен, от этого конвейера, от Сталинграда, но дело свое они сделают. Возрожденный из пепла войны завод станет давать тракторы лучше, мощнее, краше прежних — тракторы мира.

Ничего этого не мог знать Серго, но все это он предчувствовал. И директор предчувствовал. Но ему так хотелось жить.

— Невозможно, немисливо сделать то, что вы требуете.

Серго так жалел его, так хотел видеть не умирающим, а счастливым. Будь здоров, дорогой! Живи за сто лет! Но ответил:

— Нет у меня десяти дней. — И пошел вдоль конвейера, оставив свиту возле ворот, из которых выходили готовые тракторы.

В столовой кузнечного цеха Серго подсел к обедавшим рабочим:

— Как кормят?

Крайний молча протянул обшарпанную деревянную ложку.

Зина строго-настроено запретила есть вне дома. Да и сам не хуже Зи́ны знал: с его почками, вернее, с оставшейся после операции почкой любой случайный обед может стать роковым. Взял ложку и стал есть из одной тарелки с соседом, чинно, в очередь опуская ложку со своего края.

Чтобы у народа была еда, нужны тракторы, а чтобы тракторы были, нужна еда... Что сказать в ответ на эти взгляды? Ничего, мол, ребята, подтяните пояса, наобещать — скоро будет лучше, и спокойно уехать?.. Виновато развел руками:

— Будет еще труднее.

— Спасибо за правду. А то набегут наши тутошние и айда сулить полный коммунизм через три дня: дома с хрустальными стенами, а киоска путного не поставили, чтобы воды попить. Плетут про пищевой комбинат, а и фабрику-кухню никак не пустят. Про комнаты отдельные для каждого — а в бараках!.. Да вы не расстраивайтесь. Теперь ничего стало, тепло, а бывало... Крыша течет. Утром встанешь — на полу по щиколотку. Пока до выхода тпаешь — мокрый, как котенок, и зубы стучат. Печка топится, да разве белый свет обогреешь? Одеваю одно на всю бригаду, по очереди укрывались. Говорят, ничем тараканов не вывести. Брешут! Наши сами разбежались. Да вы не расстраивайтесь. И вообще... На пустыре город подняли, настоящий, с кирпичными домами. Кто поднял? Мы. Раньше я ничего не умел, а теперь и за плотника, и за бетонщика, и в кузнице вот... Эхма, уж хоть бы ложки были!..

— Вот насчет ложек обещаю,— невесело усмехнулся Серго.

Вечером на собрании работников завода он сказал:

— Колоссальный завод, махина. Но не мы им владеем, а он нами. Мы барахтаемся беспомощно. При тех машинах, которые имеются у вас, требуется дисциплина такая же, как от красноармейца, который стоит на посту и ответствен за порученное ему дело. Отвернулся — и уже нарушил дисциплину. А у вас не только отворачиваются, а еще и почешутся, а потом и папиросу закурят.

Но я не хочу этим сказать, что люди на заводе не годятся, что рабочие здесь плохие. Вчера ночью я стоял около двух часов у конвейера и видел рабочего, который прямо-таки горящими глазами впился в трактор, сходявший с конвейера, и с величайшим наслаждением следил за ним. Это можно было сравнить с картиной, как отец ожидает своего первенца. Жена рождает, а он в тревоге, и радуется, и отчасти боится. Вот с таким же видом рабочий стоит, смотрит на конвейер и ожидает, когда сойдет с него трактор.

...Люди, которые днем кончили работу, вышли на субботник и убрали литейную, говорят, до трех часов ночи. В какой еще стране вы найдете, чтобы люди, которые только что кончили работу и утром должны выйти на смену,— чтобы они работали еще ночью!..

Может быть, кто-нибудь скажет, что среди одиннадцати тысяч все рабочие — энтузиасты?.. Конечно, много прощелыг, лодырей. Но если взять коллектив в целом, так это золото. Они отдают все свои силы, хотя и жалуются, что продовольствие плохое, и спрашивают, будут ли здесь кормить и снабжать рабочих так же, как в Ленинграде и Москве. Я об этом знаю прекрасно, товарищи...

То, что я вижу у вас, это не темпы, а суета. Вы не знаете, что вам нужно делать, хватаетесь то за одно, то за другое, то за третье, барахтаетесь, как обезглавленная курица...

Такой безалаберщины я в своей жизни не видел ни в одном кабаке.

Вашему покорному слуге через каждые десять дней приходится держать ответ за ваш завод перед нашим Политбюро. Политбюро каждую декаду ставит в повестку дня вопрос о работе Сталинградского тракторного завода...

Техника — это большое дело, мы не можем ее сразу осилить. Но большие ли знания нужны, чтобы следить за чистотой? Я вчера говорил товарищу Грачеву: пожалуйста, эти субботники не повторяй, потому что вымотаешь силы...

Что же делать? Конечно, приехавшие с тобой специалисты уже разрабатывают меры технической помощи — и меры эти будут приняты. Но в них ли главное звено? И потом, вправе ли ты советовать, поучать? Стоит ли твоя голова хотя бы затрат на вон тот роскошный вагон? Расстроенный и усталый до изнеможения, затемно шагал он по заводским путям к своему вагону.

Зина встретила его на путях, видно, долго ждала на таком свежем ветру из непрогретых еще степей Заволжья. Обняла заолодавшими руками.

— Бедолага ты мой!

— Есть хочется как из пушки! — И, войдя в вагон, не помыл по обыкновению руки, а рухнул на диван. — Ноги отваливаются.

— Сейчас, родной, сейчас. Помогу. Вот так... Поужинаешь. Чай у меня — чудо, заварю... Ну-ка давай сапоги снимем...

После семейного ужина, когда Зина улеглась и затихла в спальном купе, Серго тоже прилег, но никак не мог уснуть. С наслаждением вытянувшись, отдыхая, поглядывал то на плотно занавешенное окно, то на уютный свет голубоватого ночника в потолке, то на стопку журналов «Новый мир» — с первого по седьмой номер за прошлый год — с недочитанным продолжением романа Алексея Толстого о Петре. Нет, никак не спалось. Вновь думал, думал, не остынув от возбуждения прожитого дня. «Хорошую речь вы произнесли, товарищ Орджоникидзе, но... Кроме рекомендаций подметать и призывов подтянуться, что еще в ней? Не густо. Варварскими методами изволите искоренять варварство. Со временем, возможно, будут научные методы управления, а пока... Пиковая нагрузка на мне и требует безусловной надежности, энтузиазма: сдохни, но сделай. Но позволь. Ерундовина — болтовня о том, будто Ильич рассчитывал строить социализм на энтузиазме. Не на, а при помощи — есть разница».

Осторожно встал, подобрал сползавшее с постели жены верблюжье одеяло в безупречном, как всегда, пододеяльнике-конверте, невольно коснулся ее теплого полного плеча. Не одеваясь вышел в коридор.

Наверняка Зина слышала, как он выходил, но притворилась, что спит: привыкла к его ночным бдениям, участвовавшим с годами, считает, грешно мешать, как бы он ни нуждался в отдыхе, размышления для него целительны, и нет большей радости, чем обуздать стоящую мысль. А ведь стоящие приходят к нему, как, впрочем, к большинству людей, во время бессонницы. И еще: ученые говорят, будто при страшнейших бедствиях и потрясениях исчезают многие болезни. Во время голода и гражданской войны не было язвы кишечника, заболеваний сосудов. Врачи, которые не щадили себя в борьбе с чумой и холерой, заражались очень редко. Верно, страстная работа на благо других поднимает устойчивость организма?

Бесшумно задвинул дверь и, мягко ступая по коридорному полочку, пробрался в столовую. В просторном, освещенном заводскими сполохами салоне окна не были зашторены. Без труда просматривались редкие мутные звезды на весеннем небе, фонари цехов, сигнальные — зеленые, красные — огни бакенов и буксиров на Волге. Опершись на трубку полевого телефона, включил настольную лампу, соединенную с городской электрической сетью, достал из выдвинутого ящика блокнот-бланк, с которым ходил по заводу...

И все же главное звено не только, а может, и не столько в технологии или организации — весь уровень жизни в стране предопределяет ход сталинградского конвейера...

В первом году пятилетки у нас на сто жителей было сорок три неграмотных, в Соединенных Штатах и Франции — шесть, в Германии — ноль целых, четыре десятых...

Встал. Прошелся. Остановился возле окна. Красиво: ночной заводице на берегу великой реки. Потушил лампу, чтобы лучше видеть. Волга... Родная река Ильича. Как тогда, в Париже, тосковал по ней! Не верится, чтобы он мог унизиться до варварских методов искоренения варварства. Погоди... Кинулся к столу. Включил свет. Formбрал книги. Снова... Есть же формула, математически точная формула Ильича!.. Ага! Вот она: «Черпать обеими руками хорошее из-за границы: Советская власть + прусский порядок железных до-

рог+американская техника и организация трестов+американское народное образование etc. etc.++=Σ=социализм». Как здорово! Как верно! Уф! Вот откуда «русский революционный размах и американская деловитость...». Не зря Пушкин говорил, что следовать за мыслями великого человека — наука самая занимательная.

В который раз взглянул на завод. «Хорошо, что остановился не в гостинице. Здесь лучше видишь — лучше думаешь, лучше чувствуешь. Правильно сказал я им там, заводским: золото они. Живут в бараках, на обед вода с сеном... За ничтожный срок подняли такой завод...»

Подсел к столу, в голове выстроилось: «Невозможное могут только люди: 100 лет=10 лет. 1 голова=1000 рук. Гл. инженер — гл. звено. Обогреть. Амнистировать. Снять судимость. Дисциплина+порядочность+инициатива+размах+деловитость+человеческий пот+человеческий труд+энтузиазм+доверие=100 лет за 10 лет!»

Ну вот, и я свою формулу вывел на основе ленинской. Истина рождается как ересь, а умирает как предрассудок. Кто это сказал? Кажется, Гёте? Не хвастайся, а скажи-ка лучше, с чего начинать. Ну хотя бы, скажем, вот с этого... Почему главный инженер ходит по заводу в сопровождении тени из ГПУ? Позор! Никакого позора: прекрасно знаешь, что он бывший вредитель авиационной и автомобильной промышленности, осужденный, ему и голову на плечах сохранили, как Рамзину, потому что золотая, мировой величины голова. Суть тут не в моральной, не в нравственной стороне: хороший он или плохой человек, этот главный инженер. Нет. Тут принцип — чистой воды политика, прямо затрагивающая экономику. Доверие к таким людям с нашей стороны — наш плюс. Это раз. Другое: как рабочие могут работать, и не только рабочие, если на глазах у них главный инженер ходит под конвоем? Известно, что, перед тем как спустить на воду корабль, Петр заставлял надевать погребальный балахон на инженера, который строил этот корабль. Если испытание проходило успешно, царь снимал смертный балахон и жаловал сто целковых серебром. Если же, упаси бог, обнаруживались крен или течь, корабелю отрубали голову вместе с балахоном. Можно вообразить его состояние во время спуска! И с каким творческим вдохновением он строил корабль!..

А чем лучше положение главного инженера СТЗ? Но ведь за дело же! Да, поделом: не глотал бы мух — не вырвало бы. И все-таки! Не вся правда о Петре в предании о балахонах.

Тот же Петр, не любивший попов, сделал Феофана Прокоповича, блестящего оратора и публициста-церковника, помощником в проведении своих преобразований. Инородца, крещеного калмыка Михаила Сердюкова, изобретателя, механика-самоучку, поставил реконструировать Вышневолоцкий канал — и по каналу пошли корабли. Молодой сиделец из московских торговых рядов Шафиров, крещеный еврей, поразил царя знанием немецкого, французского, польского — стал бароном, сенатором, вице-канцлером на дипломатическом поприще...

Немедленно расконвоировать главного инженера! Сейчас же ко мне! Погоди, Серго, не горячись. Поздно. Спит после унижений и трудов. Неудобно будить. Спросонок решит, что опять арест...

Ну, допустим, он придет ко мне, этот титан мысли. Сядет на этот диван, за этот стол. Что я скажу? Спрошу, как живет. Он, конечно, ответит: «Горе свое, а веселье краденое... Свободомыслие дошло до того, что двух мнений быть не может». А я что? Скажу, что рад видеть крупного русского интеллигента, что крупнейшие русские интеллигенты, соль земли, в большинстве враждебно относившиеся к советской власти, когда Ленин позвал, пошли в Комиссию по электрификации. Электроплуг дали уже в двадцать первом, самом голодном. Дали ГОЭЛРО — прообраз, прародитель пятилетки.

До сих пор честно работают в Госплане. Выдающийся русский интеллигент Владимир Владимирович Маяковский стихами поддержал Кузнецкстрой, когда комиссия авторитетнейших специалистов предлагала Кузнецкстрой похоронить. Замечательный русский интеллигент Иван Петрович Павлов, академик, любит ходить в церковь, но рассуждает совсем не по Евангелию, а по-большевистски: «Какое главное условие достижения цели? Существование препятствий».

Расскажу, что Клим любит рассказывать. Когда он в восемнадцатом году с большим отрядом на нескольких эшелонах пробивался из Донбасса к Царицыну, белоказаки взорвали мост через Дон. Клим приказал строить деревянную опору взамен каменной. Инженеры говорили: «Невозможно, товарищ Ворошилов, не выдержит!» А Клим свое: «Материал подчиняется революции.» Первое чудо советской техники — мост на деревянной опоре в пятьдесят четыре метра высотой... Душа должна работать. Мобилизовать все резервы души! Стремиться к невозможному! Только такая жизнь достойна интеллигента — только такой образ жизни».

Светает, однако. Опять «однако!» — погасил свет, возвратился в купе. Зина спросила совсем не сонно:

— Надумал?

— До чего ж здорово — жить! — Упал на ее диван, потеснил, прижался к ней, обнял.

В начале тридцать второго на основе ВСНХ создан Народный комиссариат тяжелой промышленности. 5 января народным комиссаром назначен Орджоникидзе. Название и звание новые — обязанности прежние. В ведении наркома энергетика, черная металлургия, цветная металлургия, угольная промышленность, нефтяная, авиационная, автомобильная, тракторная, химическая, судостроительная, оборонная, станкостроение...

ПРИКАЗ ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ № 696

Днепросталь

10 октября 1932 г.

Героическими усилиями рабочих, инженерно-технического и хозяйственного персонала Днепростроя одержана величайшая победа на фронте социалистического строительства. Закончена строительством сегодня и вступает в число действующих предприятий Советского Союза Днепровская гидроэлектрическая станция в составе 5 турбин общей мощностью 310 тысяч киловатт.

П р и к а з ы в а ю:

Главэнерго включить Днепровскую гидроэлектрическую станцию имени В. И. Ленина в число действующих электростанций.

Народный комиссар тяжелой промышленности
С. ОРДЖОНИКИДЗЕ.

30 января 1933 года в Германии Гитлер захватил власть.

31-го на пленуме Донецкого обкома Серго говорил о позорном прорыве в черной металлургии:

— Что получается? Руководство недостаточное, сырья нет, механизации нет, Сталин виноват, вы виноваты, мы виноваты, а страна из-за нас, разгильдяев, страдать должна...

Вы прекрасно знаете, что я не принадлежу к числу тех людей, которые в трудных условиях готовы все свалить на другого, а самому уйти в кусты. Какой же я буду большевик, если так буду поступать!

Я по своей должности обязан был прочитать кое-какие книжки по металлургии. Там говорится о том, что работа печи зависит от

того, какие куски кокса в нее попадают. А у нас работают так: падает большой кусок — хорошо, падает маленький — тоже хорошо. Разве так за хозяйством ухаживают? Нет, так не выйдет. На глазок, по старинке работать — не выйдет. Это прямо надо сказать.

Беда у нас в том, что недостаточно мы втягиваем народ в нашу партийную работу, партийности мало у хозяйственников.

Я должен сказать с такой же резкостью насчет наших профсоюзных организаций. Так и не поймешь, что они на заводе делают, не в обиду будь сказано товарищам профсоюзникам, представителям нашего организованного пролетариата, о котором они любят говорить... Мы пятилетку кончили, строим социализм, построили крупнейшую промышленность, но этого нельзя говорить рабочему, который сидит в холодной казарме, — он вас ко всем чертям пошлет. Что, мы не можем достать несчастное количество антрацита, который можно подвезти, а не превращать нашего рабочего в воришку, не заставлять его жену мешками таскать уголь и кокс...

То же самое насчет питания и всего остального. Ведь те продукты, что имеются, если их приготовить вкусно, то можно их есть. В клубах у нас тепло или холодно? Чисто или грязно? Ведь то, что мне рассказывали, кажется анекдотом: рабочим мыла не давали потому, что в колдоговоре написано, что мыло должно быть зеленым. А его не дают ни зеленого, ни серого, и рабочие ходят грязные...

Большевики, которые умели по одному кличу нашей партии тысячи людей давать на фронт, люди, которые, не умея держать винтовку в руках, не говоря уж о пулеметах и пушках, могли идти на фронт сражаться и побеждать, — чтобы эти большевики не сумели победить и вытянуть черную металлургию на такую высоту, которую не видела не только наша страна, но и вся Европа?! Я этому не поверю!..

Наезжал из Германии Емельянов. Он рассказывал:

— Среду десятое мая хорошо я запомнил. Уже утром, когда пришел на завод, объявили, что фюрер обратится к народу. Всем предлагалось собраться у репродукторов и слушать вождя. Ровно в три часа раздался голос президента рейхстага Геринга: «Вы собраны здесь сегодня в серьезный час. Речь идет о вопросе будущего нашей нации». Гитлер сказал, что решения о границах своей нелогичностью и несправедливостью несут зародыши нового конфликта.

Ночью я увидел во всех окнах закрытого по мирному договору снарядного цеха яркие огни. Мастер объяснил: «Выполняем заказ на котлы высокого давления для Японии. Раньше мы на этом прессе прошивали шестидюймовые снаряды, но ведь технология одна и та же». «Да и сталь-то по составу близка к снарядной», — заметил я...

Наконец на заводе Круппа я увидел Гитлера. Сторож у ворот, украшенных флагами, поздоровался со мной, сказал, что Гитлер и Геринг только что проследовали через эти ворота, с важностью объявил: «Я их и открыл им. Сейчас они, вероятно, в прессовом».

Прессовый цех — гордость завода. Здесь установлен самый мощный в мире пресс, на котором достигается давление до пятнадцати тысяч тонн. Пролет цеха с кранами грузоподъемностью по триста тонн похож на храм в честь высшего божества, царящего здесь. Когда куют слитки весом свыше двухсот тонн, от них нельзя отвести глаз. Огромный слиток на выдвижном поду нагревательной печи выкатывается в ковочный пролет, приподнимается на цепях, вводится между колонн. Свисток мастера, плавное движение кисти руки — двухсоттонный стальной слиток расплзается, как крутое тесто.

Я, товарищ Серго, часто бываю там, знаю начальника цеха Гуммерта. Крупный специалист. Как дирижер симфонического оркестра, превосходно управляет уникальным оборудованием.

Понятно, прессовый цех всегда показывают именитым посетите-

лям. Когда я вошел, у самого пресса увидел большую группу людей. Гитлер стоял в центре, говорил и сильно жестикулировал. Зачем он приехал в Эссен? Наивный вопрос. Не затем, конечно же, чтобы любоваться ковкой. Спит и видит броню танков, крейсера, подводные лодки...

Конечно, все, что рассказывал Емельянов, он, Орджоникидзе, в общем, знал, но услышанное от очевидца как бы увиделось. Будто сам под тот пресс угодил. Курако, сокрушаясь, подсчитал, что в сражении на Марне французы и немцы выпалили друг в друга миллион двести тысяч тонн металла — за три дня треть годовой выплавки тогдашней России. А теперь? Сколько надо работать на такие три дня? Сможем ли?.. Грум-Гржимайло, один из создателей основ нашей металлургической науки, утверждает: история металлургии указывает, будто все изобретения в ее области делаются и применяются прежде всего в военном деле, будто война — лаборатория культуры, будто человеческая культура проходит дорогую и суровую школу милитаризма и только путем этой школы познает возможности, вложенные в металл. Досадно, что так. Но так ли? Таков ли мир, человек, человечество таково ли? Стоит ли их любить в таком случае?

Да, мы превратились из аграрной в индустриальную страну. Удельный вес промышленности повысили с пятидесяти до семидесяти процентов. Машиностроение выросло в четыре с половиной раза. Только за прошлый год дали двадцать три тысячи семьсот автомобилей, сорок восемь тысяч девятьсот тракторов. Все это вызывает восторг, который можно понять, но нельзя разделить. Надо ориентироваться на вершинные мировые достижения. Гитлер делает больше и, главное, лучше нас. Япония делает лучше. Их сталь, их машины лучше.

— Возвращайтесь в Эссен как можно скорее.

— Если б знали, как не хочется!

— Я не спрашиваю, хочется ли. Я говорю: надо.— Положил руку на плечо.— Мне кажется, что мы увлеклись мартеновским способом производства стали и совершенно забыли о конверторном. Я собирал металлургов — все они энтузиасты мартеновского способа, во всех учебных заведениях мы готовим специалистов по мартеновским печам. Конверторный способ расценивается как устаревший. Но англичане строят новый металлургический завод, где устанавливаются не мартеновские печи, а конверторы. Конверторная сталь много дешевле мартеновской, да и построить такие цехи можно быстрее и дешевле. Вот вы во всем этом разберитесь и напишите мне. Тевосян вам пошлет подробное задание. Я с ним уже об этом говорил. Посетите главных воротил немецкой металлургической промышленности — Круппа, Рохлинга. Поезжайте прежде всего к Рохлингу.

ПРИКАЗ ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 506

1 июня 1933 г., г. Москва

Сегодня вступает в строй действующих предприятий нашей социалистической промышленности новый, не имеющий себе равного гигант — **Челябинский тракторный завод...**

30 июня. В Германии завершилась ночь «длинных ножей»: после встречи с Круппом Гитлер уничтожил наиболее «левых» головорезов Рема и самого Рема, который пугал Круппа «революционностью» да еще требовал перемещения военной промышленности из Рура во внутреннюю Германию. Короли тяжелой индустрии объявили Рему войну и победили: теперь они могли спокойно продолжать создание военной машины рейхсвера.

**ПРИКАЗ ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ТЯЖЕЛОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

№ 654

15 июля 1933 г.

Сегодня вступает в строй действующих предприятий Советского Союза Уральский завод тяжелого машиностроения...

Металлургия и горная промышленность получают мощную базу для своего дальнейшего развития. Отныне значительную часть ранее ввозимого из-за границы металлургического оборудования будет делать наш советский Уралмашзавод...

Уралмашзавод готов — очередь за Краматорским заводом тяжелого машиностроения.

ДИРЕКТОРУ ЕНАКИЕВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА:

«Товарищу Пучкову. К сожалению, приехать не могу. Но мне передали о том, что на заводе проделана большая работа и завод выглядит очень хорошо.

С. ОРДЖОНИКИДЗЕ.

Постскриптум: А где хорошо, туда я не езжу. Продолжайте в том же духе».

23 июля. Серго приехал на Магнитку.

В свое время Грум-Гржимайло пророчил: уральские руды как бы специально созданы для предметов вооружения и обороны. На Урале мы возродим булат древних. Булат!..

В станки и тракторы, в рельсы и балки, в танки и миноносцы превращается камень горы Атач, она же Магнитная. Неправдоподобно громадную выработку в ней народ со временем назовет могилой Гитлера. Но до этого еще копать и копать.

Как обычно, едва лишь вагон наркома остановлен на заводских путях, Серго начинает обход цехов. По обыкновению, он появляется там, где его меньше всего ждут. Электрическую станцию осматривает не с парадного хода, возле которого выстроилось начальство, а от зольного помещения. Рядом с ним не только Семушкин, но и Точинский, и Завенягин, и другие крупные специалисты, приехавшие в том же вагоне. Не на парад, не на шумное торжество собрался нарком.

Он знал, что строительство Магнитки — непрерывный подвиг сотен тысяч людей. Знал, что на всем строительстве только четыре экскаватора. Знал, что немецкий инженер протестовал против монтажа котла электрической станции под открытым небом, а наши смонтировали, что американские инженеры требовали мощные подъемники для установки дробилки руды, а наши подняли без всяких кранов, простым, остроумным приспособлением двухсотшестидесятитонную дробилку на сорокаметровую высоту, что на монтаж коксохимического комбината иностранные фирмы запросили два года, а наши сделали меньше чем за год. В котлованах под «бычки» плотины землекопы проработали больше суток подряд, выполняли встречный план — не уйдем, пока не сделаем. А бригадир упустил лом в ледяную воду. Стальной инструмент тут, на Магнитке, пока что дороже золота. Что делать? Бригадир Нурзулла Шайхутдинов разделся, нырнул, отыскал лом и... продолжал работать.

Но когда после осмотра Магнитки собрались в вагоне подводить итоги, Серго был усталым и обескураженным. Радость от увиденного заставляла придирчивее оценивать достигнутое.

— Почему все у вас так плохо? Пуск четвертой домны под угрозой.

— Машиностроители обещают поставить оборудование лишь в конце четвертого квартала,— объяснял начальник строительства ком-

бината.— То же самое и со вторым мартеном. Не хватает одиннадцати тысяч рабочих.

— К кому в наркомате вы обращались?

— Мы обращались в проектные организации.

— А конкретнее? В какие?

— Конкретнее... Сейчас спросим...

— «Спросим»! — Серго вспыхнул.— Мямля! Народу нагнали как на строительство Вавилонской башни, а ему еще одиннадцать тысяч подай! Пришлем одиннадцать — еще двадцать потребует! Разве числом навоюешь? Да еще с такой организацией и дисциплиной? Соберите завтра слет ударников, рабочие подскажут, как быть.

Открывая слет, секретарь парткома спросил, кто выступит первым. Серго поднялся, спустился из президиума к рядам.

— Когда впервые был поставлен вопрос, нужно ли строить Магнитогорский завод, чтобы уголь получать из Кузбасса, а руду отправлять в Кузбасс, на другой металлургический завод, в Европе говорили: «Большевики делают новые чудачества — это ненормальные люди». И вот мы, по их мнению, ненормальные люди, строим Магнитогорский комбинат, а они, нормальные люди, свои домны тушат...

Сегодня вы имеете три домны, причем одна стала в ремонт, четвертая не закончена; имеете одну мартеновскую печь, вторая накануне пуска; имеете огромный блюминг. Но все это, товарищи, говоря откровенно и прямо, не закончено. Огромная станция, а вид у нее такой, как будто бы там вчера погром был или кто-то лупил со всех сторон (смех), кругом грязь, болото. Разве грязь является украшением?.. Ведь это позор! Построили гигант, вложили полмиллиарда рублей, поставили прекрасные машины, а грязи очистить не можем!..

На тех агрегатах, на которых вы уже работаете, в особенности в доменном цехе, мы имеем аварию за аварией. Вы на второй печи в иные месяцы показали прямо чудеса, домна шла ровно и давала свою проектную мощность. Если домна дает тысячу сто восемьдесят тонн, то это все, что можно было от нее потребовать, а вы давали и тысячу двести, и тысячу триста, и даже раз дали тысячу четыреста тридцать тонн. Значит, можете работать, значит, когда большевики берут себя в руки, они могут вести работу на домне! А почему это все время не делается? Просто потому, что не хватает выдержки, не хватает настойчивости, а эта настойчивость абсолютно необходима, без этого вы огромными вашими агрегатами не овладеете.

В Москве я очень часто читаю телеграммы: вчера было две тысячи тонн, а сегодня — девятьсот... Оказывается, авария, которая произошла из-за того, что положили песок не такой сухости, как надо. Неужели положить не сырой песок — это такая трудная задача, такая сложная техника, овладеть которой мы не можем?..

Шел с одним товарищем, меня никто не знал, его никто не знал, и увидели мы следующее. Стояли шесть женщин и работали блестяще — надо прямо сказать, что женщины ударнее работали, чем мужчины. Стоят эти женщины, лопатами землю копают, а один мужик, этаким верзила, сидит и смотрит. На мой вопрос: «Что вы здесь делаете?» — он отвечает: «Я бригадир». «Где твоя бригада?» «Вот она». И указывает на женщин. «А почему ты не работаешь?» «Я бригадир». Я боюсь, что он себя даже ударником считает!

Таких явлений на Магнитке немало. Почему? Люди не хотят работать? Неверно. Наши рабочие — это лучшие рабочие во всем мире, ибо они сознают, что на себя работают. Магнитка — это собственность рабочего класса. Разве нельзя организовать этих рабочих? Можно. Кто же должен организовать? Бригадир — низшее звено. Как же может организовать этот здоровенный детина, которого мы видели, когда он сидит, а женщины копошатся в земле? Кто будет от-

носиться к нему с уважением? Думают: «Вот дармоед смотрит за нами!»

...Не спится среди ночи наркому. В грудях своих книг недавно обнаружил «кирпич», вышедший под редакцией академика Семенова-Тян-Шанского. И там поразило вот что: «Когда месторождение железной руды совсем не имеет поблизости леса, как, например, богатейшая гора Магнитная, то постройка доменных печей в таких местах считается невозможной». Иного мнения держался комсомолец Лещенко, приславший на стройку телеграмму: «Директору мирового гиганта. Я ударник. Имею даже премию за хорошую работу. Желая буксировать Магнитогорск, прошу Вашего распоряжения прибыть на мировой гигант. Ответа не пишите, потому что наша бригада уже снялась с Москвы и едет до Вас...»

Ночь ясная, сухая, не остывшая от дневного зноя. В вышине домы дышат — присвистывают, отдуваются султанами пара. Льется в ковш чугуновоза огненная струя, хлещут искры, сказочное облако озаряет бетонные своды, расплывается по перистой зыби неба. Рядом с двумя действующими и третьей, остановленной на ремонт — строящаяся домна. Опястана лесами. Подперта мачтами «дерриков». Облита светом прожекторов. Ручища крана подает наверх кусок такой трубы, в которой уместится, наверное, вагон наркома да еще, пожалуй, для паровоза место останется. На высоту — туда, где ничего нет, где только небо да звезды, — взбирается человек в брезентовой робе, светится в перекрестии лучей. За что держится? Не понять. Ловко орудует. Покрутит рукой — многотонное кольцо плывет вверх, взмахнет — кран опускает ношу, скрестит руки — вздрогнув, замирает машина. Под ней — молнии электрической сварки. Багряно-белесое полыхание горнов на лесах. Пунцовые многоточия раскаленных заклепок. Кольцо становится вершиной громадного, этажей в тридцать, «самовара», на века остается там, где только небо да звезды. Ну, может, и не в тридцать?.. Но так хотелось, чтобы выше, выше!.. Хотя такие работы по ночам запрещены — и по ночам строят. Люди — золото! Мог бы — все на свете им отдал. Да не надо им ничего. Не корысти ради. Высокие цели — интересная жизнь. Не зря мир назвал этот завод русским чудом.

Подул ветер, и все заволокло едкой дымкой. Звезды на небе точно заглохли. Пыли на Магнитке хоть отбавляй. Горячие ветры несут ее из Уральских степей, из Казахстана. Но это пустяк по сравнению с тем, что выхаркивают коксовые батареи, домы...

На заре, пока сопровождавшие спали по своим купе, Серго выбрался из вагона, погрозил охраннику, чтоб не поднимал шум, ушел в рабочий поселок. Ходил меж рядами барачков — разве это жилища? Вспомнились строки, написанные им на этапе: «Еду сегодня дальше под лягз и брэнчание моих кандалов и чувствую себя, как камень». Именно такое сейчас состояние... За окном углядел семью — жена с мужем собирались чай пить. Постучал.

— Чего надо? — Не узнали, встретили неласково.

— Простите, пожалуйста. Вот приехал, ищу работу. Как тут?

— Ты что, слепой-глухой, что ли? — Муж обвел взглядом убогое убранство барака, застиранные занавески, отделявшие семью от семьи. — Хреново тут. Садись, коли пришел. Нюра, плесни ему. — Подвинул по дощатому, добела выскобленному столику небольшой кусок хлеба, алюминиевую кружку.

Серго деликатно отстранил хлеб — он по карточкам, а кипяток, приятно пахнувший морковью, с удовольствием пил.

— Значит, хреново?

— Начальства кругом — пруд пруди, а порядка... Зарабатываем средственно. Мы с Нюрой приехали из Макеевки — подкрепление Магнитке от Донбасса. Я горновой, Нюра — на обрубке в прокатном.

Да куда их девать, денежки? Намантулишься у печи — беги на другой конец в хвост к магазину! Вся страна живет словами: «Кто последний? Я за вами». В булочную хлеб то завезут, то подожди. А хлеб-то какой!.. Вот в Курске!.. Напечет маманя, брякнет на стол — духом шапки сшибает... А ты отведай для интереса.

Серго бережно отщипнул от ломтика.

— Горчит, полынью отдает. Засорены поля уральские...

— Это бы еще полбеды. Глянь, какой он клеклый. Воду от души льют, ворье! Истинно — кирпич. Ровно глину замешивают.

— А бани какие! — подсказала Нюра, проворно прибирая со стола. — А вода! За ведром настоишься к колонке. То идет, то нет. И осадок вон какой в кружке...

Секретарь Уральского обкома Кабаков, секретарь горкома, председатель исполкома и начальник строительства догнали народного комиссара на проспекте Metallургов. Орджоникидзе стоял возле хилого деревца. И листочки и ветки плотно залеплены бурой пылью. Точно и так не ясно! Серго проводит носовым платком по оконному стеклу в первом этаже нового дома, укоризненно предъявляет грязные полосы подошедшим, задирает голову, приглашая полюбоваться фасадом — ни открытого окна, ни форточки! Это в июльское, по-южноуральски знойное утро. Пыль шибает в глаза, скрипит на зубах.

— И вы смеете называть это соцгородом? — Серго обращается сразу к четверым.

Все наперебой оправдываются: проект утвержден там, где следует. Создавали его на бегу. Не успели изучить розу ветров, положились на данные по соседнему Белорецку. Американцы подвели с технической документацией: непривычны для них наши темпы...

— Дорогие мои! — На лице Серго саркастическая улыбка. — Ай, спасибо Колумбу! На кого бы мы сваливали вину, что торговля плохая, не открой он Америку? Кто ответил бы за то, что вода в бане холодная, а на улице — парная? Конечно же, Америка виновата, что на хлебозаводе у нас преступники! Слушайте, товарищ Кабаков!.. — Ого! На «вы» перешел... — Того, кто украл мешок пшеницы, мы сажаем. А как поступать с теми, кто доверие к партии, уважение к советской власти расхищает?

— Легко сказать, товарищ Серго! Помогли бы.

— Разве не помогал? Ни один магнитогорец не может отрицать, что вся страна помогала строить Магнитогорский завод, страна ни в чем не отказывала Магнитострою. Магнитострою — лес, Магнитострою — металл, Магнитострою — импорт, все шло на Магнитострой. Магнитка стала знаменем страны... И теперь, будьте уверены, не сомневайтесь, не дадим уронить знамя. И помощь ближе, чем вы думаете. У меня в вагоне. Да-с... Вы — как хотите, а я — как знаю. Директора комбината снимаем, назначаем Завенягина. Будет у вас хлеб добрый, будет вода вкусная — и металл пойдет как надо. А вы почитайте, пожалуйста, труды академика Павлова и доложите мне, какие выводы сделаете...

Вечером Серго должен был уехать, но пришлось задержаться. Далеко за полночь сидел в его вагоне санитарный врач города. С удовольствием потягивал хвanchкару из бокала, предложенного наркомом, с глубоким знанием дела рассуждал о розе ветров, о том, чем бы можно помочь Магнитогорску. Человек поживший и повидавший, работавший на Урале еще при настоящих, как он выразился, хозяевах, смолоду не чуждый политики, мечтавший о всеобщем братстве и благоденствии, рассказывал немало поучительного. Между прочим, и о крупнейшем чаеоторговце Высоцком, который запрещал своим людям давать взятки акцизным и объяснял почему: «Поблажками погубят чай». Под конец сочувственно вздохнул, развел руками:

— Завод есть завод. Город Солнца только в книгах.

— Да,— нехотя согласился Серго.— Мечта и действительность... Грош нам цена, если украшаем землю бараками, если позволяем стоять городу, на который ежеминутно рушится пыльная лавина. Да еще называем его соцгородом! — Обратился к столу, где лежал план местности с розой ветров.— Надеюсь, ваша «роза» не бумажная?

— Ручаюсь.

— Ухитрились поселить людей на дороге пыльной бури!

— Уж так у них вышло.

— Не «у них», у нас. Пора отвыкать от привычки искать виновников плохой работы на стороне... Во-первых, запрещаю строить бараки. Во-вторых... Что, если перенести вот сюда, скажем, а?

— Перенести?.. Город?!

— Иначе никакие Магнитогорски и не нужны...

Еще одно дело сделано — пора ехать дальше. В Кузбассе, между прочим, надо побывать на старом Гурьевском заводе. Зачем? Трудно объяснить, но надо. Когда-то для всей России он делал каңдалы — те самые... Но Серго мешкает с отъездом. Смущенно оправляет парусиновый костюм, легкую фуражку, виновато отводит взгляд от насто-роженно торопящего Семушкина. Так хочется снова пережить плавку — и тем более на Магнитке. Нет, не может он, не в силах отказать себе в этом удовольствии...

Горновой Шатилин занял место у летки, возле пушки. А подручный доложил ему:

— Канавы просушена.

Неторопливо надвинул Шатилин войлочную шляпу с маленькими синими очками, принял к рукояткам, направил пушку в огненную пробку. Сверлил, гудел машиной, покрывая рев печи, вдруг...

Всегда забываешь в тот миг о болезнях и скорбях, всегда ждешь его, и всегда неожиданно — внове! — жажнуло. Взрыв. Ни Шатилина, ни литейного двора, ни тебя самого на белом свете. Пламя. Искры. Клубы дыма. Серго невольно вцепился в рукав Семушкина. Огненное облако начало таять. Из него вынырнул краснорожий довольный Шатилин, откашлялся, отхаркнулся черным, усмехнулся:

— Не спи, вставай, кудрявая! — Вытащил из необъятных недр толстой роботы измятую пачку папирос «Бокс».

Клокочущей огненной рекой послушно течет живой металл.

Конечно, пришлось отдать Америке за Магнитку последние штаны, даже картины выдающихся мастеров. Потому что цари, покупавшие эти картины, не имели права их покупать, пока у страны не было Магнитки. Конечно, приходится идти на жертвы. И все же! Топор, которым срубили дом, за порогом стоит. Увенчивай героев не в могилах — при жизни воздавай должное.

Клокочущей рекой идет живой металл...

В первый день войны сюда, на Магнитку, позвонит нарком Тевосян: дайте снарядные заготовки и броню для танков. Никогда еще — нигде! — не бывало: Магнитка на блюминге катает броневой лист. Гитлер прет на Москву, на Донбасс, на город Ильича. А Шатилин и шатилинцы на местах — плывут по рольгангам раскаленные слитки. Строится пятая домна. Шестая. Каждый третий снаряд, каждый второй танк кует Магнитка. Из десяти ее домен Шатилин задует шесть. А потом, как когда-то ему помогли немецкие, голландские, американские рабочие, — он поможет индийцам поднять их металлургический гигант. Неспроста Бхилаи назовут индийской Магниткой. Не случайно все лучшее в черной металлургии станут называть Магниткой — южной, северной, липецкой, казахстанской...

Серго подходит к Шатилину, пожимает руку, обнимает.

— Спасибо, сынок.

— За что?

— За все.

Особо заботило: никель, проблема никеля. Где наш никель находится? На западе. А если война и противник прорвется к месторождениям? Чем будем крепить броневую сталь?.. Надо торопиться с освоением таймырского никеля! Хотя бы тронуть его, ковырнуть! Хотя бы подступиться к нему! Мечта? Нет, задача задач. И решать ее надо испытанным методом: никакого бюрократизма, найти смелых, честных, одержимо талантливых людей, поставить на дело, они — поставят дело, головой ответят за него... Кто бы для Таймыра подошел? Создать там город и комбинат... Каких жертв это потребует! Страшно подумать. А надо: пора. Кто сможет? Завенягин? Но на нем Магнитка, да еще он мой зам. И все-таки!..

В тридцать пятом zaloжили Норильск. За Полярным кругом развернулось одно из решающих сражений еще не начавшейся войны.

Московский инженер Александр Николаевич Грамп, в двадцатые годы возглавлявший комсомолию Красной Пресни, попав в Норильск не по своей воле, возглавит отряд дорожников. Борьба со снегом пойдет планомерно и бесперебойно. Инженеры Кузнецов и Потапов предложат такие защитные ограждения и такую их расстановку, что ветер будет переносить большую часть снега через дороги. Дороги станут проезжими постоянно, включая узкоколейку к Дудинке, на которой прежде приходилось откапывать паровозы.

Вячеслав Владиславович Сендек, большевик с девятнадцатого, начальник строительства металлургических цехов, станет норильским Макаренко: его стараниями бывшие «законники» — домушники, мокрушники, медвежатники станут плотниками, бетонщиками, каменщиками, футеровщиками.

Понадобится перебросить со строительства ТЭЦ в рудный карьер двухсоттонный экскаватор, но мост через водоводы из Норилки не внушит доверия: на честном слове. Разбирать экскаватор? Переправлять по частям? Сколько это времени отнимет?! Владимир Иванович Полтава, главный инженер, заберется под мост, измерит балки, опоры, потрогает, пощупает, постукает, посчитает на неотлучной линейке и скамандует экскаваторщику: «Пошел!» Однако грохочущая машина на тронется. И тогда Владимир Иванович вновь станет под мост: «Пошел, говорю!» На глазах окаменевших строителей экскаватор переползет по хлипкому мосту, под которым стоит человек, и вскоре загрохочет в карьере.

В свой черед пойдут карьеры Угольный ручей, Медвежий ручей, вступит в строй Малый завод. Начнется война. Но строительство не замедлится.

Всего через семь лет после закладки, когда армии Гитлера захватят западные месторождения и Кузнецк с Магниткой останутся без никеля, когда подводные лодки Гитлера блокируют устье Енисея, с тем чтобы ни грана никеля не было вывезено морским путем, с фронта будет снята эскадрилья бомбардировщиков и направлена за три с лишним тысячи километров в тыл — на боевое задание. Промерзшие норильчане и летчики, мохнатые от инея, в меховых комбинезонах, будут грузить в бомбовые люки слитки никеля, и каждый рейс каждого бомбардировщика даст двадцать шесть новых танков.

Но вернемся в тридцать пятый год... По-прежнему не хватает Хлеба, Металла, Энергии. Конечно, по производству тракторов выходим на первое место в мире. Грузовиков делаем раза в три больше Германии. Десять лет назад по выплавке чугуна занимали седьмое место, уступая Люксембургу и Бельгии, а теперь оспариваем второе у Германии, но пока лишь оспариваем. Занимая третье место по производству электричества — Германии уступаем. Занимая четвертое по добыче угля — Германии уступаем. Занимая третье по выплавке стали — Германии уступаем... Чем их умножить и укрепить, наши

Хлеб, Металл, Энергию? Не чем, а кем надо говорить. Ну, хорошо: кем и как? Ведь уже и без того наши люди делают невозможное. И все-таки! Именно люди — наша судьба. Именно в людях — наш резерв, который мы недостаточно — убежден! — недостаточно используем. Как его вскрыть, поднять к жизни?

Это порождает неудовлетворенность собой, давит. Он идет в Большой слушать Барсову, Лемешева, Козловского — и не слышит их. Это не отпускает по ночам. Об этом Серго не перестает думать и на работе. Разве социализм может быть на бедности, на нищете? Никогда!

Об этом он думает и на отдыхе в Нальчике, в Кисловодске. И вдруг — вот оно! — «Правда» за 2 сентября: в ночь с 30 на 31 августа забойщик шахты «Центральная — Ирмино» Стаханов установил в честь Международного юношеского дня всесоюзный рекорд — вырубил сто две тонны угля.

— Зиночка! Я прерываю свой отпуск и возвращаюсь в Москву.

— Час от часу!.. Каждый день что-нибудь!

— Нет, это не каждый день случается. Это раз в жизни случается, и то не в каждой. Но теперь будет каждый день, и постараюсь, чтоб в каждой. Одним словом, укладывай чемоданы.

— Никуда ты не поедешь... Только через мой труп.

— Да ты не понимаешь, что произошло?! Корпели, возились с организацией угледобычи — ни черта не выходило. В Руре дают на отбойный молоток четырнадцать тонн, в Англии — одиннадцать, у нас норма была шесть тонн. А он ахнул сто две! Пока я тут прохладился, он думал за меня, решал и решался, шел мне навстречу. Теперь я обязан не спать, не есть... Ну позволь хоть поругаться по телефону с наркоматом. Просмотрели главное! Это же переворот. — Серго задумался, вспомнив прочитанное когда-то у Тургенева: «Я бы отдал все свои книги за то, чтобы где-нибудь была женщина, которую беспокоила бы мысль, опоздаю ли я к обеду». Зина! Спасибо тебе за то, что ты есть. И как неисповедимы судьбы любви! Сдержанно-рассудительная сибирячка и порывисто-пламенный кавказец. Говорят, счастливые браки редко бывают случайны — они закономерны в том смысле, что предусмотрены не только сердцем, но и разумом. Однако не мешало бы тебе, Зиночка, усвоить одно очень важное правило: нельзя запрещать мне жить, как я должен. Подчиняюсь тебе в сфере твоей компетенции, но тут...

И он возвратился в Москву раньше положенного. Еще проезжая Донбасс, узнал, что вслед за Стахановым парторг того же участка Дюканов нарубил за смену 115 тонн угля. Комсомолец Концедалов — 125. Снова Стаханов — 175, потом и 227. А Никита Изотов — 240. День за днем срабатывал глубочайший принцип нашей природы — страстное стремление к признанию своей ценности. За Стахановым последовали другие, добывая и триста, и даже пятьсот пятьдесят две тонны. На Горьковском автомобильном заводе Александр Бусыгин отковал тысячу пятьдесят коленчатых валов при норме 675. Петр Кривонос повел поезд со скоростью в пятьдесят три километра вместо тридцати. Евдокия и Мария Виноградовы стали ткать на таком количестве станков, какое пока никто толком не мог назвать, потому что они расширяли и расширяли зону обслуживания. Что случилось? Разве все, кто руководил и планировал, были круглыми идиотами, ни черта не понимали?

Конечно, нет. Произошло событие огромного исторического значения. И твой долг, Серго, стать во главе. Но... Всеобщий порыв рабочих охлаждается, порыв к будущему сдерживается обывательским скептицизмом, а подчас и саботажем людей, принимающих зов и крик души за очерную кампанию. Одни бюрократы относятся к движению, идущему снизу, высокомерно: кто, мол, такие Стаха-

нов, Бусыгин, что они понимают, почему должны нам указывать? Другие, огорошенные простотой стахановского метода — правильное разделение труда, полное использование машин и рабочего времени, — все еще присматриваются и не спешат организовать важнейшее государственное дело. Третьи не без повода и основания боятся, что стахановское движение вызовет повышение планов. Рабочие не боятся, а они боятся! Страна содрогается, разрывается и надрывается в выборе между азиатчиной и цивилизованностью, а они только о себе и думают. Повторяется то, что было при начале всесоюзного соревнования — на Выборгской в Ленинграде, когда принимали встречный план.

Кто тогда встал против обывательщины и азиатчины? Те же, кто теперь поддерживает Стаханова и стахановцев, — прежде всего лучшие инженеры, лучшие ученые, лучшие большевики. Управление нашей промышленностью — это сочетание всенародной инициативы с централизованным руководством... Старики на Кавказе советуют: будь первым, когда надо слушать, и последним, когда надо говорить. Слушай, Серго, и прислушивайся. А уж коли раскроешь рот, не забывай, что существует лишь один способ влиять на других: сказать им о том, что стало предметом их желаний, и показать, как этого добиться.

Пригласил Стаханова и стахановцев в Москву на октябрьские праздники, потом собрал у себя в кабинете. Сквозь проемы высоченных окон мягко сеется свет скупого дня, а на длинном столе сияют яблоки и апельсины. Стулья, что поближе к рабочему месту наркома, уже заняты. Вот и сам он: идет, задерживаясь возле каждого гостя, жмет руку кряжистого, могучего парня с лицом из тех, что принято называть будкой. Здоров, крепок, надежен. И так ему тесно впервые надетый москвошвеевский пиджак, так некстати галстук, повязанный, конечно же, в последний момент директором или парт-оргом.

— Я, товарищ Серго, со станкозавода вашего имени в Москве.

— Ты — Гудов? Поговорим особо о том, как тебя выгоняли. — Переходит к худощавому, наголо стриженному хлопцу с бледноватым лицом, с большими серыми глазами и девичьими ресницами, ласково трясет за плечо: — Вот ты какой! А я думал, Стаханов — великан...

Как только перестали хлопать в ладоши, слегка успокоились и вновь расселись, Серго к делу:

— Ну, расскажите, какие чудеса творите. Как добиваетесь?..

Пошли выступления. Первым — Алексей Стаханов, за ним Петр Кривонос, Александр Бусыгин, Евдокия Виноградова, Мария Виноградова, Иван Гудов.

Тут Серго кивнул:

— Гудов пусть расскажет в течение пяти минут, как его выгоняли с завода.

Гудов подошел к столу наркома, одернул пиджак, выпростал шею из галстука, глянул прямо, без робости, вот он, каков я. Загудел молодым, чуть хрипловатым баском (может, за то из рода в род и Гудовы?):

— Тяжелые станки делаем, агрегатные, специальные. Освобождаем страну от зависимости. Завод у нас отличный, начали строить в тридцатом, пустили в тридцать втором. Я тоже тачку гонял, подучился — поставили фрезеровщиком. Директор вызывает: «Нарком дал нам установку в ближайшее время перекрыть проектную мощность». Мастер задание дает: надо сделать то-то и то-то, поработай хоть три смены, но сделай. Почему не сделать? И зачем три смены? Шариками будешь крутить — за одну сделаешь... В общем, четыреста с лишком процентов и без брака, одна к одной крышечки запорные!

Серго перебил:

— Это мы и без тебя знаем. Ты, во-первых, раскрой секрет, как добиваешься такой выработки при высоком качестве, а затем расскажи обязательно, за что тебя выгоняли.

— Товарищ Серго! Вы меня прервали и минуту отняли. Теперь давайте мне больше времени.

— Хорошо, хорошо, дорогой! Не сердись, пожалуйста.

— Как добиваюсь? Люблю работу, и она меня любит. Интересно мне работать — сделать охота, совладать... Загодя узнаю, какое будет задание: ага! — шарики закрутились. Заступаю, а станок у меня зеркалом блестит, а заготовочки ладком под рукой, а план в голове на всю смену, как и что, как силу ровно блюсти — до последней минуты, а не выкладываться сразу, попервости, чтобы потом высунувши язык плестись, кишки выматывать. Не работа — удовольствие, слажа! Если где какую наладку, приспособку примечу, не пройду мимо: перенять надо! Болтают, жадный я. Не кулак я, товарищ Серго! Я — хозяйственный: где какую железку найду, хоть в мусорном ящике, пригляжусь — и съест погано, и выбрасывать жалко. Припрячу — ан сдилось! Вы посмотрите, что у нас на свалках валяется! Руки-ноги выдергивал бы тем, кто выбрасывает! В общем, стал работать двумя фрезами вместо одной. А выгоняли меня, товарищ Серго... Бузил больше всех: из двадцати пяти дней одиннадцать вовсе не работали. Зарплата горит, ну, а класс-то, сами знаете, жажду разве квасом заливают? И обязательства... Совестно! Зачем было слово давать, коли сдержать не можешь? Пускай-ка начальство пыль с ушей стряхивает. «Замоскворецкий хулиган, — сказали, — Ванька Гудов». Да какой же он хулиган, Иван Иванович, сын собственных родителей?..

Орджоникидзе встал, прошелся, положил руку на плечо сидевшего у стены, под картой Советского Союза...

— Товарищ Сушков! Ты молодой директор, большевик, в Красной профессуре мы тебя учили... Как терпишь? Что собираешься делать с саботажниками? Кто мешает стахановцам, кто стоит на нашем пути — сметем. Сметем беспощадно!

Первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц — стахановцев промышленности и транспорта Серго открыл в здании Центрального Комитета партии на Старой площади. Но оказалось, что зал заседаний ЦК тесноват. Перешли в Большой Кремлевский дворец.

За четыре дня выступили все известные стахановцы, представители всех промышленных районов, крупнейших заводов, портов, железных дорог, ведущие сотрудники Наркомтяжпрома и, кажется, все члены Политбюро. Особенно растрогало выступление Курьянова — самого юного участника совещания, токаря из Куйбышева. Маленький, от горшка два вершка. Курносенький. В пиджаке, в белой рубашке с галстуком, он запрыгнул на трибуну и исчез — не видно стало из президиума. Члены правительства подались вперед. Перегнулись через борт, с улыбкой рассматривали мальчонку. Он смутился. Но быстро овладел собой. Пригладил аккуратно подстриженные вихры. Как большой, передал пламенный привет от рабочих, служащих, комсомольцев и всего рабочего состава карбюраторного завода. Как заправский оратор, отпил воды — чуть не целый стакан, заговорил звонко, по-мальчишески выкрикивая, стараясь тянуться вверх, к микрофону:

— Приехал из колхоза, поступил в ФЗУ в тысяча девятьсот тридцать втором году. Я не знал, что такое токарный станок. Когда я поступил в ФЗУ, я сразу начал осваивать технику, которой меня обучали. Я в ФЗУ шел все время на «отлично», все время был ударником, несколько раз меня премировали. Кончил по четвертому разряду, пришел на завод, мне дали сложный немецкий станок. Я прошел техминимум и сдал его на «отлично». Когда я сдал техминимум, мне дали осваивать плунжер для особого дизельного насоса, который впервые изготавливается в Советском Союзе...

«Верно, впервые,— думал Серго на председательском месте.— Сгодится как раз для того танка, который конструируют Кошкин с товарищами...»

А Курьянов с гордостью продолжал:

— Мне дали работу по седьмому разряду. Я начал смотреть, как старые рабочие работают. С первых дней мне норма была дана — один час пять минут на плунжер. Первый месяц я не укладывался в норму: у меня уходило по часу тридцать пять минут, по часу сорок пять минут. Потом стал выпускать в сорок одну минуту штуку. Я взялся уплотнить свой рабочий день и был среди рабочих рационализатором. Я и заработок свой повысил.

— Сколько зарабатываешь? — спросил Серго.

— Первые полгода зарабатывал по четыре рубля пятьдесят копеек — шесть рублей в день, сейчас зарабатываю двадцать пять рублей в день. (Бурные аплодисменты.) Товарищи, за мою хорошую работу ко мне прикрепили ученика старше меня и больше меня namного. (Смех.) Мне семнадцать лет, а ему восемнадцать. Стал я его учить, какими методами нужно работать, все ему рассказываю, чертежи показываю. Мы хорошо организовали свое рабочее место, так, что нам не нужно никому отходить, все у нас на месте. Он спрашивает меня, что ему непонятно, где я «не того», скажет — давай, давай. (Аплодисменты, смех.) Я всеми силами стараюсь передать ему свой опыт (смех), хотя и недолголетний, но все-таки. Я хочу сказать о том, как относится ко мне комсомольская организация, потому что она воспитала меня и научила, как работать по-новому...

— Ты стахановец или кто? — вновь спросил Серго.

— Я бусыгинец. Здесь все говорят — стахановцы, стахановцы, а мы, рабочие машиностроения, должны говорить — бусыгинцы, бусыгинцы. Первым организатором у нас был Бусыгин, который дал рекорд выше американского по ковке коленчатого вала. Когда организовалось стахановско-бусыгинское движение, мы в конструкторском цеху проработали этот вопрос лучше, чем в остальных цехах. Я и некоторые товарищи выполняли ответственную работу. Мы созвали собрание. На этом собрании были профорг, комсорги. Мы стали говорить о том, как лучше добиться тех результатов, которых добились Бусыгин и Стаханов. У нас уже имеется не один бусыгинец-стахановец, как я. (Смех.) Профсоюзная организация учла, что я хорошо работаю, и премировала меня комнатой с полным оборудованием. (Смех, аплодисменты.) Товарищи, мы должны в социалистическом государстве все так работать. Каждый рабочий должен освоить технику... Я выполнял свою норму за сорок одну минуту, а теперь — за семнадцать минут, работаю по седьмому разряду и, главное, точность имею очень большую. Да здравствует комсомол и партия!

«Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути...». «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...». «Молодежь — в небо!..». Предметом гордости или зависти каждого юноши, каждого порядочного мальчишки и каждой девчонки стали значки парашютиста, ГТО, ворошиловского стрелка, желанным местом учебы и развлечения — аэроклубы. «Фирмы» Туполева, Поликарпова и Григоровича дали Красной Армии необходимые самолеты — учебные, разведчики, истребители, больше тысячи тяжелых бомбардировщиков, а Гражданскому воздушному флоту — трехмоторные «Крылья Советов» и пятимоторный «Правда», флагман агитэскадрильи имени Горького.

В честь сорокалетия литературной деятельности великого писателя решено построить гигантский агитсамолет его имени, начать сбор средств по всему Союзу. Популярный журналист Михаил Кольцов возглавляет комитет содействия строительству. Объявлен открытый конкурс на лучший проект. Поступает великое множество предложений, в основном, конечно, от энтузиастов, и, конечно, принято предло-

жение Туполева: усилить задуманный им шестимоторный бомбардировщик еще двумя микулинскими моторами — создать небывалый агитсамолет и заодно проверить, до каких размеров целесообразно увеличивать бомбардировщики. 17 июня 1934 года Михаил Громов, шеф-пилот ЦАГИ, впервые взлетает на самолете длиной тридцать три метра, с размахом крыльев шестьдесят три метра, весом сорок две тонны, способном поднять и нести четырнадцать тонн. Через два дня «Максим Горький» проплывает над Красной площадью, приветствуя челюскинцев, их спасителей, москвичей.

И вот 18 мая, 1935 год. Серго стоял возле «Максима Горького» на Центральном аэродроме, черно завидуя окружавшим, которые не на шутку вздорили между собой.

— Если бы мы не построили этот самолет, фиг бы вам было на чем летать! — неслось из одной очереди.

— Если бы мы его не спроектировали, — отвечали из другой, — шиш бы вам было что строить! Мы первые полетим!

— Нет, мы!..

Разве забудешь тот выходной?.. Было назначено два полета, после которых предполагали передать «Максим» из ЦАГИ в агитэскадрилью для эксплуатации по назначению. Воздушной прогулкой над Москвой премировали лучших сотрудников КБ и завода. Пока они препирались, выясняя, кто «первее», Серго с женой Туполева Юлией Николаевной поднялись в самолет по откинутой в виде трапа нижней части фюзеляжа. Как же здесь хорошо! Как пахнет свежими красками, эмалитовым лаком и клеем и еще чем-то, одной авиации присущим: аккуратностью, надежностью, совершенством.

Серго знал, что Юлия Николаевна не просто жена, но помощник и друг Андрея Николаевича. Не занимая никаких штатных должностей (муж ни в коем случае не допустил бы этого!), она, по сути, была сотрудницей ЦАГИ. В той же постройке «Максима» стала участвовать наверняка прежде многих других, вложила немало вкуса, души и характера в убранство спальных кают, кафе, пассажирских отсеков. С достоинством радушной хозяйки, показывающей дом, Юлия Николаевна говорила:

— Кроме семидесяти двух пассажирских мест, есть у нас типография для выпуска листовок-«молний»... А здесь «Голос с неба» — громкоговорящая установка, может вещать на землю во время полета... Телефонная станция на шестнадцать абонентов...

Задумался Орджоникидзе: почему бы нам не привлечь жен ИТР более активно к делам мужей? Прекрасный пол — немалый резерв... А если серьезно, то надо будет собрать жен ведущих хозяйственников — пусть поспособствуют пятилетке, как Юлия Николаевна...

В пилотской кабине уже хлопотали румяные, молодцеватые Журов и Михеев. Здоровяки, плотно обтянутые летными комбинезонами, с небьющимися часами на перчатках-крагах.

— А где Громов?

— Сегодня мы за него, — гордо улыбнулся Михеев. И, не стараясь скрыть удовольствия, стал расхваливать «Максима». — Надежная, на большой, на ять машина. Испытания прошла как ни одна другая. Оснащена всем новейшим: навигационное оборудование, радиостанции — наши, советские, автопилот оригинальный, усилитель руля электрический...

Серго знал все это не хуже Юлии Николаевны, Журова и Михеева, вместе взятых, не впервые слышал и видел все это — от самой закладки ездил и ездил к Туполеву, помогал, радел, болел. Но хотелось еще и снова слышать-видеть. Он так завидовал тем, кто полетит! Так клял про себя решение, запрещавшее членом Политбюро подниматься в воздух, особенно после гибели начальника ВВС Петра Ионовича Баранова в авиационной катастрофе.

Тем временем подкинутый двугривенный решил спор в пользу

строителей самолета, и тридцать шесть отличившихся производственников скрылись в его чреве. А Серго остался на земле. Не прекословя, отошел в сторону, подальше от винтов. Трап наглухо захлопнулся. Взревели, не запнувшись, восемь моторов.

— Вот так же отсюда «Илья Муромец» взлетел, и «Святогор» стоял на этом самом месте, — заметил кто-то из пожилых авиаторов.

«Максим» тронулся, пошел, ветром приминая молодую, лоснившуюся под солнцем траву далеко позади себя. Разбежался — быстрее, быстрее — тяжело, но изящно не оторвался, нет, откоснулся от земли, словно руки Михеева — Журова бережно приподняли его.

Обязательный круг безопасности над аэродромом: в случае чего еще можно вернуться, спланировать. Слева к «Максиму» подстраивается «Р-5» с оператором кинохроники. Справа — истребитель «ишачок» для масштабности сравнения — при съемках в полете. До чего ж красив самолет вообще, а такой в особенности, да еще в весеннем небе! Серго провожал его взглядом, пока он не скрылся за лесом. Прислушивался к удалявшемуся гулу моторов. Что может человек! Чего он не может!.. Поистине вся страна подняла «Максима Горького», и теперь он поднимает и будет поднимать страну. Спасибо вам, Андрей Николаевич Туполев, спасибо тысячам Туполевых и туполевцев.

Радостные размышления прервал запыхавшийся заводской инженер. Прибежал с дочкой лет двенадцати:

— Говорил тебе, Расмочка, собирайся быстрее, опоздаем...

Девочка так плакала, что представители конкурирующей стороны сжалились, пообещали:

— Полетишь с нами следующим рейсом.

Гул моторов стал нарастать — и возвращавшийся самолет показался над лесом. Но что это? Этого не может быть! «Ишачок» поднырнул под правое крыло гиганта, взмыл впереди, описывая мертвую петлю.

— Лихач! — неодобрительно вздохнули рядом. — В прошлый раз Громов наганом грозил ему...

«Как же могло случиться, что его послали вторично? Разве не ясно, что идущий в ад ищет себе попутчиков?» Ничего этого Серго не успел произнести, смотрел точно заколдованный, не отводя взгляд, боясь отвести взгляд, боясь шелохнуться.

«Ишачок» со скоростью, умноженной силой тяжести, вышел из петли, настиг правое крыло «Максима», врубился в моторную гондолу, взорвав шлейфом искры, пламя, черный дым. Крайняя гондола с куском гофрированной обшивки крыла, с полыхавшим комом «ишачком» падала, оставляя клубившийся черный хвост, который, казалось, застлал все небо. Крыло «Максима» еще противилось, еще содрогалось, точно у подбитого орла. Мгновение, другое... Громадный кусок его отвалился следом за гондолой и обшивкой. Корабль вертанулся по курсу, закувыркался, разваливаясь. Пыльное облако полыхнуло из леса, взмыло, окутало, расплываясь по горизонту, верхушки сосен.

Понятно, все это случилось в секунды. Но Серго был уже в «паккарде», и шофер, не дожидаясь команды, гнал к лесу. Точно из-под воды, сквозь оцепенение, доносились не то чьи-то, не то собственные слова: «Чего больше всего боится самолет? Грозы? Земли? Нет, глупости! Глупость — самое дорогое на свете!»

Отломившееся крыло упало на детский садик. Отупев, угорев от горя, оглядывал Серго раскиданные по всему пепелищу игрушки, чепчики, пинетки. Вокруг по лесу, в который въезжали бесполезные уже кареты «скорой помощи» и пожарные машины, на сбритых соснах в кроваво-тряпичных лохах было разметано то, что лишь несколько минут назад называли самолетом с пассажирами, с Михеевым, Журовым и еще девятью членами экипажа. Куда-то, зачем-то спешила зеленая фосфоресцирующая стрелка, и чудилось, на весь мир тикали часы на обгорелой краге Михеева или Журова.

22 июля 1936 года. Серго идет на работу. Ох, чертова лестница! Раз от разу делается выше. Уф! Сердце выстукивает, что пора бы в отпуск. Хорошо, что кабинет на втором этаже. Управдел предлагал перенести повыше: «Меньше народа будет толкаться». «А я, дорогой, как раз для народа здесь посажен. Придут ко мне пожилые люди, а лифт откажет...» Хорошо понимал он теперь пожилых.

Красная дорожка недлинного коридора. Налево — зал заседаний коллегии, дальше — помещения помощников Шахназарова и Махове-ра. Перед самой приемной — дверь в кабинетик Семушкина. Обычно Серго начинал работать уже в приемной, где ждали директора заводов, стахановцы, академики. К каждому подходил, жал руку. Незнакомым представлялся. Знакомых участливо расспрашивал: «Как живет в новой квартире?.. Жену из родильного дома забрал?.. А ты из Комсомольска? Особенно рад тебя видеть! Всегда рад помочь! Заходи, дорогой!..» Но сегодня — напрямик к Семушкину. Тот поднимается из-за стола с несколько виноватым видом. И Серго понимает почему:

— Зачем глобус утащил? — не скрывает радости от того, что для их общей работы карта уже тесна, глобус подавай. — Где?

В ответ Семушкин указывает на Камчатку:

— Пятьдесят три часа без посадки!

По-хозяйски забрав глобус, нарком уходит к себе. Обычный рабочий день? Рядовой прием? Нет и нет. Далеко — на другом конце света — сквозь непроглядную жуть над Тихим океаном летят три человека в молекуле алюминия и стали, оторванной силой воли и разума от земли и одолевающей земное притяжение. Каждый миг десятиметровые волны грозят их поглотить. Но... Не поглотили же волны Ледовитого океана, льды Арктики, циклоны-антициклоны, обледенения. Пролетели над пашнями и лесами Подмосковья, над лугами и болотами Белозерья, над горами и водопадами Кольского полуострова. Миновали Баренцево море, Северную Землю, снега, тундры, безлюдье Якутии, Петропавловск-Камчатский... Летят!

Нет. Не молекула алюминия и стали. Сплав гениальности и труда. Ключ от будущего. Ответ на вопрос: удалось или нет? Уложим сто лет в десять или не сумеем, не успеем, не сможем?

Со множеством замечательных людей сдружила Серго подготовка полета, и прежде всего с Андреем Николаевичем Туполевым, Александром Александровичем Микулиным, любимыми учениками Николая Егоровича Жуковского, утверждавшего, что человек полетит, опираясь не на силу мышц, но на силу собственного разума.

Туполев одарен капитально и всесторонне. Именно ему отдал предпочтение Серго, подбирая главного инженера авиационной промышленности. Потому что Туполев сочетает в себе талант выдающегося конструктора и выдающегося организатора, умеющего находить оптимальные решения и подвижнически реализовывать их. Последнее детище Туполева, летящее сейчас над океаном — АНТ-25. Его чаще называют РД — рекордная дальность.

Микулин — единственный племянник Жуковского. Вырос в атмосфере научных исканий, изобретательства, открытий. Наблюдательный, думающий Шура Микулин уже в одиннадцать лет сконструировал и построил котел с турбиной для подъема ведра из колодца. В двенадцать зачарованный работой мотора мальчик изучил немецкий язык, чтобы общаться с шофером соседа-миллионера. Шофер же, в свой черед, обучил Шуру управлять автомобилем. В девятьсот десятом пятнадцатилетний Микулин поразил знаменитого пилота Уточкина, потерпевшего аварию из-за отказа магнето, тем, что предложил установить вместо одного два. (Идея дублирования, широко используемая теперь для повышения надежности.)

Потом появился лодочный мотор собственной конструкции, благодаря которому Саша Микулин поступил в Московское высшее техническое училище, где студентами были Туполев и другие будущие

звезды отечественного самолетостроения. Потом первый приз на конкурсе изобретателей зажигательных авиабомб. Это уже война. В ту же пору конструирование двигателя для танка с десятиметровыми колесами, «нетопыря»...

После революции Микулин усовершенствует штамповку мисок, раз уж в них приспела такая нужда, вместе с прежними однокашниками строит аэросани для Красной Армии, возит на них Дзержинского, вызывая уважение «железного Феликса» к себе как механику. Работает в новом научно-исследовательском институте — создает свой первый авиаomotor.

Серго заметил Микулина, еще когда не ладилось с первым авиаomotorом. Пригласил, расспросил, выслушал:

— Варварство! Главный конструктор не бывал за границей!

Три месяца по командировке Серго Микулин присматривался, как работают ведущие фирмы — в Англии «Роллс-Ройс», во Франции «Испано-Сюиза», в Италии ФИАТ, в Германии БМВ.

Когда вернулся, авторитетные специалисты советовали Серго ориентировать и дальше нашу авиацию на импортные моторы БМВ в шестьсот лошадиных сил. Ведь что такое авиаomotor? Чудо века, вбирающее вершинные достижения науки и техники. Ничтожный кусочек металла — капелька! — вмещает сатанинскую мощь, поднимает под облака, за облака и себя и многие, многие тонны! Вряд ли мы сможем так скоро, при наших условиях... А Микулин дал свой, тогда еще не прославленный М-34, да не в шестьсот — в семьсот пятьдесят «лошадей». В жесткой, жестокой — дошло до ЦК — сшибке Серго поддержал микулинский мотор. М-34 пошел в серию.

Челюскинцев спасают микулинские моторы. Самые большие в мире машины Туполева летят выше всех, быстрее всех, дальше всех на микулинских моторах. Когда беспокойно становится на Дальнем Востоке, туда на микулинских моторах перебазировем сто пятьдесят туполевских ТБ-3 — и агрессивный сосед становится сдержанней.

Опять обыватели от науки, пошлые завистники мешают Микулину работать. И опять помогает Серго. Выберет время — и придет в КБ. Выберет время — и позвонит по телефону:

— Приезжайте, пожалуйста. И не на мотоциклете.

— Хорошо. Только долго будет — на трамвае.

— Ничего. Мне не к спеху. Потерплю...

Встречая сотрудника, к которому расположен, Серго выходит из-за рабочего стола, с удовольствием хлопает по литым бицепсам Микулина, торжественно вручает ключи от машины:

— Премия! Нет, нет! Не благодарите. Вам спасибо. И скорей дайте новый мотор. Чтобы сделать как следует, поезжайте с Туполевым на международную авиаавыставку в Лондон.

Из окна Серго с удовольствием наблюдает, как рослый могучий Микулин, словно мальчишка к игрушке, подбегает к новенькому «газика», склоняет бритую голову, профессионально прислушиваясь к работе мотора, плавно трогает с места...

И опять препятствия, нападки и неурядицы, да такие, что придется собирать специальное заседание Политбюро. Небольшой овальный зал. Посредине длинный стол. Во главе — Молотов. По одну сторону — Серго, Ворошилов, военные и штатские специалисты. Вдоль другой расхаживает Сталин. У дальнего торца стоит Марьямов, директор моторостроительного завода, в синей форме летчика — грани трех шпал на петлице отражают свет люстры. У дверей — Микулин.

— Итак, — заключает Молотов, — за три года мощность не возросла ни на силу. В ближайшее время Гитлер нас обгонит... Почему не модернизируете двигатель, товарищ Марьямов?

— Пытались... — Вытирает затылок. — Но безуспешно.

Микулин делает некое движение, будто хочет уличить Марьямова, но сдерживается. Серго понукает взглядом. Сам вмешивается:

— Не худо бы выслушать конструктора!

— Кстати, где он? — Сталин будто не видит Микулина.

Микулин отлепляется от двери, кланяется на манер кавалера-танцора. Сталин усмехается в усы, но тут же рябоватое лицо его вновь мрачнеет. Спрашивает, согласен ли Микулин с Марьямовым.

— Ммм... Ни в коем случае, товарищ Сталин! Резерв у мотора есть. Мотор нужно и можно модернизировать. И я знаю как.

— Где вы были до сих пор? Чем занимались?..

— Товарищ Марьямов запретил пускать меня на завод.

— Что-о? — Сталин словно взметнул взгляд.

Ох, не дай бог попасть под этот взгляд, как Марьямов попал. Все-таки выкручивается:

— Микулин работать не даст. Во все лезет. Генератор идей!

— Из-за вас Красная Армия лишается мотора, который три года назад был самым мощным в мире.— Сталин отвернулся от Марьямова, подошел к Молотову, неспешно раскурил трубку, уперся взглядом в Серго, должно быть, припоминая недавние разговоры их о Микулине. Заговорил: — Микулин назначается главным конструктором завода имени Фрунзе. За модернизацию спросим в первую голову с него. И еще с Марьямова. С этим вопросом все...

И вот летит без посадки на Дальний Восток туполевский РД — с наимоощнейшим, наисовершеннейшим микулинским мотором. Да, эти двое, Микулин и Туполев!.. К чему ни прикоснутся, все поднимают в новое качество. Отсутствие их всегда заметно, а присутствие необходимо.

— Полетное время — пятьдесят три часа тридцать минут,— объявил вошедший Семушкин, будто Серго сам не следил за секундометром авиачасов, водруженных посреди стола. Будто в последние трое суток не звонил каждые полчаса Ворошилову в штаб перелета...

За Семушкиным явился Иван Алексеевич Лихачев. Потомок тульских крестьян-умельцев, один из первых шоферов страны. Большевик с июня семнадцатого. Чекист. Участник гражданской. Красный директор. Воспитанник Серго. Один из любимцев — за то, что талантлив, опытен, инженерски дерзок. За то, что, поздно начав учиться, предан культуре, как только могут быть преданы люди, идущие из самых низов, знающие цену невежеству, нетерпимые к нему, подобно Максиму Горькому. Может, как раз оттого на заводе Лихачева куда чище, чем на других, и автомобили лучше...

Типичный самородок, Лихачев не хуже Форда разбирается в деле. А быть нашим Фордом в наших условиях куда сложнее, чем Форду в его, фордовских. К примеру, председатель Автотреста Сорокин заключил с американцами договор, по которому технология, инструмент, оснастка должны были поступать к нам из-за океана. Лихачев восстал: привязать себя намертво, закабалиться?! Пока жив, не допущу, все, что можем, будем делать сами, а можем многое... На Политбюро Лихачев говорил вдвое больше, чем было положено, но Сталин ни разу не перебил, назвал неплохим хозяйственником, а Сорокина — большой суетой: от Америки надо взять то, что нужно, а не то, что дают, реконструкцию завершить во что бы то ни стало.

На месте убогих мастерских Рябушинского поднялся автогигант, трупобой Симоновки, нагатинские пустыри, испокон сльвишие бросовой землей, стали Выборгской стороной Москвы, как шутя величал их Серго. Часто бывал там — любил бывать, любил сесть за руль новой, только что сошедшей с конвейера машины. Для грузина что может быть лучше автомобиля? Только автомобиль. Всегда принимал Лихачева без очереди, сам решал его проблемы, но сегодня... Перепоручает Лихачева начальнику управления автотракторной промышленности, мысленно уносится к Дальнему Востоку... К делам возвращает

Павел Павлович Ротерт, старый инженер. До революции строил железные дороги, потом консультировал в Госплане и создавал комплекс одной из самых больших в мире — харьковской площади имени Дзержинского со знаменитым Домом промышленности, изучал опыт строительства плотин, небоскребов, метрополитенов Нью-Йорка, Парижа, Берлина. Во главе Метростроя Серго поставил его сразу по завершении Днепрогэса, где Ротерт был заместителем Веденева.

То и дело мелькает в метро фуражка Серго со звездой и спецовка с буквой «М», нашивкой на рукаве, хотя из-за сердца врачи запретили нарком спускаться в шахты. Уже в тридцать пятом по оснащенности современным тоннельным оборудованием наш Метрострой обогнал все остальные.

Потом в кабинете Осипов. Этого не спровадишь так просто: зам и дела государственной важности — синтетический каучук, бензин, минеральные удобрения, словом, химия... Бесспорно, цель образования, смысл образованности — не знания, а действия. Привычное действие так захватывает, что Серго не замечает Семушкина.

— Расстояние до Америки перекрыто... Полет продолжается!..

— Никого пока не принимать! — Серго сваливается на кушетку в комнате отдыха. Стянуть бы сапоги, да сил нету. Не съездить ли пообедать? Зина уже напоминала... Это идея!..

От волнения он едва ли не впервые обедает вовремя. В голове мельтешат читанные когда-то строки: «Поступайте так, как если бы вы были счастливы, и это приведет вас к счастью... Всякий раз, когда выходите из дома, приосаньтесь, высоко поднимите голову, как если бы она была увенчана короной, дышите полной грудью. Пейте солнечный свет, приветствуйте улыбкой ваших друзей и вкладывайте душу в рукопожатие. Не бойтесь быть неправильно понятым и не задумывайтесь даже на минуту о ваших недоброжелателях. Старайтесь сосредоточить мысли на том, что вам хотелось бы свершить...»

Так он и действует, продолжая прием. Прогоняет небритых, неприятно одетых. С бережностью коллекционера отлепляет марки. (Сотрудники знают его слабость — передают почту с конвертами.)

В который раз входит Семушкин, но теперь... Нарком понимает все по его лицу. Кричит что-то обидное, срываясь, не помня себя от горя, будто Семушкин виноват в том, что прервалась связь с самолетом. Кидается к прямому проводу. Найти! Спасти во что бы то ни стало!

Сколько дерзости и мастерства потребовал этот полет! На ЗИСе отшлифовали крылья до ювелирного сияния, чтобы уменьшить трение о воздух. Ведущие институты разработали особую технологию производства горючего и смазки. А средства против обледенения, самого страшного врага авиации?! А приборы, новейшее, сложнейшее радиосборудование?! Вершинное достижение науки и техники, сам РД поднимал многие отрасли в новое качество. Недаром шутили, что он полетит от имени и по поручению всего народа... Кажется, все вложили, что могли, и сверх того в этот полет. Пятилетки. Пленумы и съезды партии. Стахановское движение. Мечту Ильича. Бездну изобретательности. Жизни многих и многих людей. Да, становление авиации — на крови. Вновь видится катастрофа «Максима Горького», трагическая гибель Петра Ионовича Баранова...

Теперь, кажется, все предусмотрено, до надувной лодки с неприкосновенным запасом продовольствия на случай вынужденной посадки. Но все предусмотреть невозможно... Еще в ходе подготовки не раз натыкались на глухую стену. Строить РД начали в тридцать втором. Через год взлетел. Небывалый срок для мировой авиации. Громадное крыло служит одновременно баками для горючего. В полете оно напрягается от сил снизу, а тяжесть бензина устремлена вниз и гасит напряжение. Таким образом, совместив баки с крылом, удалось уменьшить его собственный вес и предельно увеличить размах. Получился

как бы планер с мотором. Но каков же должен быть один-единственный мотор, чтобы не подвести в многодневном полете на тринадцать тысяч километров, чтобы оторвать от земли две трехтонные автоцистерны бензина, самого себя и самолет с экипажем — итого одиннадцать с половиной тонн? Один — всего лишь один мотор?! «Фирма» Микулина дала такой мотор. Туполев несколько облегчил задачу: впервые для взлета построили бетонную полосу со стартовой горкой.

Тем временем французские летчики установили новый мировой рекорд. И всю зиму пришлось доводить РД. В сентябре тридцать четвертого экипаж пилота номер один — Громов, Спириин, Филин — семьдесят пять часов летал без посадки по треугольнику Москва — Рязань — Харьков, намного обставив французов. Через сорок лет, в эпоху реактивной авиации, рекорды Громова, установленные на туполевском самолете с микулинским мотором, будут перекрыты лишь на тысячу с небольшим километров...

Но одно дело летать без посадки над своей территорией, где чуть не каждое поле — запасной аэродром, совсем иное — через полюс в Америку. А именно это собирался сделать на РД один из героев чююскинской эпопеи Леваневский. Год назад он, Байдуков и Левченко стартовали, но над Баренцевым морем погнало масло из моторов, в кабине появился угарный газ, едва вернулись. Леваневский отказался повторить полет. И тогда вызвался Чкалов, написал письмо Сталину. Однако решили пока через полюс не летать — опробовать РД в Арктике, вдоль берегов Ледовитого океана. С Чкаловым полетели второй пилот Байдуков и Беляков, штурман, талантливый ученый.

Какое жаркое, какое душное лето выдалось!..

Семь часов вечера... Восемь... Девять... Сбились с ног, но по-прежнему ни слуху ни духу о Чкалове. Эх, зря обидел Толю. Серго пошел к Семушкину. Тому еще тяжелее: он — ученик Чкалова по аэроклубу. Не такой уж юный, не избежал повального увлечения молодежи — небом. Семушкин встал из-за стола, ссадив с колен Вильку. Видно, и сынишка самолетом бредит, пришел отцу посочувствовать.

— Сиди, Анатолий, пожалуйста. Зря накричал на тебя. Извини.
— Разве не понимаю?.. Отыщутся...

Десять часов... Одиннадцать... Половина двенадцатого. Вместе с Гамарником, заместителем наркома обороны, Серго у прямого провода. На Дальнем Востоке уже рассвело. Серго просит командующего Особой Краснознаменной Бюхера бросить все на поиски самолета — и как можно скорее. Бюхер отвечает, что погода мешает подняться самолетам и выйти катерам. Серго злится: что, маршал только при солнышке воевать собирается? Но тут Хабаровск перебивает Москву: последние сведения от коменданта. Серго жадно смотрит на телеграфную ленту. До чего же лениво ползет! Как жаль, что не знаю азбуки Морзе!

— Скажи только: живы?

— Ажур! — улыбается телеграфист. — Сели на острове Удд. Спят.

— Спасибо, дорогой! Уф... Теперь через полюс — в Америку! Ах, какое славное лето выдалось! Теплое, свежее!..

Танки! Танки шли по Красной площади — в вихре знамен, в пылании ликующей меди. А он видел перед собой точно такие танки на улице испанского городка — обгорелые, со сбитыми башнями, с покоренной броней, и рядом обуглившиеся трупы наших танкистов, наших ребят, таких же, как мелькали мимо, пышущие здоровьем и довольством, торжественно застывшие навтыжку в раскрытых люках боевых машин, — таких же, как Петр Кривонос, Валерий Чкалов, Алексей Стаханов. «Отдают мне честь... Стоит ли отдавать мне честь?..» Спрятал те, испанские, фотографии в сейф, но из сердца не выкинешь.

Девятнадцатая годовщина Октября. Слева, на трибуне прессы, всю старались поэты и дикторы. В лязге гусениц, в грохоте оркестра и реве моторов, туговатый как раз на левое ухо, он, конечно, не слышал, что говорили в эфир, да и не старался прислушиваться — и так знал: броня крепка, несокрушимая, непобедимая. Н-да-а... А танки шли и шли — «двадцатьшестерки», уже побежденные Гитлером.

Яснее ясного: хороши были наши «двадцатьшестерки», но теперь... Снаряды пробивают броню, рассчитанную лишь на то, чтобы противостоять пулям. Но ведь мы не сидели сложа руки: на подходе котинский КВ. Хорош, но слишком тяжел... Идут работы над «сто одиннадцатым», многообещающие работы. А маршал, ведающий вооружением, даже в программу правительственного смотра не включает этот самый «сто одиннадцатый». Почему? Да потому, что Кошкин, конструктор танка, высказал маршалу все, что о нем думал. Вообще Кошкин — это фрукт, характер туполевский: тореадора и быка разом. Но гениям надо прощать. А маршал... Слоны, генералы и женщины никогда не прощают обид, говорят французы. Эх! Не к лицу маршалу уподобляться вздорной бабе. Но — так или иначе — ставлю это дело во главу угла, в центр внимания. Послезавтра же еду к Кошкину!

Однако послезавтра у Серго случился сердечный приступ: свалился прямо в Наркомтяжпроме. Все праздники работал, работал — напролет. Уже вечером 7 ноября поспешил не к пышному застолью, а к делам: экстренно собрал богов брони на совет. Тевосян, Завенягин, Бардин, Малышев, Бутенко... Вопрос один: как скорее наладить массовый выпуск новейших танков. Жаль, что нет здесь Макара Мазая. Макар Мазай — сталевар с Мариупольского завода имени Ильича — последнее, самое сильное увлечение Серго. И справедливо. Еще в июне из Мариуполя пришла телеграмма. На имя наркома их приходят тысячи. Но Семушкин сразу выделил ее из общего потока.

В телеграмме начальника мартеновского цеха инженера Снегова говорилось: назначая меня, вы, товарищ Серго, наказывали, чтобы в случае серьезных затруднений я обращался прямо к вам, что я теперь и делаю... Не желая рисковать, руководство завода маринует дерзкое предложение нашего сталевара Мазая — углубить ванну печи и снять с каждого квадратного метра ее пода до двенадцати тонн.

Прежде всего Серго посоветовался с Антоном Севериновичем Точинским: «Возможно ли? Есть ли в мировой практике подобное?» — «Пока нет, но думаю, предложение осуществимо, Снегов серьезный инженер, не прожектор, телеграммы зря слать не станет».

И Серго стал действовать. Подумать только! Можем побеждать не за счет нового строительства, а за счет резкого повышения качества труда, за счет эффективности... Желанные шестьдесят тысяч тонн в сутки хотим получать, снимая с квадратного метра хотя бы по пять с половиной тонн, а тут!.. Предлагается по двенадцать — и... маринуют!

В двадцать три часа тридцать минут инженер Снегов был вызван к аппарату «красной вертушки»: «С вами говорит Орджоникидзе. Здравствуйте! Получил вашу телеграмму. Когда сможете приступить к реконструкции печи? Насколько уверены в успехе?» — «Идем на технический риск, товарищ Серго. Вступаем в конфликт с некоторыми положениями науки. Однако эти положения кажутся нам устаревшими». — «Действуйте смело! Наша поддержка вам обеспечена. А насчет науки помните: наука — не икона, при всем моем уважении». — «Сделаем возможное и невозможное, товарищ Серго». — «Как фамилия сталевара?» — «Мазай». — «Это как у Некрасова — дед Мазай и... Он что, тоже старый? Дед?» — «Нет, ему двадцать шесть, самый молодой сталевар в цехе, комсомолец». — «Отлично! Отлично, что вы, молодые, беретесь за настоящее дело. Желаю успеха».

Беспощаден Серго к тем, кто мешает: «Вы — директор, коммунист или неизвестно что? Почему не сообщили мне о предложении Мазая? Почему маринуете проект инженеров Снегова и Кириллова? Веду-

дителей, не умеющих или не желающих помогать новаторам, будем устранять из нашей индустрии как вышедших в тираж. Это относится и к вам, товарищ бывший — да, да, с этого момента уже бывший — директор, и к вам, также бывший главный инженер».

Новый звонок в Мариуполь: «Говорит Орджоникидзе. Вы Мазай? Комсомолец? Как соревнование? Как ваша бригада? Помогает ли вам дирекция? Вы, наверное, стесняетесь говорить, потому что рядом директор. Не обращайтесь внимания, сталевар должен быть смелым. Говорите все как есть! Звоните мне каждый день после смены...»

Следующую плавку Мазай закончил под утро. И снова телефонный разговор с Серго: «Почему же ты не позвонил, Макар? Я здесь уже начал беспокоиться». — «Да ведь время познее. Я думал, вы давно спите». — «С тобой уснешь! Чудак человек! Я ждал звонка...»

И вот — есть двенадцать тонн с метра. «Поздравляю, дорогой Макар Никитович! Только ты свои секреты не храни, учи других».

А вслед за тем — телеграмма Серго на завод:

«Комсомолец Макар Мазай дал невиданный до сих пор рекорд — двадцать дней подряд средний съем стали у него двенадцать с лишним тонн с квадратного метра площади пода мартовской печи. Этим доказана осуществимость смелых предложений, которые были сделаны в металлургии. Все это сделано на одном из старых металлургических заводов. Тем более это по силам новым, прекрасно механизированным цехам. Отныне разговоры могут быть не о технических возможностях получения такого съема, а о подготовленности и организованности людей. Крепко жму руку и желаю дальнейших успехов комсомольцу Мазая...»

...Вечером 7 ноября просидели допоздна, намечая, как поскорее наладить производство снарядостойкой брони, танковых дизелей и орудий. И 8 ноября посвятил Серго тому же. И 9-е, пока не свалился.

Наконец дорога на танкодром. Замелькали путевые будки. Заспешили телеграфные столбы, щитовые заборы вдоль полотна. Лавочка на станции с размашистой надписью мелом на стене: «Карасину нет». Люди, одеждой напоминающие злую шутку: каких только цветов ткани не выпускаем! — и черные, и серые, и цвета угля, кокса, чугуна... Из окон вагона не так уж много видно. Впрочем, смотря кому. Снега, белая пустыня до горизонта, изредка вспученная то запорошенными, то чернотальными грудями. Редко, ох до чего редко лежат: мало скота — мало навоза — мало хлеба — мало скота... Сказка про белого бычка! Еще один, едва ли не основной заколдованный круг, из которого хоть умри, а вырвись. Как? На чем? На тракторе, конечно, прежде всего. Но маловато гусеничных следов на снегу. И те сколько кривы стоили! Как много сделали! Как мало!.. Недавно праздновали выпуск стотысячного легкового «газика». И как же не праздновать? Но что такое сто тысяч для такой страны? Где следы этих ста тысяч в заснеженной пустыне, открывающейся за окном вагона? Нетронутые снега, степь, да степь, да березовые перелески. Вдали, по горизонту, трусит лошадка с розвальнями. И, должно быть, беспомощным кажется одинокому вознице поезд, натужно старающийся одолеть невозмутимо белую пустыню. Дышит и дышит паровоз, трусит и трусит лошадка. Чудится, будто и лошадка, и скирды соломы, набросанные кое-где, да и сам поезд вмерзли в залитую солнцем бесконечность, и не будет предела этому дорожному томлению. И щемяще дорого все, что видишь. Земля родная — поля и леса, города и веси... Поднять, отстоять, уберечь во что бы то ни стало! Где взять силы, чтобы надеяться? На кого положиться, чтобы верить и любить?

Наплывом, как в кино, сквозь снега проступает лицо Мазая. Представляется до мельчайших подробностей встреча с ним на съезде Советов, ощущается в руке тепло его руки: «Устал, Макар?» — «Когда работается добре, не устаешь». — «Хм. Пожалуй, верно. Расскажи, как вы отдыхаете, какие книги нравятся, как семьи устроены. — И тут же

к директору завода: — Почему бы не помочь Мазая выстроить коттедж?» — «Не надо мне никаких коттеджей. Учиться хочу!» — «Поступишь в Промакадемию. Прекрасно!..»

...Дожили Серго до сорок первого, убедился бы, что не ошибся в Мазая, начнется война — и Мазай оставит Промакадемию, вернется в Мариуполь к своей печи. Потом пойдет сражаться в рабочем отряде. А когда родной город будет захвачен, станет подпольщиком, как когда-то Серго Орджоникидзе. Так же схватят его и будут мучить в застенке. «Либо смерть, либо давай нам сталь». Рановато и не хочется — ох как не хочется! — умирать в тридцать один год... «Я — комсомолец Макар Мазай. Прощайте», — нацарапает на стене одиночки. И... не станет к мартену, у которого так любил работать. Кто скажет, о чем будет он думать в смертный час? Может, встреча с Серго вспомнится? Может, жизненный пример наркома или слова его: «Сталевар должен быть смелым»?..

Снег — белая пустыня, хлесткая поземка. Не производим ни нужной стали, ни нужных дизелей, а танк... Вот он, «сто одиннадцатый», который скоро назовут «тридцатьчетверкой», а потом признают лучшим танком самой большой войны. В нем сплавлены воедино чаяния ученых, конструкторов, рабочих — и Серго. Их судьба и судьбы миллионов людей. А вот и творцы возле своего детища: Кучеренко, Морозов, главный конструктор Кошкин.

С первой встречи Серго разгадал в Кошкине натуру недюжинную, поверил в него, когда содружество конструкторов переживало срывы и провалы. Не дал упасть Кошкину и кошкинцам, не дал их никому свалить. В свое время Кошкина рекомендовал Киров, а это для Серго значило немало. Присматривался к молодому инженеру, с улыбкой читал его личное дело: «Ваше отношение к советской власти? Бился за нее, не щадя крови. Пойду за нее на плаху... Родился 21 ноября 1898 года, а если настоящей мерой мерить, то 7 ноября семнадцатого».

Типичный интеллигент тридцатых годов, Михаил Ильич Кошкин вырос в полунищей семье ярославского крестьянина. В одиннадцать лет лишился отца и «отошел» на заработки в Москву, чтобы прокормить мать с меньшими детьми. Стал мальчиком у кондитера. Вырос — добровольцем в Красную Армию. На фронте вступил в партию. Был ранен. Потом учился в комвузе имени Свердлова, «в порядке партийной мобилизации» пошел учиться в Ленинградский политехнический, он же индустриальный, институт. Спал по три-четыре часа в сутки в тесно заставленной комнатке холодного прокуренного общежития — как Ваню Тевосян, Василий Емельянов, Авраамий Завенягин, как большинство студентов тех пор. Ел не досыта — получал, как все тогда, скудный паек. Учился самозабвенно, днем и ночью наверстывал упущенное в юности, на войне, будто гвозди вколачивал в гроб мировой буржуазии. Да и как же иначе мог учиться он, призванный на учебу в счет «партийной тысячи»?

Блестяще окончил институт по специальности автомобили и тракторы. Несколько различных заводов сразу позарились на молодого инженера, но он выбрал то, к чему лежала душа, что считал наимужнейшим для страны. На Путиловском, ставшем Кировским, конструировал опытные образцы быстроходных и средних танков. Оттого — орден Красной Звезды на груди, но мало радости. Мечтал о большем, бился за свое в наркомате, на военных советах: пора отказаться от колесно-гусеничных, строить настоящие — чисто гусеничные танки. У них давление на грунт меньше, стало быть, выше проходимость. Что, если придется воевать на наших пашнях и болотах!.. Но влиятельных противников у Кошкина больше, чем сторонников: не хотят ломать отлаженное производство, отрешиться от того, к чему привыкли. С большим трудом Серго перевел Кошкина в Харьков — на самостоятельную работу во главе группы перспективного проектирования тан-

ков. Любой промах в нынешней обстановке может слишком дорого обойтись Кошкину, но он не из пугливых: гнет свое, прет против течения, работает, как воевал, как в институте учился.

Человек редкой нравственной силы и чистоты, Кошкин не только выдающийся конструктор — он бесстрашный боец за идею. Вырвавшись далеко вперед, он берет на себя основные нагрузки и никому не дает поблажек, всех истязая работой, не щадя ни близких, ни единомышленников, ни тем более себя самого. Энергичный и настойчивый, Михаил Ильич сплотил союзников: «Ребята! Чтобы сделать машину неуязвимой, приземляйте ее до предела, придавайте такую форму, чтобы вражеские снаряды отскальзывали, рикошетили. Побольше углы наклона брони! Поменьше сложности! Делайте проще, чтобы машина стала доступна любому механику...»

Когда Серго подъехал к опытному танку, стоявшему посреди полигона, Кошкин, в драном замасленном полушубке, в валенках, лежал на снегу и кувалдой подбивал гусеничные пальцы спереди, возле направляющего колеса — ленивца.

— Неужели больше некому?! — раздраженно заметил Серго.

Появление наркомы со свитой, кажется, не произвело на Кошкина особого впечатления: только правым, свободным плечом повел. Спокойно закончил работу, встал, отряхнулся, приподнял со вспотевшего лба танкошлем, по имени-отчеству представил товарищей и помощников, лишь после этого сам подал руку.

Серго смотрел на него виновато и с состраданием, точно знал, что этот танк будет стоить Кошкину жизни, что он, Кошкин, умрет вскоре сорока двух лет от роду, оставив тридцатилетнюю Веру, Верочку, вдоветь с тремя детьми, — умрет, не дожив ни до признания, ни до войны, став одной из первых ее жертв... Нет, не жертвой станет Михаил Ильич Кошкин. В первые дни войны, которую он выиграет до ее начала, харьковский крематорий будет стерт с лица земли фашистскими бомбами, не останется ни могилы, ни урны с прахом, ни бюста, но сотни памятников Кошкину поднимутся над землей...

«Для его славы ничего не нужно, но для нашей нужен он, — словно себя самого укорял Серго. — Почему я позволял, чтобы маршировали мысль Кошкина, заставляли его обивать пороги, часами — бесценными, невозвратимыми! — просиживать в приемных? Почему допускал, чтобы Кошкин, трагически простуженный на испытательных маршах своего танка, жил с семьей в более чем скромной квартире, мало ел и спал, плохо лечился? Эпоха, говоришь, виновата? Я виноват. Нет хуже беды, чем маленький человек на большом посту».

Между тем Кошкин пригласил в кабину походной мастерской — летучки на гусеничном ходу. Подъехали к полевым орудиям — нашим, итальянским и немецким, таким же, как те, что сокрушали в Испании «двадцатшестерки». Молодцеватый командир батареи, в полушубке, перетянутом ремнями, по-волжски окая, отдал рапорт, скомандовал:

— Бр-ронебойным!.. Пр-рямой наводкой!.. Пер-рвое!..

Высекая фонтаны и веера искр, снаряды ударили в танк. Один, другой, третий. Четвертый пролетел мимо, взметнул черноземный смерч. Комбат набрал воздуха, чтобы выругаться, но покосился в сторону высокого начальства, сдержался, скомандовал злее:

— Заряжай!.. Наводи с усердием!.. Залпом!..

Когда возвратились к танку, Кошкин первым выскочил из летучки с мелом в руке. Деловито помечая, стал осматривать повреждения. На башне, на лобовой броне обвел кругами несколько вороненых язвин, окаймленных обгорелой краской, на левом борту корпуса — окаленные вскользь шрамы-ссадины. Довольный, пояснял:

— Это — господину Муссолини наше почтение, это Гитлеру — хрен с кисточкой, а это и наша спецболванка не взяла.

Серго обнял Кошкина, ощутив, какой он легкий, худенький — в

чем душа? Почувствовал неодолимую до слез потребность сказать что-то доброе, доброе — от сердца:

— Прости, дорогой!.. Родина не забудет..

— Сочтемся.— Кошкин смутился, но не отвел взгляда.— Скорей бы его довести, в серию запустить. Время не терпит.

— Обещаю. Не люблю это слово, но...

— Вы на ходу, на ходу его посмотрите! — с гордостью мастерового оживился польщенный Кошкин.— Ласточка! Легкость управления...

— Слушай,— произнес нарком просительно.— Хочу попробовать.

— Нельзя, товарищ Серго. Решением Политбюро вам запрещено...

— Запрещено автомобиль водить, а у тебя.. Ты, надеюсь, понимаешь разницу?

— Здоровье ваше...

— Чудак человек! Твой танк для меня — лучшее лекарство. Дай-ка мне шлем.

Никто не удерживал Серго, даже Семушкин,— все понимали: удерживать его сейчас бесполезно. С великим трудом, но и не без ловкости он протолкал сквозь проем переднего люка полы бекеша, опустил в кресло водителя, осмотрелся в стыллой тесноте, ограниченной сверху пятном плафона, спереди, под люком, светящимися циферблатами часов и приборов. Потер ушибленную о рычаг ногу, нащупал сквозь подметки бурок упруго неподатливые педали. Та-ак... Наводчик, заряжающий уселись. Кошкин стоит на месте командира, позади всех, голова в раскрытом проеме башенного люка.

— Командуй, дорогой.

— Эх, семь бед — один ответ. Люк на стопор! Заводи! К бою! — Последняя команда слышна только в наушниках шлемофона.

Гудит и дрожит все вокруг — и сталь, и воздух, и ты сам. Гусеницы — продолжение твоих рук и ног. Чувствуешь, как они стелются под тебя, как по ним несут тебя катки, оправленные каучуком. Тридцатитонная машина — твои чувства, твоя воля, твои мышцы: возьмешь на себя левый рычаг — подается влево, правый — принимает вправо... Удивление. Восторг. Раздумье. Как хорошо ощущать себя властелином покорной стали, могучей, разумной! Как хорошо вместе с Чоховым! Стоп! С каким Чоховым? Да, Кошкин — это Чохов сегодня. Правильно Кирыч говорил тогда... Кошкин и кошкинцы... Сколько их, Кошкиных-Чоховых, уже встали на защиту отечества! Так-то, господа гитлеры! На всякий холод есть тепло, на всякое зло есть добро.

Нет, не зря Иван Бардин называет Серго человеком наступления, танком прорыва. Вряд ли можно выдумать другую машину, которая была бы так под стать ему, с такой полнотой выражала суть его характера и характер судьбы. Нет, не по голому полю — напрямиком в будущее едем: спасать, защищать, освобождать. Чтобы этот танк был, он, Серго Орджоникидзе, родился, жил, страдал и радовался, любил и ненавидел, изнемогал и надрывался, одолевая беды и саму смерть. Какой шаг решающий на пути к этому танку? Не тот ли, что сделан, когда Ильич учил тебя в Лонжюмо? Или когда вместе готовили Пражскую конференцию? А может, когда, загнанный в Разлив, он показывал тебе, как верить в победу, работать на нее? Или в Октябре? Или когда вместе одолевали нищету, голод, страх и ненависть мечтой о свете над Россией? Ясно одно: ты — от него, от тебя — Кошкин, Кошкины... Впрочем, и нехстати и некогда было задумываться об этом. Да и вообще... Скромнейший из скромных, не слишком-то любил Серго рассуждать о собственной значимости. А тем более сейчас, когда нужно было стараться как можно лучше вести машину.

Танк шел и шел — пер напролом. Иных слов не подберешь. С ходу, с лету разломали проволочные заграждения, одолели овраг с топким незамерзающим ручьем, бетонные надолбы, рельсобалочные ежи, развалили кирпичную стену, затоптали-перемахнули окопы. На

высотке — в молодом сосняке — Кошкин скомандовал остановить машину, изготовиться к стрельбе. Сочувственно посоветовал:

— Вы, товарищ Серго, рот открывайте на всякий случай.

— Ничего, не впервой...

Будто прокатный стан над головой грохнул и откатился — ушам больно, спасибо шлем на голове с наушниками. От четырех оружейных выстрелов танк наполнился едким, колющим глаза дымом. Кошкин, щадя наркомовы легкие, приоткрыл люк.

— Закрой немедленно! — сквозь кашель потребовал Серго. — Пусть все, как в боевой обстановке.

И только расстреляв «вражескую» батарею, двинулись дальше.

— Орудие на корму! — командует Кошкин.

В вихревом гуде Серго различает зубчато скребущее завывание над затылком: башня отворачивается. Впереди бурелом, из него высится выстоявшая ураган сосна. Рука сама подбирает рычаг левого фрикциона, ноге хочется притормозить.

— Куд-да?! — яростно клокочет в наушниках голос Кошкина. — Вперед! А форсаж дядя будет включать? Пр-рямо!

Серго толкает рычажок до упора. Машина кланяется так, что в смотровой панораме исчезает горизонт. Снег, только снег в поле зрения. Поддав под спину, танк выравнивается, словно на волне взмывает, приседая кормой. У-ух!.. Снег бежит навстречу быстрее, еще быстрее, летит. И сосна с ним. Жестко, тряско. Но кажется, и ты летишь. Невесомость. Рев двигателя переходит в басовитый свист, в сплошной секуще-пронзительный выхлоп, в безмолвие. Нет, не безмолвие. Слышно дыхание в наушниках шлемофона. Чье? Кошкина? Не видать, как машина сшибает сосну — только брызги щепы застыт белый свет. Нет, не щепка брызнула — сталь, крупновская, гитлеровская, не выдержала под Москвой, под Сталинградом, под Прохоровкой...

Через два года после смерти Серго, за год до смерти Кошкина их танк будет принят на вооружение — пойдет в массовое производство в Харькове, Сталинграде... Потом от Урала до Праги, от Москвы до Берлина памятниками, подобно чоховской царь-пушке, встанут на пьедесталы «тридцатьчетверки».

И не слишком расположенные к нам стратеги Запада скажут:

«Из всех видов боевой техники, с которыми столкнулись германские войска во второй мировой войне, ни один не вызвал у них такого шока, как русский танк «Т-34» летом 1941 года. Блестящий успех танковой кампании вермахта во Франции в предшествующем году укрепил старательно насаждавшуюся нацизмом веру в немецкое превосходство. Открытие, что «недочеловеки», как нацистская философия пренебрежительно называла русских, сумели создать танки, которые значительно опередили по боевым качествам их собственные, вызвало страх как в верхних, так и в низших эшелонах гитлеровской армии...

Танк «Т-34» своим рождением был обязан людям, которые сумели увидеть поле боя середины двадцатого столетия лучше, чем смог это сделать кто-нибудь другой на Западе...»

А Гудериан, танковый бог Адольфа Гитлера, едва не плененный «тридцатьчетверками» в самом начале великой войны, с горечью признает:

«Видные конструкторы, промышленники и офицеры управления вооружения приезжали в мою танковую армию для ознакомления с русским танком «Т-34». Предложения офицеров-фронтовиков выпускать точно такие же танки, как «Т-34», для выправления в наикратчайший срок чрезвычайно неблагоприятного положения германских бронетанковых сил, не встретили у конструкторов никакой поддержки. Конструкторов смущало, между прочим, не отвращение к подражанию, а невозможность выпуска с требуемой быстротой важнейших деталей «Т-34», особенно алюминиевого дизельного мотора. Кроме

того, наша легированная сталь, качество которой снижалось отсутствием необходимого сырья, также уступала легированной стали русских...»

Как жаль, что эта бешеная гонка вот-вот закончится. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита!

Снег, снег, синяя бесконечность неба.

— Не замерзли, товарищ Серго?

— Что ты, дорогой! Никогда еще не было мне так тепло.

Было это или не было? Может, просто привиделось вьюжной, морозной ночью?..

Он стоял перед Мавзолеем — как раз там, куда через восемь лет упадут знамена со свастикой и — с вензелем «Adolf Hitler». Виднейшие, но без тени симпатии к нам историки признают: фантастические замыслы Советов привели к баснословной действительности. Он не увидит, не услышит это, но ради этого он родился, жил, рвался в будущее. Отмерив первый час его последних суток, пробили куранты на Спасской башне — за метельной мглой, прошитой лучами прожекторов и встречным светом недавно установленной звезды.

Нет, это не время идет — это мы проходим.

— Буду жаловаться на вас в Политбюро,— ворчал старший охраны.

— Извини, пожалуйста. Поедем...

После ужина, уже в постели, Серго вздохнул:

— Дела мои плохи. Долго не продержусь.

— Что ты, успокойся, родной! Просто надо немного беречь себя.

Но ощущение близкой смерти не отпускало. Оно окутывало его. Мрак. Мрак тревоги. Все труднее работать. Страх гнетет людей — и вместо настоящего дела множатся бодрые отчеты о плохо сделанной работе. Уж скорее бы вернулись товарищи из Тагила! Может, все же история с вражескими происками на Уралвагонстрое — недоразумение, случайность? Так хочется верить в это!

— Зиночка! — Прижался к ней, точно спасаясь.

— Ну что ты?! Расскажи лучше, как день прожил.

— А-а!.. Столько еще не сделано, столько «надо», «надо»! Губкин, совсем больной, доказывал: нефть за Уралом есть, Тюмень богаче Баку. А я выслушал не слишком внимательно — больше смотрел на него, чем слушал: такой у него вид. Плакать хочется, когда смотришь. Отправил его домой на машине и закурился. Потом Абрам Федорович приходил. Рассказывал о своем «доме», то есть Ленинградском физико-техническом институте, о своих учениках. Они зовут его «папой Иоффе» — Курчатов, Зельдович, Харитон, кто-то еще. Вот память стала! Институт ведет исследования атомного ядра. Ты понимаешь, Зиночка, что это значит? Им нужен радий, а я смог дать меньше килограмма — весь государственный запас, больше у нас пока нет. А должно быть, черт подери! Дальше. Миша Тухачевский давно звал меня на Садовую-Спасскую, в дом девятнадцать. Там работали энтузиасты, убежденные в возможности осуществить идеи Циолковского. Цандер, Келдыш, Королев... ГИРД — группа изучения реактивного движения. Злые языки расшифровывают: группа инженеров, работающих даром, а то и группа идиотов, работающих даром! А? Чувствуешь? Угадываешь мурло мещанина, его ухмылку? Наверняка гирдовцы нуждались в моей помощи, а я так и не удосужился к ним приехать.

— Не можешь ты объять необъятное.

— Должен! Вон Емельян написал Сталину, чтобы помогли Циолковскому, а я... — Он как бы провалился в колодезь, задышал гулко, прерывисто, тяжело. Увидел все тот же, всегда один и тот же сон — расковку кандалов.

Сияли в ночи огни Днепрогэса. Вовсю, отдуваясь, дышали домны Макеевки, Магнитки, Кузнецка. Печаталась «Правда», где самое ин-

тересное, самое читаемое было: сколько вчера выплавили чугуна и стали, сколько выпустили автомобилей и тракторов. После разговора с наркомом не мог заснуть Сергей Владимирович Ильюшин, вставал с постели, подсаживался к столу, прикидывал, чиркая по бумаге: «Верно ведь! Микулинские моторы позволят поднять бронированный штурмовик, небывалый, невиданный — летающий танк». Не гасли огни в окнах Главсевморпути: Отто Юльевич Шмидт с Иваном Дмитриевичем Папаниным — в который раз! — обдумывали, обсуждали «до гвоздика» детали предстоявшей экспедиции на Северный полюс. Не спали сотрудники лаборатории по реализации изобретения инженера Тихомирова: наконец-то Наркомтяжпром дал опытный образец ракетной установки, которую со временем назовут «катюшей». В кабинетах за рабочими столами прорывались в будущее в мечтах, в озарениях, в свершениях Алексей Толстой, Шолохов, Твардовский. Не спалось Блантеру: что, если положить на музыку вот эти стихи Исаковского: «Расцветали яблони и груши»?..

Люди тридцатых годов собирали резервы души, богатства первых пятилеток от «Катюши» песенной до стреляющей ракетами наперекор смертельной угрозе, принимали собственные страдания и беды как часть страданий и бед человечества, которому можно и должно помочь. Надо выиграть войну до того, как ее начнут — чтобы потомки смогли, в свой черед, отстоять мир до того, как посмеют его порушить.

Серго проснулся, когда сквозь открытую форточку донесся бой курантов. Два. Три... Эх, как трубы нужны! Как не хватает стране труб! А Сталинградский завод... Надо навести порядок. Немедленно. Так не хочется вставать! Тяжело. И настроение паршивое. А Ленин? Разве ему легче было в его последние дни? При всем трагизме положения он не променял бы свою судьбу ни на чью иную. Его звездный час — Октябрь, твой, Серго, — индустриализация... Вставай, не ленись. Время с теми, кто идет вперед...

Превозмог себя, поднялся. Осторожно ступая, заглянул в комнату дочери, подошел к ее кровати. В отсветах кремлевских фонарей и выюжного сияния Троицкой башни было видно, что Этери улыбалась во сне чему-то своему, потаенному и прекрасному, отделившему от него, отца. Выходной день настает — в школу не идти, поиграет в власть, набегается. Ревниво позавидовал безмятежности дочери, независимой жизни.

Жить! Щемит в груди, ломит в душе. Как хочется жить, работать... Как дорого вы обходитесь людям, звездные часы человечества! «Доблестная смерть порождает удесятенную волю к жизни, трагическая гибель — неудержимое стремление к уходущим в бесконечность вершинам. Ибо только тщеславие тешит себя случайной удачей и легким успехом, и ничто так не возвышает душу, как смертельная схватка человека с грозными силами судьбы — эта величайшая трагедия всех времен, которую поэты создают иногда, а жизнь — тысячи и тысячи раз», — вспомнились слова Цвейга.

Плотно притворил дверь в комнату с телефоном, продиктовал дежурному по Наркомтяжпрому телеграмму:

— Сталинград. Красоктябрь. Трейдубу. Восемнадцатого, второго, тридцать седьмого. Три часа двенадцать минут. Отгрузка трубной заготовки января — феврале неудовлетворительная, обеспечьте прокатку, отгрузку трубной заготовки полностью, не допуская просрочек, точка. Впредь трубную заготовку прокатывайте, отгружайте первой половине каждого месяца, исполнение донести. Орджоникидзе.

Возвратился в спальню, лег и тут же заснул.

Жить оставалось четырнадцать часов восемнадцать минут.



АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ



..*

Владиславу Титову.

Сбиты влет, как два подранка.
Может, в давнем далеке
это нам судьба-цыганка
нагадала по руке:
мне — в бою, ему — в забое
пасть на смертных рубежах...

Но была с самой судьбою
хирургия на ножах.
Колдовала хирургия,
проливала сто потов,
чтоб взлететь нам, как другие
Николаев и Титов.

Не осилила природу,
но открыла нам секрет,
как предсказывать погоду
по руке, которой нет.

Если скулы побратима
загорбатят желваки,
это значит, что незримо
он сжимает кулаки.

Да и я взрывной, как порох,
если глянут свысока
те людишки, у которых
где-то есть своя рука.

Или кто-нибудь, как драга,
только тихо, не гремя,
и двумя руками блага
загребают как трема.

Можно честь таким уловом
разменять на пятаки,
потому-то нам с Титовым
это просто не с руки.

Набивать карман обманом,
всех локтями растолкав,
не с руки с пустым карманом,
если в нем пустой рукав.

Сладим мы с любой напастью.
Входят в наш семейный круг
друг по счастью, по несчастью.
А без друга как без рук.

Нашим делом стало слово
горькой правды без прикрас.
У меня стихи готовы,
у него готов рассказ.

Мы вот так, на всем готовом,
проживем наверняка.
А всего у нас с Титовым
на двоих одна рука.

ДЖОН АПДАЙК

★

КРОЛИК РАЗБОГАТЕЛ*

Роман

Вода. Кролик не доверяет этой стихии, хотя маленькое, бурое, круглое, как циферблат, озеро, чьи воды лижут песчаный пляж перед стареньким домом Спрингеров в Поконах, выглядит приветливым и покорным, и он плавает там каждый день до завтрака, до того как проснется Дженис и пока мамаша Спрингер в своем стеганом халате хлопочет у старой керосинки, готовя утренний кофе. В будни, когда здесь мало народу, он идет по крупному, специально завезенному песку, завернувшись в полотенце, и, бросив взгляд направо и налево, на коттеджи, соседствующие с их домиком среди сосен, погружается в озеро голышом. Какая роскошь! Серебристый холод обволакивает бедра, пронизывает насквозь. Мошки, кружащие над поверхностью воды, разлетаются и снова слетаются, когда он взмахивает рукой, прорезая жидкую застылость, и вправо и влево к глинистым, испещренным корягами берегам бегут от него круги. Если час ранний, на глади озера лежит дымка тумана. Гарри никогда не любил рано вставать, но теперь увидел в этом смысл — ты с самого начала вступаешь в день, до того, как он зашагал, и ты шагаешь вместе с ним. В туманной дымке чувствуется вечерний холодок, незагрязненная свежесть мира, просыпающегося вместе с ним. Мальчишкой Кролик никогда не ездил в летние лагеря — наверное. Нельсон прав, они были слишком бедные, родителям никогда не приходило в голову посылать его туда. Раскаленные, потрескавшиеся тротуары и пыльная площадка для игр в Маунт-Джадже были его уделом летом, а несколько поездок на побережье в Джерси, предпринятых родителями, остались в его памяти почти как пытка — эти часы, проведенные на захолустных дорогах в старой колымаге «модель А», а потом в грязно-коричневом «шевроле», где к жаре добавлялось раздражение, которое выплескивали его мать и сестра, а отец сидел, согнувшись, за рулем, веснушчатая тощая шея его сзади была вся мокрая, тогда как Гарри смотрел в окно на пролетавшие мимо городки Нью-Джерси, похожие, словно искаженное эхо, на его собственный городок, его собственную жизнь, по которой он начинал скучать уже через час. Городок за городком молча демонстрировали ему, сколь жалка его жизнь, более или менее повторяемая миллионами обитателей этих поселений, где дома, и веранды, и деревья были издевательски ми слепками с тех, что стояли в Маунт-Джадже, и питали иллюзии других мальчишек, что они пуп земли, что существование их важно, полно смысла и кем-то любовно оберегается. Гарри смотрел на девчонок, шагавших по тротуарам, мимо которых они проезжали, и думал, которая из них станет его женой, а он свою судьбу видел в том, чтобы уехать из Маунт-Джаджа и жениться на девушке из другого городка. Поток машин по мере приближения к побережью становился все гуще, остервенелее, ближе к столичному. Машины с их блеском, их выхлопами всегда казались ему чем-то жестоким. Прибыв наконец на побережье под возмущенные возгласы: на стоянке для машин ни одного свободного места, слушатель в купальне грубит, — они чопорно проводили несколько часов на незна-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

комом пляже, где сухой песок обжигал ноги и забирался в купальный костюм, а мокрое ребристое дно океана там, где вода отступила, издавало бесконечно мертвечный запах, запах широко раскинувшей свои владения смерти. От каждой найденной раковины слегка воняло этим кошмаром...

Итак, Кролик ни разу не отдыхал на курорте, когда впервые приехал в этот коттедж, который Фред Спрингер купил под конец своей жизни — после того как благодаря лицензии на продажу «тоёт» стал уже не просто торговцем подержанными машинами, после того как его единственная дочь вышла замуж и повзрослела. Гарри и Дженис обычно приезжали сюда на неделю — погостить. Места здесь было совсем мало, и в отношениях быстро возникла напряженность — притом что Нельсон, весь искусанный мошкаррой, после первого же дня принимался ныть. Когда же старик Спрингер умер, Гарри стал тут хозяином и наконец понял, что природа — это не только нечто такое, что пробивается сквозь трещины тротуаров и держит фермеров безвылазно в захолустье, но это эликсир, роскошь, которую в наш нечистый век счастливики могут купить, огородить и поддерживать в чистоте. Конечно, этот пятикомнатный, крытый темной дранкой коттедж, который мамаша Спрингер сдает в аренду на все лето, кроме трех недель августа, и, если удастся, снова сдает на охотничий сезон, не идет ни в какое сравнение с островерхими особняками, охотничьими домиками и курортными отелями, которых полно в округе и которые либо постепенно приходят в упадок, либо сносятся строителями: но позади коттеджа — два акра леса, у него свой причал с лодкой, что дает возможность Гарри устраивать свою жизнь по выбору, как, скажем, выбирают блюда в меню или лоснящийся фрукт в вазе. Здесь, в Поконах, еда, физические упражнения и сон не вытеснены на задворки, а занимают весь день, становясь чем-то безмерно важным... Гарри любит здесь все и уже не впервые за свою жизнь старается привести себя в состояние гармонии с переплетением простых фактов, из которых состоит его существование и которые от рождения заложены в нем. Можно же, наверное, жить хорошо.

Он старается не налегать на джинн и закуску. Он плавает, и слушает воспоминания мамаша Спрингер за утренним кофе, и каждый день ездит за Дженис в поселок за покупками. По вечерам они втроем играют в безик при ярком свете напольных ламп со штативами... Он не любит удить рыбу и не очень любит играть с женой в теннис против одной из пар, которые, как и они, могут пользоваться кортом для домовладельцев — старым прямоугольником из глины среди сосен, с закраинами, покрытыми бурными иглами, и с провисшей, точно мокрое белье, проволочной оградой. Дженис ведь каждый день практикуется в «Летающем орле», и рядом с ее сильным грациозным телом он чувствует себя нескладным и неуклюжим...

И сейчас, ожидая очередной подачи, он думает: что же он все-таки сделал со всей жизнью, которая уже наполовину прошла? Он был хорошим сыном своей матери, потом хорошим, с точки зрения зрителей, игроком в баскетбол, хорошим малым, с точки зрения Тотеро, своего старого тренера, который считал, что в Кролике есть что-то особое. И Рут тоже считала, что в нем есть что-то особое, хоть и видела, что это исчезает. Какое-то время Гарри сражался со страхом смерти, потом плюнул и стал работать. А теперь столько людей вокруг умерло, что он испытывает ко всем живым чувство товарищества. Он любит этих людей, которые вместе с ним находятся в замкнутом прямоугольнике теннисного корта. Эд и Лоретта; Эд — подрядчик из Истона, специализирующийся на установке компьютеров. Гарри любит деревья над головой и августовское голубое небо над ними. Что он знает? Он никогда не читает книг — только газеты, чтоб было э чем говорить с людьми, да и то главным образом хронике, к примеру: куда еще поедет шах и насколько он в действительности болен и про того доктора из Балтимора. Гарри любит природу, хотя и не знает толком, что как называется. Это — сосны, или ели, или пихты? Он любит деньги, хотя не понимает, как они притекают к нему или как утекают. Он любит мужчин, которые не обращают внимания на свои животы и красные морщинистые шеи, но не знают, о чем говорить, когда игра кончена, какой бы она ни была. До чего же пошлой мы делаем жизнь! И тем не менее мозг — удивительная штука, такую машину никто не может сделать, хотя, по словам Эда, есть компьютеры, которые занимают целую

комнату, а тело — оно может выполнять тысячу функций, которые ни один завод в мире не может воспроизвести. Гарри любил спать с женщинами, хотя теперь все больше и больше предпочитает лишь рисовать себе это в мыслях — пусть молодежь этим занимается, встречается в барах и в машинах, просто удивительно, до чего много их развелось: идешь по улице или стоишь в очереди в кино — и часто оказываешься вроде бы самым старым... По вечерам ему случается произнести несколько слов молитвы, но вообще между ним и богом как бы установилось суровое перемирие.

Он начал бегать. Сначала тяжело топал в лесу по старым проселкам и тропинкам для верховой езды в теннисных туфлях, порывевших от глинистой пыли, а потом в синих с золотыми полосками кроссовках, купленных в спортивном магазине в Страудсберге специально для этой цели, — туфлях для бега со скошенными на носу и на пятке подошвами, подошвами в упругих кружочках, которые, точно спрессованные пружинки, с силой подбрасывают его вверх, и он бежит — все легче, и быстрее, и ровнее. Сначала он чувствует, каким смертельным грузом давит его вес на сердце и легкие, а мускулы ног так болят по утрам, что он с трудом выползает из постели и громко смеется от удивления. Но по мере того как идут дни и он бегаёт после ужина прохладными ранними вечерами, когда еще не весь свет исчез из леса, тело его привыкает к этому новому требованию, ноги становятся крепче, вес не так тяжел, грудь набирает больше воздуха, ветки проносятся мимо ушей точно на крыльях, и он увеличивает расстояние, со временем доводит его до полутора миль: за одну перекидку песочных часов он добегаёт до ворот старого поместья, преграждающих дальнейший путь. Угольный замок — так именуют поместье местные жители — был построен угольным магнатом из Скрантона и теперь почти заброшен его развехавшимися по миру и в значительной мере вымершими потомками: из бассейна спущена вода, теннисные корты заросли, вся жизнь ушла отсюда. В охотничьем домике олени головы смотрят стеклянными глазами сквозь паутину; большой главный дом с его остроконечными шиферными крышами и зеркальными стеклами в окнах заколочен; правда, десять лет тому назад, по словам обитателей городка, один из внуков владельца пытался устроить тут коммуны. Судя по рассказам, молодежь привела поместье в жуткое состояние, продала все, что можно было сдвинуть с места, включая двух бронзовых бронтозавров, символов угольной эры, охранявших вход. Тяжелые чугунные ворота, ведущие в Угольный замок, обмотаны двойной цепью с висячим замком; Кролик дотрагивается до металла, преграждающего вход, устраивает себе секундную передышку, в то время как мир вокруг все еще бежит и ноги Кролика отзываются на это дрожью, затем поворачивается и трусит назад, стараясь ни о чем не думать и не замечать своего натруженного тела...

Последние сто футов — вверх по дорожке к накренившемуся крыльцу — Кролик бежит как спринтер. Он открывает затянутую сеткой дверь и чувствует, как гнилые доски прогибаются под ним. Молочные стекла в старых керосиновых лампах, которые считаются теперь антиквариатом и ценятся все дороже, дрожат, как стекла в буфете. Из кухни, шлепая босыми ногами, появляется Дженис и говорит:

— Гарри, ты же весь красный.

— Я... я... в порядке.

— Садись ты. Ради всего святого. Ну для чего ты себя тренируешь?

— Для эстафеты, — еле выдыхает он. — Так здорово. Жать и жать. Чувствовать границы своих возможностей.

— Слишком ты сильно жмешь, на мой взгляд. Мы с мамой решили, что ты заблудился. Мы хотим сыграть в безик.

— Мне необходимо принять душ. Плохо в этом беге то, что ты весь потный.

— Я все-таки не понимаю, что ты пытаешься доказать...

— Сейчас или никогда, — говорит он ей, чувствуя, как кровь приливает к мозгу и начинает играть фантазия. — Там кое-кто хочет прикончить меня. Я могу сейчас сдаться. Или бороться.

— Кто хочет прикончить тебя?

— Уж кому-кому, а тебе это известно. Ты же его высидела.

Горячую воду здесь подает маленький электронагреватель — первые несколько минут течет кипяток, потом вода мгновенно охлаждается. «Вполне можно убить кого-то,— думает Гарри,— если выключить холодную воду, пока человек в душе»... Пройдя в спальню, которая отведена им с Дженис, он надевает жакетские шорты, пеструю, под крокодила рубашку и мягкую джинсовую куртку «Леви», стиранную и высушенную в механической прачечной в городке. Он натягивает одну отутюженную вещь за другой — так укладывают плитки кафеля, создавая ровную поверхность,— и постепенно приходит в хорошее настроение. Когда он садится на кровать, чтобы натянуть свежие носки, красный луч закатного солнца пробивается в бреши между соснами и словно нож врезается между пальцами его ног... До чего же хорошо жить. Гарри спускается вниз и для полного счастья разжигает огонь — пусть и четвертая стихия служит ему. Мамаша Спрингер, не желая отставать от времени, купила новую дровяную печку... Гарри кладет несколько сухих веток, найденных у коттеджа, поверх спортивной страницы, вырванной из филadelphийского «Бюллетеня», и смотрит, как они разгораются, смотрит, как воспламеняются и чернеют слова «Орлы наготове», потом буквы белеют, превращаясь в пепел; затем он подбрасывает несколько месяцевидных чурок плодовых деревьев, которые один местный деревообделочник продает за воротами своей фабрички бушелями. Огонь потрескивает в темноте, когда Дженис и ее мамаша, вымыв посуду, входят в комнату и вытаскивают колоду карт для безика.

Мамаша Спрингер сдает карты и говорит, произнося слова раздельно, в такт раскладываемым картам:

— Мы с Дженис говорили, мы считаем, право же, это неразумно — так богат в твоём возрасте.

— Именно в моём возрасте это и надо делать. Настало время заботиться о себе, до сих пор я на себя поплеывал.

— Мама говорит, тебе надо сначала проверить сердце,— говорит Дженис.

Она надела свитер и джинсы, но ходит по-прежнему босиком. Он бросает взгляд на её ноги под карточным столом. Какие ровные у неё пальцы... Ему это нравится — то, что здесь, в Поконах, она часто выглядит как мальчишка. Товарищ по играм. Это напоминает ему ту пору, когда он мальчишкой гостил у какого-нибудь товарища...

— Ты же знаешь,— говорит мамаша Спрингер,— что твоего отца свело в могилу сердце.

— Он многие годы страдал,— говорит Гарри,— от множества всяких хворей. Ему было семьдесят. Пора было и на покой.

— Ты, пожалуй, так не скажешь, когда настанет твой срок.

— Последнее время я думал о том, сколько людей я знал, которых уже нет,— говорит Гарри, глядя в свои карты.

— Кого ты имеешь в виду, Гарри? — спрашивает Дженис.

Она боится, что он имеет в виду Бэки. Но он редко думает об их мертвом ребенке...

— О-о, главным образом папу и маму. Интересно, смотрят ли они на нас. Большую часть жизни так стараешься привлечь к себе внимание родителей, что как-то жутковато жить без них. Я хочу сказать — кому до тебя дело?

— Многим людям,— говорит Дженис с нелепым пылом.

— Ты не знаешь, каково это,— говорит он ей.— Твоя мама пока жива.

— Ещё какое-то время,— говорит Бесси и выкладывает на стол трефового туза. Ловким движением загребая взятку, она произносит:— Отец твой был хороший работник, никогда не задирали носа, а вот твою матушку, должна признаться, я всегда терпеть не могла. И собой нехороша была, и язык как бритва.

— Мама! Гарри любил свою мать.

Бесси с треском выкладывает червонного туза.

— Ну, я думаю, так оно и должно быть — по крайней мере, говорят, что сын должен любить свою мать. Но я жалела его, когда она была жива. Она внушала ему слишком уж высокое мнение о себе, а опоры такой, как мы с Фредом тебе дали, дать не могла.

Она так говорит о Гарри, будто он тоже покойник.

— Я ведь еще тут, вы не заметили,— говорит он, выкладывая самую мелкую червонную карту, какая у него на руках...

— Я знаю, что ты тут, я и не говорю ничего такого, чего не могла бы сказать тебе в лицо... У вас с Дженис, когда вы начинали жизнь, все было бы иначе, если бы не Мэри Энгстром, да и потом, десять лет назад тоже ничего бы не было... Слишком она много о себе воображала, вот что.— В лице мамыши Спрингер появляется такая истовость, как бывает у женщин, ненавидящих друг друга. Впрочем, и мама не очень высоко ставила Бесси Спрингер: «...жалкая выскочка, женила на себе этого плута, да у нее мозгов столько, что по скородке не размажешь, а живет в большущем особняке на Джозеф-стрит и на всех свысока смотрит. Кёрнеры — они же из фермеров, сами обрабатывали землю, да и землю-то бросовую: ферма ведь у них в горах была».

— Мать Гарри была прикована к постели, когда у нас сгорел дом. Она же умирала.

— Умирать-то умирала, а успела заварить кашу до того, как уйти на тот свет. Если бы она дала вам самим разобраться в своих отношениях с другими людьми, никогда бы вы не разошлись и не было бы всего этого горя. Завидовала она Кёрнерам с самого первого дня... А вот твоя сестра, Гарри, вся пошла в отца... Кстати, что слышно от твоей сестры? — спрашивает мамаша вежливости ради, глядя снова в свои карты. Тени от очков в замысловатой оправе падают ей на лицо, и она выглядит старше, изможденнее, когда не надувается от гнева.

— У Мим все отлично. Держит парикмахерскую в Лас-Вегасе. Богатеет.

— Я и наполовину не верила тому, что люди говорили про нее,— с рассеянным видом заявляет мамаша.

У Дженис кончились тузы, и она кладет пикового короля под туза, который, по ее расчетам, на руках у Гарри... Гарри выкладывает ожидаемого туза и, тотчас почувствовав себя хозяином положения, спрашивает мамашу Спрингер:

— А в Нельсоне, по-вашему, много от моей матери?

— Ни чуточки,— с довольным видом произносит она и с треском кроет козырем его пиковую десятку.— Ни единой капли.

— Как мне быть с парнем?— вопрошает он. Точно это не он, а кто-то другой произнес. Сквозь сетку на окне в комнату проникает туман.

— Будь к нему терпимее,— откликается мамаша со все еще победоносным видом, хоть и начинает ощущать недостаток в козырях.

— Будь потеплее,— добавляет Дженис.

— Слава богу, он в будущем месяце отчалит назад в колледж.

Их молчание заполняет коттедж, как холодный воздух с озера. Сверчки.

— Вы обе что-то знаете, чего я не знаю,— осуждающе говорит он.

Они этого не отрицают.

Он решает прощупать почву:

— А что вы обе думаете о Мелани? По-моему, она угнетающе действует на парня.

— Гарри,— говорит ему Дженис,— проблема не в Мелани.

— Если хотите знать мое мнение,— заявляет мамаша Спрингер так решительно, что оба понимают: она хочет переменить тему,— слишком уж Мелани тут у нас расположилась.

На экране телевизора красотки сыщицы гонятся за торговцами героином на целом караване дорогих машин, которые скользят и с визгом затормаживают, перелетают через прилавки с фруктами, сквозь огромные стекла витрин, и наконец две машины сталкиваются, в них врезается третья, крылья и решетки сплющиваются в замедленной съемке, затем все замирает, и справедливость торжествует...

Нельсон надевает джинсовую куртку, купленную в бруэрской лавке, специализирующейся на перепродаже поношенной одежды полевых рабочих и пастьухов. Стоила она в два раза дороже новой.

— Мы с Билли тут обделяем одно дельце,— говорит он Мелани.— Там еще один парень будет. Мне надо ехать.

— А я не могу с тобой?

— Ты же завтра работаешь, верно?

— Ты знаешь, что я не большая любительница спать. Спать — это давать волю телу.

— Я ненадолго. Почитай одну из своих книжек. — Он хихикает, передразнивая ее.

— А когда ты последний раз писал Пру? — спрашивает его Мелани. — Ты не отвечал ей эти дни.

Ярость снова вспыхивает в нем — узкая куртка да и сами обои этой комнаты давят на него, стискивают, и он словно бы становится меньше и меньше.

— Да разве можно отвечать на все ее письма, она же пишет по два раза каждый чертов день — газеты и те реже выходят. Господи, чего только она мне не сообщает — и свою температуру, и что она ела...

Письма ее напечатаны на машинке, на украденной бумаге со штампом Кента, страница за страницей без единой пометки.

— Она думает, тебя это интересует, — с укором говорит Мелани. — Ей одиноко, и она боится.

— Она боится, — повышает голос Нельсон. — А чего ей бояться? Я тут в целости и сохранности, с таким сторожевым псом, как ты, даже в город съездить не могу выпить пива.

— Поезжай!

Ему становится стыдно.

— Честное слово, я ведь обещал Билли: он привезет с собой этого парня — у его сестры спортивный «Триумф» семьдесят шестого года выпуска, который прошел всего пятьдесят пять тысяч.

— Так и поезжай, — спокойно говорит Мелани. — А я напишу Пру и объясню, что ты слишком занят.

— Слишком занят, слишком занят. Ради кого я все это делаю как не ради этой дуры Пру, чтоб ей пусто было!

— Не знаю, Нельсон. Честное слово, не знаю, что ты делаешь и ради кого ты это делаешь. Знаю только, что я нашла работу, как мы договаривались, а ты ничего не сделал, разве что в конце концов заставил своего несчастного отца дать тебе работу.

— Моего несчастного отца! Несчастного отца! Послушай, кто, по-твоему, посадил его на это место? Кто, по-твоему, владеет компанией — моя мать и бабка владеют, а мой папаша просто их представитель и при этом чертовски плохо справляется со своим делом. Теперь, когда Чарли выдохся, там вообще не осталось ни одного энергичного или предприимчивого человека. Руди и Джейк — просто пешки. А мой отец доведет дело до ручки, и это грустно.

— Можешь говорить что хочешь, Нельсон, и то, что Чарли выдохся, тоже, хотя, по-моему, мне об этом лучше судить, но я что-то не видела у тебя особого стремления стать человеком ответственным.

Он замечает — хотя от досады и чувства вины еле сдерживает слезы, — что в ответ на его упоминание об отсутствии «предприимчивого человека» она намеренно заявила, что его нельзя назвать человеком ответственным. С такими, как Мелани, у него всегда отнимается язык.

— Ерунда, — вот все, что он может сказать.

— У тебя полно эмоций, Нельсон, — говорит она ему. — Но от эмоций до действий далеко. — Она смотрит на него в упор, словно гипнотизируя, только раз моргает.

— О господи! Я же делаю все так, как вы с Пру хотели.

— Вот видишь, как работают твои мозги — ты все переключиваешь на других. Мы вовсе не хотели, чтобы ты что-то делал, мы хотели одного — чтобы ты вел себя как взрослый. Там у тебя вроде бы не получилось, вот ты и вернулся сюда, чтобы включиться в реальную жизнь. Но я не вижу, чтобы у тебя и здесь это получалось. — Когда она вот так хлопает ресницами — ну прямо кукла, кажется даже, что она полая внутри, — так и хочется стукнуть ее и проверить. — Чарли говорит, — продолжает Мелани, — что ты слишком жмешь на покупателей и этим их отпугиваешь.

— Их отпугивают эти паршивые японские жестянки, которые стоят целое состояние из-за курса поганой иены. Я бы себе такую никогда не купил и не понимаю, почему кто-то должен покупать. Здесь же все-таки Детройт. Но Де-

тройт всех подвел: миллионы людей могли бы получить работу, если бы Деройт выдумал пристойный автомобиль, а эти задницы ни черта не делают.

— Не ругайся, Нельсон. На меня это не производит впечатления.— Она смотрит на него в упор, и белки глаз у нее такие большущие — перед его глазами встают полные белые полушария ее груди, и у него сразу пропадает интерес продолжать спор, а то она не станет утешать его в постели... Улыбаясь плоской улыбкой Будды, эдакого Будды с полой головой, Мелани говорит:— Поезжай поиграй с другими мальчиками, а я останусь здесь и напишу Пру и не скажу ей, что ты назвал ее дурой. Но мне начинает очень надоедать, Нельсон, покрывать тебя.

— Ну а кто тебя об этом просил? У тебя ведь есть свой интерес быть тут.

В Колорадо она спала с женатым мужчиной, партнером того субъекта, на которого Нельсон собирался работать летом — строить кооперативные домики в этом лыжном краю. Жена этого человека начала поднимать шум, хотя сама была не без греха, а другой парень, с которым встречалась Мелани, задумал стать поставщиком кокаина шикарной публике в Аспене, однако не обладал для этого ни достаточным хладнокровием, ни контактами. так что впереди его, видимо, ждала тюрьма либо ранняя могила — в зависимости от того, на какую ногу он споткнется. Парня звали Роджер, и Нельсону он нравился, нравилось, как он шагал рядом, словно этакий тощий желтый пес, который знает, что его сейчас отшвырнут пинком. Этот Роджер и приобщил их всех к планеризму — Мелани рисковать не хотела, а вот Пру на удивление охотно этим занялась и все шутила, что таким путем можно решить все их проблемы... С Мелани Нельсон встретился на лекции по географии религий: синтоизм, шаманство, джайнизм¹, различные старинные суеверия, распространявшиеся по свету, если судить по картам, нахлестываясь друг на друга, точно вспышки эпидемии, а в некоторых случаях разраставшиеся,— уж больно в отчаянном состоянии находится сейчас мир. Пру не училась с ними — она была машинисткой в архиве Рокуэлл-Холла; Мелани познакомилась с нею во время кампании, организованной Студенческой лигой за демократический Кент, стремившейся вызвать недовольство среди сотрудников университета, особенно секретарш. Обычно такой дружбе приходит конец, как только начинается новая кампания, но Пру к ним прилепилась. Что-то ей было нужно. Нельсона привлекала в ней ушербная кривая усмешка, словно ей тоже трудно было крутиться у всех на виду,— не то что эти бойкие ребята и девчонки, которые от телевизора шли прямиком в класс и, что бы ни происходило в реальном мире, продолжали молоть языком. И еще ему нравились ее крепкие длинные руки машинистки — такие руки были у его бабушки Энгстром. Отправляясь на Запад, она взяла с собой портативную машинку «ремингтон» в надежде найти какую-нибудь внештатную работу в Денвере, потому она и слала ему напечатанные на машинке письма, в которых сообщала, когда легла спать, и когда проснулась, и когда ее тошнило, а он вынужден был писать ей от руки, чего он терпеть не может — такие у него детские каракули. Этот поток безупречно написанных писем потрясает его — он же не знал, что такое начнется половодье. Девчонки вообще почему-то легче пишут, чем мальчишки...

— Так что ты хочешь, чтобы я сказала Пру в своем письме?

— Не знаю... Скажи — пусть держится.

Мелани говорит:

— Она и держится, Нельсон, но она не может держаться вечно. Я хочу сказать, теперь-то уже видно. Да и я тоже не могу здесь торчать до бесконечности. Мне еще надо заехать к маме до того, как вернуться в Кент.

Все настолько усложняется, стоит слову слететь с его губ, что он настороженно прислушивается даже к тому, как дышит.

— А мне нужно добраться до «Берлоги», прежде чем все оттуда уедут.

— Ох да поезжай ты Поезжай же. Но я хочу, чтобы завтра ты помог мне навести здесь порядок. Они возвращаются в воскресенье, а ты ни разу не прополос огород и не подстриг траву на лужайке.

Подъехав на легком в управлении старом «Ньюпорте» мамыши Спрингер по Джексон-стрит к перекрестку с Джозеф-стрит, Гарри прежде всего видит свою

¹ Одна из религий Индии.

томатно-красную «Корону», стоящую перед домом,— она выглядит как новенькая и при этом начисто вымыта. Значит, ее наконец-то отремонтировали. Молодец парень, что велел ее вымыть. Это говорит даже о любви. Прилив раскаяния за недоброе отношение к Нельсону стремительно затопляет его, приглушая чувство счастья, какое он испытывает от возвращения в Маунт-Джадж этим сверкающим воскресным днем в конце августа, когда в воздухе пахнет сухой травой, как на футбольном поле, а клены того и гляди наденут золотой наряд. Лужайка перед домом, даже этот неудобный кусочек земли возле кустов азалии и полоска травы между дорожкой и тротуаром, где на поверхность вылезают корни и приходится действовать садовыми ножницами,— все подстрижено. А Гарри знает, как натирают ладонь эти ножницы. Когда Нельсон появляется на крыльце и выходит на улицу помочь с багажом, Гарри пожимает ему руку. Он уже собрался расцеловать парня, но насупленное выражение на лице Нельсона отпугивает его — ему так хотелось быть поприветливее с сыном, но его порыв захлебывается и тонет среди какофонии приветствий. Дженис обнимает Нельсона и менее крепко — Мелани. Мамаша Спрингер, распаренная ездой в машине, позволяет обоим молодым людям поцеловать себя в щеку. Оба приоделись ради такого случая: Мелани — в полотняном костюме персикового цвета, который Гарри у нее не видел, а Нельсон — в сером костюме из плотной синтетической ткани, какого — это уж точно — у мальчишки раньше не было. Новый костюм для роли продавца. Общее впечатление какое-то трогательно-торжественное, а в наклоне тщательно причесанной головы малыша отец с удивлением видит сходство с покойным Фредом Спрингером — только Нельсон выглядит артистичнее.

Мелани кажется ему выше — высокие каблуки. Своим приятным певучим голосом она говорит, поворачиваясь к мамаше Спрингер:

— А мы ходили в церковь. Вы ведь сказали по телефону, что постараетесь приехать к службе, и мы решили устроить вам сюрприз, если вы пойдете.

— Я никак не могла их вовремя поднять, Мелани,— говорит Бесси.— Они ворковали там у себя наверху, как голубки.

— Это все горный воздух, только и всего,— говорит Кролик, протягивая Нельсону сумку с грязным постельным бельем.— Мы же как-никак приехали отдыхать, и мне вовсе не хотелось в последний день вставать на заре только для того, чтобы мамаша могла есть глазами этого пригостишки.

— Он не показался мне таким уж пригостишкой, пап. Просто у всех проповедников такая манера говорить.

— А мне он показался очень радикальным,— произносит Мелани.— Как завел про богачей, которым-де придется пролезать сквозь игольное ушко, так остановиться не мог.— И, обращаясь к Гарри, замечает:— А вы похудели.

— Бегал как идиот,— говорит Дженис.

— А потом не обедал каждый день в ресторане,— говорит он.— Слишком много в этих ресторанах дают. Просто обираловка.

— Мам, не споткнись о тротуар,— вдруг вскрикивает Дженис.— Дать тебе руку?

— Я по этому тротуару хожу уже тридцать лет, можешь мне не напоминать, что он тут.

— Нельсон, помоги маме подняться по ступенькам,— тем не менее говорит Дженис.

— «Корона» здорово выглядит,— говорит малому Гарри.— Лучше новой.— Он, правда, подозревает, что эта досадная неполадка в руле так и не исправлена.

— Я по-настоящему насел на них, пап. Мэнни все откладывал починку, потому что это твоя машина, а тебя нет. А я сказал ему, что хочу, чтобы к твоему приезду машина была готова, точка.

— Прежде надо обслуживать тех, кто платит,— говорит Гарри, смутно чувствуя необходимость защитить своего начальника отдела.

— Мэнни — подонок,— бросает малый через плечо, протискиваясь с бабушкой и сумкой в дверь дома под веерообразным витражом, где среди переплетения свинцовых листьев стоит номер 89.

Следом за ними с чемоданами идет Гарри. За время отсутствия дом немно- го стерся в его памяти.

— Ох! — тихо произносит он. — Ну и запах — точно старая туфля.

Мамаша должным образом оценивает чистоту, цветы, срезанные с бордю- ров и расставленные в вазах на буфете и на столе в столовой, вычищенные ков- ры и выстиранные и отутюженные чехлы на ворсистом сером диване и таком же кресле.

— Здесь не было такой красоты, с тех пор как Фред разругался с нашей уборщицей, старой Элси Лорд, и нам пришлось ее отпустить...

Нельсон стоит возле Гарри — как никогда близко.

— Пап, кстати, о делах, я хочу тебе кое-что показать.

— Ничего мне не показывай, пока я не подниму эти чемоданы наверх. Про- сто поразительно, сколько нужно человеку всякого барахла только для того, чтобы походить босиком в Поконах.

Дженис входит с улицы, открывая с треском кухонную дверь.

— Гарри, ты бы посмотрел огород — там все так чудесно прополот! Салаг вырос мне до колен, а кольраби стала просто огромной!

Гарри говорит молодым людям:

— Вы бы ели ее, а то она делается водянистой, когда перерастет.

— Кольраби, — мечтательно произносит Мелани. — Я все думала, что это такое, а Нельсон говорил мне, что это репа. В кольраби много витамина С.

— Как поживают нынче блины? — спрашивает Гарри...

— Отлично. Я уже подала заявление об уходе, и остальные официантки собираются устроить мне прощальную вечеринку.

Нельсон говорит:

— Она только и ходит по вечеринкам, пап. Я почти не видел ее, пока мы жили тут вдвоем. Твой дружок Чарли Ставрос все время приглашает ее — он и сегодня за ней придет.

«Ах ты бедный слабак», — думает Кролик. Почему это парень так льнет к нему? Он даже слышит его возбужденное дыхание.

— Он везет меня в Валли-Фордж, — поясняет Мелани; глаза у нее озор- но блестят, скрывая тайну, которую Кролику теперь, наверное, никогда не уз- нать. Девчонка выходит из игры — умная девчонка. — Я ведь скоро уеду из Пенсильвании, а так толком и не видела ее достопримечательностей, и вот Ча- рли так мило предложил свозить меня в некоторые места. В прошлый уик-энд мы ездили туда, где живут менониты, и видели всех этих психов.

— Ужасно унылое зрелище, верно? — на ходу говорит Гарри. — Преме- рзкие люди эти менониты — премерзко относятся и к детям, и к животным, и друг к другу.

— Папа...

— Во всяком случае, Филадельфия в августе — это зрелище. Этакое бо- лото, кишашее несчастными людьми. Там человеку перерезать горло — раз плюнуть.

— Мелани, мне так жаль, что ты уезжаешь, — дипломатично вставляет Дженис. Гарри иной раз поражается, какой дипломатичной она с годами стала. Оглядываясь назад, он вспоминает, каким они с Дженис были хулиганьем — оз- лобленные, неотесанные. Совсем неотесанные. Вот какие чудеса творят даже небольшие деньги.

— Угу, — говорит их летняя гостя, — но мне надо навестить родных. Я имею в виду — маму и сестер в Кармеле. Не знаю, поеду ли я повидаться с отцом — он стал таким странным. А потом назад, в колледж. Я чудесно про- вела здесь время — вы все были так добры. Я хочу сказать, при том, что вы ведь меня совсем не знали.

— Пустяки, — говорит Гарри, а сам думает: интересно, у ее сестер такие же глаза и яркие губы? — Ты нам ничем не обязана: ты же сама за себя плати- ла. — Неуклюже это, неуклюже. Никак он не может научиться с ней говорить.

— Я знаю, маме по-настоящему будет тебя не хватать, — говорит Дже- нис и кричит: — Верно, мама?

Но мамаша Спрингер обследует фарфор в буфете, проверяя, не украли ли чего, и, похоже, не слышит.

Гарри вдруг спрашивает Нельсона:

— Так что же тебе так срочно хотелось мне показать?

— Это там, в магазине, — говорит малый. — Я думал, мы с тобой могли бы сразу поехать туда.

— А нельзя мне сначала пообедать? Я ведь почти не завтракал — так вы торопили меня, чтобы попасть к службе. Проглотил только пару ореховых пирожных, до которых не добрались муравьи.

Желудок мгновенно отзывается болью при одной мысли об этом.

— У нас, наверно, и этого на обед нет, — говорит Дженис.

Мелани предлагает:

— В холодильнике есть немного проросшей пшеницы и йогурт, а в морозильнике — немного китайских овощей.

— Я не голодна, — объявляет мамаша Спрингер. — Я хочу полежать в своей постели. Не преувеличивая, я, по-моему, за все это время спала там кряду не больше трех часов. Эти еноты так кричали.

— Она просто сердится из-за того, что пропустила службу, — сообщает всем Кролик. Из-за этой суматохи, сопутствующей возвращению, у него такое чувство, словно он в капкане. Какая-то напряженность в воздухе, которой раньше не было. Когда возвращаешься, дом всегда немного другой. Подумать только, каково будет мертвецам, когда они воскреснут.

Гарри выходит через кухню в сад и ест сырую кольраби, отрывая листья и сдирая передними зубами кожуру с хрустящей мякоти... Тем временем Дженис нашла на кухне немного не слишком высушенной салами и приготовила бутерброды ему и Нельсону... На улице у дома гудит Чарли, но не заходит. Стыдно, должно быть, этому похитителю младенцев. Входная дверь хлопает, и Гарри смотрит на Дженис, проверяя, как она это восприняла. В ее лице ничто не дрогнуло. Крепкие штучки эти женщины. Он спрашивает ее:

— Ну а ты что сегодня намерена делать?

— Собиралась прибраться в доме, но Мелани, похоже, все уже сделала. Может, поеду в клуб, посмотрю, нельзя ли поиграть. На крайний случай могу и поплавать. — Она там плавала на круглом озере, и действительно талия у нее стала гибче и длиннее. «А женка у меня недурна», — иной раз думает он, пораженный их сродством в этом мрачном мире, где, с одной стороны, все друг другу родственники, а с другой — таинственные незнакомцы.

— Как тебе это нравится — насчет Чарли и Мелани? — спрашивает он.

Она передергивает плечами — совсем как Чарли.

— Нравится, — а почему, собственно, нет? Значит, у него еще есть порох в пороховнице. Живем-то мы ведь только раз. Так говорят.

— Почему бы тебе не поехать в клуб, а мы с Нелли присоединимся к тебе, после того как я съезжу посмотрю, что там у него?

На кухню входит Нельсон — рот приоткрыт, глаза смотрят подозрительно. Дженис говорит:

— Может, мне лучше поехать с тобой и с Нельсоном в магазин, а потом мы втроем отправимся в клуб и таким образом сэкономим бензин — поедим все на одной машине.

— Мам, у нас же дело, — возражает Нельсон, и по его помрачневшему лицу родители понимают, что лучше поступить, как он хочет. Серый костюм делает его каким-то особенно уязвимым — так выглядят дети, которых нарядили в непривычную одежду по непонятному для них торжественному поводу.

И вот Гарри за рулем своей «Короны» — впервые после месячного перерыва — едет с Нельсоном в воскресном потоке транспорта путем, который оба знают лучше линий собственных рук: по Джозеф-стрит, затем по Джексон-стрит, затем по Центральной и вокруг горы. Гарри говорит:

— А машина-то не прежняя, верно? — Плохое начало. Он пытается выправить положение. — Наверное, машина никогда не кажется прежней, после того как ее стукнули.

Нельсон встает на дыбы:

— Это же была просто царапина, капот ведь не был затронут, а разницу ты бы почувствовал, только если бы он был поврежден.

Гарри сдерживается и, совладав с собой, соглашается:

— Наверное, мне это показалось.

Они проезжают мимо того места, откуда виден виадук, затем мимо торгового центра, где над комплексом из четырех кинозалов горит реклама: АГАТА МАНХЭТТЕН МЯСНЫЕ ШАРИКИ КОШМАР ЭМИТИВИЛЛА. Нельсон спрашивает:

— Ты читал эту книжку, пап?

— Какую книжку?

— «Кошмар Эмитивилла». В Кенте ребята передавали ее из рук в руки.

Ребята в Кенте. Никчемные счастливики. А он — кем бы он стал, имея образование? Натаскивал бы мальчишек в каком-нибудь колледже.

— Это насчет дома с привидениями, да?

— Это про чертовщину, пап. В общем, это о том, как кто-то из обитателей одного дома вызвал дьявола, и тот потом не желал уходить. А дом самый обычный, на Лонг-Айленде.

— И ты веришь такой белиберде?

— Ну... есть доказательства, которые довольно трудно отместить.

Кролик фыркает. Беспребетное поколение, никакой твердой закваски, ничего основательного, что помогло бы отличить реальный факт от чертовщины. Увлечение сатаной, марихуана, наркотики, вегетарианство. Чушь. Все им подается на тарелочке, они считают жизнь чем-то вроде огромного телеэкрана, где толкнутся призраки.

Нельсон читает его мысли и переходит в наступление:

— Ну а ты зато веришь всей этой ерунде, которую говорят в церкви, а это уж действительно глупистика. Посмотрел бы ты, что было сегодня, когда они причащались, просто невероятно: все эти люди так благостно вытирали себе рот и с таким серьезным видом возвращались от алтаря на свои скамьи. Настоящие экспонаты из антропологического музея.

— По крайней мере, — говорит Гарри, — людям вроде твоей бабушки после этого становится лучше. А кому становится лучше после этого «Кошмара Эмитивилла»?

— А это не для того снято, это же просто рассказ о том, что было. Люди, которые жили в том доме, вовсе не хотели, чтоб у них такое случилось, а вот случилось. — Судя по тому, как звенит его голос, малый окончательно загнан в угол, а Кролик этого совсем не хотел. Так или иначе, не желает он думать о потусторонних силах: всякий раз как он в своей жизни делал шаг в ту сторону, кто-то погибал.

Молча отец и сын едут по аллее Панорамного обзора... Сложно стало ездить — столько велосипедов, и мопедов, и, самое страшное, конькобежцев на роликах, которые раскатывают совсем очумелые, в наушниках и в шортах, что делает их похожими на боксеров, и с таким видом, точно улица принадлежит им. «Корона» скользит по бульвару Акаций, где врачи и юристы засели в длинных кирпичных домах, стоящих в тени, чуть отступя от улицы, за каменными стенами и живыми изгородями из можжевельника, посаженными, чтобы удержать склоны от осыпи, и проезжает справа бруэрскую школу, которая в детстве казалась ему замком, а ее многочисленные гимнастические залы и ряды шкафчиков в те два или три раза, что он бывал там, когда команда Маунт-Джаджа играла против молодежной команды Бруэра, прежде всего чтобы потешиться (над ними), уходили, казалось ему, в бесконечность. Ему приходит в голову рассказать об этом Нельсону, но он знает, что малый терпеть не может, когда он начинает вспоминать времена своей спортивной славы. Ребята из Бруэра, вспоминает про себя Кролик, были премерзкие: рты у них всегда были какие-то грязные, точно они сосали малиновые леденцы. Девчонки спали с мальчишками, а наиболее порочные из ребят курили то, что в те дни именовалось самокрутками. А сейчас даже дети президента — к примеру, сын Форда — спят с девчонками и курят самокрутки. Прогресс Теперь он понимает, что в известном смысле вырос в благополучном уголке мира, как сказала однажды Мелани, — так бывает: веточки крутятся, крутятся среди потока и застревают в прибрежной тине.

Когда они вырулили на Эйзенхауэр-авеню и покатали вниз, под уклон, Нельсон спрашивает, нарушая молчание:

— Ты ведь, кажется, жил на одной из этих поперечных улочек?

— Угу. Летом. Месяца два-три. давно. У нас с твоей матерью был тогда трудный период. А почему ты спрашиваешь?

— Просто вспомнил. Бывает такое чувство — тебе кажется, будто ты когда-то уже был здесь, а на самом деле ты видел это, наверно, во сне. Когда я очень по тебе скучал, мама сажала меня в машину и мы приезжали сюда и смотрели на какой-то дом в надежде, что ты оттуда выйдешь. Он стоял в ряду других домов, которые казались мне совсем одинаковыми.

— Ну а я? Выходил?

— Что-то не помню. Но я вообще об этом времени мало что помню — только то, что я сидел в машине и мама брала с собой печенье, чтобы меня отвлечь, а сама плакала.

— Господи, как неприятно. Я до сих пор не знал, что она привозила тебя.

— Может, это было всего один раз. Но почему-то у меня такое чувство, что не один. Помню, мама казалась мне такой большой.

Эйзенхауэр-авеню выравнивается, становится гладкой, и они без единого слова проезжают дом номер 1204. куда Дженис несколько лет спустя сбежала к Чарли Ставросу, а Нельсон приезжал туда уже на велосипеде и смотрел вверх на окно. Мальчишке тогда отчаянно хотелось иметь мопед, и Гарри теперь жалеет, что не купил его, — теперь в любом случае машина уже давно лежала бы на свалке, а добрые воспоминания остались бы. Странная штука чувства — вмиг возникают и вмиг исчезают, а вот, поди ж ты, долговечнее металла.

Отец с сыном проезжают заброшенные железнодорожные депо, пересекают фабричный район, сворачивают налево на Третью авеню, затем направо на Уайзер-стрит, мимо белого глухого здания Похоронного бюро Шонбаума и — через мост. В потоке транспорта больше всего машин, за рулем которых сидят старушки, возвращающиеся из ресторана, где они обедали после церкви, и машин, набитых мальчишками, которые уже успели накачаться пивом и теперь мчатся на стадион в южный конец Бруэра... Гарри прочищает горло и говорит:

— Значит, Мелани решила возвращаться в колледж. Тебе, наверно, тоже пора.

Молчание. Тема колледжа — это горячо, так горячо, что лучше не касаться. Надо бы ему спросить у малого, чему он научился в магазине. СПРИНГЕР МОТОРС. Они останавливаются. Три недели Гарри не видел магазина, и, как и в доме, ему кажется, что и здесь за это время отравили атмосферу. «Каприса», в котором он иногда ездил, когда «Корона» выходила из строя, уже нет — должно быть, продали. Шесть новых «Королл» стоят вдоль шоссе, блестя мягкими и ядовитыми красками... Поскольку сегодня воскресенье, Гарри припарковывает машину у самой изгороди, которая чудом уцелела тут у входа, и собирает весь мусор, пакеты и салфетки, что ветер несет через шоссе 111 от Придорожной кухни. Витрины опять надо мыть. Бумажный плакат, воспроизводящий название новой программы телевидения О, ЧТО ЗА НАСЛАЖДЕНИЕ..., занимает верхнюю половину левой витрины. В демонстрационном зале две новые «Селики»: одна — черная с желтой полосой по боку, другая — синяя с белой полосой. Под плакатом О, ЧТО ЗА НАСЛАЖДЕНИЕ... виднеется нечто другое — маленькая, низкая, похожая на таракана машина, явно не «тоёта». У Гарри нет ключа; Нельсон открывает двойные стеклянные двери своим ключом, и они входят. Непонятная машина — спортивный «Триумф-6»: на нее наведен глянец для продажи, но она несомненно подержанная, ветровое стекло потускнело и все в царапинах, приобретенных за время дальних пробежек, на крыле легкая рябь, как это бывает, когда металл был смят, а потом выправлен.

— Это еще, черт возьми, что такое? — спрашивает Гарри, ставший сразу высоким рядом с этим низкорослым пришельцем.

— Пап, это то, о чем я тебе говорил: у меня идея продавать спортивные машины. Честное слово, ведь теперь почти никто их не делает, даже фирма «Ягуар» перестала их выпускать, так что они, безусловно, поднимутся в цене. Мы просим за нее пять пятьсот, и двое ребят уже почти ее купили.

— Почему же владелец решил от нее избавиться, если она так высоко ценится? За сколько ты ее принял?

— Ну не то чтобы принял...
 — А как же?
 — Мы ее купили...
 — Вы ее купили!
 — У приятеля Билли Фоснахта есть сестра, так вот она выходит замуж за одного парня, который переезжает на Аляску. Машина в отличном состоянии — Мэнни ее всю проверил.

— Мэнни и Чарли дали тебе согласие?

— А почему бы и нет? Чарли рассказывал мне, какие они со стариком Спрингером выкидывали трюки — дарили игрушечных зверюшек и ящики апельсинов и устраивали аукционы с девушками в вечерних платьях, где кто больше давал — пусть даже и всего пять долларов — получал машину, на эти аукционы приходили гонщики...

— Все это было в добрые старые времена. А сейчас скверные новые времена. Люди приходят к нам за «тоётами», им не нужны эти чертовы английские спортивные машины...

— Но они будут их покупать, как только мы сделаем себе на этом имя.

— У нас уже есть имя. «Спрингер моторс — «тоёты» и подержанные машины». Все знают, чем мы торгуем, и за этим к нам приезжают. — Он слышит, как напрягается голос, чувствует, как гнев, разрастаясь, комком подкатывает к горлу... Он старается сдержаться: перед ним ведь очень ранимый юнец и к тому же его сын. Однако это ведь его магазин. — Я что-то не помню, чтобы мы говорили с тобой о спортивных машинах.

— Как-то вечером. пап, когда мы сидели в гостиной вдвоем, только ты рассердился из-за «Короны» и переменял тему.

— И Чарли действительно дал тебе зеленый свет?

— Конечно, но ему, в общем, было не до этого. Ты ведь уехал, так что ему надо было и новые машины продавать, а тут раньше обычного пришло пополнение...

— Угу. Я их видел. Зря только их поставили так близко к дороге, они там всю пыль собирают.

— ...а потом Чарли ведь мне не хозяин. Мы с ним на равных. Я сказал ему, что бабуля считает это хорошей идеей.

— О-о! Ты говорил об этом с мамашей Спрингер?

— Ну не совсем в тот момент — она ведь была там с тобой и с мамой, — но я знаю, она хочет, чтобы я включился в работу в магазине, тогда это будет уже третье поколение и всякая такая штука.

Гарри кивает. Бесси будет поддерживать малого: они ведь оба темноглазые Спрингеры.

— О'кей, особой беды я не вижу. Так сколько же ты заплатил за этот драндулет?

— Он просил четыре девятьсот, но я выторговал у него за четыре двести.

— Бог ты мой, это же намного больше, чем по справочнику. Ты хоть в справочник-то заглядывал? Ты знаешь, что это такое?

— Конечно, я знаю, пап, что такое этот чертов справочник. Дело в том, что спортивные машины идут не по цене справочника, они — как антиквариат: их на свете столько-то и больше не будет...

— О-хо-хо! О'кей, посмотрим, не удастся ли нам сбить ее по оптовой цене и списать как эксперимент. Завтра я позвоню Хорнбергеру, он еще торгует этими «триумфами» и «манчестер-гаражами», может, он не в службу, а в дружбу избавит нас от нее.

Гарри вдруг понимает, почему короткая стрижка Нельсона не дает ему покоя: так выглядел мальчишка в средней школе и она напоминает ему об этом... Он тогда еще не знал, что будет маленьким, и хотел стать подающим в бейсболе, поэтому все лето ходил в кепи, отчего волосы над узким веснушчатым лицом были всегда примяты. И вот сейчас этот костюм и галстук, совсем как то бейсбольное кепи, выглядят символом напрасных надежд. Глаза у Нельсона заблестели, точно у него вот-вот потекут слезы.

— Избавит нас от нее по себестоимости? Пап, я же знаю, что мы можем ее продать и выручить на этом тысячу. И потом у нас еще две таких.

— Еще два «триумфа»?

— Еще две спортивные машины там, сзади.— Теперь парень уже изрядно напуган — он так побелел, что веки и уши его кажутся ярко-красными.

Кролик тоже напуган: не нужны ему эти машины; но ситуация уже неуправляемая — теперь парень вынужден показать их ему, а он вынужден как-то реагировать. Они проходят по коридорчику мимо отдела запасных частей; Нельсон шагает впереди и снимает с доски рядом с металлической дверью связку ключей; затем они входят в огромный пустой гараж, где по воскресеньям танцзал, пропитанный теплым добротным запахом смазочных масел и ацетилена. Нельсон отключает сигнализацию и отодвигает засов на задней двери. Они снова на воздухе... Своеобразным островком стоят отдельно на асфальте две спортивные машины американских марок, снятых с производства... Гарри говорит:

— Эти поставлены на комиссию или как? Я хочу сказать, ты за них еще не платил? — Он чувствует, что и это не следовало говорить.

— Они куплены, пап. Они — наши.

— Мои?

— Не твои, они принадлежат компании.

— А это, черт побери, как ты обтяпал?

— Что значит — обтяпал? Попросил Милдред Крауст выписать чеки, а Чарли сказал ей, что все о'кей.

— Чарли сказал — о'кей?

— Он считал, что мы обо всем договорились. Пап, прекрати. Не такая уж это большая закупка. Ведь вся идея нашего предприятия — верно? — в том, чтобы покупать машины и продавать их с выгодой?

— Но не эти дурацкие машины. Во сколько же они обошлись?

— Могу поклясться, мы заработаем шесть-семь сотен на «меркури», а на «олдс-дельте» еще больше. Какой же ты отсталый, пап. Ведь это же всего только деньги. Имел же я право принимать ответственные решения хоть в какой-то мере, пока тебя не было, или нет?

— Сколько?

— Сколько в точности — не помню. Одна машина что-то около двух тысяч, а другая — она стояла у одного торговца около Потсвилла, его знает Билли, и я подумал, что надо нам иметь какой-то выбор, так что мне пришлось заплатить за нее две с половиной.

— Значит, две тысячи пятьсот долларов.

Медленно повторил эти цифры, он почувствовал себя лучше — все-таки позлорадствовал. Если он чего-то и недодал Нельсону, сейчас сын взял свое сполна. И Гарри снова принимается за старое:

— Значит, выложил две тысячи пятьсот полноценных американских...

Мальчишка чуть не кричит:

— Мы их вернем, обещаю тебе! Это же как антиквариат, как золото! На этом, пап, нельзя потерять.

Гарри не может удержаться, чтоб не добавить:

— Четыре тысячи двести — за эту штамповку «триумф», четыре тысячи пятьсот...

Мальчишка молит:

— Предоставь мне действовать самому — я все сделаю. Я уже поместил объявление в газете — через две недели они уйдут. Обещаю тебе.

— Ты обещаешь! Через две недели ты будешь в колледже.

— Нет, пап. Не буду.

— Не будешь?

— Я хочу уйти из Кента, остаться здесь и работать.— Лицо испуганное, исступленное — такое белое, что веснушки резче выступают на коже и пестрят, как мушки на стекле.

— Господи, только этого мне не хватало,— вздыхает Гарри.

Нельсон, потрясенный, глядит на него. Он держит в руке ключи от машины. Глаза у него застилают слезы, нижняя губа дрожит.

— Я хотел, чтобы ты прокатился в «олдс-дельте» — получил удовольствие.

Гарри говорит:

— Удовольствие! А ты знаешь, сколько бензина жрут эти машины на старой тяге? Ты думаешь, сегодня, когда галлон бензина стоит доллар, кому-то захочется купить такую восьмицилиндровую никчемную махину, только чтобы почувствовать, как ветер свистит в волосах? Парень, ты живешь в воображаемом мире.

— Да наплевать им, пап. Людям нынче наплевать на деньги — это же дерьмо. Деньги — это дерьмо.

— Для тебя, может быть, но не для меня — и заруби это себе на носу. Давай успокоимся. Подумай о запасных частях. К этим штуковинам наверняка нужно приложить руку — ведь они уже сколько лет бегают. А ты знаешь, сколько нынче стоят запчасти шести-семилетней давности, если их вообще удастся достать? У нас тут не модная антикварная лавка, мы продаем «тоёты». «Тоёты».

Малыш весь сжимается под этими громами и молниями.

— Пап, обещаю тебе, я больше ни одной не куплю. А эти у нас уйдут, обещаю.

— Ничего мне не обещай. Обещай лучше, что ты не будешь совать нос в мою торговлю машинами и отвалишь назад в Огайо. Мне неприятно тебе говорить это, Нельсон, но ты — просто несчастье. Надо тебе наконец братья за ум, только это будет не здесь.

Неприятно говорить такое парню, но что поделаешь, если так оно и есть. И все же настолько неприятно, что он поворачивается и хочет уйти, но дверь, из которой они вышли, как и положено, захлопнулась. Словом, он не может войти в собственный гараж, а ключи — у Нельсона. Кролик трясет металлическую дверь за ручку и бьет по ней ребром руки и даже, словно в яростной потасовке, колотит коленом — от боли глаза застилает красная пелена, так что, когда он слышит, как невдалеке заработал мотор, ему невдомек, что происходит, пока не раздастся взвизг шин и лязг металла, врезающегося на большой скорости в металл. Красную пелену пререзают черные полосы. Кролик оборачивается и видит, как Нельсон откатывает назад для второго удара. Маленькие частицы металла еще со звоном кружатся в пронизанном солнцем воздухе. Кролику кажется, что малый сейчас ринется на него и расплющит о дверь, возле которой он стоит словно парализованный, но этого не происходит. «Олдс» снова врезается в бок «меркури» — машина встает на два колеса. Светло-зеленое крыло смято, и из него вылетает фара — обод катится по земле.

Предчувствуя столкновение, Гарри ожидал, что все произойдет, как на телевидении, в замедленной съемке, а произошло все до смешного быстро — так две собаки сплетутся клубком и разбегутся. Мотор у «олдса» заглох. Сквозь треснутое ветровое стекло видно искаженное лицо Нельсона, сморщившееся от слез, сморщившееся в кулачок. Кролик словно одеревенел, и в то же время, глядя на покореженные машины, он чувствует, как наружу рвется смех... А по ту сторону строения шуршит воскресный поток транспорта. Эти странные нелепые пузырьки радости в груди Гарри. О, что за наслаждение!

А через неделю в клубе он уже всем рассказывает об этом:

— На пять тысяч металла — хрясть. У меня было отчаянное желание расхотаться, но парень-то плакал: ведь это были его машины, во всяком случае так он это понимал. Единственное, что мне пришло в голову, — встать перед «олдсом» и сделать вот так. — Он широко раскидывает руки, стоя под плавным изгибом горы. — Налети на меня парень, из меня бы кишки вон. Но он, конечно, вылезает из машины весь в соплях, и я раскрываю ему объятия. Так близок Нельсон мне не был с тех пор, как ему минуло два года. Но чувствую я себя премемерно, потому что он был прав. Его объявление насчет спортивных машин напечатало в то же воскресенье, и нам звонили, наверно, человек двадцать. К среде «триумф» был продан за пять пятьсот. Люди больше не считают деньги, швыряют их направо и налево.

— Совсем как арабы, — говорит Уэбб Мэркетт.

Бадди спрашивает:

— А вы видели в сегодняшней газете, что в Вашингтоне провели какое-то расследование, и оно показало, что это правительство устроило нам бензиновый кризис в июне?

— Мы это и сами знали, верно? — вопросом на вопрос отвечает ему Уэбб; рыжие волоски, торчащие из его бровей, сверкают на солнце.

Сегодня последнее воскресенье перед Днем труда — в этот день играют только члены клуба. Их четверке отведено позднее время, и они сидят в ожидании у бассейна вместе с женами и выпивают. Жен, правда, всего две: у Бадди Инглфингера вообще нет жены — только эта прыщавая дурица Джоанна, которую он таскает за собой все лето, а Дженис сегодня утром сказала, что пойдет с матерью в церковь и явится в клуб к аперитиву перед банкетом, после игры. Это странно. Дженис любит бывать в «Летящем орле» еще больше, чем он. Но с тех пор как Мелани уехала в среду, что-то там у них происходит. Чарли на две недели взял отпуск, после того как Гарри вернулся из поездки в Поконы, а поскольку Нельсон теперь в магазин не допускается, у главного торгового представителя дел по горло. В конце лета всегда ведь бывает некоторое оживление в делах — рекламируются осенние новинки, ходят слухи, что цены поднимутся, и выставленные на продажу модели начинают представляться удачным приобретением при том, что инфляция все растет и растет. В сентябре в воздухе обычно появляется этакая сухая свежесть — для Кролика она пахнет одновременно яблоками и пылью от классной доски, что он связывает с возобновлением школьных занятий и прибавлением работы, а с другой стороны, напоминает, что он продвинулся на ступеньку выше вверх по лестнице, ведущей во тьму.

Синди Мэркетт вылезает из бассейна. Пылающее солнце отражается в каждой капельке на ее загорелых плечах, таких смуглых, что кожа даже как бы слегка переливается. Ее подстриженные под мальчишку волосы прилипли разрозненными перышками к макушке. Стоя на плитах, она наклоняет голову, чтобы стряхнуть воду с волос... Затем направляется к их компании, оставляя короткие мокрые следы — пятка, подошва и маленькие круглые пальчики...

— Ты считаешь, золото все еще стоит покупать? — спрашивает Гарри Уэбба, но тот отвернул от него узкое, изрезанное морщинами лицо и смотрит вверх на молодую жену... Он обхватывает рукой ее бедра — такое впечатление, точно Мэркетты снялись для рекламы на фоне зеленого изгиба горы Пемаквид. За ними кто-то легко прыгает в хлорированную воду бассейна. У Гарри сразу защипало глаза.

Тельма Гаррисон внимательно слушала его рассказ с таким грустным подтекстом.

— Нельсон, наверное, в отчаянии от того, что он натворил, — говорит она.

Ему нравится слово «отчаяние» — такое старомодное в устах этой тихонькой, как мышка, болезненной женщины, которая каким-то чудом держит в руках этого остолопа Гаррисона.

— Во всяком случае, это незаметно, — говорит он. — Был такой момент — сразу после того, как это случилось, — но потом он быстро оправился: совершенно безобразно вел себя по отношению ко всем, особенно после того, как я дал маху и сказал, что его объявление сработало. Он хочет ходить в магазин, но я сказал ему, чтобы он, черт подери, держался подальше. Ты же понимаешь, то, что он натворил, граничит с безумием.

— Возможно, его что-то гнетет, чего он не может тебе сказать? — предполагает Тельма. Судя по тому, как она, глядя на него, прикрывает ладонью глаза, хотя на ней солнечные очки с большими круглыми коричневыми стеклами, более темными кверху, как на ветровом стекле, солнце, видимо, стоит прямо за его головой. Очки закрывают верхнюю половину ее лица, так что кажется, будто губы ее существуют сами по себе... Она выглядит такой учителькой в этом своем купальном костюме с плиссированной юбочкой и к тому же так нарочито держится и говорит...

— М-да, — произносит он. — Дженис мне все время на это намекает. Но в чем дело, не говорит.

— Возможно, она не может сказать, — говорит Тельма, сдвигая ноги и одергивая юбочку, чтобы хоть немного прикрыть ляжки. Все ноги у нее в крошечных багровых венах, как это бывает у женщин ее возраста, но Гарри непонятно, почему она должна стесняться такого давнего приятеля, как он, да еще с животиком.

— Похоже, он не хочет возвращаться в колледж,— сообщает он ей,— так что, может, его оттуда уже выставили, а он не говорит нам. Но в таком случае разве мы не получили бы письма от декана или чего-то в этом роде? Ты бы видела, сколько писем идет к нам из Колорадо — целый поток.

— Знаешь, Гарри,— говорит ему Тельма,— многие отцы, которых я и Ронни знаем, жалуются на то, что их мальчики не хотят заниматься семейным бизнесом. У отцов на руках дело, а передать его будет некому. Вот это настоящая трагедия. Ты должен был бы радоваться, что Нельсон интересуется машинами.

— Его интересует только их разбивать,— говорит Гарри.— Это его способ мщения.— И, понизив голос, доверительно говорит: — По-моему, беда в том, что всякий раз, когда я, понимаешь ли, спотыкался, он это видел. Кстати, по этой причине помимо всего прочего я и не хочу, чтобы он был рядом. И маленький прощельга это знает.

Ронни Гаррисон приподнимает голову и кричит:

— Что этот проныра пытается тебе внушить, а, лапочка? Не давай ему себя обкрутить!

Тельма, откликнувшись на замечание мужа рассеянной улыбкой, напрямик говорит Гарри:

— Я думаю, дело скорее в тебе, чем в Нельсоне. А не могут у него быть неприятности с какой-нибудь девчонкой? У Нельсона.

Может, выпить еще джина с тоником, думает Гарри, чтобы прогнать легкую головную боль, которая начинает его донимать. Когда он пьет среди дня, у него всегда такое бывает.

— Не представляю себе, какие тут могут быть неприятности. Эти ребята нынче прыгают из одной постели в другую, как кузнечики. К примеру, эта девушка, которую он привез с собой. Мелани. между ними, похоже, вообще ничего не было, к концу они стали даже просто грубить друг другу. А она, надо же, по-дурачки втюрилась в Чарли Ставрса.

— Почему «надо же»? — Она улыбается уже не так рассеянно, скривив тонкие губы, давая тем самым понять, что знает о романе, который Чарли крутил с Дженис в ту пору, когда этого клуба еще не было.

— Да потому что он может быть ей отцом — это во-первых, и он одной ногой стоит в могиле — это во-вторых. Мальчишкой он перенес ревматическую лихорадку, и теперь его будильник ни на что не годен. Ты бы посмотрела, как он ковыляет по магазину, просто жалость берет.

— Если человек болен, это еще не значит, что он отказывается от жизни,— говорит она.— Есть люди, которые всю жизнь живут с шумами в сердце, и ничего.— продолжает она.— А сейчас и Мелани и Чарли оба уехали.

Это новая мысль.

— Угу, но только в разных направлениях. Чарли отправился во Флориду, а Мелани — к своим родным на Западное побережье.— Но он вспоминает, как Чарли рассказывал Мелани про Флориду у них за столом, и самая мысль, что они могут быть вместе, действует на него угнетающе. Ведь ни за кого не поручишься, что он ведет себя как монах Гарри поворачивает голову, подставляя солнцу лицо; глаза его закрыты, веки кажутся красными...

Где-то рядом раздается голос Ронни Гаррисона.

— Что ты, лапочка, сказала, что я буду жить вечно? — кричит он.— Так оно и будет, можешь не сомневаться!

Кролик открывает глаза и видит что Ронни передвинулся вместе с креслом, чтобы дать место Синди Мэркетт, которая теперь уже достаточно освоилась среди них и не прикрывает больше ноги полотенцем, как в начале лета... Кролик закрывает глаза. Ронни Гаррисон старается задурить мозги одновременно Джоанне и Синди какой-то историей, в которой герой-рассказчик без конца рычит басом на некоего злодея. Какое же он самовлюбленное дерьмо!

Уэбб Мэркетт нагибается к Гарри и говорит:

— Отвечаю на твой вопрос — да, я думаю, лучше всего покупать золото. Оно поднялось в цене на шестьдесят процентов меньше чем за год, и вряд ли оно так же быстро обесценится, пока в мире будет продолжаться энергетический кризис. Доллар неизбежно будет падать, Гарри, пока они не придумают, как

дешево гнать бензин из хлебного спирта, тогда мы снова окажемся у руля. Чего-чего, а зерна у нас предостаточно.

Бадди Инглфингер, сидящий на другом конце их маленькой группы, объявляет:

— Разбомбить надо арабов, вот что я вам скажу; отобрать у них нефть, как мы отобрали ее у эскимосов.

Джоанна угодливо хихикает; история, которую рассказывал Ронни, на минуту отошла на задний план. А Бадди, чувствуя, что нашел в Гарри аудиторию, кричит:

— Эй, Гарри, ты видел в «Тайме», как люди, которые не могут сбыть с рук свои старые американские машины, дарят их бедным, а потом вычитают стоимость из суммы налога, а то и просто оставляют автомобиль на улице, чтобы его украли и они смогли потом получить по страховке? Там написано, что где-то какой-то торговец отдает задаром «шевроле», если ты покупаешь у него «кадиллак Эльдорадо».

— Мы не получаем «Тайма»,— холодно отвечает ему Гарри. Если смотреть на мир под определенным углом, сколько же в нем психов.

— А тем временем,— пытается встрять в разговор Джоанна,— президент плывет по Миссисипи.

— А что ему еще делать?— спрашивает Гарри, чувствуя, что он тоже плывет по течению, ленивый и выпрошенный.

— Эй, Кролик,— обращается к нему Гаррисон,— а каково ему, по-твоему, было, когда на него напал тот кролик-хищник?

Все хохочут и на время оставляют его в покое. Тельма рядом с ним тихо произносит:

— Трудно с детьми. Рону и мне повезло с Алексом: как только мы дали ему разобрать старый телевизор, он тотчас понял, чем хочет заниматься — электроникой. А вот наш другой мальчик, Джорджи, судя по всему, во многом похож на вашего Нельсона, хоть он и на несколько лет моложе. Он считает, что его отец занимается отвратительным делом — страхование — это ведь ставка на смерть; а Рон никак не может ему внушить, что страхование жизни — это лишь очень небольшая часть их бизнеса.

— Молодежь разочарована,— заявляет Уэбб Мэркетт своим напыщенным хрипловатым голосом. — С двухлетнего возраста они наблюдают, как мир сходит с ума — сначала убийство Джона Кеннеди, потом Вьетнам, теперь эта заваруха с нефтью. А на днях ни с того ни с сего взорвали старика Маунтбэттена².

— Хм,— не очень уверенно буркает Кролик. Скитер считал, что мир никогда не был приятным местом.

В разговор вступает Тельма:

— Гарри говорил, что Нельсон хочет заняться вместе с ним торговлей машинами, а он против.

— Ничего хуже для него быть не может,— говорит Уэбб.— У меня пятеро детей, не считая двух сорванцов, которых подарила мне Синди, и когда кто-нибудь из них говорил, что хочет крыть крыши, я отвечал: «Наймись к какому-нибудь другому кровельщику, у меня ты ничему не научишься». Не смог бы я ими командовать, да если бы и попытался, они все равно не стали бы слушаться. Как только кому-то из них исполнялся двадцать один год, будь то мальчишка или девчонка, я говорил «Очень было приятно с вами познакомиться, а теперь — скатертью дорожка». И ни один ни разу не прислал мне письма — не попросил ни денег, ни совета, ни чего-либо вообще. При удаче получаю поздравительные открытки к рождению. Один из них однажды сказал мне — это был Марти, старший,— так вот он сказал: «Папа, спасибо тебе за то, что ты был такой мерзавец. Зато теперь я готов к жизни».

Гарри рассматривает свой пустой стакан.

— Уэбб, как ты считаешь — выпить мне еще или нет? Мы ведь играем вчетвером, так что ты можешь взять на себя игру.

² Лорд Маунтбэттен Луис — видный английский государственный деятель, адмирал флота.

— Не делай этого, Гарри, ты нам нужен. Ты же забиваешь длинные мячи. Оставайся трезвым.

Он повинуеться, но не может избавиться от гнетущих мыслей о Нельсоне. «Спасибо, что ты был таким мерзавцем». Ему не хватает Дженис. Когда она рядом, родительский груз как бы разделен: Нельсон все-таки их совместное творение, хоть и получилось это почти случайно, но теперь они могут вместе посмеяться, что так произошло. Когда же он раздумывает над этим один, ему представляется, что произвести на свет человека не менее страшно, чем толкнуть в печь.

К тому времени, когда они наконец выходят на поле для гольфа, зелень уже отливает чернотой. Каждая травинка у его ног — это чья-то жизнь, и она угаснет, неизвестно зачем появившись на свет... Маунтбэттен. А на этой неделе умер их старый почтальон мистер Абендрот, веселый толстяк с развевающимися седыми волосами, — умер от тромба в шестьдесят два года. Мамаша Спрингер услышала об этом от соседей — мистер Абендрот разносил по округе счета и журналы, с тех пор как Гарри и Дженис переселились сюда; это он принес в апреле конверт от некоего анонима с вестью о смерти Скитера. Когда Гарри взял ту вырезку в руки, печатные буквы, точно эти травинки, притянули его взгляд, и он увидел черноту между ними — так сквозь прутья решетки просматривается невидимая черная река, текущая по трубам канализации... Время поднимается вверх по травинкам, точно бесцветный яд. Гарри устал — от лета, от гольфа, от солнца...

Дженис не ждет его ни в холле, ни у бассейна, когда наконец около 5.45 они возвращаются с поля... Вместо нее к нему подходит одна из этих девиц в зеленой с белым форме и говорит, что жена просила его позвонить домой. Он проходит в холл, салютуя приподнятой рукой сидящим там членам клуба, и, опустив в автомат тот же четвертак, каким маркировал шары на поле, набирает номер. Дженис снимает трубку после первого же звонка.

— Эй, приезжай сюда, — просит он ее. — Мы без тебя скучаем. Я довольно хорошо сыграл...

— Мне бы хотелось приехать, — говорит Дженис так осторожно и голос ее звучит так издалека, что ему приходит в голову, уж не захватили ли ее в плен террористы, иначе зачем бы ей так осторожно говорить, — но я не могу. У нас тут кто-то есть.

— Кто же?

— Кто-то, кого ты еще не знаешь.

— Кто-то важный?

Она смеется.

— Думаю, что да.

— Почему, черт побери, ты устраиваешь какие-то тайны?

— Гарри, приезжай — и все.

— Но ведь тут будет банкет и раздача призов. Я же не могу бросить мою четверку.

— Если тебе присудят приз. Уэбб передаст его тебе потом. Я не могу до бесконечности с тобой разговаривать.

— Потише на поворотах, — предупреждает он ее и вешает трубку. Что там такое может быть? Опять что-нибудь случилось с Нельсоном, за ним приехала полиция. Парня так и тянет что-нибудь натворить.

Гарри возвращается к бассейну и сообщает остальным:

— Эта безумная Дженис говорит, что мне надо ехать домой, но не говорит почему.

На лицах женщин отражается обеспокоенность, а мужчины пьют уже по второму разу. и им все нипочем...

В раздевалке он снимает туфли для гольфа и, даже не приняв душа, берет вешалку со спортивным пиджаком и брюками, которые собирался надеть на банкет, и, перекинув их через плечо, выходит на стоянку. С «Короной» по-прежнему что-то не так. По радио он слышит, что... от урагана «Дэвид» в районе Карибского моря уже погибло шестьсот человек... и наконец, что, по мнению некоторых ученых, на Титане, самом крупном спутнике Сатурна, возможно, су-

шествует жизнь... Вот если бы он родился на Титане — каким бы он себя ощущал? Он думает об этих покрытых пеплом планетах, о людях в белых костюмах, неуклюже прыгающих по ним, навечно оставляя свои следы в лунной пыли... Достаточно представить себе, как ты лезешь выше и выше, словно по огромному дереву, в ночное небо. Ух, голова закружилась. Жуть. Кролик не любил залезать слишком высоко даже на чахлые клены, что растут вокруг города, хотя как-то раз на виду у мальчишек все-таки влез на дерево, и чем тоньше становились ветки, тем крепче и крепче он хватался за них. С определенной точки зрения, самое страшное на свете — это твоя жизнь, то, что она твоя и ничья больше. Грудь его словно стягивает петлей, как бывает, когда связанного человека подвешивают, а он бьется. Что же такое могло случиться, чтобы Дженис пропустила банкет?

Он мчится по Джексон-стрит, и тут загораются фонари — теперь их включают с каждым днем все раньше. «Мустанг» Дженис стоит у тротуара с опущенным верхом — должно быть, она куда-то ездил после церкви, она бы не повезла Бесси в церковь в машине с опущенным верхом. Открыв входную дверь, Гарри обнаруживает множество сумок и чемоданов в гостиной, словно тут побывала небольшая армия. На кухне горит свет и слышен смех. Компания выходит ему навстречу на затененную ничейную полосу между лестницей и буфетом. Над мамашей Спрингер и Дженис возвышается какая-то новая женщина, более высокая, с гладко расчесанными на пробор волосами, которые в свете, падающем из кухни, кажутся яркими, точно морковка, тогда как курчавые волосы Мелани в таком свете стояли бы ореолом. Привык он к Мелани.

— Пап, это вот Пру, — произносит Нельсон. «Это вот» продиктовано желанием пошутить со страху.

— Невеста Нельсона, — добавляет Дженис напряженным тоном, старательно делая хорошую мину при плохой игре.

— Это уже решено? — слышит Гарри собственный вопрос.

Девчонка выходит вперед — тонкая, сутуловатая, — и он берет протянутую ему тощую руку. В свете гаснущего дня, сочащегося из окон столовой, она стоит у всех на виду — невзрачная, рыжая, не такая уж молоденькая, с непомерно длинными руками и непомерно широкими бедрами при таком-то узком лице, по-своему даже красивая, беспомощно выставив себя на всеобщее обозрение, ибо она уже связала себя, — стоит с кривой, чуть вымученной, исполненной решимости улыбкой, по ней сразу видно, что, несмотря на молодость, она уже побита жизнью, только это еще не отразилось в глазах, прозрачно-зеленых, однако осторожных. Доверив ему свою руку, она улыбается, не сразу — видно, сначала должна убедиться, что есть чему улыбаться, но потом улыбка стремительно расплывается по лицу, образуя морщинку в углу рта. На ней свободный коричневый свитер и джинсы по новой моде — широкие наверху, в белесых пятнах. Волосы, зачесанные за уши, гладким покровом лежат на спине, такие прямые, что кажется, их отутюжили, и настолько яркие, даже красноватые, что трудно поверить, будто это естественный цвет.

— Я бы не сказала — невеста, — говорит Пру, обращаясь непосредственно к Гарри. — Видите, кольца ведь нет. — И показывает дрожащую руку...

Гарри вдруг понимает, что девушка старше Нельсона, и одновременно инстинктивно делает другое, более важное открытие, а сам тем временем произносит этак весело, по-отечески:

— Ну, так или иначе, приятно познакомиться с вами, Пру. Мы рады здесь любому другу Нельсона. — Это, пожалуй, не производит должного впечатления, поэтому он добавляет: — Могу поспорить, вы и есть та девушка, которая слала все эти письма.

— Слишком много, наверное, — говорит она.

— Мне-то что, — говорит он. — Я ведь не почтальон.

Она поднимает на него глаза — зеленые, как распускающаяся листва.

Пру беременна...

Гарри чувствует, как его тело наливается свинцом. Его оглушило сделанное открытие, а он чувствует с этой девушкой сродство, она его волнует, заводит — не то что Мелани...

* * *

В постели он спрашивает Дженис:

— Ты давно знала об этом?

— Ну,— говорит она,— около месяца. Сначала Мелани намекнула, а тогда я уже напрямую спросила Нельсона. Он так обрадовался, что мог поговорить со мной об этом, даже заплакал. Он только не хотел, чтобы ты знал.

— Почему же? — Гарри обижен. Отец он этому малому или не отец?

Дженис медлит.

— Не знаю, думаю, он боялся, что ты взорвешься. Или будешь смеяться над ним.

— Почему бы я стал над ним смеяться? Ведь то же самое было и со мной.

— Он этого не знает, Гарри.

— Как он может не знать? Ведь день его рождения — через семь месяцев после дня нашей свадьбы.

— Ну да.— Когда она теряет терпение, то говорит совсем как мать, подчеркивая каждое слово. Кровать скрипит, так резко она поворачивается.— Дети не хотят об этом знать, а когда они становятся достаточно взрослыми, чтобы интересоваться такими вещами, это уже все в прошлом.

— Когда он переспал с девочкой, он хоть помнит?

— Смешной ты все-таки — как быстро догадался, что она в положении! Мы не собирались тебе сразу говорить.

— Благодарю. Это первым делом бросилось мне в глаза. Такой свободный свитер. Словом, я заметил это, а также что она выше Нельсона.

— Да нет, Гарри. Он на дюйм выше ее, он мне сам это сказал, просто он сутулится.

— А на сколько она его старше? Сразу же видно, что она старше.

— На год или немного больше. Не забывай, что он на своем курсе переросток: ведь он столько пропустил. Она работала секретаршей в архиве...

— Угу, а почему он не мог спать с какой-нибудь студенткой? Ему что — непременно надо было связаться с секретаршей?

— Гарри, тебе надо говорить с ними, если ты хочешь знать все подробности. Хотя ты же знаешь, он не раз говорил нам, какие кривляки эти студентки: ему с ними всегда было не по себе. По моей линии он же из дельцов, а по твоей — из рабочих, так что среди его родных ни у кого не было университетского образования.

— Да и не будет, судя по всему.

— А это совсем не плохо, что у девушки есть профессия. Ты же слышал, как она сказала за ужином, что хотела бы, чтобы он вернулся в Кент и закончил образование, а она может печатать и на дому.

— Угу, но я слышал и то, как этот сопляк сказал, что он в гробу видел Кент.

— Окриками ты не заставишь его вернуться в университет.

— Я на него не кричал.

— А лицо у тебя было именно такое.

— О господи! Только потому, что парень наградил девицу ребенком, он уже думает, что имеет право управлять «Спрингер моторс».

— Да он вовсе не хочет управлять, Гарри, он просто хочет получить там место.

— А место ему можно дать, только если отнять его у другого.

— Мы с мамой считаем, что ты должен взять его,— говорит Дженис так решительно, что кажется, будто он слышит голос ее мамы из темноты спальни, где присутствие старухи всегда дает о себе знать то ли бурчанием телевизора, то ли храпом, проникающим сквозь стену.

Гарри повторяет свой вопрос:

— Так когда же он все-таки наградил ее ребенком?

— Ну, такое обычно случается весной...

— Похоже, у нее есть здравый смысл.

— Может, именно здравый смысл в ней и говорит. Раз она решает оставить ребенка, значит, Нельсон должен чем-то заниматься...

— Словом, пока она там, в Скалистых горах, высиживала своего цыпленка, Мелани держала тут Нельсона на коротком поводке.

Дженис явно начинает засыпать, а Гарри боится, что никогда не заснет, зная, что через холл от него находится эта невесть откуда взявшаяся большая рыжая девчонка. Мамаша Спрингер довольно ясно дала понять, что Пру должна спать в комнате, которую занимала Мелани, и протопала наверх смотреть «Джефферсонов». Старая ворона весь вечер просидела молча, но вид у нее был как у котла, который вот-вот разорвет. Жестко она играет. Гарри толкает сонную, размякшую Дженис, побуждая ее продолжить разговор.

— Мелани сказала, — говорит она, — с Нельсоном сладу не было, как только результаты анализов подтвердили их подозрения: он связался с дурной компанией, заставляя Пру заниматься планеризмом. А когда увидел, что она не меняет своего решения, надумал сбежать сюда. Они не могли его отговорить, он уехал и бросил хорошее место, а он работал у того человека, что строит кооперативные дома. А у Мелани, по-моему, были свои причины уехать, и она попросила Нельсона взять ее с собой. Нельсон не хотел, но тогда, по-моему, они сказали ему, что Пру-де сообщит родителям и нам о своем положении, и тогда он попросил дать ему время, чтобы он мог подготовиться здесь для нее гнездышко, а может быть, надеялся, что все как-нибудь еще уладится, не знаю.

— Ведняга Нельсон, — говорит Гарри. Сострадание к сыну фонтаном бьет в потолок, испещренный пятнами света, который проникает с улицы сквозь ветки бука. — Это же был ад для него.

— Ну, по теории Мелани, не такой уж и ад: ей не нравилось, что он болтался с Билли Фоснахтом и его компанией, вместо того чтобы все выложить нам и сказать, почему на самом деле он хочет работать в магазине.

Гарри вздыхает.

— Так когда же свадьба?

— Как только сумеем все устроить. Ведь она уже на пятом месяце. Даже ты это заметил.

Это «даже ты» обижает его, но он не хочет говорить Дженис, что почувствовал сродство с этой девчонкой. Пру похожа на его мать — такая же нескладная и худущая, с такими же большими руками, но не такая некрасивая.

— Потому-то я сегодня утром и повезла маму в церковь — хотела поговорить с преподобным Кэмпбеллом...

Гарри спрашивает:

— А Нельсон любит девчонку, как ты думаешь?

— Ты же видел ее. Она поразительная.

— Я-то это вижу, а видит ли Нельсон? Ты знаешь, говорят, история повторяется, но в точности не повторяется никогда. В ту пору, когда мы с тобой поженились, все так поступали, но теперь, когда они просто живут друг с другом, брак, наверно, представляется им чем-то необычным. То есть, наверно, чем-то более страшным.

Дженис снова поворачивается к нему спиной и замечает:

— По-моему, это хорошо, что она немного старше его.

— Почему?

— Ну, Нельсону нужна твердая рука...

— А что у нее за родители?

— Обычные люди из Огайо. Отец ее, по-моему, слесарь-паропроводчик.

— Ага, — говорит он. — Рабочий. Значит, она выходит замуж не за Нельсона, она выходит замуж за «Спрингер моторс».

— Совсем как ты в свое время, — говорит Дженис.

Он должен был бы обидеться, но ему это даже нравится — то, что она теперь считает себя как бы наградой. Он кладет руку на мягкий изгиб ее талии.

— Послушай, — говорит он, — когда я женился на тебе, ты продавала соленые орешки у «Кролла», а мои родители считали твоего папашу пронырой, который окончит жизнь в тюрьме.

Но окончил он жизнь не в тюрьме, а на небе. Фред Спрингер совершил это долгое восхождение по дереву в звездное небо. Затерялся в пространстве. Сейчас этим путем следует Дженис — касание его руки погружает ее в сон Заснула... Он поворачивается на спину раздосадованный и в то же время до-

вольный, что остался один в тихой ночи, когда можно всесторонне обдумать все новое, что на тебя обрушилось. В зрелом возрасте ты в определенном смысле несешь на своих плечах весь мир, и, однако, как и прежде, ничто в нем от тебя не зависит; твое детское «Я» все растаскано и роздано, как хлеба, о которых говорится в Евангелии. Гарри прислушивается к звуку шагов, выскальзывающих из комнаты Мелани — нет, Пру, она ведь проделала сегодня большой путь и увидела столько новых лиц, этот вечер был для нее наверняка нелегким. Пока мамаша и Дженис наскребали что-то на ужин — тоже своего рода чудо, — девчонка сидела в бамбуковом плетеном кресле, принесенном с веранды, и они все обходили ее, как машины обходят на шоссе место аварии. А Гарри почти не мог оторвать глаз от этой взрослой женщины, которая сидела такая скромная, и чужая, и заметно раздавленная. От нее исходила забытая им атмосфера чудесных школьных лет, когда девчонки нежданно-негаданно расцветают в тени железнодорожных переходов, у телефонных столбов, близ шоссе с покореженными алюминиевыми разделителями посредине, вырвавшись от разжиревших матерей и отцов, придавленных беспросветными днями труда в этой Америке, усеянной пробками от бутылок, этикетками и осколками разбитых глушителей. Кролик вспоминал, как вот такая же красота, какую он увидел в Пру с ее длинными руками в пушке, тонкими запястьями, на которых звенят браслеты, и небрежной волной блестящих волос, попала в бурный поток жизни и, словно пруттик, канула в водоворот.

Дженис вздыхает во сне. Мимо проносится машина с открытым окном, и следом за ней летят передаваемые по радио танцевальные ритмы. Канун Дня труда — конец чего-то. Кролик чувствует, как дом под ним разбухает, наполняясь проснувшимися мертвецами. Скитер, папа, мама, мистер Абендрот... Гарри готовится заснуть, думая о своей дочери, — ее бледное круглое лицо появляется перед его мысленным взором. молочно-белое, спокойное...

Достопочтенный Арчи Кэмпбелл является с визитом несколькими днями позже — как условились. Он маленький, щупленький, зато голос у него глубокий и бархатный — не говорит, а изрекает и так небрежно, улыбочиво и звонко роняет слова, что они летят по улице и заворачивают за угол...

Мамаша Спрингер предлагает ему кофе, но он говорит:

— Что вы, нет, благодарю вас, Бесси. Это мой третий визит за вечер, еще немного кофеина — и меня начнет трясти.

Фраза заворачивает за угол и удаляется вверх по Джозеф-стрит.

— В таком случае, — говорит ему Гарри, — чего-нибудь более стоящего, преподобный отец. Виски? Джина с тоником? Официально-то у нас ведь еще лето.

Кэмпбелл окидывает взглядом компанию, проверяя их реакцию, — Нельсона и Пру, сидящих рядом на сером диване. Дженис, присевшую на принесенный из столовой стул, мамашу Спрингер, неловко переминавшуюся с ноги на ногу: ведь ее предложение выпить кофе отвергнуто.

— Что ж, я, пожалуй, не против, — растягивая слова, произносит священник. — Немножко горячительного может быть очень кстати. Нет ли у вас, случайно, водки, Гарри?

Дженис тотчас приходит на выручку:

— Там, в глубине углового буфета, Гарри, бутылка с серебряной этикеткой.

Он кивает.

— Кому-нибудь еще? — И смотрит на Пру, поскольку за эти несколько дней пребывания под одной с ними крышей она показала, что не чуждается горячительного. Ей нравятся ликеры: они тут с Нельсоном привезли из поездки по магазинам вместе с картонками пива «Калуа» квадратные бутылки «Куэнтро» и «Амаретто ди Саронно» — долларов на двадцать, а то и на тридцать. А кроме того, они обнаружили в угловом буфете немного мятного ликера, оставшегося от ужина, который Гарри и Дженис давали в феврале Мэркеттам и Гаррисонам, и зеленая жидкость поблескивает у локтя Пру в самые неожиданные минуты — даже утром, когда они с мамашей смотрят «На краю ночи».

Нельсон говорит, что он не отказался бы от пива. Мамаша Спрингер го-

ворит, что она будет пить кофе — если преподобный отец хочет, у нее есть кофе без кофеина... Они собирались посадить гостя в серое кресло под цвет дивана, но он опередил их и, вытащив кособокий старый сирийский пуф из-под столика рядом с напольной лампой, где мамаша хранит всякие мелочи, оседлал его. Устроившись таким образом, преподобный отец с улыбкой смотрит на всех них снизу вверх, проворно, как обезьяна, вытаскивает из нагрудного кармана трубку и коричневым указательным пальцем утрамбовывает в ней табак.

Дженис встает и отправляется с Гарри на кухню, куда тот идет готовить напитки.

— Ну и пастор у вас тут,— тихо говорит он ей.

— Не язви.

— Что же в моих словах такого язвительного?

— Все.— Она наливает себе немного кампари в стакан для апельсинового сока и молча наполняет мятным ликером одну из восьми маленьких круглых ликерных рюмочек, которые она купила вместе с графинчиком у «Кролла» несколько лет тому назад, примерно в то время, когда они вступили в «Летающий орел». Они почти никогда этими рюмочками не пользуются. Когда Гарри возвращается в гостиную с водкой и тоником для Кэмпбелла, с пивом для Нельсона и с джином и тоником для себя, Дженис идет за ним следом и ставит ярко-зеленый кругляшок на край стола у локтя Пру. Пру вроде бы и не замечает.

Достопочтенный Кэмпбелл уговорил мамашу Спрингер сесть в глубокое кресло, где намеревался устроиться Гарри, и даже вытянул мягкую подставку, чтобы она могла положить на нее ноги.

— Прямо скажем,— говорит она,— сразу стало легче лодыжкам.

Уложенная таким образом в кресло, старуха выглядит хрупкой и как бы задвинутой на семейные задворки. Дженис, взглянув на лежащую в кресле такую неприглядно-беспомощную мать, предлагает:

— Мама, я принесу тебе кофе.

— Прихвати и блюдо с шоколадным печеньем — я его как раз выложила. Хотя не думаю, чтобы кто-нибудь из вас, пьющих спиртное, захотел печенья.

— Я, бабуля, захочу,— говорит Нельсон. Со времени приезда Пру лицо его стало совсем другим — угрюмая замкнутость сменилась выжидательной пустотой, какой-то наивной покорностью, которая ничуть не меньше раздражает Гарри.

Поскольку священник отказался сесть в серое кресло, занять его приходится Гарри. Опускаясь в кресло, Гарри невольно вытягивает ноги, и Кэмпбелл отпрыгивает, точно лягушка, вместе с пуфом на несколько футов в сторону, чтобы его не задела большие замшевые туфли Гарри. Ухмыляясь собственному проворству, шупленький человечек говорит звонко:

— Ну что ж. Как я понимаю, кое-кто здесь хочет жениться.

— Только не я, я уже женат,— быстро выдает Кролик доморощенную шутку. У него возникает нелепое опасение, что Кэмпбелл сейчас протянет свою ручку, лежащую на краю пуфа в нескольких дюймах от туфель Гарри (а ручки его, как и зубы, кажутся невымытыми — под каждым ногтем залегла тень), нагнется и развяжет ему шнурок. Гарри отодвигает подальше ноги.

Пру грустно улыбнулась его шутке, глядя вниз.— рюмочка с зеленой жидкостью стоит пока нетронутая у ее локтя. А сидящий рядом с нею Нельсон сосредоточенно смотрит прямо перед собой, не чувствуя, что на верхней губе у него пена от пива. Пьет, как младенец... Гарри хочется плакать при виде этих невинных усов из пены на губе парня. Продают они его с потрохами. Пру осторожно, не глядя обхватывает пальцами рюмку.

Из глубины вольтеровского кресла раздается усталый голос мамаша Спрингер:

— Да, они хотят, чтобы это было в церкви, но не на широкую ногу. Только ближайšie родственники. И как можно быстрее, мы даже думали — на будущей неделе...

Ее прерывает резкий голос Дженис:

— Мама, в такой спешке нет необходимости. Надо дать время родителям Пру устроить свои дела, чтобы они могли приехать из Огайо.

Ее мать говорит, устало поведя рукой в сторону Пру:

— Она говорит, ее родители, может, и не станут беспокоиться и не приедут. Девчонка вспыхивает и крепче обхватывает пальцами рюмку — видно, намеревается приложиться к ней, как только перестанет быть в центре внимания.

— Мы не так близки, как ваша семья, — говорит она. И, подняв свои прозрачные зеленые глаза на священника, поясняет: — Нас семеро детей. Четыре моих сестры замужем, и два брака из четырех уже лопнули. Отец очень этим недоволен.

Мамаша Спрингер поясняет:

— Она воспитана в католической вере.

Священник широко улыбается:

— А по-моему, Пруденс — типично протестантское имя.

Румянец на щеках Пру, словно от порывистого ветра, снова разгорается.

— При крещении меня назвали Терезой. А подружки в школе считали меня скромницей — вот и прозвали Пру³.

Кэмпбелл хихикает:

— В самом деле! Потрясающе!

Хоть он и молод, волосы у него на макушке, как видит Кролик, поредели. Благодарение всевышнему, эта возрастная проблема не волнует Гарри: у его предков с обеих сторон до конца жизни были хорошие волосы... Голос молодого священника легко перекатывает слог за слогом...

— Бесси, прежде чем мы условимся по поводу деталей — таких, как дата и список гостей, — мне думается, мы должны еще выяснить некоторые основные моменты. Нельсон и Тереза, любите ли вы друг друга и готовы ли вы оба навеки принять на себя обязательство, на котором, по представлению церкви, зиждется каждый христианский брак?

Вопрос вызывает недоумение. Пру шепотом говорит: «Да» — и делает глоточек из своей рюмки.

У Нельсона такой остекленелый взгляд, что мать окликает его:

— Нельсон!

— Я же сказал, что я это сделаю, верно? — жалобно произносит он, вытирая рот. — Я все лето торчал здесь, стараясь что-то придумать. В университете я не вернулся: я теперь уже никогда его не окончу из-за этой истории. Чего же вы еще от меня хотите?

Все замыкаются в молчании, кроме Гарри, а он говорит:

— Я считал, что тебе никогда не нравилось в Кенте.

— Мне действительно там не очень нравилось. Но я потратил на это время, а раз так, то почему бы не получить диплом, чего бы он ни стоил, а он не многого стоит. Все лето, пап, ты шпынял меня по поводу колледжа, и мне хотелось сказать тебе: о'кей, о'кей, ты прав, но ты же не знал всего, ты не знал насчет Пру.

— В таком случае не надо на мне жениться, — быстро, тихо произносит Пру.

Мальчишка искоса — а она ведь сидит рядом с ним на диване — бросает на нее взгляд и еще глубже уходит в подушки.

— Да нет уж, лучше женюсь, — говорит он. — Пора мне остепениться.

— Мы можем пожениться и вернуться на год в Кент, чтобы ты закончил. — Руки Пру лежат теперь на коленях, и в них рюмочка с зеленой жидкостью; она смотрит в нее и говорит размеренно, точно вытаскивая из этого крошечного колодца давно отретированные слова — ответы на жалобы Нельсона.

— Не-а, — говорит пристыженный Нельсон. — Это, по-моему, глупо. Если уж жениться, так по-настоящему, чтоб была и работа, и старый, разбитый «универсал», и тесный домишко, и прочая бодяга. В Кенте меня не научат лучше сбавривать людям эти папины японские игрушки. Вот если бы мамашке и бабуле удалось выкрутить ему руки, чтоб он взял меня.

— Бог ты мой, как ты все искажаешь! — восклицает Гарри. — Мы тебя возьмем — как может быть иначе? Но ты будешь куда ценнее для компании и, что гораздо важнее, для себя самого, если окончишь колледж. И только потому, что я это твержу, на меня смотрят здесь так, точно я зверь. — Он поворачи-

³ Пру — сокращенное от имени Пруденс, что по-английски означает благоразумие, скромность.

чивается к Арчи Кэмпбеллу и, забыв, как низко тот сидит, говорит поверх его головы, словно обращаясь к кому-то стоящему сзади: — Извините за эту перепалку — к вашим делам она не имеет никакого отношения.

— Да нет, — медоточиво возражает молодой священник, — так обычно и бывает. — И спрашивает Пру: — А вы где предпочли бы жить ближайший год? Первый год супружества, как сказано во всех книгах, задает тон всей остальной жизни.

Пру каким-то сердитым жестом откидывает с плеч волосы назад.

— У меня нет особенно радостных воспоминаний о Кенте, — признается она. — Я была бы рада начать жизнь в новом месте.

Трубка Кэмпбелла наполняет комнату сладковатым уютным ароматом. Скорее всего ему еще и тридцати не исполнилось, а уже нет такого мяча, который бы он не отбил на своем поле. Профессионал — это Кролик уважает.

— Вы, возможно, удивляетесь, почему они не хотят выждать этот год, — ядовитым тоном произносит мамаша Спрингер.

Большая голова на хлипком туловище поворачивается, и молодой священник широко улыбается:

— Нет, я об этом не думал.

— Она же в положении, — без всякой надобности объявляет старуха.

— Не без помощи Нельсона, конечно, — улыбается священник.

— Мама, такое ведь бывает, — пытается утихомирить ее Дженис.

— Можешь мне этого не говорить, — отрубает мамаша. — Я не забыла, что так было и с тобой.

— Мама!

— Это ужасно, — объявляет Нельсон с дивана. — Зачем мы притащили сюда этого несчастного человека? Мы с Пру вовсе не просили, чтобы нас венчали в церкви, я вообще не верю во все это.

— Не веришь? — спрашивает Гарри — он потрясен, оскорблен.

— Нет, пап. Если человек умер, так умер.

— Вот как?

— Да перестань ты, ты же знаешь, что это так, в душе все это знают.

— Никто не знает наверняка, — спокойно произносит Пру.

Нельсон в ярости спрашивает ее:

— Сколько мертвецов ты за свою жизнь видела?

Гарри помнит, что у Нельсона, даже маленького, вот так же белело вокруг рта, когда он выходил из себя. У него на нервной почве случались колики в животе, и он хватался за балясины лестницы, поднимаясь вверх за своими учебниками. Но они все равно отправляли его в школу. Гарри тогда еще вкалывал в «Верити», а Дженис полдня работала в магазине, и у них не было няни. Няней была школа.

Преподобный Кэмпбелл, невозмутимо попыхивая своей ароматной трубкой, задает Пру новый вопрос:

— А как относятся ваши родители к тому, что вы собираетесь вступить в брак с человеком, не принадлежащим к римско-католической церкви?

Легкий румянец возвращается, глаза становятся еще более зелеными.

— Собственно, католичкой была только мама, да и она, по-моему, к тому времени, когда я появилась на свет, почти отошла от веры. Меня, правда, крестили, но конфирмации не было, хотя у нас хранилось платье для конфирмации, которое надевали сестры. Пожалуй, можно сказать, что папа выбил это из нее. Не желал он кормить такую ораву.

— А какой он был веры?

— Никакой.

Гарри ударяется в воспоминания:

— Дедушка Нельсона был из католиков. Его мать была ирландка. Это я говорю о моем деде. Черт подери, а я считаю, что...

Все взгляды устремлены на него.

— ...если хоть немножко не верить, то потонешь.

Произнося это, он смотрит на Нельсона главным образом потому, что взволнованное, побелевшее вокруг рта лицо мальчишки у него как раз перед глазами.

Короткий ежик, на взгляд Гарри, делает его похожим на бритого каторжника, у которого отросли волосы. Мальчишка фыркает.

— Делай что хочешь, пап, но только не тони.

Дженис наклоняется к Пру и грудным голосом зрелой женщины, как она теперь завела моду говорить, манерно произносит:

— Хотелось бы мне, чтобы ты сумела убедить своих родителей приехать на свадьбу...

Пру трясет головой, рыжие волосы ее взлетают — затравленный зверь. Она говорит:

— У нас произошел разрыв. Они не одобряли кое-чего, что было до Нельсона, не одобрили бы и того, что я в таком положении.

— А что же ты такого натворила? — спрашивает Гарри.

Она словно не слышит и произносит, как бы разговаривая сама с собой:

— Я научилась заботиться о себе без их помощи.

— Вот что я вам скажу, — мягко произносит Кэмпбелл; трубка у него погасла, и его внимание целую минуту было поглощено тем, чтобы ее разжечь. — Мне несколько затруднительно прийти к решению... относительно того, как венчать такую пару, когда одна принадлежит к римско-католической церкви, а другой, как он только что нам сообщил, является атеистом... В данном случае, люди добрые, я, право же, не вижу, чтобы Нельсон и его совершенно очаровательная невеста были вообще готовы или хотели бы принять, если можно так выразиться, наш вариант чуда. — Он выпускает большое облако дыма и, как обычно делают курильщики трубок, поджимает губы, ожидая возражений.

Мамаша Спрингер зашевелилась — кажется, хочет подняться из своего глубокого кресла.

— Так вот: не бывать тому, чтобы внук Фреда Спрингера венчался в римско-католической церкви! — Голова ее снова падает на мягкий подголовник. Подбородок багровеет.

— О! — весело восклицает Арчи Кэмпбелл. — Я не думаю, чтобы мой дорогой друг отец Макгэрн тоже мог их обвенчать. Юная леди ведь даже не ходила к конфирмации. Знаете что, — добавляет он, сцепив руки на колене и глядя в пространство, — множество прекрасных здоровых браков было совершено в мэрии. Или в унитарной церкви...

Кролик вскакивает. Здесь происходит что-то ужасное — правда, он не очень понимает, что так ужасно и для кого.

— Еще кто-нибудь, кроме меня, хочет выпить?

Кэмпбелл не глядя протягивает ему пустой стакан, да и у Пру в рюмочке уже ничего нет. Зелень мятного ликера вся переместилась в ее глаза. А священник говорит ей и Нельсону:

— Право же, при определенных обстоятельствах даже для самых верующих это, возможно, наиболее правильный путь. А потом можно устроить свадьбу и в церкви — мы сплошь и рядом наблюдаем такое укрепление брачных уз.

— А почему бы им просто не жить здесь во грехе? — спрашивает Гарри. — Мы не возражаем.

— Очень даже возражаем, — произносит мамаша: она так и кипит.

— Эй, пап, — обращается к нему Нельсон, — ты не принесешь мне еще пива?

— Сходи сам. У меня полные руки. — Тем не менее он останавливается перед Пру и берет ее маленькую рюмочку. — Ты уверена, что это хорошо для малыша?

Во вскинута на него взгляде холод. Он-то держится так по-отцовски и тепло, а у нее глаза — точно прихваченная морозом трава.

— О да, — говорит она ему. — Вот пиво и вино пить плохо — от них раздуваешься.

К тому времени, когда Кролик возвращается из кухни, Кэмпбелл уже дал себя уговорить. Есть возможность сделать так, как они хотят: свадьба в церкви, свадьба, приемлемая в глазах всех этих Грейс Штул... Речь держит мамаша Спрингер — закругленные носы ее голубых кроссовок подрагивают:

— Не надо принимать все, что говорит мальчик, буквально. В его возрасте я сама не знала, во что я верю: я считала, что в правительстве сидят одни дураки, а вот гангстеры — люди правильные. Это было в пору сухого закона.

Нельсон сумрачно смотрит на нее такими же темными, как у нее, глазами.

— Бабуля, раз это так много для тебя значит, мне, право, все равно — пусть будет как будет.

— А что думает на этот счет Пру? — спрашивает Гарри, ставя перед ней любимый напиток. А может, думает он, эта ее застылость и маленькие паузы перед тем, как дать волю улыбке, объясняются просто страхом: ведь это в ней растет новая жизнь, а не в ком-то другом.

— Я думаю,— произносит она так тихо, что все замирают, чтобы услышать ее,— что в церкви было бы приятнее.

Нельсон говорит:

— А я — это уж точно — не хочу идти в эту жуткую новую бетонную мэрию... Один знакомый парень рассказал мне, что подрядчик положил себе в карман миллион, а в цементе уже появились трещины.

— Гарри,— с облегчением произносит Дженис,— я не прочь выпить еще кампари.

Кэмпбелл приподнимает свой вновь наполненный стакан — он ведь сидит чуть ли не на полу.

— Выпьем, люди добрые.— И излагает свои условия: — Обычно делается так: первая встреча, затем по крайней мере три беседы-проучения и наставление в христианстве. Будем считать, что это и есть первая встреча.— И дальше обращается уже непосредственно к Нельсону, при этом Гарри слышит, как в мягком бархатном голосе появляются вкрадчивые нотки: — Нельсон, церковь отнюдь не считает каждую брачующуюся пару парой святых. Но она требует, чтобы брачующиеся представляли себе, на что они идут. Я не даю клятву — ее даете вы с Терезой. Брак — это не просто обряд, это священнодействие, предложение господу приобщиться к святости. И не только на один миг. Каждый день, проведенный вместе, должен быть священнодействием. Вы чувствуете, какой это имеет смысл?..

— Я же сказал, я не против.— жалобно произносит Нельсон.

— И сколько эти беседы и наставления будут продолжаться? — несколько суховато спрашивает Дженис.

— О-о,— тянет Кэмпбелл, закатывая глаза к потолку,— я думаю, принимая во внимание разные обстоятельства, мы могли бы провести все три за две недели. У меня тут, как сказал один священнослужитель, случайно при себе книжка-календарь...

Какое-то чувство протеста, желание уязвить священника, возмутиться против этой так гладко прошедшей сделки побуждает Гарри сказать:

— Угу, мы ведь хотим, чтоб их обкрутили до появления младенца. А он ожидается к рождеству...

— В январе.— шепотом произносит Пру, поставив на стол рюмку.

Гарри не может сказать, довольна она или недовольна тем, как он с поистине рыцарской галантностью то и дело вспоминает о младенце, тогда как остальные стараются обходить это молчанием...

— Я тоже родился в январе,— говорит Арчи Кэмпбелл, вставая. И широко ухмыляется, показывая плохие зубы.— Родился после долгих молитв. Мои родители были люди пожилые. Удивительно, как я вообще появился на свет.

На другой день теплый дождь сбивает с деревьев в парке вдоль аллеи Панорамного обзора пожелтевшие листья, когда Гарри и Нельсон едут через Бруэр в магазин. Парень там все еще *persona non grata*⁴, но он попросил разрешения проверить, в каком состоянии находятся разбитые им машины, одну из которых Мэнни взялся отремонтировать. «Меркури», получивший два удара в бок, поврежден более серьезно, и для него труднее подобрать части. Кролик-то думал продать его как лом, когда парень уедет в колледж, и списать в убыток. Но у него не хватило духу сказать мальчишке, чтобы он хотя бы не смотрел на останки.

⁴ Лицо, находящееся в немилости, или которому отказано в пребывании.

Потом Нельсон возьмет «Корону» и съездит навестить Билли Фоснахта, пока тот не отбыл в Бостон учиться на врача, специалиста по пародонтозу... Какой ужасный способ зарабатывать себе на жизнь! Но, может быть, стопроцентно хорошего способа и не существует. Дворники на ветровом стекле, шурша резиной, безостановочно поют свою песню, а поток транспорта по Бруэру замедляет свой бег — по всему бульвару Акаций горят хвостовые красные огни. В Замке снова начались занятия, и желтые школьные автобусы маячат среди машин. Жаль, что он больше не курит, думает Гарри. У него возникает желание поговорить с парнем.

— Нельсон!

— Угу?

— Как ты себя чувствуешь?

— О'кей. Когда я проснулся, у меня немного побелело горло, но я принял две таблетки витамина С по пятьсот миллиграммов, которые Мелани уговорила Бесси приобрести.

— Она была прямо помешана на здоровье, верно? Мелани... Ты скучаешь по ней?

— По Мелани? Нет. А почему я должен скучать?

— Разве вы не были по-своему близки?

Нельсон избегает прямого ответа.

— Слишком много она стала брюзжать под конец.

— Ты думаешь, они с Чарли поехали вместе?

— Понятия не имею, — говорит мальчишка.

Шуршание дворников, переключенных на среднюю скорость, заставляет Кролика вздрагивать всякий раз, как они проходят по стеклу, точно не он, а кто-то другой распорядится в машине. Призрак...

— Когда я спросил тебя, я имел в виду не здоровье. Скорее я имел в виду твоё настроение. После вчерашнего.

— Ты имеешь в виду из-за этого вонючего священника? А я не возражаю разика два сходить послушать его белиберду, если это нужно для чести Спрингеров или чего-то там еще.

— Я имел в виду, наверно, брак вообще. Нелли, я не хочу видеть, как тебя приневоливают.

Мальчишка так сидит, что Гарри видит его лишь краем глаза; впереди желтые автобусы сворачивают в Верхний Бруэр, и цепочка машин снова начинает медленно ползти вдоль припаркованных автомобилей, усыпанных листьями, сброшенными с деревьев дождем.

— Кто говорит, что меня приневоливают?

— Никто не говорит. Пру кажется славной девушкой, если ты вообще готов к браку.

— Ты считаешь, что я не готов. Ты считаешь, что я ни к чему не готов.

Гарри выжидает, чтобы улеглась вспышка враждебности, и старается говорить рассудительно, как Уэбб Мэркетт.

— Знаешь, Нельсон, я не уверен, что есть такой мужчина, который был бы на сто процентов готов к браку. Про себя я точно знаю, что не был готов — иначе я не вел бы себя так по отношению к твоей матери.

— Что ж, да, — говорит малый несколько угасшим голосом: не удалось отца зацепить. — Но она свое взяла...

— Я никогда не имел на нее за это зуб. Да и на Чарли тоже. Ты бы должен это понять. После того как мы снова съехались, оба мы вели себя примерно. Даже изрядно веселились вместе. Мне только жаль, что нам пришлось склеивать свои отношения у тебя на глазах.

— Ну... Времена, наверно, были такие. Многие ребята, которых я знаю по Кенту, рассказывали истории похуже...

— А мне в новых временах кое-что представляется странным. Девчонка переспала с парнем — о'кей, танго в одиночку не танцуют, на парне лежит определенная ответственность, никто не отрицает. А потом, насколько я понимаю, девчонка категорически отказывается делать аборт, хотя за эти двадцать лет вместе с уймой всяких не очень хороших вещей появилось и нечто хорошее,

а именно — что можно сделать аборт в открытую, в больнице, в чистоте и без-опасности, все равно как вырезать аппендикс.

— Ну и что?

— Так почему она отказывается?

Мальчишка взмахивает рукой — Кролику кажется, что он сейчас схватит баранку; пальцы его крепче сжимают ее. Но Нельсон просто повел рукой, как бы показывая широту возможностей.

— У нее на это была уйма причин. Я сейчас забыл, какие именно.

— Я хотел бы услышать какие.

— Ну, во-первых, она говорила, что знает женщин, которых так изуродовали абортами, что они потом не могли иметь детей. Ты говоришь, это все равно как вырезать аппендикс, но тебе же никогда не делали аборта... И потом, пап, она застенчивая. Недаром ее прозвали Пру. Пойти по такому поводу к доктору — да она в жизни не согласится.

— Еще бы она согласилась. Значит, застенчивая, а как ребенка сообразить, так не постеснялась. На сколько ты моложе ее?

— На год. Немного больше. Какое это имеет значение? Она ведь не просто хотела иметь ребенка, она хотела иметь ребенка от меня. Во всяком случае, так она говорила.

— Очень мило. По-моему. А ты как это воспринял?

— Я, наверно, решил — о'кей. Это ведь ее тело. Они все теперь так говорят — «это мое тело». Я просто не видел, что тут можно сделать...

— Итак, значит, она решила сохранить беременность, чтобы уже не было пути назад, — говорит Гарри и от возмущения гудит детишкам, которые выбегают прямо перед машиной на дорогу, — а тем временем другая девушка стережет тебя, и твои мама и бабушка, а теперь еще и этот священник в юбке решают, когда и как обвенчать несчастную потаскушку. А твоя-то роль во всем этом какая? Нельсона Энгстрема. Я имею в виду, чего ты хочешь? Ты это знаешь? — От досады он ударяет рукой по сигналу на рулевом колесе — тут улица ныряет в выложенный почерневшими камнями тоннель, сооруженный в девятнадцатом веке под скрещением Эйзенхауэр-авеню с Седьмой улицей; в сильные дожди его обычно затопляет, но сегодня там сухо. Этот тоннель, сооруженный без замкового камня мастерами, которых уже давно нет в живых, считается архитектурным достижением. Кролику даже в раннем детстве он всегда напоминал о склепе, о смерти.

Они выскакивают из тоннеля уже в той части улицы, где на веревках висят мокрые флажки, ограждающие дешевые рабочие лавчонки.

— Так вот, я хочу...

Опасаясь, как бы парень не сказал, что он хочет получить место в «Спрингер моторс», Гарри прерывает его:

— Вид у тебя напуганный — это я вижу. Ты боишься сказать «нет» любой из этих женщин. Я тоже не очень-то умел говорить «нет», но только потому, что это у нас в крови, ты не должен отдавать себя на заклятие. Тебе вовсе не обязательно повторять мою жизнь — вот, пожалуй, что я хочу тебе сказать.

— А мне твоя жизнь кажется вполне уютной.

Нельсон явно полез в бутылку — так нахально, так хладнокровно он это произносит, что ясно: его оттуда нелегко будет извлечь. Они сворачивают на Уайзер-стрит; лес, выросший на городской площади, возникает туманным зеленым пятном в зеркале заднего обзора.

— Что ж, да, — говорит Гарри, — у меня ушло немало времени на то, чтобы добиться такой жизни. А когда ты этого добиваешься, твоя лодка уже зачерпнула воды. В мире, — говорит он сыну, — полно людей, которые так и не узнают, что их ударило: не успели проснуться, как жизнь уже кончена.

— Пап, ты все говоришь о себе, но я не вижу, какое ко мне-то это имеет отношение. Разве я могу не жениться на Пру? Она не такая и плохая — я хочу сказать, я знал достаточно девочек и понимаю, что у каждой есть свой потолок. А Пру — личность, она друг. Такое впечатление, точно ты не хочешь, чтоб мы были вместе, точно ты завидуешь или что-то еще. Эта твоя манера без конца напоминать, что она ждет ребенка.

Нет, парня надо бы при случае выпороть.

— Я вовсе не завидую, Нельсон, как раз наоборот. Я жалею тебя.

— Не жалею меня. Не трать на меня своих чувств.

Они проезжают мимо Похоронного бюро Шонбаума. Перед зданием в такой дождь — никого. Гарри проглатывает комок в горле и спрашивает:

— Неужели тебе неохота выбраться из этой ситуации, если мы сумеем сблефовать?

— А как же можно сблефовать? Она — на пятом месяце.

— Пусть себе рожает, но жениться на ней тебе необязательно. Эти агентства по усыновлению прямо схватят белого ребенка, ты только окажешь кому-нибудь услугу.

— Пру никогда на это не пойдет.

— Не будь так уверен. Мы можем облегчить ей решение. Их ведь было семеро детей, так что она знает цену доллара.

— Пап, это какой-то сумасшедший разговор. Ты забываешь, что будущий младенец — человек. Энгстром!

— Господи, да как же я могу это забыть?

В конце Уайзер-стрит, у моста, горит красный свет. Гарри бросает сбоку взгляд на сына — такое впечатление, будто он только что вылутился из яйца, еще мокрый и не вполне расправивший крылышки. Загорается зеленый свет. На бронзовой дощечке, прикрепленной к столбу из цемента пополам с каменной крошкой, значится имя мэра, в честь которого назван мост, но дождь слишком сильный, так что не прочтешь.

Гарри снова заводит свое:

— Ты мог бы, не знаю, ну, не принимать никаких решений, а просто исчезнуть на время. Я бы дал тебе денег.

— Денег — вечно ты мне предлагаешь деньги, только чтобы я был подальше от тебя.

— Может, это потому, что, когда я был в твоём возрасте, мне хотелось уехать подальше от родителей, но я не мог. У меня не было денег. Не было на это ума. Мы пытались отослать тебя, чтобы ты вдали от нас поднабрался ума, а ты показал нам нос.

— Никакого носа я не показывал, просто я там не нашел для себя ничего подходящего. Все совсем не так, как ты думаешь, пап. Колледж — это обдираловка, профессора учат тебя потому, что им за это платят, а не потому, что это может тебе пригодиться. География или что там другое интересует их не больше, чем тебя. Все это сплошное шарлатанство: тебя учат, потому что родители после определенного возраста не хотят иметь детей в доме и отправляют их в колледж, — это красиво выглядит. «Мой маленький Джонни в Га-арварде». «Мой маленький Нелли в Ке-енте».

— Ты действительно так на это смотришь? А в мое время ребята хотели вырваться на волю. Мы, конечно, боялись, но не настолько, чтобы бегом мчаться назад, к маме. И бабуле. Что ты будешь делать, когда не станет женщин, которые могли бы подсказать тебе, что надо делать?

— То же, что и ты. Помру.

ДИСКО. ДАЦУН. ЭКОНОМЬТЕ ГОРЮЧЕЕ. Шоссе 111 в дождь выглядит даже красиво: разноцветные пятна автомобилей, и флажки, и голубоватый асфальт стоянок — на ходу все сливается в непрерывную ленту, лишь шуршат машины да постукивают дворники. Словно взлетают вверх резиновые руки — помогите, помогите. Кролик всегда любил дождь. Он как бы накрывает мир крышей.

— Я просто не хочу, чтобы ты попал в капкан, — вырывается у него. — Ты слишком мне дорог.

— Я не ты! — повышает голос Нельсон. — Я и не попаду!

— Нелли, ты же в капкане. Тебя зацапали, а ты даже не пискнул. Мне ненавистно это видеть — вот и все. Я только пытаюсь сказать тебе: я лично не считаю, что ты должен непременно лезть в эту петлю. Если ты хочешь вырваться, я тебе помогу.

— Не хочу я такой помощи! Мне нравится Пру. Мне нравится ее внешность. Она и в постели очень хороша. Я нужен ей, она считает, что я порядоч-

ный малый. Она не считает меня младенцем. Ты говоришь, я попал в капкан, но я этого не чувствую, я чувствую, что становлюсь мужчиной.

Помогите, помогите!

— Прекрасно, — говорит тогда Гарри. — Желаю счастья.

— Там, где мне нужна твоя помощь, пап, ты не хочешь помочь.

— Где же это?

— Да вот здесь. Перестань чинить мне препятствия — дай попробовать свои силы в магазине.

Они сворачивают к магазину. Шины «Короны» со всплесками разрезают воду, стремительно катящуюся к водостоку вдоль парапета. Кролик молчит с каменным лицом.

III

На Уайзер-стрит в одном из этих замызганных, неопрятных кварталов между мостом и торговым центром, напротив старой, выдавшей виды мелочной лавки, где продают иногородние газеты, горячий очищенный арахис и непристойные журнальчики для извращенцев и для обычных людей, открылся новый магазин. С виду можно подумать, что новый магазин торгует тоже чем-то непристойным: витрина его затянута длинными тонкими светлыми жалюзи, а буквы на стекле выглядят удивительно скромно. Золотые буквы, обведенные черным и отнюдь не большие, гласят: ФИНАНСОВЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ; а под ними буквами поменьше: «Старые монеты, серебро и золото покупаем и продаем». Гарри каждый день проезжает мимо этого магазина, и однажды, когда у обочины есть два свободных места со счетчиком, так что можно поставить машину, не задерживая движения, он припарковывается и заходит туда. А на другой день, проделав определенную операцию в своем банке — Кредитном банке Бруэра, находящемся в двух кварталах отсюда, — он выходит из «Финансовых альтернатив» с тридцатью кругеррандами, приобретенными за 377,14 доллара каждый, включая комиссионные и налог на товары, — словом, всего на 11 314,20 доллара. Эта цифра выскочила на машинке в магазине у девушки с платиновыми волосами; длинные малиновые ногти не мешали ей работать на клавишах компьютера. Во всем магазине, кроме этой девушки за длинным стеклянным прилавком со светлыми боковинами и таким же вращающимся креслом, не было ни души. Но из задних комнат доносились голоса, свидетельствующие о присутствии людей, — девушка исчезла туда и вновь появилась вместе с предназначенным ему золотом. Монеты лежали по пятнадцать штук в изящных пластмассовых цилиндрах с круглыми голубыми крышечками, почему-то напоминавшими сиденья кукольного туалета, тем более что кусочки бумаги, похожей на туалетную, были засунуты в отверстия крышечек, чтобы они плотнее прилегали, и священный металл даже не проблескивал сквозь щель. Такие тяжелые эти цилиндры, что кажется — вот-вот прорвут карман пальто Гарри, пока он взбегает по ступенькам крыльца мамы Спрингер на встречу со своей семьей. Открыв входную дверь, он видит Пру, сидящую с вязанием на сером диване, и мамашу Спрингер, захватившую вольтеровское кресло, чтобы можно было положить ноги повыше, в то время как некий разбитной мулат передает скороговоркой из Филадельфии шестичасовые новости...

— А где Дженис? — спрашивает Гарри.

Мамаша Спрингер говорит:

— Ш-ш-ш.

Пру говорит:

— Дженис повезла Нельсона в клуб, а то у некоторых дам не хватает пары для тенниса, а потом они, по-моему, собирались поехать по магазинам, чтобы купить ему костюм.

— Мне казалось, он уже покупал себе костюм этим летом.

— То был деловой костюм. А для свадьбы, они считают, ему нужна тройка.

— Господи, свадьба! А как тебе нравятся ваши собеседования с Как-Его-Там?

— Мне это безразлично. А Нельсон лезет от них на стенку.

— Он это говорит специально, чтобы позлить свою бабушку. — изрекает мамаша Спрингер, слегка поворачиваясь, чтобы ее услышали, несмотря на подголовник. — А я считаю, что это ему очень даже на пользу.

Ни одна из женщин не замечает, как отвисли карманы его пальто... А ему нужна Дженис. Он идет наверх и засовывает два компактных, чистеньких цилиндрика в глубь ящика ночного столика, где он держит запасные очки и резиновую насадку на пластмассовой ручке, которой надо массировать десны, чтобы не попасть в руки зубного врача, а также затычки из розового воска, которые он иногда сует в уши, если чем-то взвинчен и не может отключиться от шума в доме... Ящик застрял и трещит, и Гарри, стараясь задвинуть его, слышит, что вернулись Дженис и Нельсон и по всему нижнему этажу разносятся их рассказы о достижениях в теннисе и новостях из широкого мира. Гарри хочется приберечь свою новость для Дженис. Сразить ее. Ящик неожиданно закрылся, и Гарри улыбается, представляя себе, как она удивится при виде его драгоценного, сверкающего, тяжелого, как свинец, секрета.

Как это бывает со многими событиями, которые мы рисуем себе в воображении, все получается не так, как представлялось. Гарри и Дженис поднимаются наверх гораздо позднее обычного, оба расстроенные и взвинченные. Ужинать пришлось рано, потому что Нельсон и Пру должны были ехать к Манной Каше, как они прозвали Кэмпбелла, на третье собеседование. Вернулись они около половины десятого, причем Нельсон так кипел, что пришлось снова откупорить вино, которое подавали к ужину, а он с банкой пива в руке изображал, как молодой священник долбил церковные заповеди, влезая в их интимную жизнь...

— Извини, мам, но он, право же, выводит меня из себя. Он заставляет меня говорить то, во что я не верю, а потом ухмыляется и веселится. точно все это дурацкая шутка. Бабуля, и как только ты и все прочие пожилые дамы можете его выносить?

Бесси вышла из кухни с кружкой горячего овальтина, на которую она смотрит, не сводя глаз; волосы ее, уложенные на ночь в сетку, словно приклеены к черепу.

— Что ж, — говорит она, — он лучше некоторых и хуже других. По крайней мере он не душит нас всех ладаном, как тот, который стал потом православным священником...

По телевидению начинается повторная демонстрация «Мэш», фильма, который хотелось посмотреть Нельсону. — лица у молодых людей вдруг становятся усталыми, опустошенными; они сидят рядышком на диване — молодая пара, которую усиленно пытаются сплотить. У каждого из них уже появилось свое привычное место: Пру сидит в конце дивана, возле маленького столика вишневого дерева, где стоит ее рюмочка ликера и лежит ее вязание, а Нельсон — на средней подушке, задрав ноги в парусиновых туфлях фирмы «Адидас» с подошвами в кружочках на стилизованную сапожную скамью. Теперь, когда он перестал бывать в магазине, он не утруждает себя бритьем каждый день, и на его подбородке и верхней губе появилась рыжеватая щетина, а на щеках — все еще пушок. А ну его к черту, этого неряху. Кролик решил жить для себя.

Когда Дженис выходит из ванны нагая и влажная под своим махровым халатом, он уже запер дверь спальни и лежит в одних трусах на постели.

— Эй, Дженис. — окликает он ее вдруг осевшим вкрадчивым голосом, — посмотри-ка! Я сегодня кое-что нам купил.

Ее темные глаза очумело смотрят после всего выпитого да еще всех этих стараний строить из себя добрую мамочку — она и душ-то приняла, чтобы прочистить голову. Постепенно взгляд ее становится осмысленным, и она, должно быть, видит на его лице такой безмерный восторг, что это озадачивает ее.

Он вытягивает непослушный ящик и сам не без удивления смотрит, как два цветных цилиндрика скользнули к нему — они по-прежнему тут, по-прежнему рядом. А ведь казалось бы, нечто столь ценное должно излучать сигналы, и грабители должны были примчаться сюда, точно псы по следам распаленной сучки. Гарри вынимает из ящика один цилиндрик и кладет его на руку Дженис — от неожиданной тяжести рука у нее опускается, незавязанный халат распахивается...

— Что это, Гарри? — спрашивает она, широко раскрыв глаза.

— Открой, — говорит он ей, и, поскольку она слишком долго копается с прозрачной клейкой лентой, удерживающей на месте крышечку в виде сиденья на стульчаке, он поддевает ее своим крупным ногтем. Затем вытаскивает папиросную бумагу и вытряхивает на стеганое покрывало пятнадцать кругеррандов. Они краснее, чем, насколько он помнит, бывает золото. — Золото, — шепчет он, поднося к ее лицу ладонь с двумя монетами, которые лежат разными сторонами вверх: на одной профиль какого-то старого бура, на другой что-то вроде антилопы. — Каждая из этих штук стоит около трехсот шестидесяти долларов, — сообщает он ей. — Только не говори об этом ни твоей матери, ни Нельсону, никому.

Она смотрит на них словно завороченная и берет одну монету. Ее ногти при этом царапают его ладонь. В карих глазах загораются золотые искорки.

— А это не против правил? — спрашивает Дженис. — Где, черт побери, ты их взял?

— В новом магазине на Уайзер-стрит, напротив лавки, где торгуют арахисом; там продают драгоценные металлы, покупают и продают. Все было очень просто. Надо было только принести заверенный чек в течение суток с момента, когда тебе назвали цену. Они гарантируют, что возьмут их обратно в любое время по цене на тот момент, так что теряешь ты на этом только шесть процентов комиссионных, которые они берут себе, да налог на товары, который окупится за неделю при том, как золото растет в цене. Вот. Я купил две упаковки. Смотри.

Он достает из ящика второй волнующе тяжелый цилиндрок, снимает крышечку и вытряхивает на покрывало одну за другой пятнадцать антилоп, тем самым выставленное на обозрение богатство сразу удваивается. Покрывало — легкий стеганый шедевр пенсильванских голландцев — состоит из маленьких квадратиков, сшитых вместе терпеливыми мастерами с переходом от светлых тонов к темным, чтобы создать пространственный эффект: получилось как бы четыре коробки, у каждой из которых есть более светлая и более темная сторона. Гарри ложится на этот мираж и кладет себе на каждое веко по кругерранду. Красноватые золотые кругляши холодят веки, он слышит голос Дженис:

— Боже мой! Я-то думала, что только правительство может держать золото. Разве на это не нужно разрешение или что-то еще?

— Только деньги. Только треклятые деньги, чудо-женщина. — Он лежит слепой и чувствует, как от непривычной тяжести золота в нем вспыхивает желание...

— Гарри, сколько же ты на это потратил?

А он думает о том, как бы внушить ей, чтобы она посмотрела на него ниже пояса... Но ему это не удается, тогда он снимает с век монеты и смотрит на нее — лежит и глядит, воскресший мертвец. Перед его глазами не гробовая мгла, а очумелое лицо жены, обрамленное темными обвисшими патлами, с мокрой после душа челкой на лбу — вылитая Мейми Эйзенхауэр⁵.

— Одиннадцать тысяч пятьсот с чем-то, — отвечает он ей. — Лапочка, ведь эти деньги лежали в банке за жалкие шесть процентов. А в наши дни получать всего шесть процентов годовых значит терять деньги: инфляция-то ведь составляет двенадцать процентов в год. Золото прекрасно тем, что дурные вести ему на пользу. Когда доллар падает, цена на золото идет вверх. Все арабы превращают свои доллары в золото. Это мне сказал Уэбб Мэркетт в тот день, когда ты не поехала в клуб.

Она продолжает разглядывать монету, поглаживая пальцами изящный рельеф, а ему так хочется, чтобы она обратила внимание на него...

— Красиво, — признает Дженис. — Но следует ли поддерживать Южную Африку?

— А почему бы и нет — ведь золотые рудники дают работу черным. Преимущество кругерранда, как мне сообщила девушка в «Финансовых альтернативах», в том, что монета весит точно одну тройскую унцию и ее легче продать. Можно при желании купить мексиканские песо или этот маленький канадский

⁵ Имеется в виду жена президента Эйзенхауэра.

кленовый листок. хотя, по ее словам, золото там такое, что на пальцах остается золотая пыль. А потом мне понравился этот олень на обратной стороне. А тебе?

— Мне тоже. Оно возбуждает, — признается Дженис, взглянув наконец на Гарри, лежащего среди разбросанных по постели золотых монет. — Где же ты собираешься их хранить? — спрашивает она. В задумчивости она высовывает кончик языка, и он остается лежать на ее нижней губе. Гарри нравится, когда она такая задумчивая.

— В твоей необъятной утробе, — говорит он и притягивает ее к себе за отвороты халата.

Из уважения к остальным обитателям дома — а мамашу Спрингер отделяет от них лишь толща стены, сквозь которую слышно, как у нее бормочет телевизор, изображая корейскую войну сущим пустяком. — Дженис старается не взвизгнуть, когда он срывает халат с ее еще влажного тела и кожа ее соприкасается с монетами на постели... Стянув с себя белье, он ласками удерживает ее в неподвижности и кладет по кругерранду на каждую грудь, одну монету на живот и выкладывает треугольник из скользящих монет наподобие золотой чешуи. Если Дженис сейчас рассмеется и живот ее дернется, вся конструкция рухнет...

— Боги спали среди звезд, — шепчет он ей в ухо, и она уже безраздельно принадлежит ему...

Отпраздновав таким образом это событие, они дают дыханию успокоиться и, собирая в полутьме на смятом, вздыбленном зелеными волнами покрывале кругерранды, насчитывают только двадцать девять монет. Гарри включает верхний свет. Глазам становится больно. При этом резком свете кожа у них обоих тоже выглядит мятой. Паника затопляет обессилевшее тело Гарри; он не может успокоиться, пока, ползая нагишом на коленях по ковру, не находит между матрасом и бортиком кровати драгоценную тридцатую монету.

Он стоит рядом с Чарли и смотрит на улицу, на унылый сентябрьский день. Дерево за Придорожной кухней словно бы стало тоньше, и крона его пожелтела; над его оголенными ветвями, точно полоски жира в грудинке, плывут по небу перистые облака, обещающая на завтра дождь.

— Бедный старина Картер, — произносит Гарри. — Ты видел, он чуть не сдох, когда бежал вверх по горе в Мэриленде?

— Жмет вовсю, — произносит Чарли. — Кеннеди-то сидит у него на хвосте. — Чарли вернулся после своего двухнедельного отпуска с легким загаром — поцелуем флоридского солнца, — который, однако, не может скрыть его изначальной бледности, а может быть, сказалось и то, что он приехал не прямо оттуда. В понедельник одновременно с его возвращением в «Спрингер моторс» пришла открытка из Огайо, написанная его косым бухгалтерским почерком:

Привет, ребята...
На обратном пути из Флориды
завернул в большие горы.
Миля за милей —
сплошь южные красотки.
Приближаюсь к Акрону, осколку
столицы мира. Экономии
горючего здесь — ни-ни:
большехвостые машины и «В-3» еще царят вовсю.
По всем очень соскучился.

Чарл.

Издвка — прежде всего над Гарри — таилась на обратной стороне: там было изображено большое здание с плоской крышей, похожее на кусок пирога, а под ним значилось **СТУДЕНЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КЕНТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА** с самой обширной открытой библиотекой в северо-восточном Огайо.

— Ты сам, я смотрю, жмешь вовсю, верно? — замечает Гарри. — Как там вела себя Мелани?

— А кто сказал, что я был с Мелани?

— Ты сказал. Этой открыткой. Господи, Чарли, путаться с такой молодой девчонкой — это же убьет тебя.

— Что за манеры, а, чемпион? Ты не хуже меня знаешь, что приканчивают мужика не девчонки, а дамочки среднего возраста, которые знают, что их время на исходе...

— Что же вы там с ней делали, во Флориде?

— Путешествовали. Сарасота, Венис, Сент-Питерсберг. Я никак не мог уговорить ее не ездить на Атлантику, поэтому мы смотались из Нейпс по Семьдесят пятой, бывшей Дороге крокодилов, и прокатились по краю героина — Корал-Габлс. Затем по Океанскому бульвару до острова Бока и Уэст-Палм-Бича. Мы собирались прихватить и мыс Канаверал, но времени не осталось. Глупышка не взяла с собой даже купального костюма, а тот, что мы ей купили, был из новомодных, с открытыми боками. Фигура — роскошная. Просто не понимаю, как ты ее не оценил.

— Да не мог я ее оценить — ведь это же Нельсон привез ее...

Чарли прихватил с обеда в ресторане зубочистку оранжевого цвета, и сейчас она лежит на его нижней губе, а он смотрит сквозь несвежее стекло витрины.

— А как Нельсон и его невеста?

— Пру. — Гарри видит, что Чарли не намерен делиться подробностями своего путешествия и их придется извлекать из него по одной. «Миля за милей сплошь южные красотки». Вот ведь чертов мужик. Но у Кролика есть тоже секреты. Правда, при мысли об этом перед его мысленным взором возникает лишь ферма со своими строениями, сгрудившимися в глубокой лощине.

— У Мелани есть свои соображения насчет Пру.

— Например?

— Например, она считает, что Пру с причудами. У Мелани такое впечатление, что при всей своей застенчивости Пру хваткая девчонка — это объясняется жесткой средой, в которой она росла, и что в плане эмоциональном она не очень стабильна.

— Ну, тут можно только сказать, что девчонка, которой нравится спать с таким старым сычом, как ты, сама с причудами.

Чарли отрывает взгляд от витрины и в упор смотрит на Гарри — такое впечатление, что его глаза за темными стеклами очков полны слез.

— Ты не должен говорить мне такое, Гарри. Нас с тобой здесь двое, а два мужика, работающих вместе, должны ладить друг с другом.

Интересно, думает Гарри, знает ли Чарли, как шатко его положение — ведь Нельсон наступает ему на пятки.

А Чарли продолжает:

— Можешь задавать мне любые вопросы про Мелани. Как я уже сказал, она славная девчушка. Эмоционально уравновешенная. Вся беда твоя, чемпион, в том, что ты только и думаешь о постели. А я получал огромное удовольствие от того, что показывал этой молодой женщине кусочек мира, который она прежде не видела. Она все с жадностью поглощала — и кипарисы и эту колокольню. Но сказала, что все равно предпочитает Калифорнию. Флорида-де слишком плоская. Она сказала, что если бы я мог выбраться в Кармел на рождество, она бы охотно все мне там показала. Познакомила бы со своей матерью и со всеми, кто там окажется. Никаких обременительных страстей.

— Сколько же.. сколько времени вам вдвоем, осталось провести?

— Кто бы это ни был, Гарри, времени у меня осталось немного. — Он проносит это шепотом, еле слышно.

Гарри так и хочется взять щетку и прочистить ему горло.

— Это нельзя знать заранее, — заверяет он своего более мелкого коллегу.

— Да нет, вообще-то всегда знаешь, — настаивает Ставрос. — Знаешь, когда время твое истекает. Так что, если жизнь предлагает тебе что-то, бери.

— О'кей, о'кей, я так и поступлю. Да, так и поступлю. А как же без тебя обходилась твоя бедная старушка матушка, пока ты скакал с чувихой по Эверглейдс⁶?

⁶ Заболоченная местность во Флориде.

— А-а,— говорит он,— это вышло забавно. Одна моя кузина, лет на пять, по-моему, моложе меня, вела довольно разгульный образ жизни, и муж этим летом вышвырнул ее из дома, а детей оставил себе. Они жили в Норристауне. Так вот Глория поселилась на Янгквист, в двух кварталах от нас, и охотно согласилась посидеть со старушкой в мое отсутствие и сказала, что я могу на нее рассчитывать в любое время. Так что теперь я менее связан, чем раньше.

Всюду, видно, рушатся семьи. подумал Гарри, и осколки этих семей, точно потерпевшие кораблекрушение, сбиваются вместе в одну лодку, а вот они с Дженис, безнадежно отстав от времени, по-прежнему сидят под крылышком мамыши Спрингер.

— Нет ничего ценнее свободы,— говорит он своему приятелю.— Только не перебери через край. Ты спрашивал про Нельсона. Свадьба назначена на субботу. Одни только родственники. Извини.

— Ух ты! Бедняга Нелли! Сцапали-таки его!

Гарри пропускает это мимо ушей.

— Судя по некоторым высказываниям Дженис и Бесси, мать Пру, видно, приедет. Отец слишком обозлен.

— Посмотрел бы ты Акрон,— говорит ему Чарли.— Я бы тоже был обозлен, если бы мне пришлось там жить.

— Разве там нет поля для гольфа, где каждый год проходят состязания?

— Ничего похожего на поле для гольфа я там не видел.

Чарли вернулся из своего путешествия каким-то размягченным, словно на него напала ностальгия по жизни, хотя она от него еще и не ушла. Он кажется постаревшим и умудренным, и Гарри отваживается спросить его:

— А как относится ко мне Мелани, она не говорила?

Очень толстая пара блуждает по магазину, рассматривая маленькие машины, присаживается рядом с дверцей водителя, примеряясь, какая модель им больше подойдет. Чарли, прежде чем ответить, с минуту следит взглядом за этой парой, передвигающейся среди сверкающих крыш и капотов.

— Она считает тебя порядочным человеком, вот только слишком уж тобой вертят твои женщины. Она подумывала развлечься с тобой, но у нее сложилось впечатление, что вы с Дженис очень крепко спаяны.

— Ты лишил ее этой иллюзии?

— Не мог. Малышка права...

Гарри вдруг спрашивает:

— Как ты все-таки относишься к тому, что происходит? Думаешь, сможем мы тут ужиться с Нельсоном?

Чарли передергивает плечами скупым, еле заметным движением.

— А он сможет ужиться со мной? Он ведь хочет быть на ступеньку выше Джейка и Руди, а в таком заведении, как наше, не так уж много ступенек.

— Я сказал им, Чарли: если ты уйдешь, и я уйду.

— Ты не можешь уйти, шеф. Ты — член семьи. А я — осколок прежних времен. Я уйти могу.

— Ты знаешь дело до самого нутра — это для меня главное.

— Эх, да разве это торговля! У нас теперь все равно что супермаркет: разложил по полкам и пробивай чеки. Когда мы торговали только подержанными, мы пытались подобрать машину для каждого покупателя. А теперь — бери или не бери. При таком рынке не развернешься. У твоего мальчишки была правильная мысль: заняться спортивными машинами, антиками, чем-то таким, что могло бы немного увлечь. А к этим японским клопам я не могу относиться серьезно. Эта новая штука под названием «Терсел», которую мы должны внедрить с будущего месяца, — ты видел ее данные? Мотор — на полтора литра, шины — двадцать дюймов шириной. Это вроде тех машинок, которые устанавливали на каруселях для детишек, боявшихся сесть на лошадь...

— Нужны натриевые крылья — вот выход из положения,— говорит Гарри.— Электричество из солнечной энергии. Ждать нам этого осталось еще лет пять — так сказано в журнале «К сведению потребителей». Тогда мы сможем послать этих арабов подальше вместе с их чертовой нефтью — пусть мажут ею задницы своим верблюдам.

Чарли говорит:

— А число автомобильных аварий растет. Хочешь знать — почему? По двум причинам. Во-первых, ребята нынче отошли от наркотиков и снова ударились в выпивку. Во-вторых, все помешались на малолитражках, а они сплющиваются, как бумажный мешок.

Он хмыкает и крутит прижатую нижней губой душистую зубочистку — оба стоят и смотрят сквозь стекло на текущую мимо реку грязных жестянок. Старый, низко сидящий «универсал» сворачивает к ним на стоянку, но наверху у него нет сбитой из досок клетки; сердце у Гарри тем не менее подпрыгивает, хотя это приехала не его дочь. «Универсал» тычется носом по площадке и снова выезжает на шоссе 111 — обзрел и уехал. Число грабежей растет...

Бег. Гарри продолжает бегать по возвращении из Покон, где он начал этим заниматься, чтобы снова стать таким, каким он был до этих отупляющих лет, когда не думал о своем теле — просто ел напропалую и все себе позволял, обедал в ресторанах в центре Бруэра да еще в «Ротари» по четвергам, вот и начал набирать вес. Город, по которому он бежит, еще погружен в темноту, полный покатых переулков и потрескавшихся, вздутых тротуаров — целые куски цемента вздыблены корнями, точно приподнявшиеся надгробья в фильме ужасов: мертвецы протягивают к нему руки, хватают его за ноги. Он бежит, держа темп, преодолевая сопротивление легких, его потерявшие эластичность мускулы и усталая кровь становятся чем-то вроде машины, которая движется, куда ее направляет мозг, — вверх по холму, мимо дома с широким скатом, напоминающим китайский, где все чего-то забивают стриженные под мальчишку женщины; их окна по фасаду никогда не освещены: должно быть, все время смотрят телевизор, или спозаранку укладываются в постель, или просто экономят электричество — женщинам ведь платили меньше, чем мужчинам, пока не приняли закон о средних ставках; но, во всяком случае, лучше уж иметь таких соседей, чем черных или пуэрториканцев: они хоть и размножаются.

Здесь улицы затенены остролистыми кленами. Они не намного выросли с тех пор, как он был мальчишкой. Ухватись за нижнюю ветку, подтянись — и ты во вражеском гнезде. Раздели крылатое семя, зажми им, как прищепкой, нос — и ты носорог. Тяжело дыша, он прорезает тень кленов. Легкая боль возникает высоко в левом боку. Держись, сердце. Старик Спрингер испустил дух, когда глаза застлало красной пеленой, — во всяком случае, Кролик всегда представлял себе, что человек, когда его хватает инфаркт, видит красное, однако почему-то считает, что его ждет иное — скорее всего долгая, медленная борьба с черным признаком рака. Просто удивительно, до чего же темные стоят американские дома, а ведь только девять часов вечера. Какой-то поистине призрачный город — на тротуарах ни души, все цыплята в курятнике, лишь бурая полоска света мелькнет в окне то тут, то там: ночник в комнате ребенка. Его захлестывает бездонная скорбь, стоило вспомнить о детях... Дженис спрашивает его, почему он так очерствел, так придирается к Нельсону. Да потому что тот мальчишка, каким был Нельсон, исчез и на его месте появился еще один нахал с волосатыми руками... А в мире для всех не хватает места. Люди двинулись на север из солнечного Египта и поселились в отапливаемых домах, а теперь отплению приходит конец: на одну нефть для обогрева демонстрационного зала, конторских помещений и гаража уходит в два раза больше денег, чем в 1974 году, когда он впервые увидел бухгалтерские книги «Спрингер моторс», а в будущем году эта цифра еще удвоится и через два года — опять, а если попытаться снизить ее до уровня, о котором говорил президент, то начнут жаловаться люди в гараже: им же придется работать голыми руками, стоя на бетоне, — для этого они надевают толстые носки и ботинки на платформе; одно время он подумывал, не купить ли им всем такие перчатки для гольфа без пальцев, вот только трудно было бы найти перчатки на правую руку, а парни моложе тридцати нынче ни за что не станут работать, если им не создать условий и не платить премий...

Теперь он бежит по Поттер-авеню все вверх, оставляя спуски на обратный путь, — бежит вдоль канавы, куда когда-то стекала вода из фабрики мороженого, а теперь все затянуло зеленью: жизнь всюду пытается зацепиться — на земле,

конечно, не на луне; кстати, это еще одно обстоятельство, почему ему неохота лезть к звездам... Последнее время он перестал мучиться мыслью, что куда-то опаздывает, в жизни его наступило странное успокоение — так брошенный мяч на секунду замирает в высшей точке своего полета. Его золото растет в цене, теперь оно уже стоит десять долларов за унцию — это каждый день можно увидеть в газетах; десять помножить на тридцать — это будет три сотни при том, что ты и пальцем не шевельнул, а подумать только, как выбивался из сил в свое время папка... Все девчонки нынче знают всякие трюки в любви — это стало частью образования, чем-то само собою разумеющимся, а какие нынче фильмы показывают — прямо в открытую, и ты можешь пойти туда с девушкой, на эти **НОВЫЕ ФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ**, в старый кино-театр «Багдад», что в верхней части Уайзер-стрит, куда в дни юности Кролика они ходили смотреть на Рональда Рейгана в роли пилота, летавшего бомбить япошек. В определенном смысле Нельсон счастливчик. И все же не может Кролик ему завидовать. Уж очень выдохся мир, в котором ему придется прокладывать себе путь...

Сегодня Кролик дотягивает до Киджирайз-стрит, этакое проулка между домами, идущего опять-таки под гору, и бежит мимо почерневших маленьких фабричек с таинственными новыми названиями вроде, например, «Линнекс» и «Счетно-вычислительные новшества», и старой каменной фермы, которая все годы, пока он рос, стояла заколоченная, во дворе полно было сорняков — перекати-поля, молочая и чертополоха, — а в изгороди не хватало планок, теперь же все привели в порядок, и аккуратная маленькая дощечка гласит: «Крестьянский двор Альбрехта Стамма», а внутри мебель тех времен ручной работы и чудная кухонная утварь — словом, все, как было в фермерском доме примерно в 1825 году, а в сенях под стеклом — фотографии первых домов Маунт-Джаджа до начала века, но ни одной, где были бы запечатлены поля, на которых вырос городок и которые по большей части принадлежат Стаммам: в ту пору еще не было переносных фотоаппаратов, а если и были, то никто не снимал пустые поля. Старик Спрингер, кстати, заседал в совете Исторического общества Маунт-Джаджа и помогал созданию фонда на реставрацию: когда он умер, Дженис и Бесси думали, что на его место могут выбрать Гарри, но этого не произошло: сказалось его сумбурное прошлое. Хотя теперь в этом доме наверху живет молодая пара хиппи и они водят по ферме посетителей, для Гарри старое обиталище Стаммов полно призраков — эти старые фермеры страшновато жили: запирали сумасшедших сестер на чердаке, душили, ошалев от рома, забеременевшую девчонку-помощницу, а потом захивали тело в ларь с картофелем, откуда лет пятьдесят спустя извлекали на свет скелет... История. Чем длиннее она, тем дольше тебе приходится ею жить. А через какое-то время она становится такой бесконечной, что всего не упомнишь, вот тогда-то, наверное, и начинают рушиться империи.

Теперь Гарри уже мчится вовсю — проулок круто спускается вниз, мимо белошвейной мастерской и курятника, превращенного в маленькую кожаную фабрику, — этих бывших хиппи всюду полно, они стараются зацепиться за что могут: поезд ушел, но свою долю удовольствия они успели схватить; первая волна усталости, когда кажется, что ты не в силах сделать больше ни шагу, а ноги — сплошная боль, прошла. Затем появляется второе дыхание, и тело твое уже делает все само собой точно машина, а твой мозг — как астронавт в острие ракеты, мысли пролетают одна за другой. Вот если бы Нельсон женился, и уехал, и вернулся лет через двадцать богатым. Ну почему дети не могут сами стать на ноги, а вместо этого приползают назад домой? Да потому что не пробиться — слишком много народу...

Есть более длинный путь домой — вниз по Джексон-стрит до Джозеф-стрит и дальше, но сегодня Кролик выбирает сокращенный маршрут — наискосок через лужайку у каменной громады баптистской церкви: ему нравится чувствовать траву под ногами, а церковь стоит такая темная; потом по бетонной лестнице вниз, на Миртовую улицу, и дальше — мимо красно-бело-синих почтовых грузовичков, вытянувшихся цепочкой позади почты, на фасаде которой ярким пятном свисает с ложного щипца поникший американский флаг; раньше на ночь флаг снимали, а теперь во всех городах его освещают прожектором, только зря тратят электричество, тратят последние капли энергии, зато у них висит флаг. Мир-

товая улица выводит на Джозеф-стрит с другой стороны. Они там сидят и ждут его, уставясь в этот дурацкий ящик или обсасывая свадьбу, совсем помешались на ней теперь, когда осталось так мало времени и Манная Каша дал зеленый свет; они все-таки пригласили Чарли Ставрота, и Грейс Штул, и еще целый выводок старых куриц, а также двух-трех друзей из «Летящего орла», да еще, оказывается, у Пру, или Терезы, как они именуют ее в объявлении о бракосочетании, которое поместят в газете, есть тетя и дядя в Бингхемптоне. штат Нью-Йорк, которые приедут, хотя отец ее — озлобленный тип, готовый задушить дочь и засунуть ее труп в ларь с картошкой. Вот сейчас Гарри вбежит в дом, и Дженис по обыкновению начнет квакать, что он себя убивает и что у него будет инфаркт, это правда, его обычно белое лицо действительно становится очень красным — он видит это в зеркале, что висит в прихожей; при таких голубых глазах он настоящий Санта-Клаус, только без бороды, и ему приходится перегнуться через спинку стула, чтобы выровнять дыхание, но это тоже удовольствие — поугагать Дженис, несчастную дурочку, ну что она будет без него делать, ведь ей же придется отказаться и от «Летящего орла» и от всего прочего и снова пойти продавать орехи у «Кролла». Вот сейчас он вбежит в дом, и там на диване рядом с Нельсоном будет сидеть Пру, точно полицейский, везущий в поезде преступника из одной тюрьмы в другую, но тщательно скрывающий, что они скованы; теперь, когда Пру стала членом их семьи, Гарри боится только одного — как бы не провонять комнату потом... По утрам, вылезая из постели, он порой чувствует этот запах, слабый, сладковатый запах начинающего разлагаться трупа. Зрелый возраст — это страна чудес: все, что, ты думал, никогда не сбудется, — сбывается. В пятнадцать лет ему казалось, что сорок шесть — это конец всему, он бы никогда не дотянул, если бы ему открылся смысл жизни таким, как он его сейчас понимает..

Фонари у входа в большой затененный дом мамы Спрингер ярко горят: все они в таком волнении перед свадьбой, Пру ходит раскрасневшаяся, Дженис не играла в теннис уже несколько дней, а Бесси явно встает среди ночи и спускается вниз смотреть на большом телеэкране старые голливудские комедии, где мужчины в широкополых шляпах и с маленькими усиками ведут остроумные перепалки в конторах газет и номерах роскошных отелей с широкоплечими, узкобедрыми женщинами; мамаша, наверное, видела эти фильмы, когда в волосах у нее еще не было седины, а центр Бруэра был сплошь белый. Гарри бежит на месте, пропуская машину, пересекает улицу под фонарем, замечает, что «Мустанга» Дженис нет перед домом, пробегает по выложенной кирпичом дорожке и вверх по ступенькам крыльца, вот он наконец на крыльце под номером 89, и тут он останавливается. Разгон у него такой, что окружающий мир еще секунду или две бежит мимо, устремляя свои деревья и крыши домов вверх, к усеянному звездами пространству.

Перевела с английского Т. КУДРЯВЦЕВА.

(Продолжение следует)

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

МАРК БАРИНОВ

★

ПРАЗДНИКИ В МИХАЙЛОВСКОМ

Марк Баринов в 1983—1984 годах был директором Государственного музея А. С. Пушкина в Москве. Одновременно в Центральном Доме работников искусств он руководил клубом подростков «Встреча с будущим». О своей работе педагога М. Баринов готовил публикацию для «Нового мира». Внезапная смерть помешала ему завершить этот замысел.

Помещаем отрывок из оставленных им воспоминаний.

В ЦДРИ я попал по чистой случайности. Пригласили рассказать о своей профессии. Пришел, рассказал. Потом попросили привести кого-нибудь из «персонажей» моих очерков, репортажей, статей. Сделал и это. Потом пригласили еще раз, потом еще... Понравилось всем. И ребятам, и руководству Дома, и моим героям, и мне. И потому я не слишком удивился и не слишком сопротивлялся, когда довольно скоро меня попросили организовать клуб профессиональной ориентации молодежи. «Тебе что, своих забот мало? Или у тебя много свободного времени?» — примерно так ставила вопрос жена. Я не вдаваясь в детали, отговаривался тем, что «это интересно» и, мол, времени займет совсем немного. Теперь, десять лет спустя, жена — мой верный и надежный помощник в клубе...

«Сегодня в Каминной ЦДРИ состоится заседание клуба «Встреча с будущим». У нас в гостях академик (или народный артист, или летчик-космонавт, или заслуженный мастер спорта, или директор завода...), такой-то. После встречи — кинофильм». Такие объявления, продублированные на пригласительных билетах, появлялись ежемесячно. К ним привыкли и в ЦДРИ, и в московских школах, техникумах, на заводах, в воинских частях — двери клуба широко открыты для московской молодежи. А марка ЦДРИ означает, что Центральный Дом работников искусств делится с юными москвичами всем лучшим, всем интересным и нужным для ума и сердца.

Я приводил в клуб действительно интересных людей. Крупных специалистов своего дела, людей с поучительной судьбой, в совершенстве владеющих искусством общения, людей остроумных, веселых. За первые три года в гостях у нас побывали профессор-археолог и академик-атомщик, сыщик с Петровки, 38, спортсмен-олимпиец и директор Института красоты, полярный капитан и кинорежиссер из «Центрнаучфильма», знаменитый хирург со своими учениками и целый ансамбль цыганских артистов, матрос с парусной шхуны «Заря» и астроном из Бюракана...

Все были довольны. Почти все. Все меньше и меньше тем, что делаю, был доволен я.

Итак, все шло превосходно, а я чувствовал все усиливающуюся неудовлетворенность. И тем не менее когда начался новый клубный сезон я со всей определенностью заявил собравшимся в нашей Каминной ребятам, что мне это надоело.

— Прошу вас подумать над одним любопытным обстоятельством, — сказал я. — В школе на уроках вы слушаете (или не слушаете) ваших педагогов. А педагоги перед вами выступают. В кино или в театре вы смотрите и слушаете актеров, а они перед вами разыгрывают представление. На стадионе или чаще по телевизору вы

наблюдаете за спортивными баталиями и чувствуете себя причастными к спорту. В устном журнале вы знакомитесь с интересными людьми, слушаете (опять же слушаете!) их рассказы. Разве вам не понятно, что, приобщаясь таким образом к спорту, знаниям, искусству, вы на самом деле обретаеете хилость мышц и вялость ума, равнодушие к жизни? Вам не надоело? Мне надоело!

Вот приходит к нам сюда академик. Он крупный ученый, он сделал не одно открытие. И он рассказывает вам о своих исследованиях, своей работе. После беседы вы не задаете ему ни одного вопроса. Все ясно? Все? Нет, не в этом дело. Все, что он рассказывал, было действительно интересно, но не больше. Его рассказ не задел ваши души, потому что в вашем личном плане, в вашем понимании будущего академик — это что-то такое далекое, такое огромное, что для вас почти нереально, как сказка. Ведь вы же не академиками будете после школы, а студентами, солдатами, рабочими. Так, может быть, позвать вместо академика солдата, рабочего, студента, попросить их рассказать? Нет! Потому что опять кто-то будет перед вами выступать, а вы будете привычно дремать в зале. Вы разучились воспринимать даже нужную, полезную для вас информацию. Мне могут сказать: раз твоя аудитория дремлет, значит, эти встречи неинтересны готовятся. А почему я должен интересно их готовить?

Я сделал долгую паузу. Такую долгую — ну, прямо-таки театральную. Но меньше всего я думал в тот момент о театральных эффектах.

— Ставлю ультиматум! Или мы работаем все вместе, так, чтобы не было ни одного зрителя, ни одного отдыхающего, развлекающегося, или клуб будет распущен. Что это значит: работаем вместе? Поймете в деле. Вот тут, на рояле, лежит стопка чистой бумаги и карандаши. Возьмите пр листу.. Ну, что же вы сидите? Не стесняйтесь, вставайте, не бойтесь шуметь! Так Теперь пусть каждый напишет, какая профессия его интересует, а если еще не знает, пусть так и напишет. Пишите и быстро несите листки сюда ко мне на стол!

Теперь вот вы, ребята из первого ряда, быстро обработайте эти бланкетки. Выделите три или четыре наиболее часто повторяющиеся профессии!.. Превосходно! Мне очень нравится ваш выбор. По большинству проходят три профессии: педагог, врач, инженер. Молодцы! Вы выбрали три самые главные профессии на планете! А теперь начинаю формирование информационных групп. Что это такое? Это те ребята, с которыми мы обсудим, какую информацию о будущих профессиях они станут собирать, и запустим их в жизнь, а потом посмотрим, что они нам принесут.

Вот так проходило это заседание клуба. Ребята то вскакивали и переходили с места на место, то дружно отвечали на вопросы, то принимались писать свои пожелания. Я не давал им ни минуты покоя.

— Те, кто хочет работать в информационных группах, встаньте, возьмите стулья, садитесь здесь, лицом к залу!

И опять начались шум, переговоры, движение. Ребята вставали, задевали товарищей, пробирались со своими стульями поближе к камину.

— Так. Теперь все в зале давайте предложения: какие вопросы будут по этим профессиям? Что вас больше всего интересует?

Нет, они положительно не собирались дремать: руки взлетали одна за другой.

— Какие экзамены сдавать при поступлении?

— Большой ли конкурс?

— Нужна ли эта профессия в Москве или надо уезжать?

— Какие перспективы по части продвижения по службе?

— Какие существуют специализации по данной профессии?

— Какая зарплата?

— Надо расспросить старого педагога: не разочаровался ли тот в своем деле?

— Надо и молодого расспросить!

— И не только педагога, врача и инженера — тоже!

— Прекрасно! Пишите. пишите все эти вопросы в свои бумажки! С этими опросниками вы и начнете работать!

— Какие еще вопросы?

О, сегодня вопросов оказалось невпроворот, не то что прежде, когда выступали знаменитости!

— С чего начинать?

— Куда идти?

— А вы с нами будете?

— Письмо от ЦДРИ дадут?

— Что, так прямо самим и отправляться?!

— Так прямо самим и отправляться! Вы же мечтаете о том, чтобы вас считали взрослыми? Писем никаких не будет. Взрослых провожатых — тоже. Идите куда хотите. Разговаривайте, с кем сочтете нужным. Ничего подсказывать я вам не буду!

Зал зашумел, и громче всех те, кто вышел ко мне со стульями, — члены информационных групп. Но я и тут не дал им времени опомниться:

— Следующая встреча через месяц. Посмотрим, что нам принесут наши разведчики!

Они были воодушевлены, они работали, думали, делали выводы. Ну конечно же, им вовсе не хотелось быть полусонными зрителями, залом... Они хотели быть действующими лицами, активно участвующими! Они только не знали, каким образом приобщиться к делу. А теперь они были счастливы, стоило взглянуть им в глаза.

Я смотрел на всю эту кутерьму и думал о том, что будет, когда они разойдутся, останутся один на один со взрослой жизнью там, за стенами нашей уютной Каминной.

Вслед за этим из наших пригласительных билетов исчезла приманка «После заседания — кинофильм». Слишком серьезно оборачивалась жизнь в клубе. «Кина не будет», — шутили ребята.

А что будет?

«В субботу 15 ноября... 1. Доклады информационных групп. 2. Комментарии. 3. Обсуждение» — так было сказано в новом пригласительном билете.

Вечер Каминная. И десятки ребячьих глаз. А мои разведчики в первом ряду.

Их всего трое... Галя П. — 8 класс, педагогика, Света Т., ее подружка, — 9 класс, медицина. Саша В. — 8 класс, инженерная профессия.

А где же остальные?

Они... потерялись в пути за этот месяц. Об этом спокойно и деловито я рассказал ребятам вначале. И тут же без пауз добавил:

— Вы помните, о чем мы договорились в прошлый раз? Хотя их всего трое, но перед вами три информационные группы. Сейчас вы услышите их отчеты.

Вышел Саша. Волнуется, не знает, с чего начать. Ведь это не урок, на котором надо отвечать для отметки, не школьное собрание. Саша располагал скудными сведениями, оттого он и волновался.

— Я поговорил с отчимом. Ну... задал ему вопросы, которые мы здесь приготовили. Он, в общем, ответил, рассказал, как захотел и стал инженером-конструктором. А потом я поехал в МАДИ — я интересуюсь автомобильно-дорожными специальностями — вот и поехал... Меня не пропустили в проходной. Тогда я постоял у входа, решил дождаться студентов, кто посимпатичнее. Вскоре вышли двое. Я присмотрелся, один вроде ничего подошел, заговорил. Он кое-что рассказал мне об институте, какие там факультеты, кого выпускают...

Саша замолчал.

— У кого вопросы? — спросил я как ни в чем не бывало.

Сразу поднялось несколько рук.

— Что это за сбор информации? — стремительно и возмущенно накинулась на Сашу черноволосая девушка. — Куда-то ходил, его не пускали, не принимали, он у первых встречных выпрашивал бог знает что... Не понимаю! — Она выразительно пожалала плечами, села.

Я дал слово высокому парню.

— У меня такой же вопрос: какая же это информация, что за информационная группа, если он ничего толком не добился?

Остальные поднявшие руки от вопросов отказались, видимо, хотели сказать то же самое. Саша все еще стоял, на щеках его горели алые пятна. Я предложил ему сесть и пригласил Галю. Галя — девочка гихая, застенчивая — вышла с испуганным лицом. В нескольких словах рассказала как беседовала о профессии педагога с пожилой учительницей из своей школы, как та сообщила ей о трудностях и радостях профессии. Потом говорила с молодой учительницей, только что пришедшей из пединститута. Галя, краснея, скомкала фразы, а под конец вообще все испортила.

— Я поехала в педагогический институт, но... заблудилась, не в ту сторону

поехала и... домой вернулась,— закончила она уже под откровенный смех. На глаза у нее навернулись слезы, губы дрожали.

Посыпались ехидные вопросы, острые реплики, беспощадные шутки. Пожалуй, достаточно. Пора вмешаться. Но тут решительно вышла на середину Света.

— А вот вы сами попробовали бы! Вы даже не представляете себе, как это страшно, когда сам по себе идешь делать взрослое дело! — Голос ее зазвенел и прервался. И упала мертвая тишина.

Своими словами Света заставила всех вдруг посмотреть на происходящее в Каминной с неожиданной для всех стороны. Ведь те трое, кто выходил вперед, не доклад, заранее подготовленный, делали, не урок отвечали, не воспоминаниями о прошедшем лете делились. Они говорили о первых своих шагах в будущее. В будущее, которое так манит подростков и... так пугает их своим неизбежным приближением.

Многие из ребят уже успели побывать в лагерях труда и отдыха, на картошке. Но при этом всегда рядом был старший, который и думал, и принимал решения, и удары брал на себя. А тут было совсем другое. Эти трое встретились с миром взрослых, и самые простые вещи оказались и сложными и страшными.

После выступления Светы, ее кратко рассказа о поездке в медицинский институт вопросов не последовало. В Каминной воцарилось молчание. Я не прерывал его. Пусть подумают, переживут этот легонький удар по своему акселератскому самолюбию.

— Подведем итоги,— сказал я наконец.— Мы поставили эксперимент и получили достаточно убедительные результаты. На прошлом заседании вызвалось работать в информационных группах двадцать семь человек. В течение месяца двадцать четыре покинули группы. Заметьте: ни один из них не счел необходимым прийти и сообщить причины отказа, извиниться за то, что подвел клуб. Налицо безответственность по отношению к коллективу. А наказать их я не могу, нет никаких прав, но очень скоро они будут наказаны жизнью. Трое выступавших здесь ребят показали, что они не умеют общаться со взрослыми людьми, не умеют получать сведения, которые им были необходимы. Когда они этому научатся? Через несколько лет, когда войдут в большую жизнь? А сколько они в процессе обучения получат ударов? И не окажутся ли эти удары чрезмерно сильными? Вы понимаете, насколько легче вам было, если бы вы владели искусством общения? Подумайте, пожалуйста, обо всем этом.

Ох, сколько же раз в последующие месяцы и даже годы я жалел о том, что заварил тогда в ноябре!

...Саша, Гоар, Ирина — студенты, Женя — десятиклассница, Олег — рабочий, Гена — техник. Они только что вернулись из Михайловского. Из своего отпуска. Группа членов клуба, побывавших в Пушкинском заповеднике. Помогали завершить реставрацию дома управляющего в Тригорском.

На летних работах в Михайловском нам платят по два рубля в день. Так мы с самого начала договорились с Семеном Степановичем Гейченко — директором заповедника. Зарплата минимальная, почти символическая. А когда мы приезжаем большими командами на майские праздники, то денег за работу вообще не берем. Такова традиция. Потому что сама по себе работа в музее-заповеднике — высокая награда. Потому что приобщение к миру Пушкина в качестве работника, а не заезжего экскурсанта — великая школа нравственности, гуманизма, добра.

Кстати, узнав про наше отпускное времяпрепровождение, никто не называет нас чудачками, никто не удивляется. А многие откровенно завидуют.

Тихой золотой осенью 1974 года я оказался в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина и, как многие до меня, немедленно попал под влияние этого удивительного места.

Мне довелось немало путешествовать, и для себя я уже давно отметил, что есть на нашей планете такие точки, где пересекаются какие-то неведомые еще науке силовые линии, создающие совершенно особый, благотворный для человека микромир. В таких местах сразу же возникает ощущение душевного покоя, какое-то особенное состояние внутренней чистоты и творческой сосредоточенности; яркое чувство гармонии собственной личности со всей окружающей природой от самой малой тростинки до всей бесконечности Вселенной.

В таких местах появляется особенная склонность к размышлениям, само по себе отмечается все повседневное, суетное, мелочное.

Я шел по лесной дороге и размышлял над тем, что, несомненно, удивительное свойство здешних мест в полной мере ощущал Пушкин.

Лес незаметно перешел в парк, а лесная дорога — в прямую, как стрела, еловую аллею. Огромные ели, помнившие Пушкина, величаво поднимались по сторонам. И новое чувство стало все сильнее овладевать душой. Чувство присутствия Пушкина. Позже я не раз слышал подобное от других людей.

Живет полной жизнью окружающая природа, живет и усадьба, как и полагается при живом, лишь временно отлучившемся хозяине. Это очень трудно: сохранить мемориальную достоверность и в то же время не остаться застывшим в прошлом, в девятнадцатом веке. Но недаром Семена Степановича Гейченко зовут музейным гением, а помощники и ученики под стать своему учителю и бессменному — вот уже сорок лет — директору.

Придя к Семену Степановичу, я от имени клуба предложил работать «на Пушкина», делать в заповеднике все, что требуется.

— Условились, — заключил Гейченко наш короткий разговор.

На следующий год в начале июля мы приехали в Михайловское чистить лес.

Одна московская поэтесса написала про Семена Степановича: «добрейший, милейший». Если еще добавить, что директору за восемьдесят, что голова у него белая, а глаза серо-голубые, то у тех, кто его не знает, возникает образ доброго, милого дедушки.

...Мы приехали поздно вечером на моем более чем перегруженном «Жигуле», оставив за кормой восемьсот километров пути и бессонную ночь на берегу Валдайского озера.

Мы — это передовая группа команды: Инна, Гоар, Андрей, Володя и я. Кроме меня, одна молодежь. И еще — полное походное снаряжение, палатки, камбузное имущество, пила, топоры, лопаты, посуда, продукты на месяц на двадцать человек и так далее. Где-то возле Калинина лопнула новая камера вместе с новой крышкой, и дальше ехали на запаске, с молитвами...

Нам предстояло развернуть лагерь, потом встретить основную группу в пятнадцать человек, следовавшую поездом до Пскова и далее автобусом до Пушкинских Гор.

Все это — дела более чем простые для любого экскурсионного бюро, для школы, предприятия, словом, любой организации. Иначе было у нас. Мы сами: ребята, их родители и я — сами решили поработать «на Пушкина». Сами все обсудили, спланировали, скинулись по части денег и продуктов и приехали. Чтобы самим здесь работать, жить, отдыхать...

Дисциплина у нас строится на слове. Обсуждая очередное решение, мы дали слово, которое крепче клятвы, серьезнее любого договора. Потому что в наших делах все так плотно состыкованы друг с другом, что когда клятву нарушает один, он сводит на нет усилия всех остальных. Позже я встретил у кого-то из социальных психологов замечание о том, что дисциплина в неформальных коллективах самая крепкая.

...Итак, мы прибыли и явились представиться директору. Семен Степанович принял нас более чем неприветливо:

— Явились? Только вас тут и не хватало!

Ребята были ошарашены. Я, признаться, тоже. Профессиональная выучка не теряться в любых условиях все же как-то помогла. Сухо поздоровался, спросил, где можно стать лагерем.

Нам отвели место с неромантическим названием хоздвор. На деле это оказался чудесный уголок возле знаменитой поляны, где проходят пушкинские праздники. На пригорке, заросшем соснами, елями, березами, мы и раскинули лагерь.

Ребята спали мертвым сном в наскоро установленной палатке, а я сидел на своем водительском месте и решал задачу, от которой, как я был убежден, зависело все в нашей михайловской программе сейчас и на много лет вперед. Почему нам была оказана такая странная встреча? Нам, которые так жаждали работать на заповедник, «на Пушкина»?

...По утрам у околицы Михайловского происходит «развод». Военное это словечко означает, что здесь сотрудниками музея быстро решаются текущие вопросы, люди распределяются по работам. Гейченко то с шутками-прибаутками, то сухо-

деловито, то с необузданной яростью как бы вращает этот стремительный круговорот дел, планов, прикидок. Как это обычно бывает с новичком, я больше половины этих перипетий просто не понимал, хотя прислушивался с напряженным вниманием.

Вот механик с электриком докладывают о том, что реставраторы в Петровском вывели из строя электронасос. Как быть, что делать? И тут же директор взрывается, как ручная граната. Смысл его гневных слов: он не собирается даже думать о том, о чем должны знать, в чем должны разбираться они сами, люди профессиональные и ответственные.

— Докладывайте мне ваше решение и ваше исполнение, и нечего заниматься пустыми разговорами на поддороге! — закончил он и обратился ко мне: — Что у вас? Но я уже все понял. Этот инцидент проявил все, как проявитель пленку.

— У меня ничего, — ответил я, — можно начинать?

Директор взглянул с некоторым недоумением.

— Начинайте!

Я ушел, и три дня мы не виделись.

Мы работали возле усадьбы, прямо перед домом Пушкина, возле домика няни, постепенно углубляясь в парк мимо древнего Ганнибалова пруда, вдоль дороги, по которой Александр Сергеевич ездил к друзьям в Тригорское.

Приехали наши, лагерь расширился, ожил, зашумел. Подъем в шесть, завтрак в семь, потом — с песнями до ограды усадьбы. Через усадьбу — в полном безмолвии. Начало работы в лесу в восемь ноль-ноль, на час раньше рабочего дня в заповеднике. Мы и отдыхали не два дня, как все, а один — ведь работа и есть наш отдых, и, кроме того, у нас всего месяц, а сделать надо так много...

Вырубали сушняк, спиливали и разделявали сухостой, убирали буревал. Дело было для всех: и для девочек и мальчиков из пятых-шестых классов, и для семи-восьми-классников, и для молодых из девярых-десятых. В ложбинке у озера Маленец быстро росли штабеля хвороста, тонкомера-подтоварника, сушняк для дров, деловой древесины для плотницких поделок.

Со стороны наша группа напоминала озабоченных, спешащих муравьев. Экскурсанты, туристы, проходя мимо, останавливались и надолго застывали в созерцании этих очень простых, вроде бы обычных дел. Так повторялось часто, и очень скоро мне стало ясно удивительное поначалу объяснение такого внимания: завидуют! А потом понял еще: это и есть лучшее доказательство того, что наша идея и ее воплощение верны. И думалось еще разное. Что, например, вовсе не только Михайловское и не только мы, а великое множество культурных центров, которыми так богата родина, и великое множество отдыхающих людей любого возраста и социального положения могут вот так взаимообогащаться, помогая друг другу делом нужным, святым, прекрасным. И еще «еретическая» идея: почему бы знаменитый праздник поэзии в Михайловском не начинать ежегодно тем, что все гости, все приезжие поэты, ученые, артисты, брали бы в руки лопаты, пилы, метлы и один день работали бы «на Пушкина»?

На третий день в лесу появился Гейченко Молча присел на пенек и долго смотрел, как мы работаем. Потом так же молча ушел.

Шли дни, мы возили бревна, тонкомер, дрова на хоздвор, где внизу, под нашим холмом, действительно размещались всевозможные хозяйственные сооружения, склады, гараж, конюшни.

...В день рождения одной из наших «ветеранш», Лены Ивановой, мы устроили торжественный обед, приготовили подарки и всевозможные сувениры. Вечером пошли гулять в усадьбу, к дому Пушкина.

Проходили мимо дома Гейченко. На пороге стоял он сам и неожиданно пригласил нас к себе. Рассадил на просторной веранде, Любовь Джелаловна, его жена, разливала в чашки чай своей удивительной заварки, а Семен Степанович, зажав под мышкой обрубком руки (память о боях под Новгородом) огромную коробку конфет и томик в зеленой обложке, подошел к Лене.

— Вот тебе мой подарок, Лена Иванова! — сказал он, сделав в фамилии ударение на втором слоге. — Раста большая и умная. А еще тебе на память моя книжка «Лукоморье».

Долго мы гуляли в тот вечер, перешедший незаметно в светлую северную ночь.

— Что же он за человек, Семен Степанович? — задумчиво проговорил Саша. — То злой, грубый, то ласковый, добрый...

— Он никогда больше не будет с нами злым и грубым,— ответил я.

— Почему? — раздался сразу хор голосов.

— Все очень просто. Когда человек берется за какое-то дело, он должен делать его целиком, полностью и безусловно. То есть не оговаривать разными и всевозможными условиями, которые сводят на нет само дело. Когда человек предлагает помощь, он должен помогать так, чтобы тот, кому помогают, не бегал следом за помогающим наподхвате, помогая тому помогать. И еще: никогда не надо ждать восхищения только оттого, что ты изъявил желание, принял обязательство. Цыплят, как известно, по осени считают.

В тот наш первый приезд Семен Степанович преподавал ребятам урок самостоятельности, ответственности, скромности. Хотя, убежден, он меньше всего думал о педагогике.

Мы ездили сюда и на следующий год и через год. Чистили михайловские пруды и озера от ряски и тины, продолжали наши «лесные дела», участвовали в сенокосной страде.

Отношения с Семеном Степановичем сделались родственными в самом лучшем смысле этого понятия. Иногда меня даже пугало его полное и безусловное доверие к нам. С того первого раза он поверил нам раз и навсегда. В то, что мы сделаем все, за что беремся, в срок и с наивысшим качеством. Ох, как тяжело лежит на душе такое доверие! Из-за этого, наверное, любое дело в Михайловском мы делали как самое главное, самое решающее в жизни.

Он был желанным гостем у нас в ЦДРИ, на наших заседаниях клуба. А уж как гордились ребята, когда «наш» Семен Степанович проводил свои знаменитые встречи со взрослыми посетителями Центрального Дома работников искусств! Ведь он — великодушный рассказчик и Пушкина знает, как мало кто.

...Давней мечтой Гейченко было вернуть «голоса Святогорья». Не раз он рассказывал нам о том, что Пушкин в михайловской ссылке очень любил слушать колокольные звоны.

Колокола Святогорского монастыря-музея, где похоронен Александр Сергеевич Пушкин, с первого дня образования заповедника были взяты на особый учет как пушкинские реликвии, как особая ценность. Их было четырнадцать. Тех самых колоколов, что били в набат, созывая защитников русской земли во время нашествия врагов, тех самых колоколов, которые провожали прах нашего великого поэта к месту вечного успокоения.

Тех колоколов теперь нет. Фашисты ограбили, а потом взорвали звонницу Успенского собора Святогорского монастыря. А Гейченко с первого дня восстановления разрушенных и разграбленных оккупантами пушкинских мест собирал по ближним и дальним окрестностям колокола для Святогорья. Главный принцип этого поиска: собрать колокола, которые мог слышать Пушкин. А кроме того, разумеется, необходимо было составить ансамбль, как это полагалось издревле.

К нашему первому приезду в Михайловское эту работу завершили. Неподдалеку от дома Семена Степановича была сооружена временная звонница из бревен — этакая мощная клетка, на верхних балках которой уже висел весь комплект колоколов.

Семен Степанович очень любил иногда по вечерам устраивать «концерт», и тогда люди в Тригорском, в Петровском, в Пушкинских Горах застывали на месте, слушая эту песню вечности.

— Почему не возвращаете колокола на звонницу? — спросил я как-то Гейченко.

Тот недовольно поморщился, помолчал, потом неохотно пробурчал, что реставраторы, мол, заломили большие деньги да еще требуют два года на всю работу...

Целую зиму вспоминался мне наш разговор, я прикидывал, рассчитывал, прокручивал в воображении разные варианты подъема.

— Мы поднимем колокола за три дня в майские праздники,— сказал я Гейченко, когда он ранней весной приехал в Москву.

К тому времени он уже знал кое-что из моей биографии, знал, что полжизни я служил на флоте, занимался яхтингом, а значит, хорошо знаю такелажное дело. Иными словами, приобрел навык в подъеме тяжестей в сложных условиях. Знал он и то, что наш клуб не только дискуссионный, но и походный, что есть у нас и дипломированные старшины шлюпок и капитаны маломерного флота.

— Что от меня потребуется для этого? — спросил он.

— Прислать грузовую машину в Москву за оборудованием.

— Условились,— сказал он.

А потом я был у начальника Московского речного пароходства. Раньше мы не встречались, но я хорошо знаю моряков и речников, людей широких и отзывчивых на любое доброе дело. Рассказал Юлию Трофимовичу Макаренкову о наших затруднениях, попросил помочь.

Слово «Пушкин» — великий пароль для русского сердца. Речники погрузили в машину, присланную из Пушкинских Гор, отличную ручную лебедку грузоподъемностью в пять тонн, полтора метра стального восьмипрядного троса, кованные гаки, такелажные скобы, блоки, свайку для плетения петель на стальном тросе, вазальную проволоку. Я почувствовал себя богачом.

— В подарок Пушкину от московских речников! — сказал на прощанье Юлий Трофимович.

...Первого мая милиция перекрыла все входы в Святогорский монастырь-музей. Клуб «Встреча с будущим» начал последний этап подъема колоколов на звонницу над могилой А. С. Пушкина.

К этому моменту лебедка уже стояла у подножия колокольни, наверху на могучей дубовой балке был уже укреплен блок, через него заведен стальной трос, а возле лебедки лежали стропки — короткие пучки троса с заплетенными петлями с обеих сторон.

Наша команда представляла собой довольно живописное зрелище. Кроме «главной ударной силы» — ребят шестнадцати—восемнадцати лет, на этот раз приехали с женой Светланой младшие ребята и девочки семи—десяти лет из ее изостудии при клубе. Ма все наши дела я звал ребят всех возрастов. Всегда найдется работа для любого, а наша разновозрастность — залог преемственности жизни клуба. Что же касается участия родителей, мы это всячески приветствовали как средство укрепления дружбы и взаимопонимания «отцов и детей».

Все заняли свои места. Под временную звонницу подогнали грузовик. Мы со старшими ребятами обвязали главный колокол — двухтонную махину — прочным капроновым фалом, а все остальные, распределившись по четырем концам, по сантиметру потравливая, придвигаясь к машине, нежнее, чем мать младенца, опустили колокол в кузов. Начали мы с этого «флагмана», потому что после него остальные колокола, по выражению ребят, «сами пойдут».

Семен Степанович все эти три дня держался в сторонке, старался не мешать ни словом, ни жестом. Это была самая нужная нам, самая большая его помощь.

Перевезли все четырнадцать колоколов к подножию колокольни, застропили «флагман», и к лебедке встала первая вахта — четыре крепких парня. Всего я расписал три вахты, а остальные взялись за капроновый канат — оттягивать колокол, чтобы по пути вверх он не оцарапал штукатурку фронтона, не обрушил лепнину карнизов.

Забыв про свою астму, я летал вверх-вниз по крутым ступеням колокольни то к блоку, то к лебедке, проверяя последние мелочи.

— Вира! — Первая вахта нажала на рукоятки лебедки.

...Все продумано — трехкратный запас прочности у троса, у лебедки, блок могучий, дубовой балкой можно всю колокольню поджать, а все равно сердце как на качелях...

Вахты менялись на лебедке непрерывно, «капроновая команда», перекинув канат одним оборотом за вековой вяз-великан, держала колокол в нескольких сантиметрах от стены, и двухтонная махина медленно-медленно, едва заметно для глаз шла вверх.

Не успели мы начать, как к лебедке подошел неизвестно откуда взявшийся мужчина. Он внимательно осмотрел наши устройства, и только я открыл рот, чтобы спросить, что ему тут надо, как он опередил меня вопросом.

— Вы когда-нибудь видели, как лопаются стальные тросы? — Это прозвучало очень зловеще. А он, не дожидаясь ответа закончил: — Мне тут делать нечего. Будут покойники! — И исчез так же внезапно, как и появился.

Впрочем, все эти дни рядом с нами был еще один посторонний, но ни у кого не возникло желания прогнать его. Крепкий пожилой мужчина оказывался там, где труднее всего, молча сноровисто работал, пренебрегая перекурами, ненадолго исчезал, когда мы прерывались на обед. Словом, работал он по-нашему: истово, яростно, от души и для души. В последний день мы познакомились. «Работяга», как прозвали незнакомца ребята, оказался директором близлежащего совхоза. На мой вопрос, по-

чему он не отдыхает, не празднует, как все, он, невозмутимо улыбнувшись, ответил, что именно отдыхает, именно празднует.

Наш человек!

...Было уже далеко за полдень, когда, перегнувшись через край верхней площадки колокольни, я увидел совсем близко, в каких-то двух метрах, венчик колокола, заплетку петли на тросе, страховочный карабин.

Все эти часы меня не покидало странное чувство: было такое состояние, будто это не лебедка, а я напрягаюсь в огромном усилии, будто это я один держу непомерную тяжесть. И вот сейчас ясно ощутил надвигающееся испытание: предстоит уже не только подъем, но и преодоление угла, образуемого площадкой. Спротивление резко возрастет. Насколько? А тут еще увидел такое, от чего сердце сжалось: между стальными прядями троса выступила смола! Тут же сам объяснил себе, что от давления «прослезился» пеньковый смоленый сердечник.

— Шабаш! — крикнул я вниз. — Всем обедать!

Ребята спокойно оставили работу и, весело переговариваясь, стали спускаться с холма по древней гранитной лестнице. Вот она, доля командира: он как бы вбирает в себя весь страх, все волнения своей команды...

Присел на балку и начал размышлять, как можно еще подстраховать подъем на самом критическом этапе. Здесь, наверху, в тишине думалось хорошо, и быстро все придумалось.

После обеда «флагман», как говорится, на одном дыхании был поднят на верхнюю площадку, а к вечеру уже занял свое «штатное место». А на завтра остальные тринадцать колоколов действительно «сами пошли». Самые маленькие колокола ребята, в виде особого шика, на руках отнесли по крутым лестницам на верхнюю площадку.

Третьего мая после обеда был назначен отъезд — в шесть часов вечера из Пскова отправлялся наш поезд. Поднялись задолго до рассвета: оставалась большая приборка на рабочих местах, а я, кроме того, должен был доплести пеньковые концы на языках всех колоколов: «голоса Святогорья» с этого момента становились непременно участниками пушкинских торжеств.

Часов в девять утра все было закончено, и ребята стали просить «хоть разок, хоть потихоньку» ударить в главный колокол. Мне и самому очень хотелось.

Осторожно раскачав огромный язык, я чуть-чуть прикоснулся к бронзовому боку «флагмана». И могучий, невыразимо прекрасный голос поплыл под куполами собора, над могилой Пушкина, над лесами и холмами, озерами и реками, полями и дорогами, селами и деревнями — над всем этим волшебным краем.

Подошел к краю площадки и взглянул вниз. Все лица были обращены вверх, на всех лицах было одно удивительное выражение. Выражение полного счастья. А в стороне, в нескольких шагах, я увидел Гейченко. Он стоял, прислонившись к каменному барьеру, и тоже смотрел вверх, потом тихо сказал, и я услышал его так, будто он был рядом:

— А ну давай еще разок!

Потом мы преподнесли Семену Степановичу шутовую грамоту от клуба, в которой главный колокол нарекался «Симеоном Великим», а он вручил нам вполне официальный акт, в котором было зафиксировано: клуб «Встреча с будущим» за три дня безвозмездно повесил на звоннице Успенского собора четырнадцать колоколов.

Колокола остались для нас прекрасным воспоминанием, но и в то же время меня постоянно тревожил, не давал покоя вопрос: а что же дальше? Мои питомцы росли и переходили в новое качество Разница между десятиклассником и студентом-первокурсником, а тем более — рабочим-первогодком огромна, прямо-таки революционный скачок в психологии, это переворот в душе...

Сперва я просто стремился не отпускать из нашего детского по основному содержанию и целям клуба повзрослевших ребят. Как же это? Сколько с ним (с ней) пережито, передумано, переделано, а потом, когда человек наконец вошел в разум, вот так взять и отпустить?!

А потом понял, что период перехода — один из важнейших в жизни молодого человека и крупницы информации об этом коротком, но жизненно важном периоде невероятно ценны! Я видел, как слушали, нет, впитывали школьники рассказы прошед-

шиж этот рубеж: поступивших (или, что не менее важно, не поступивших) в вузы, начавших работать на производстве, возвратившихся из армии.

Значит, старшие ребята — носители важнейшего для клуба богатства: знаний и опыта периода перехода! Значит, надо их удерживать в клубе и ни за что не отпускать. А как это сделать практически? Только одним способом: поднимая их на следующую ступень.

Внешне спокойный, уверенный в себе и в своей правоте, я в душе мучился и бесился, горевал, видя, как, подрастая, ребята словно изношенную одежду «сбрасывают» с себя клуб и остаются в неприглядной наготе, вполне готовые к любой глупости в своей новой, взрослой жизни.

Я клял себя за то, что создал всевозрастной клуб. Клял за то, что вообще взялся не за свое дело. За то, каким бесталанным педагогом оказался, за то, что просто не знаю, что мне надо делать, чтобы спасти этих оболтусов от самих себя.

Появлялась мысль, что, мол, это нормально, когда человек в восемнадцать — двадцать лет вдруг начинает рубить в куски, в мелкую стружку свою собственную жизнь, свое будущее. Знающие люди утверждали, что это называется «перебеситься». Но я был убежден: это не так — как бы ни была трудна зона перехода, ее можно одолеть без крови. Клуб, неформальный коллектив — лучшее место для воспитательной работы с подростками. Вот почему я «тут стою и иначе не могу».

Я готовил с ними большие заседания, обсуждая план, костяк очередной дискуссии, такой, например, как «Сто вопросов про любовь» или о рабочих профессиях. Мы готовили и проигрывали интересные «модели судьбы», когда один из ребят — «герой сюжета» — получал из зала, играющего роль «судьбы», карточки с различными событиями, ситуациями, встречами, происходящими в жизни нашего героя. А он должен был быстро решать возникающие житейские задачи.

Ребята с увлечением кидались решать эти необычные проблемы, такие близкие и такие незнакомые одновременно.

Общие интересы членов клуба не ограничивались стенами ЦДРИ. За их пределами продолжались сложные душевные и сердечные перипетии, дружеские связи, бесконечные выяснения отношений — все, свойственное этому возрасту. Я сознательно не вмешивался в эту сторону жизни моих подопечных. И праздники они — эти двадцать пять — тридцать человек — собирались встречать теперь вместе. Я никогда не принимал в них участия. Считал, что должен быть в нашем общем мире их личный отсек, как и в моей личной, семейной жизни.

..Пришло время, когда потребовалось мучительно думать о том, как нам жить дальше.

Первый сигнал прозвучал из Михайловского. Сама по себе родилась безумная идея — послать работать в Михайловское ребят самостоятельно. Безумной я называю ее потому, что ведь не на экскурсию, а работать, вторгаться в мир Пушкина, в жизнь прославленного музея, величайшего культурного центра! Огромная ответственность! Но и цель велика!

Одной из самых прекрасных, романтических задумок Семена Степановича была мечта восстановить часовню на Еловой аллее в Михайловском. От нее остались лишь полуразрушенный фундамент да строчка пушкинских стихов:

В часовне ветхой бури шум...

Да еще остались исторические материалы, хранящиеся в кабинете Гейченко, в его таинственных папках.

Весной 1979 года клуб «Встреча с будущим» приступил к реставрации часовни. С нами вместе работали ставший другом клуба и непременным участником всех наших работ экскурсовод заповедника Валерий Сандалюк и еще мастер на все руки, домопещенный философ и вечный странник по земле российской по имени Володя.

В майские праздники авралом заготовили в лесах необходимое количество деловой древесины. Пушкинские места относятся к региону весьма бурной циклонической деятельности. Леса здесь периодически прочесывает гребенка грозных ураганных ветров, циклонов. Так что буревала всегда хватает. А в июле приехала первая наша группа, сформированная из «стариков» — ветеранов клуба.

Я в соответствии с «генеральной линией» остался в Москве. Треволнения бобельщиков на ответственнейших международных соревнованиях — легкое дуновение ветерка по сравнению с тем, что творилось в моей душе в те дни. И не напрасно.

Говоря театральным языком, это был полный провал. Мои умные, разумные, воспитанные в лучших михайловских традициях молодцы не только не выполнили задания, но еще и успели за десять дней полностью развалить дисциплину в группе.

Началом всего, как всегда это бывает, оказался пустяк. Подъем в шесть ноль-ноль без меня оказался им не под силу. А ступив на путь нарушения правил, традиций, установлений, они очень быстро скатились к тому, что работать стало просто некогда.

Через десять дней я уже знал все в подробностях, потому что чуть ли не по два раза в сутки разговаривал по телефону с Михайловским. То с Семеном Степановичем, то с Любовью Джелаловой, то с Иваном Михайловичем — заместителем директора, то с одним, то с другим из ребят. И как ни пытались они все (по самым различным причинам) скрыть от меня положение, я быстро собрал всю мозаику информации и дезинформации и вывел истину.

Позвал оставшихся «стариков», объяснил ситуацию. Ребята не только поняли, но и откликнулись всем сердцем и душой. Перестроили мгновенно все свои личные планы и дела и через два дня уже были в Михайловском.

Все сразу встало на свои места, работа закипела, и через месяц мне была предъявлена фотография часовни на Еловой аллее.

И все-таки мы не заблуждались в оценке того сезона. Сперва завалить дело, а потом напряжением всех сил спасти положение — разве это достойный метод? Увы, он хорошо всем знаком по многим сторонам современной жизни, но не менее хорошо всем понятно: такой метод — один из злейших врагов нашего общества!

Это был наш первый провал в Михайловском. Ребята, привыкшие к почету и уважению, к победам в заповеднике, были потрясены тем, как, оказывается, близки победы и поражения. Как, оказывается, проста и сурова истина — вчерашняя победа мало что стоит сегодня, а вчерашний победитель должен сегодня опять выходить на дистанцию борьбы за Человека в себе самом.

Да я и сам понимал, что это не метод. Во-первых, потому, что к концу операции с часовней я чувствовал себя на грани нервного истощения. Ничего себе педагогика, если после парочки таких «акций» педагогу надо чуть ли не приходиться в себя в психичке! А во-вторых, потому, что, получив соответствующий импульс, ребята постоянно ощущали в Михайловском мое руководящее и контролирующее присутствие. Мне же требовалось от них совершенно иное: полная самостоятельность, полная освобожденность от моего давления...

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина каждый год появляется какое-то новое дополнение к этому огромному и сложному комплексу. То открывается для посетителей заново восстановленный дворец-музей Абрама Петровича Ганнибала в Петровском, то неприметно, будто сама по себе, возникает на старом фундаменте банька в Тригорском — точная копия той, которую так любил посещать Пушкин с друзьями, превратив ее в своеобразный литературный клуб. А иной раз это простая деревянная скамья, выполненная по всем критериям паркового искусства прошлых веков. Но непременно — новое. И — каждый год.

У Семена Степановича дома, в его личном архиве есть «Михайловское в папках», «Петровское в папках», «Тригорское в папках» и еще многое другое. Словом — весь музей-заповедник в папках, только не такой, каким его видят сегодня, а музей будущего! А собраны в этих папках уникальные документы по каждому зданию, сооружению, фрагменту усадеб, парков, служб. Документальные записи, справки, чертежи, рисунки, старинные акты, выписки из старинных книг. В папках у директора есть все, что было при Пушкине, а следовательно, должно быть снова.

...Начиная подготовку к восстановлению пушкинского грота в Михайловском, мы много беседовали об этом с Гейченко. Перебирали множество вариантов, а я чертил на бумаге все, что рождало наше воображение. Искали наиболее достоверное решение. У меня было полное ощущение, что Семен Степанович тоже ищет, мобилизует знания и память, перебирая аналоги. И вот, когда мы как будто дотолковались и на столе лежал лист с окончательным наброском лучшего варианта, Гейченко легко поднялся из-за стола (дело происходило у него в кабинете), подошел к одному из стеллажей и вынул папку с надписью «Грот». Перелистал пожелтевшие от времени листы. На последнем я увидел изображение своего варианта. Так Семен Степанович совершил со мной прогулку по тропинке исторической логики. Те, кто считают Гейченко талантливым музейным режиссером, забывают, что он, кроме того, талантливый исследователь, искатель, ученый.

- Когда приступите? — спросил он, заканчивая наши говорения.
- Мы сделаем всю работу за три майских праздничных дня.
- Что потребуется от меня?
- Оформите меня временно шофером и дайте тот старенький грузовик. Пусть ваши водители празднуют, а нам надо возить лес, дерн, камень, цемент.
- А инструмент?
- Привезем свой.
- Условились.

На этот раз приехали сорок ребят из клуба и еще десять человек старшеклассников-костровцев. (За зиму у нас появились друзья: школьники из подмосковного села Кострово.)

«Как вы один справляетесь с такой оравой акселератов?» — нередко спрашивают меня. Отвечаю по-разному. Но главное то, что нам интересно друг с другом...

Грот. Мы не просто думали о нем. Он виделся нам в воображении осенью и зимой, а в январе ребята преподнесли мне макет грота.

Что такое грот в старинной русской усадьбе? Это искусно сделанная одноместная пещера. Внутри грубый стол и скамья. А для какой цели существовали такие мини-пещеры? Для того чтобы человек мог в полном уединении сосредоточенно обдумать главные, кардинальные вопросы своей жизни. Как часто не хватает такого грота нам в нашей сегодняшней бешеной гонке!

...В майские дни в Михайловском у нас никогда не бывает ни часа на раскачку. Бросив рюкзаки в суровых кельях монастырской гостиницы, ребята помчались по своим рабочим местам. Все было заранее во всех деталях оговорено, уточнено в Москве и окончательно расписано в поезде.

Костровцы — в лес: заготавливать тонкомер для внутренней отделки грота. Одна наша бригада — в поле: готовить камень для входной арки. Другая бригада — землекопы: очищать и углублять котлован в парке — все, что осталось от пушкинского грота. Камбузный наряд готовил обед на нашей традиционной стоянке, на хозяйском дворе. А я, приведя в относительно ходовое состояние древний, списанный «ГАЗ-51», мотался от одной бригады к другой, перевоза поступающие стройматериалы.

У сотрудников заповедника уже сложилась примета: «Встреча с будущим» на майские праздники привозит непогоду. Не подвела примета и на этот раз. Почти зимний холод, пронизывающий до костей ветер, снег пополам с дождем — весь этот набор сопутствовал нашему авралу. Но для нас это было привычно. А встреча с Михайловским, праздничный труд «на Пушкина» для ребят всегда необычайное событие в жизни, радость.

Семен Степанович прибежал чуть ли не каждые полчаса, закутанный Любовью Джелаловой во все теплое, что только можно было надеть. Ему совсем нечего было делать здесь. Он и сам с первого взгляда определил, что все идет как надо, но я очень хорошо понимал, почему снова и снова маячит посреди нашего муравейника его высокая статная фигура. Весельем и молодостью заряжался наш старый друг в этот сумасшедший, прекрасный день.

Начали работать утром, окончили вечером, когда кромешная тьма остановила работу. Но зато котлован отрыли полностью, поставили в него деревянный каркас, на котором будут держаться бревенчатые стены и накат-потолок. Подготовили бревна и камень, спланировали площадку перед гротом. К концу едва держались на ногах от усталости. Собрали инструменты и с песнями отправились пешком к себе в гостиницу. Отдыхать? Как бы не так! Праздновать Первое мая, проводить конкурс пирогов.

Конкурс пирогов — это тоже наше изобретение. Как-то на заседании мы обсуждали проблему домашних праздников, и все единодушно пришли к мнению, что не умем мы праздновать ни Новый год, ни дни рождения, ни свадьбы, ни другие подобные события. Долгое нудное застолье, танцы стилем кто-во-что-горазд и хоровое пение под девизом «Смерть соседям». В последнее время в качестве массовика-затейника выступает незаменимый телевизор, но веселее почему-то не становится. Что надо сделать, чтобы никто на домашнем празднике не был потребителем (позиция явно обанкротившаяся), а творцом веселья и радости? Такой поставили мы перед собой вопрос. И как ответ родился праздник клуба — конкурс пирогов.

Прежде всего это праздник универсальный. Он может быть и днем рождения, и свадьбой, и Новым годом, может праздноваться в городе и в деревне, на шлюпках в походе и в командировке. А главное, зрителей, потребителей нет — все участ-

ники. А уж как это весело, как здорово, мы проверили. И в городе, и в деревне, и в походе, и в Михайловском.

...Подъем снова был в шесть ноль-ноль, и снова — марш—атака—трехминутный перекур дотемна. Этот день — стремительный бег к финишу. Потом, уже в Москве, вспоминая его, ребята делились впечатлениями, которые ярче всех врезались каждому в память. Мне почему-то крепче всего запомнились рессоры старика «газика». Костровцы так нагрузили машину дерном, что рессоры выгнулись наоборот...

В сумерках, закончив работу, мы стояли и глядели на дело своих рук. В лесу, неподалеку от черного Ганнибалова пруда, под сенью вековых аллей таинственно и сумрачно возвышался поросший кустарником курган. Арка из дикого камня вела внутрь грота. Тяжелая дверь на кованых петлях была полуотворена и словно приглашала войти. Уже тогда, в тот первый день своего нового рождения, грот выглядел лет на сто пятьдесят, не меньше.

А потом мы отправились отдыхать. В гостиницу? Как бы не так! На озеро Кучане, туда, где под обрывом, почти напротив дома А. С. Пушкина, стоит возле берега на якоре наш «Ильмень» — шестивесельный ял, на котором мы пришли из Москвы на озеро Ильмень, а потом, несколько лет спустя, перебрались сюда, на Сороть.

Поставить паруса для опытных людей дело недолгое. Что с того, что холодно и дождевые заряды хлещут в лицо? Разве можно упускать такой парусный ветер?!

Вот так мы празднуем в Михайловском...

Спиноза в своей «Этике» заметил, что «все прекрасное так же трудно, как и редко». В развитие этой мысли можно сказать, что, совершив хорошее доброе дело, поднявшись на некую ступень на пути самосовершенствования, оказываешься вовлеченным в своего рода вечное движение: все дальше, все выше и, неизбежно, все труднее.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

КАРЭН ХАЧАТУРОВ

★

КОГДА УХОДЯТ ДИКТАТОРЫ

1

«**О**дин на свете райский край, и он зовется Уругвай»,— когда-то говорили жители самого маленького государства Южной Америки.

Действительно, с тех пор как с этого континента были изгнаны испано-португальские колонизаторы и южноамериканские страны получили политическую независимость, в Уругвае не было такого всевластия полковничьих кланов, как в Бразилии и Аргентине, такого жестокого террора, как в Венесуэле и Колумбии, всеподавляющей диктатуры церкви, как в Перу и Эквадоре, беспросветной нищеты, как в Боливии и Парагвае. Лишенный полезных ископаемых, Уругвай меньше всех других государств континента вызывал алчные аппетиты у хищников капиталистического мира.

На фоне сотрясавших континент «карманных» революций и дворцовых заговоров мирный Уругвай выглядел латиноамериканской Швейцарией. Еще в начале века Уругвай стал первым в Южной Америке государством, где были приняты законы о восьмичасовом рабочем дне, всеобщем избирательном праве, обязательном образовании и бесплатном обучении в средних школах, об отделении церкви от государства. Не мудрено, что у многих уругвайцев сформировался «синдром исключительности», слепая вера в незыблемость абсолютной законности. Самодовольный тон задавала многослойная мелкая буржуазия, любившая подсчитывать количество коров и овец на душу населения. Получалась внушительная цифра. В широкой степи-пампе, по обе стороны всех шоссе-ных дорог перегороженной колючей проволокой, на сочных пастбищах круглый год под присмотром одиноких пастухов-гаучо паслись тучные стада, принадлежавшие креольским помещикам-латифундистам.

Страна жила за счет экспорта мяса, шерсти и кож, уругвайская глубинка при минимальных затратах обеспечивала населению относительное материальное благополучие. По латиноамериканским меркам, разумеется.

Но шли годы, и в безвозвратное прошлое уходило сытое существование. Прихоти мирового капиталистического рынка, спекуляции буржуазно-помещичьей и финансовой олигархии подорвали экономический фундамент Уругвая. Одна за другой сворачивались отрасли обрабатывающей промышленности. Страна ввозила почти все — от гвоздей до картофеля, и валютные поступления из США и стран Западной Европы таяли. Вот тогда-то Международный валютный фонд, в котором тон задают американские банкиры, объявил Уругвай банкротом. Ему продиктовали ультиматум, предложив под флагом «самоограничения» сесть на голодную диету. Популярный в стране буржуазный еженедельник «Марча» в сатирической форме так изложил призывы «отцов нации» покориться этому приказу: «Признать Международный валютный фонд высшим органом власти республики. Просить его рассмотреть состав наших футбольных команд и предложить им обходиться без левых полузащитников. Танками убедить профсоюзы, что они не должны прибегать к забастовкам, если только речь не идет о голодовке, которую считать одной из мер «самоограничения». Передать на рассмотрение Международного валютного фонда репертуар театра национальной комедии. Постановить, чтобы в ресторанных меню вместо «русский салат» писали «американский соус». Низвергнуть обелиск Свободы и установить его во дворе городской тюрьмы». Шутки шутками, но «Нью-Йорк таймс» после этого впервые сделала вынужденное признание в том, что Международный валютный фонд «вызывает ненависть» в Латинской Америке.

Международным валютчикам противостоял рабочий класс. В Уругвае, как и в Чили, он выковал самые боевые и единые в Латинской Америке профсоюзы. По размаху стачечной борьбы страна заняла одно из ведущих мест в капиталистическом мире. Из Уругвая изгнали владельцев мясохладобоев, принадлежавших чикагским королям бифштексов «Свифт» и «Амур». И со страниц «Нью-Йорк таймс» прозвучала уже угроза: «В Уругвае слишком много демократии». За такими угрозами обычно следует кара.

Во всех южноамериканских странах не то что «излишнюю», а самую робкую демократию неизменно обрубала солдатская сабля. «Помилуйте, разве у нас это возможно? — рассуждали два десятилетия назад некоторые мои уругвайские знакомые. — В нашей свободной стране жизнь любого индивидуума священна и неприкосновенна». Никудышними они оказались пророками.

В Уругвае, в отличие от остальных южноамериканских стран, армия действительно не была в фаворе, и в стране не так уж часто звучали выстрелы. Однако генералитет за своей показной аполитичностью маскировал застарелый антикоммунизм и тайные связи с Пентагоном. Как впоследствии верно заметила парижская газета «Монд», уругвайская военщина «всегда предпочитала кулисы огням рампы». Из-за кулис, из казарм генералы хмуро следили за ростом демократических сил. Следили до тех пор, пока избирательная коалиция Широкий фронт, костяк которой составляли коммунисты, по своему реальному весу не стала вровень с двумя буржуазными партиями — «Колорадо» («красными») и «Бланко» («белыми»). И тогда в самом демократическом государстве Южной Америки военщина и ЦРУ организовали в июне 1973 года «тихий» государственный переворот, разогнав парламент, распустив политические партии и профсоюзы, ликвидировав все социально-экономические завоевания, добытые трудящимися в классовых битвах. Страну окутала двенадцатилетняя ночь военно-полицейского режима.

Мир был явно недостаточно информирован о преступлениях уругвайской военщины. «Райский край» стал подлинным адом. Как во времена нацистского рейха, все оставшиеся на воле граждане были выстроены по ранжиру. «Категория А» — не опасен, «категория Б» — убеждения сомнительны, «категория В» — поведение предосудительно. Цвет интеллигенции покинул страну, эмигрировал каждый седьмой уругваец. Рассказывают, что в столичном аэропорту Карраско неизвестный «черный юморист» перед отлетом за рубеж оставил записку: «Последний из покидающих родину, не забудь погасить свет!» Но безземельным крестьянам, безработным городским пролетариям и распущенным на бессрочные каникулы студентам было нечем заплатить не то что за авиабилет, но и за проезд на автобусе. За короткий срок безработица удвоилась и ровно на столько же сократилась реальная заработная плата.

Террор стал буднями. По количеству политзаключенных на душу населения Уругвай занял первое место в мире. «Самая большая камера пыток в Латинской Америке» — так окрестила эту страну лондонская «Таймс». В главном тюремном каземате, пользующемся наиболее дурной репутацией, названном военными будто в насмешку «Либертад» — свобода, за «постой» с заключенных взымали обязательную плату...

В уругвайской столице свили осиные гнезда латиноамериканские штаб-квартиры международных правозащитных организаций, в том числе и замешанной в связях с неонацистскими путчистами масонской ложи «П-2». Диктаторский режим отличал крайний обскурантизм, политические проходимцы и религиозные кликуши околпачивали, отравляли ядом антикоммунизма еще недавно самую просвещенную страну Латинской Америки.

Жертвами варварских репрессий в первую очередь стали коммунисты. В течение десяти лет второго секретаря ЦК Коммунистической партии Хайме Переса подвергали жестоким пыткам: душили «капюшоном», подвешивали за кисти рук к потолку, на глазах у него пытали его детей, жену, родителей. Другого члена руководства Компартии Хосе Луиса Массеру, всемирно известного ученого, почетного доктора наук многих университетов, члена Математического общества США, тоже жестоко избивали, лишали медицинской помощи. Но ни один коммунист не сдался. Нельзя без гордости за них читать изданную недавно книжку «Письма из камеры», написанную узником камеры № 1 тюрьмы «Либертад», вожаком Союза коммунистической молодежи Леоном Левом, пронизанную верой в то, что «если корни дерева останутся здоровыми, оно обязательно будет плодоносить».

И диктаторский трон зашатался под напором нараставшего народного сопротивления. Военщина вынуждена была организовать референдум, потребовав от избирателей «узаконить» полицейский режим. Самонадеянным генералам казалось, что

опрос под дулами автоматов гарантирует благоприятный для них результат. Но уругвайцы провалили референдум и выдвинули лозунг «Военных — в казармы, власть — народу!».

Террор по инерции еще продолжался, а тем временем генералы-казнокрады довели экономику страны до состояния клинической смерти. И эта катастрофическая ситуация не могла продолжаться до бесконечности. Рецепты американских финансистов по «спасению» уругвайской экономики оказались пшиком, и, как выразился известный журналист Рамон Диас, «с цирковой трупой нельзя играть пьесе Шекспира». Военщина оказалась вынужденной искать «пристойную» форму для отступления. Вначале добились легальности буржуазные политические партии, а позднее и Широкий фронт. Состоявшиеся при небывалой активности избирателей выборы лишь конституционно оформили явочное свержение военно-полицейской диктатуры и приход к власти гражданского правительства одной из группировок «Колорадо», отражающей интересы крупной буржуазии.

И вот я снова в Уругвае. По-прежнему привлекателен, особенно своими набережными, Монтевидео — наименее латиноамериканский и наиболее европейский по внешнему облику город, один из самых молодых на континенте. Он напоминает огромную голову на хилом теле, потому что вобрал в себя чуть ли не половину жителей всей страны. По непривычно не ухоженным улицам («Вы бы видели, какая грязь была при военщине», — говорят мне старожилы) ветер гонит обрывки сорванных со стен домов плакатов и с еще актуальными, и с уже отслужившими свою жизнь лозунгами «Увеличить субсидии университету, сократить военный бюджет!», «Поддерживаем национальную конференцию Коммунистической партии!», «За всеобщую амнистию!», «Долой диктатуру!».

На центральной площади Независимости в окружении королевских пальм высится конная статуя основателя нации генерала Артигаса, борца против испанского колониального ига, скончавшегося на чужбине. Такова судьба многих латиноамериканских патриотов. За годы диктатуры под памятником генералу военные соорудили ему мраморный мавзолей-бункер. Но принадлежит ли душителям свободы имя истинного демократа Артигаса, сказавшего однажды: «У меня нет худших врагов, чем те, кто противится народному счастью?»

Напротив памятника — кирпичная коробка отеля «Викториа-пласа». Там всегда подавали превосходный кофе, и старик-бармен, способный узнать постоянного клиента и через десятки лет, доверительно сообщил, будто мы виделись лишь вчера: «А теперь мы в кармане у Муна». И он рассказал о «сказочной» истории, приключившейся с местной Золушкой мужского пола, еще недавно мелким репортером Хуаном Сафи: тот женился на дочери хозяйина газеты и втерся в доверие к освещению в США южнокорейцу Муну — главе секты «за унификацию мирового христианства», организатору совместно с ЦРУ «всемирной антикоммунистической лиги», архимиллионеру и архиплуту. Ловкач Сафи уговорил миллионера превратить Монтевидео в латиноамериканский центр секты мунитов. После этого секта сразу же прикарманила крупнейший отель и казино, мясохладобойню и кредитный банк, приступила к выпуску ежедневной газеты...

От площади Независимости тянется узкая авенида 18 июля — торговая артерия города. Она всегда была зеркалом покупательной способности населения. Прима́та наступавшего рождества — смуглый Дед Мороз в алом кафтане с котомкой, рекламирующий товары универсама. В Уругвае, как в самой нерелигиозной латиноамериканской стране, даже рождество официально называется неделей туризма. Но на песчаных пляжах начинавшегося в Южном полушарии лета мало туристов, а в нарядных магазинах — мало покупателей. Больно укололо зрелище детского нищенства. Раньше в Монтевидео, как и в Буэнос-Айресе, в отличие от столиц остальных латиноамериканских стран, обремененная бедностью за протянутой за милостыней рукой не мозолила глаза. Теперь существует и открытое и скрытое нищенство — уличные коробейники с нехитрыми товарами, торгующие поделками студенты.

Полицейский режим свергнут, что дальше? Об этом я говорил в ветхом помещении редакции еженедельника компартии «Эль популар» с главным редактором Эдуардо Виера, считающим, что перед страной стоят две основные задачи: выйти из самого глубокого за всю историю кризиса и обеспечить демократическому процессу необратимость. Каждый третий трудоспособный уругваец сегодня — безработный, каждый уругваец уже с момента своего рождения «задолжал» международным банкам две тысячи долларов.

О выдающейся роли коммунистов в борьбе за демократию говорил мне генеральный секретарь ЦК компартии Родней Арисменди.

— Консолидация всех антидиктаторских сил — это сегодня главная задача, — подчеркнул он. — Малограмотная военщина гнала, что уругвайцам на все времена была привита антикоммунистическая вакцина, что «марксизм вырван с корнем». Люди даже в тюрьмах вступали в компартию, но она стала легальной лишь после выборов, и в считанные месяцы ее численность возросла в три раза. Две трети членов партии — рабочие, почти половина коммунистов — женщины. В партию пришло много молодежи — смелой, беззаветно преданной идеям научного социализма, но часто лишенной необходимых знаний. Чтобы ликвидировать этот пробел, была создана сеть партийных школ различных ступеней. Но прежде всего надо защитить единство Широкого фронта, который подвергается наскокам реакции и ультралевых элементов.

Была у меня встреча и с худощавым седым обаятельным человеком — кумиром всех уругвайских демократов, президентом Широкого фронта генералом Либером Сереньи. Вместе со своим сподвижником, бывшим командующим военным округом генералом Виктором Ликандро он тоже прошел через тюремные застенки.

— Многим кажется невероятным тот факт, что на недавних выборах мы получили даже больше голосов, чем на предыдущих, перед захватом власти военной хунтой, — говорил Либер Сереньи. — Ведь Широкий фронт легализовали буквально накануне выборов, когда не оставалось времени для проведения кампании. Мы заняли третье место и наверняка одержали бы победу в Монтевидео, если бы сюда не доставили солдат, голосовавших в приказном порядке за кандидатов буржуазной партии. Правая печать вынуждена признать, что, случись выборы сегодня, и Широкий фронт победит с внушительным перевесом голосов. Этим мы обязаны четкой программе защиты прав трудового народа, единству слова и дела. Широкий фронт — не просто избирательный блок, а уникальная коалиция сохраняющих независимость левых политических партий.

На разных политических языках говорят сегодня левые и буржуазные партии, определяя пути развития страны. Но кроме неисправимых реакционеров, они едины в вопросах внешней политики, включая развитие отношений с миром социализма. Много лет назад, когда я покидал Уругвай, его правительство в угоду Вашингтону готовилось к разрыву дипломатических отношений с Кубой. Ныне с островом Свободы Уругвай восстановил отношения, и в этом факте отразились разительные перемены, происшедшие в стране.

Шесть десятилетий назад Уругвай стал первым южноамериканским государством, установившим дипломатические отношения с молодой Страной Советов. Уругвайцы проявили и политическую волю и дальновидность. Шли годы, и связи наших стран стали добрым примером политики мирного сосуществования. Военная хунта пустила на ветер наследие прошлого. Свихнувшись на антикоммунизме генералы требовали покарать социалистические страны и национально-освободительные движения. Редкостный образец коротких рук и длинного языка!

В том, что нынче времена меняются к лучшему, меня убедила и встреча с президентом Уругвая Хулио Мариа Сангинетти. В латиноамериканских странах все президентские дворцы, построенные в колониальном стиле или по аналогии с Вашингтонским Капитолием, располагаются обычно на центральной площади рядом с кафедральным собором. Так было до последнего времени и в Монтевидео. Теперь резиденцией главы государства стало построенное на выселках нелепое здание в форме громоздящихся друг на друге бетонных кубов. Дворец имеет название — «Свобода». Эту «Свободу» соорудило для себя министерство обороны, но когда еще сохла олифа, военщину согнали с политической сцены. А оставлять ей бетонную крепость сочли опасным.

Средних лет, грузный, с кустистыми бровями, президент вспоминал о своей первой поездке в Советский Союз, которую совершил молодым журналистом. Он высоко оценил традиции давних отношений Уругвая с Советским Союзом, назвал их примером политики мирного сосуществования государств с различными социальными системами.

Президент был критичен в оценке внутреннего положения своей страны, особенно экономического. По его мнению, главная причина неурядиц — громадный внешний долг и падение на мировом рынке цен на товары уругвайского экспорта. Поэтому, заметил он, если даже сегодня мы рассчитаемся с долгами, завтра они все равно начнут расти. Как и большинство других моих собеседников, президент отрицал возможность повторного путча, но невольно вспомнилось, что куда более рьяно отвергали когда-то вероятность прихода к власти военной диктатуры его соотечественники.

Верно, уругвайская военщина считается с внутренними, да и с внешними факторами. Страна окружена континентальными гигантами — Бразилией и Аргентиной, тоже недавно вступившими на путь демократических преобразований. Но одинаковые ли силы сохранили в трех странах представители еще недавно правивших военно-репрессивных кругов? Газета «Монд» в статье «Уругвай после долгих лет диктатуры» метко, хотя и однобоко, заметила, что «уругвайцы лишены всего, кроме чувства юмора». Как бы подтверждая эту характеристику, один уругвайский собеседник сказал мне: «Знаете, в чем состоит разница в претензиях на власть миликос (так презрительно именуют военных. — К. Х.) в Бразилии, Аргентине и Уругвае? В Бразилии миликос могут, но не хотят, в Аргентине хотят, но не могут, в Уругвае не могут и не хотят». Сравнение хлесткое, но отражает ли оно реальность? Из истории латиноамериканских стран хорошо известно, что любая военщина здесь жадно тянется к государственному пирогу власти. И уже вкушившая его — уругвайская — не исключение. Но история и современность говорят и о другом: единственный способ обуздать хищные милитаристские аппетиты — объединенные действия народа.

2

По обе стороны Ла-Платы, разделяющей Уругвай и Аргентину, жизнь внешними приметами напоминает одна другую.

В Аргентине и в Уругвае этнически однородное белое население; риоплатенсе, как зовут себя жители побережья двух стран, говорят на испанском языке с похожим акцентом, уругвайцы и аргентинцы оспаривают друг у друга футбольную и танцевальную короны. У аргентинцев и уругвайцев немало общих черт и в национальном характере: они более сдержанны, менее эмоциональны и импульсивны, чем остальные латиноамериканцы.

Монтевидео и Буэнос-Айрес и географически близки друг к другу — на самолете я долетел из Уругвая в Аргентину за тридцать минут.

Живописные парки и бульвары, просторные площади и улицы, внушительные дворцы и памятники создали Буэнос-Айресу славу одного из красивейших городов мира. «Второй Париж», — стараясь польстить, говорят иностранцы. «Нет, это Париж — второй Байрес», — обижаются его патриоты. Они утверждают, что только в Байресе есть «самое, самое».

От площади со зданием конгресса, от указателя «Нулевой километр дорог страны» начинается авенида Ривадавия, которую аргентинцы считают самой длинной улицей в мире. Есть тут и самая широкая улица — авенида 9 июля с «карандашом» — обелиском, воздвигнутым в 400-летнюю годовщину основания города.

Жители Буэнос-Айреса утверждают, что их город добился мирового первенства и по числу памятников на душу населения. В самом деле, их тут много. Есть и превосходные. В парке Палермо воздвигнут монумент испанцам тех поколений, которые сжимали не меч конкистадоров, а плуг пахаря и молот кузнеца. Памятник труду — вылитая из бронзы группа вытянувшихся цепью людей. В городе множество конных статуй. Даже прославленный Сервантесом Росинант по прихоти скульптора обрел неожиданную для себя пластическую резвость. На площади Италии стоит громоздкий памятник неистовому Гарибальди, который и в этих местах сражался «за нашу и вашу свободу». Конная статуя воздвигнута и в честь выдающегося борца против колониального гнета генерала Сан-Мартина. Другой памятник запечатлел его не бойцом, а мыслителем.

По примеру бразильского соседа правительство Аргентины выступило с инициативой уже в ближайшие годы перенести свою столицу в Патагонию — в глубь континента, объясняя это необходимостью стимулировать развитие плохо освоенных внутренних районов страны и желанием разгрузить мегаполис, который сконцентрировал почти половину промышленных рабочих и государственных служащих Аргентины. В августе 1986 года в мексиканском городке Истапа, где проходила встреча «делийской шестерки», я поинтересовался в ходе беседы с президентом Аргентины Раулем Альфонсином темпами строительства новой столицы. «Темпы высокие, и мы наконец дадим работу части наших архитекторов. Ведь по их числу — один на 23 жителя — Аргентина занимает первое место в мире, — полушутливо ответил президент. — Поневоле большинство наших зодчих крутят баранку такси или занимаются мелкой торговлей». Мне же кажется, что строительство новой столицы имеет иную цель: замкнуть центр политической жизни в границах малонаселенного глухого городка и уменьшить возможность военных переворотов, ставших трагедией для аргентинского народа.

Многие годы на политическую жизнь Аргентины активно влиял президент Хуан Доминго Перон, сочетавший популистские, антиолигархические призывы с высокомерным национализмом и даже пронацистскими симпатиями. Он ловко играл на настроенных масс, опираясь на влиятельные профсоюзы и вице-президента — свою очаровательную жену Эву, Эвиту, как ее любовно называли миллионы аргентинцев. В Латинской Америке впервые женщина была допущена в «большую политику», ее называли «духовным вождем аргентинской нации», она проявила незаурядный ум и талант трибуна. Рано ушедшая из жизни Эвита стала легендой.

После очередного военного переворота для ее мужа — Перона — потянулись долгие годы мадридской эмиграции. А нищавшие аргентинцы все чаще вспоминали с тоской недавние времена, когда страна занимала пятое место в капиталистическом мире по доходам на душу населения. Прошло почти два десятилетия. Чем хуже жилось аргентинцам, тем ярче сияла звезда Перона. Триумфатором вернулся он в президентский Розовый дворец с новой молодой женой, замеченной им на сцене ночного клуба. Но «Исабелита» так же мало напоминала Эвиту, как престарелый политик лихого полковника Перона. Недолго длилось его президентство. Он внезапно умирает, и вице-президент «Исабелита» автоматически становится главой государства. Фактически всеми делами стали вершить временщики — лихоимцы, шокировавшие население скандальными финансовыми аферами. Военные используют всеобщее недовольство и берут власть в свои руки во имя «спасения нации».

Тогда, в 1976 году, мало кто мог предположить, что вместо спасения нации против нее будет развязан подлинный геноцид, который можно сравнить только с террором фашистской хунты в Чили. Реакционная военщина вознамерилась одним махом и навсегда покончить со всеми инакомыслящими. Началась самая мрачная полоса в истории Аргентины.

Менее чем за восемь лет диктаторского режима было зарегистрировано тридцать тысяч «пропавших без вести» — замученных палачами людей. В основном это были рабочие и студенты. Каждая третья жертва — женщина. Бесследно исчезали не только коммунисты, но и священники, не только взрослые, но и дети. Ужас наводили воензированные банды «три А» — «Аргентинский антикоммунистический альянс» и «эскадроны смерти». Переодетые офицеры и полицейские, часто в париках и масках, арестовывали людей и бросали в тюрьмы и концлагеря, названные «колодцами».

...Почти в самом центре Буэнос-Айреса, на зеленой лужайке, мне бросилось в глаза белоснежное здание с колоннами. Аргентинские друзья рассказали, что еще недавно подземелье военно-морского технического училища было камерой пыток. На лексиконе палачей истязание электрошоком здесь игриво называли «Маргарита». Позу жертвы с заломленными за спину руками, привязанными к коленям, именовали «самолетом». «Мокрое подводное плавание» — это когда человека топили в ведре с нечистотами, а «сухое» — когда душили в полиэтиленовом мешке...

Обещанное материальное благополучие обернулось невиданной в истории страны нищетой. Аргентина, где недавно еще все было «самое, самое», побила мировой рекорд по росту инфляции. Денежные купюры в банках взвешивали на весах. Менявшиеся по нескольку раз в день цены на товары первой необходимости получили название «вальс этикеток». Зато на обломках денационализированных отраслей экономики укреплялось могущество транснациональных, американских корпораций. Пустовали учебные заведения, аргентинцы превращались в нацию неграмотных.

Военную верхушку доконала мальвинская катастрофа. Когда-то Аргентиной распорядилась Англия, потом ее вытеснил американский конкурент, но Лондон продолжал (как продолжает и сейчас) незаконно удерживать Фолклендские (Мальвинские) острова. Аргентинская военщина решила вернуть их, рассчитывая, что молниеносная победа поможет ей сохранить власть и заодно спишет все ее преступления. Расчет был сделан и на благородный порыв молодежи, на ее готовность восстановить суверенные права родины. Массовые демонстрации в поддержку внешней политики правительства проходили на столичной площади Британии перед башней с часами, воспроизводящей лондонский Биг Бен.

Но к затерянным в Южной Атлантике островкам была подтянута британская армада с атомным оружием. Хунту это не смутило: она не сомневалась в американской поддержке, потому что держалась у власти во многом благодаря Белому дому. Не будут руководители Пентагона и ЦРУ рубить аргентинский суф, на котором сидят, считали военные. Однако США выбрали меньшее из двух зол и полностью поддержали **своего**

главного союзника по НАТО. После Мальвин в вероломстве официального Вашингтона убедились даже поставленные им у власти «гориллы», пославшие под звуки фанфар на верную гибель воинов-патриотов и оказавшиеся бездарными полководцами. Нельзя быть одновременно и защитником народа и его палачом. Еще никогда военная верхушка Аргентины не покрывала себя таким очевидным для всех позором.

В 1982 году Мальвины открыли новую главу в истории Аргентины, ее «постмальвинский период», который начался с единодушного и твердого требования: «Они должны уйти!» Вскоре состоялись выборы, и они привели к власти лидера старейшей буржуазной партии радикалов Рауля Альфонсина, опередившего своего основного конкурента — расколотившую на кланы перонистскую партию.

Когда в здании закрытого долгие годы конгресса я спросил вице-президента и одновременно председателя сената Виктора Мартинеса, каковы главные проблемы страны в ее «постмальвинский период», то собеседник, не умаляя чрезвычайных экономических трудностей, первойшей задачей назвал сохранение и укрепление конституционного режима. Задача эта, заявил вице-президент, неразрывно связана с борьбой за мир, что и побудило Аргентину войти в группу шести стран, принявших в Дели известную декларацию о запрещении испытаний ядерного оружия, активно выступающих за прекращение атомных испытаний, гонки ядерных вооружений и планов ее перенесения в космос. На это решение, мне кажется, повлияло и стремление демонстративно отмежеваться от внешнеполитического курса военной хунты.

Об этом мы говорили в Центральном Комитете Коммунистической партии Аргентины с ее генеральным секретарем. Атос Фава подчеркнул необходимость создать твердые гарантии против путчистских рецидивов. Говорили мы с ним о политике Вашингтона, подрывающей демократические процессы и умножающей тяготы страны. «На мустанга пытаются набросить лассо, затянуть на Аргентине петлю долговой кабалы», — говорили мне. Американцы требуют, чтобы аргентинцы развивали по преимуществу экспортные отрасли сельского хозяйства, превратились в аграрный придаток индустриального Запада. И попутно Аргентине предлагается наращивать электронную промышленность, которая, по оценке компетентного местного журнала «Экономиста», «ни в чем не уступает электронной промышленности Канады и располагает отличными специалистами». Пентагон ставит, правда, одно условие: подключиться к программе «звездных войн» вместе с орудующими в Аргентине американскими концернами. Между прочим, самое высокое здание в Буэнос-Айресе принадлежит монополии по производству ЭВМ («Интернэшнл бизнес машинз», входящей в первую пятерку самых богатых корпораций США.

Из бесед с политиками, с бизнесменами, журналистами видно, что сегодня демократическую общественность тревожит вновь зашевелившаяся военщина, восстанавливающая подорванные Мальвинами контакты с Пентагоном. Аргентинцам советуют под предлогом модернизации вооруженных сил увеличить военные расходы. Кто-то распускает лживые слухи о том, что солдат вынуждены отправлять по домам из-за отсутствия продовольствия в казармах. А там идут богослужения в память «убиенных в битве с антихристом-коммунизмом».

Реакция делает ставку и на пределы человеческой памяти. Действительно, поредел поток зрителей в кинотеатрах, которые совсем недавно брали аргентинцы приступом, где демонстрировались поставленные режиссером Коста-Гаврасом фильмы «Осадное положение», «Пропавший без вести», «Дзета», фильмы, разоблачающие зверства пришедших к власти с помощью США военно-полицейских хунт. Мне довелось быть свидетелем первого в истории Латинской Америки судебного процесса над главарями военно-полицейских режимов, которых судили за преступления против человечности. «Латиноамериканским Нюрнбергом» назвали этот необычный суд.

Четыреста тысяч страниц весом в три тонны составили свидетельские показания людей, чудом оставшихся в живых.

На скамье подсудимых оказались девять генералов и адмиралов, включая трех бывших президентов, которых прокурор обвинил «в установлении в Аргентине режима тайного, жестокого и трусливого государственного терроризма».

В центре Буэнос-Айреса, в массивном здании с колоннами в два этажа из серого гранита председатель федерального суда в течение сорока пяти минут оглашал приговор. Но подсудимые не пожелали покинуть комфортабельных камер и следили за заключительным судебным заседанием по телевизионному экрану. Соизволил занять скамью подсудимых в окружении личных телохранителей лишь генерал Рубенс Доминго Граффинья. С виду безобидный старичок, он подслеповато моргал, словно не по его

адресу перечислялся реестр преступлений: 34 незаконных ареста, 8 похищений, в том числе ребенка, 96 подлогов, 35 санкций на пытки, присвоение имущества «пропавших без вести». Как оказалось, генерал Граффинья напрасно волновался — после вынесения вердикта его отпустили на все четыре стороны. Двоих подсудимых приговорили к пожизненному заключению, троих — к различным срокам, остальных оправдали.

Приговор вызвал в Аргентине бурную реакцию. Широкая общественность назвала его непростительно мягким. Реакционеры же сочли его «оскорбительным для чести мундира»...

3

В причудливом здании бразильского конгресса — два соединенных между собой параллелепипеда с чашами, в одной из которых заседает сенат, а в другой — палата депутатов, — я оказался в канун роспуска на каникулы очередной парламентской сессии. Сновали конгрессмены, каждый из которых при входе в зал заседания получал жетон, фиксирующий его явку, от которой зависел размер депутатского жалования. Гудел, как улей, пресс-центр. Молодой председатель конституционной комиссии сената Жозе Игнасиу Феррейра рассказал мне, как набирает скорость политическая машина страны: избрали президента, депутатов конгресса, префектов крупных городов, легализуются политические партии, в том числе коммунистическая, предстоят выборы губернаторов штатов и депутатов учредительного собрания, призванного принять конституцию «новой республики», как именуется сейчас Бразилия.

Вступивший в разговор заместитель председателя комиссии по иностранным делам палаты представителей Жоао Эрманн подчеркнул, что пересматривается не только внутренняя, но и внешняя политика «всех азимутов». Вашингтону это не нравится, потому что он хотел бы видеть Бразилию своим субжандармом на континенте. Когда империализм более двадцати лет назад учинил расправу над Доминиканской Республикой под флагом «межамериканской коллективной акции», вслед за морской пехотой США высаживался пусть и немногочисленный, но бразильский карательный контингент. Но времена меняются. Бразилия высказывается за уважение суверенных прав других народов, за политическое урегулирование кризиса в Центральной Америке.

О миролюбии независимого внешнеполитического курса Бразилии говорил мне министр иностранных дел Олаво Сетубал, готовившийся в декабре 1985 года к первому в истории Бразилии визиту в Советский Союз главы внешнеполитического ведомства. Собеседник подчеркнул совпадение или близость позиций СССР и Бразилии по широкому кругу принципиально важных международных проблем, прежде всего в вопросах сохранения мира. Отметив традиционную корректность советско-бразильских отношений, он сказал, что развитие политических, торгово-экономических, научно-технических связей осуществляется в Бразилии с учетом роли Советского Союза в современном мире.

За свою недолгую историю страна трижды меняла столицу. Еще сравнительно недавно город Бразилиа был одной сплошной строительной площадкой. Помню временку с передвижными перегородками из пенопласта, где трудился архитектурный генеральный штаб во главе с его полководцем — великим зодчим Оскаром Нимейером. Сейчас он, кстати, стал главным редактором журнала о Советском Союзе, который начал издаваться на материалах агентства печати «Новости».

Бразилиа со своей планировкой, административными и жилыми комплексами, транспортными артериями без пробок по праву считается самой современной столицей в мире.

Но если в столице «делают политику», то ее экономика целиком зависит от десятиллионного Сан-Паулу, который называют южноамериканским Нью-Йорком, и это не комплимент. Скоростные двухъярусные автострады соседствуют с размытыми дождями улицами с грунтовым покрытием, небоскребы — с «бидонвиями» — трущобами.

Порядок в Сан-Паулу вызвался навести (а главная проблема города, как и всей Бразилии, — растущая безработица) избранный префектом «самый непредсказуемый», по мнению бразильцев, политик Жаниу Куадрос. Помню, как четверть века назад, в ту пору, когда он был президентом страны, Куадрос выдвинул призыв «Против коррупции!». Помню плакаты и сувенирные глиняные фигурки, изображавшие тощего мужчину с густыми усами, угрожавшего казнокрадам карающей метлой. Тогда же неожиданно Куадрос наградил высшим орденом республики выдающегося кубинского революцио-

нера Че Гевару, и этот жест, словно по заказу, был на руку готовившим путч генералам, утверждавшим о якобы существующем в Бразилии «коммунистическом заговоре». Еще более неожиданно Куадрос хлопнул дверью президентского дворца, выбрав для ухода в отставку момент, когда вице-президент находился за пределами страны и государственный корабль готовились брать на бордаж мятежники. Потом документы показали, что и Жанну Куадрос, и два его предшественника, и его преемник, оказавшийся последним гражданским президентом до захвата власти военными, были смещены со своих постов по требованию Вашингтона...

И на посту префекта Сан-Паулу Куадрос не расстался с метелкой, но откорректировал прежний девиз так: «Против коммунизма и коррупции!» Антикоммунистическая ориентация — не очередная экстравагантная выходка «чудака политика», а очевидное свидетельство сложности хрупкого демократического процесса в Бразилии, которому противостоят и влиятельные внутренние и внешние силы, и предрассудки. В канун своего свержения последний гражданский президент Гуларт произнес вещие слова: «В Латинской Америке богачи немало говорят о глубоких реформах, но называют коммунистом каждого, кто решается их осуществить». И история доказывает, что антикоммунизм всегда выступал против даже самого робкого социального реформаторства.

Еще до поездки в Рио-де-Жанейро общительные бразильцы охотно говорили мне, что Куадроса сделало префектом Сан-Паулу телевидение, а телевидение «делает» в Рио Мариньо, глава крупнейшего бразильского газетно-журнального и радиотелевизионного концерна «Глобу», которому принадлежит вся империя голубого экрана, самая процветающая на континенте после трех американских корпораций.

И вот — ослепительные краски Рио-де-Жанейро: лазурь неба, голубизна залива Гуанабара, золото пляжей, сочная зелень ковров, покрывающих холмы и склоны гор с приметными вершинами. Через залив перекинут новый мост протяженностью в полтора десятка километров, соединивший Рио с соседним городом. Стала шире дуга набережной Копакабана, шагнули вдоль побережья новые районы с высотными зданиями и виллами. Там же детище Нимейера — цилиндрическая башня самбодрома, дворца неистойвой самбы, без которой немислим ни один карнавал в Бразилии.

Штаб-квартира главы концерна «Глобу» Роберту Мариньо, у которого я побывал, расположена на центральном проспекте Рио-Бранко. Здесь расположился финансовый центр города. Гостеприимный прием Роберту Мариньо был более выразителен, нежели его осторожный ответ на мой вопрос о жгучих проблемах страны: «Главная проблема — трудности переходного периода от власти военной к власти гражданской, — говорил он. — Демократический процесс подрывается забастовками, хотя, с точки зрения рабочих, их требования справедливы».

В тот же день газета «Глобу» в редакционной статье высказалась по поводу забастовок куда более откровенно. Она негодовала, что рабочие занимают предприятия, блокируют дороги, что «батраки захватывают поместья для проведения явочным порядком аграрной реформы». Вечером телевидение «Глобу» порадовало программой с документальными кадрами об истории создания в Бразилии профсоюзов, боевой компартии, стачечного движения. Но потом на экране замелькали полицейские дубинки, армейские тесаки и ружейные приклады, и стал ясен угрожающий смысл телепрограммы: история повторится, если не прекратится классовая борьба.

Однако принадлежащие Роберту Мариньо органы массовой информации не в состоянии скрыть и очевидные факты: «Богатые, составляющие десять процентов населения, присваивают 51 процент валового национального продукта. Один процент землевладельцев располагает 45 процентами обрабатываемой земли». Признание это принадлежит президенту Жозе Сарнею. Он же определил Бразилии шестое место в списке самых нуждающихся в продовольствии стран.

В океане бедности есть особенно обездоленные архипелаги. Северо-восток страны, откуда родом почти каждый третий бразилец, социолог Жозе де Кастро, автор книги «География голода», поставил на последнюю ступень человеческой нищеты. Жестокая засуха и еще более жестокий латифундизм гонят из этих мест безземельных крестьян, которым крупные города во многом обязаны демографическому взрыву. В официальной статистике почти тридцать миллионов детей значатся в графе «покинутые». Иными словами, каждый четвертый житель — бездомный ребенок...

Вблизи экватора на берегу Амазонки — величайшей реки планеты, раскинулся город Манаус. Над рекой ржавого цвета, исхлопанной ливнями, поднимаются ядови-

тые испарения. Когда-то из этих гибельных мест в девственную чащобу «зеленого ада» — сельвы — двигались добытчики каучука, сейчас — орды золотоискателей. Среди них и батраки, и беглые каторжники, и обладатели университетских дипломов. Никто не считал старателей «бразильского Клондайка» — одни говорят, что их сотни тысяч, другие — миллионы. Их судьбы вершит связанная с транснациональными компаниями мафия, на службе которой и авиация и наемные убийцы.

«Золотая лихорадка» косит и пришельцев и коренных жителей. Всего за какой-то век численность индейцев сократилась в десятки раз, от некоторых народностей не осталось и следа. В этих краях в ходу безжалостный афоризм: «Горсть золота стоит дороже горсти индейцев». Мариу Журуна, первый индеец, избранный в национальный конгресс, так сказал о судьбе своих сородичей: «До 1500 года нас считали лишенными души существами низшего сорта. Затем мы стали рабами. Сейчас мы всего лишь жертвы».

В Бразилии сегодня есть немало и других острейших проблем. Страна заняла первое место в мире по размеру внешнего долга, перевалившего за сто миллиардов долларов. «Наш долг подобен бездне, но Бразилия больше бездны», — говорят некоторые оптимисты. Но пессимисты, и их большинство, которых в Бразилии в шутку называют «информированными оптимистами», справедливо считают, что долговая бездна вырыта не мотовством бесшабашных бразильцев, а корыстью транснациональных, прежде всего американских, монополий. Именно они, внедрившись в ключевые отрасли национальной экономики, навязали стране стихию «свободного рынка», сделали Бразилию ристалищем для конкурентной борьбы американских, западногерманских, японских корпораций. Разрекламированное в первые годы военного режима «бразильское экономическое чудо», основанное на сверхэксплуатации трудящихся, потерпело очевидный для всех крах. Сейчас бразильцы почти единодушно клянут международных валютчиков с их убийственными рецептами.

Еще четверть века назад бразильские предприниматели, политики, чиновники, журналисты любого калибра грубо делились на две категории — «националистов» и «энтрегистов» (от слова «энтрегар» — выдавать), готовых выполнять любой чужеземный заказ. Так и говорили бразильцы друг о друге без особых эмоций: «мой сосед — националист» или «мой домовладелец — энтрегист». Но скажи сейчас «энтрегист», и это слово покажется любому бразильцу столь же оскорбительным, как пощечина.

Рост национального самосознания стал проявляться прежде всего в поисках пути самостоятельного экономического развития. Безмерно богатая природными ресурсами страна способна обеспечить себя и смягчить экономический кризис ростом экспорта. Но здесь американцы чинят всевозможные помехи, воздвигают таможенные барьеры. Бразильцы с их обостренным чувством собственного достоинства законно возмутились, когда журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» — трибуна американских монополий — назвал Бразилию «большим гигантом Латинской Америки».

Империализм в свое время сформировал в каждой латиноамериканской стране уродливую модель экономического развития — производство одного-двух сырьевых продуктов, предназначенных на экспорт. Так, Мексика, Чили, Боливия превратились соответственно в серебряный, медный, оловянный рудники, Венесуэла — в нефтепромысел, Аргентина и Уругвай — в пастбища, остальные страны — в кофейные, банановые и сахарные плантации. «Земля золотых плодов», как поэтически называли Бразилию, целиком зависела от кофейных деревьев с белоснежными лепестками цветов и от каприза международного рынка.

Бразилия давно излечилась от «кофейного флюса», вырвалась из пут монокультуры. Ныне страна стала одним из ведущих мировых экспортеров сои, апельсинового сока, мороженой птицы, однако монополистический капитал страны стимулирует прежде всего экспорт промышленной продукции. Бразилия намеревается шагнуть в третье тысячелетие в ранге великой державы и подкрепляет эту заявку внушительной статистикой. Из каждых трех бразильцев двое — горожане. Бразилия вошла в первую десятку государств по размеру валового национального продукта, ее объем промышленного производства больше, например, чем в Индии. Страна обогнала Францию по выпуску стали. Бразилия — среди ведущих государств по производству ЭВМ, на базе отечественной промышленности готовится к запуску искусственного спутника Земли. Бразилия, между прочим, заняла пятое место в капиталистическом мире по экспорту вооружения...

Страна уже имеет крупные достижения в науке и технике, в том числе приоритетные. Недавний рост цен на нефть — а ее запасы в Бразилии невелики — заставил ученых искать альтернативные источники топлива. Уже налажен массовый выпуск бездымного спиртового топлива, полученного из сахарного тростника. Спиртовое топливо используют почти все автомашины национального производства. После выпуска автомашин Бразилия вошла в первую десятку государств мира.

На юге страны я познакомился с гидроэнергетическим комплексом «Итайпу». Высокая плотина перегородила широкую реку Парану, которую индейцы-гуарани называли когда-то «родственником моря». Две первые турбины на комплексе уже задействованы, а после того, как в 1990 году будут пущены еще шестнадцать турбин общей мощностью 12,6 миллиона киловатт, «Итайпу» станет самой крупной гидроэлектростанцией в мире.

Да, Бразилия живет в ожидании перемен. Об этом говорили все мои собеседники, в том числе и гидростроители «Итайпу». Ходят слухи об аграрной реформе, законе о прогрессивном налогообложении и других социальных проектах. Конечно, в этих разговорах много наивных мечтаний, но неунывающие бразильцы не могут жить без надежды на лучшую человеческую долю. Давно идущая на сцене одного из самых популярных театров страны известная пьеса так и называется: «Бразилец, профессия — надежда».

4

Через приток Параны широкую Игуасу переброшен только что открытый мост. Называется он международным, и на нем идет проверка документов. В этом районе тропической сельвы сошлись рубежи трех государств — Бразилии, Аргентины и Парагвая. Разбитной водитель такси и он же владелец фирмы с парком в одну автомашину аргентинец Хосе Альберто Санчес, с которым я совершил поездку в Бразилию на «Итайпу», предлагает за четверть часа домчать меня до города под названием Пуэрто Президенте Стресснер. Мой гид доверительно сообщает, что городишко по ту сторону парагвайской границы довольно паршивый, но там «навалом дешевых контрабандных товаров», а в ста пятидесяти только зарегистрированных публичных домах «обслуживают на уровне мировых стандартов»...

Границы Парагвая остаются в стороне, а я думаю о превращенном в один сплошной концлагерь нищем государстве, не случайно названном «четвертым рейхом Стресснера». С 1954 года, когда власть в нем захватил поклонник Гитлера, сын владельца мюнхенской пивнушки Альфредо Стресснер и установил режим военно-фашистской диктатуры, Парагвай стал адом для его жителей и раем для нацистов. Сразу после войны американские спецслужбы организовали операцию под кодовым названием «Надежное убежище» — для тайной переброски в Южную Америку гитлеровских палачей. Наибольшее их число осело в Аргентине, а потом в Парагвае. Многие из них до сих пор состоят на службе у прозванного «тиранозавром» Стресснера, тренируют армию и жандармерию для подавления освободительной борьбы, натаскивают наемников и убийц.

Почти два десятилетия держали в темнице лидера парагвайских коммунистов Антонио Майдану. Под давлением требований мировой общественности его вынуждены были выпустить на свободу, но вскоре похитили в Буэнос-Айресе и вновь бросили в застенки. Зато в Парагвае нашли гостеприимный приют нацистские убийцы. Здесь им жилось и живется вольготно. Совсем недавно там испустил дух Эдуард Рошман, прозванный «палачом Риги». Многие годы там же скрывался доктор медицины и философии, неудавшийся рифмоплет и поклонник классической музыки врач-изувер Йозеф Менгеле, прозванный «ангелом смерти Освенцима». С ним регулярно сражался за шахматной доской в столичном Немецком клубе наследник президента полковник авиации Густаво Стресснер. Процветает на щедрых парагвайских харчах бывший начальник гестапо Генрих Мюллер. Здесь искали Мартина Бормана. Есть в Парагвае и поселок Нуэва Эрмания — Новая Германия, представляющий замкнутую общину, в которой живут до бытовых мелочей по законам «третьего рейха». Недобитые фашисты устраивают факельные шествия, награждают друг друга железными крестами и клянутся вновь дойти до Москвы.

Лет пятнадцать назад самолет бразильской авиакомпании «Вариг» совершил незапланированную посадку в аэропорту парагвайской столицы Асунсьон, и все мы

оказались в зале для транзитных пассажиров аэропорта имени Стресснера. Первый парагваец, которого я увидел, был писанный маслом портрет Блондина, как здесь называют Стресснера,— в парадном генеральском мундире, с муаровой лентой, аксельбантами и многочисленными регалиями. В лавке сувениров, где продавалась и единственная выходящая в Асунсьоне газета, мне настойчиво пытались всучить один из десяти различных по размеру бюстов Стресснера. Газетные заголовки кричали: «Стресснер — это мир, порядок и прогресс!», «Слава президенту мира и гениальному лидеру национальной судьбы!», «Стресснер — лучший боец американского континента!», «Навеки со Стресснером!» В транзитном зале был вывешен план Асунсьона с проспектом имени Стресснера, с бронзовым монументом Стресснеру и даже... с образцово-показательным общественным туалетом, названным именем Стресснера.

Парагвай по некоторым показателям держит первое место в мире. Но это — печальные рекорды: из Парагвая бежал каждый третий его житель; страна занимает первое место в мире по количеству агентов тайной полиции. Если даже принимать в расчет всех младенцев и древних старцев, уже каждый девятый парагваец прошел через тюремные застенки.

На страницах буржуазных газет недавно появилось заявление Стресснера, утверждающего, что он создал «демократическое государство без коммунистов». Но известно, что против индейцев, составляющих большинство населения страны, проводится политика геноцида, их безжалостно истребляют.

Разговорчивый водитель такси Хосе Альберто Санчес решил развлечь своего пассажира анекдотом. «Сеньор, наверное, его не слышал,— рассказывает он на крутом выраже.— Так вот. Умирает дон Альфредо. Его министры испуганно перешептываются и спрашивают друг друга, кто же пойдет к Стресснеру и доложит ему об этом событии».

За окном машины тянется аргентинская сельва. В провинции Мисьонес делаем короткую остановку, и я покупаю свежие газеты и журналы. В них тоже есть любопытная информация о сегодняшнем Парагвае.

Официально нищий Парагвай держит мировой рекорд по потреблению на душу населения американских сигарет, японских видеомэгафонов, шотландского виски и французских духов. Но простые парагвайцы этих товаров никогда не видят. Их страна стала самой крупной в Южной Америке перевалочной базой контрабанды, прежде всего наркотиков, которая кормит правящую камарилью. Стресснеру принадлежат бесстыдные слова о том, что «контрабанда — это плата за мир».

Вечером, включив в гостинице телевизор, я увидел и самого Блондина — диктатора Стресснера, вяло пожимающего руку почти коленапреклоненному парагвайскому сановнику. Поразил его оцепенелый взгляд и вид мумии.

Несмотря на террор, в Парагвае нарастает борьба, охватившая самые широкие слои населения: от рабочих и студентов до представителей национальной буржуазии и священников. Беспрецедентным за все годы фашистской диктатуры явился прошедший недавно в Асунсьоне марш молчания.

В Южной Америке фашизм сейчас зверствует лишь в двух странах — в Чили и Парагвае. Но история уже вынесла приговор агонизирующим диктатурам. В обстановке, когда у Стресснера буквально горит земля под ногами, вызывает подозрение позиция Вашингтона. Три десятилетия Стресснер держался у власти только благодаря поддержке США. Теперь в Белом доме понимают, что пришло время убирать реликтового динозавра Стресснера, как недавно убрали Бэби Дока из Гаити и чету Маркос с Филиппин. Но империализм хотел бы оставить нетронутой государственную систему Стресснера, отретушировав ее фасад «демократическими преобразованиями». Претив этого плана, разработанного ЦРУ, выступает парагвайский народ, и его законное требование поддерживают все свободолюбивые народы.

На языке гуарани Парагвай звучит как река, текущая гирляндами. Парагвай точнее было бы называть рекой, текущей кровью.

5

Для того чтобы увидеть лицо древней Америки, стоит хотя бы раз побывать в городе-крепости Мачу-Пикчу, расположенном в глубине континента. Это главная археологическая достопримечательность Южной Америки. За крепостными стенами из гигантских гранитных монолитов с лабиринтами, нишами и бойницами когда-то укрывалась столица могущественного и обширного теократического индейского государства.

На долгие годы сельва поглотила разграбленную крепость с ее домами и мостами, каменным компасом и террасами — плантациями, ритуальными постаментами и мавзолеями. Только в начале XX века, расчистив густые заросли, люди с изумлением обнаружили на месте мертвого города подлинные шедевры инженерного и архитектурного искусства.

Трудно попасть в этот древний город, не просто и выбраться из Мачу-Пикчу: сначала иду пешком, через сельву, потом еду на автомашине, а дальше — по узкоколейке, которую считают самой высокогорной в мире железной дорогой. Мой путь завершается на перроне вокзала Куско — бывлой священной столицы империи инков, на котором сегодня реет государственный флаг Перу. Опоясанный снежной грядой Анд, поднявшийся на высоту более трех тысяч метров, Куско тоже похож на археологический музей под открытым небом.

В окрестностях города на несколько сотен метров тянется стена храма солнца Саксауаман, сложенная из многоугольных монолитов весом до ста тонн каждый. Среди них нет двух одинаковых, монолиты словно припаяны друг к другу, и между ними не просунуть даже бритвенного лезвия. Интересно, что археологи не обнаружили рядом никаких каменоломен с гранитом подобного сорта, и развалины храма — загадка для современных зодчих.

В центре города — руины дворца первого инки. Дворцы и храмы здесь разрушило не время, а конкистадоры в латах и сутанах. Что не уничтожалось, то разворовывалось. Во дворе одного из храмов были «посажены» деревья из золота высшей пробы в натуральную величину. Деревья «срубили» и на месте, которому поклонялись индейцы, завоеватели воздвигли католический собор.

Древний Куско концентрирует в себе современные проблемы Перу. О них неторопливо тихим голосом рассказывал мне заместитель мэра молодой архитектор Адольфо Салома со скромными манерами и характерной для индейцев-качуа внешностью: смуглый, широкоскулый, с темными глазами. Мэр был в отъезде, и меня принял в парадном зале его заместитель.

— Куско называют «красным городом» не только благодаря черепице на кровле его домов. Наш город известен и революционными традициями. — рассказывал Адольфо Салома. — Но лишь недавно впервые власть оказалась в руках представителей левых партий. До этого Куско всегда правила ставленники олигархии из числа продажных адвокатов. Их расчет сделать Куско источником туристского бизнеса не оправдался. Зрелище отчаянной нищеты отвращает иностранцев, поток туристов падает и сейчас не превышает ста тысяч человек в год. Туристов меньше, чем гидов и уличных торговцев. Туризм кормит всего четырех из ста трудоспособных. Наше спасение — в возрождении местной промышленности. Когда-то в Куско испанцы завезли овец, и здесь была построена первая во всей Латинской Америке текстильная фабрика. И сейчас у нас в избытке превосходной шерсти, которую дает настриг альпаки.

В Перу, как и во всех других латиноамериканских странах, главная причина нищеты — социальная несправедливость.

В редакции крупнейшей буржуазной газеты «Республика» член ее правления сенатор Густаво Моме говорил мне: «Разделите пополам средний доход жителя самой малообеспеченной западноевропейской страны, и вы получите средний доход аргентинца. Разделите его пополам, и вы получите доход бразильца. Средний доход перуанца в два раза меньше. Дальше делить уже нечего, и так почти нулевой показатель».

За последнее пятилетие инфляция в стране подскочила в пять тысяч раз, вдвое увеличилась смертность детей — их косит туберкулез и постоянный голод. Каждую минуту в Перу умирают двое детей.

Толпы бездомных детей — гневное обвинение власти, которая довела страну до самого глубокого за всю ее историю кризиса. Но в отличие от государств, о которых речь шла выше, виновником бед Перу оказался не военно-полицейский режим, а правительство олигархии в гражданской, конституционной одежде. Военные в Перу как раз и пытались доказать впервые в современной истории Южной Америки, что может быть иная армия, армия не палачей народа, а его защитников.

Когда в конце 60-х годов во главе с генералом Веласко Альварадо армия выгнала из президентского дворца Белаунде Терри, торговавшего страной оптом и в розницу, то всемирная молва единодушно расценила это событие как очередную и ординарную

военный путч, которых немало было в бурной истории Перу. Но случилось невероятное. Генерал и его сподвижники-патриоты национализировали нефтяную компанию Рокфеллера, взяли под контроль государства ключевые отрасли экономики, ощути-мо ударили по латифундизму и начали проводить аграрную реформу в интересах беднейших крестьян. Военные лишили власти духовных отравителей — владельцев органов массовой информации, провозгласили независимый и антиимпериалистический внешнеполитический курс.

Вашингтон не на шутку перепугал «перуанский феномен», «новизна революционной модели» правительства вооруженных сил, которые до этого всегда выполняли волю империализма. С помощью развязанной США необъявленной антиперуанской войны революционно-демократическое правительство военных было ликвидировано, и в президентском дворце вновь объявился старый «демократ» Белаунде Терри. К руководству вооруженными силами пришли консервативные элементы.

Враги перуанского народа брали социальный реванш. Возобновился грабеж природных богатств американскими монополиями, у крестьян отбирали землю, быстро провели демонтаж национализированной экономики. Щепетильно честных и оставшихся не у дел единомышленников уже покойного генерала сменили обнаглевшие казнокрады. Для перуанцев коррупция вновь стала национальным позором.

И только совсем недавно избиратели, которых привыкли дурачить каждые пять лет, отвернулись от кандидатов дискредитированных «традиционных» буржуазно-помещичьих партий и отдали голоса поборникам перемен. Победу на выборах одержала партия социал-демократического толка АПРА. На втором месте оказалась коалиция «Единство левых сил», в которой участвует и Коммунистическая партия Перу.

...Из перуанской глубинки я вернулся в обращенную к Тихому океану столицу Лиму с ее узкими улицами колониальной эпохи, шумным проспектом Арекипа, аллеями посаженных сотни лет назад оливковых деревьев, с ее единственными в своем роде резными деревянными балконами на фасаде зданий, рестораничками, где подают севиче — сырую рыбу в пряном соусе, вернулся, когда исполнилось сто дней пребывания у власти энергичного и улыбочивого Алана Гарсиа, самого молодого президента в Латинской Америке. По традиции сто дней каждого президентства — повод для подведения первых политических итогов. Какие они?

В нищей стране каждый, кому посчастливилось получать хотя бы мизерную зарплату, слышет миллионером. Давно обесцененную купюру соль (солнце на испанском языке) готовятся заменить новой — инти (тоже солнце — только уже на языке индейцев-кечуа). Будет ли индейское «солнце» согреть больше прежнего? В этом сомневаются даже настоящие миллионеры.

Характерной, рассказывают мне, была встреча президента с местными денежными воротилами. Он призывал их вкладывать капиталы в экономическое развитие родины, а не вывозить в США. Он горячо говорил, что негоже стране, подарившей человечеству картофель и кукурузу, тратить дефицитную валюту на закупку за рубежом продовольственных товаров первой необходимости. Он взывал к совести тех, у которых ее никогда не было, и аудитория безмолвствовала.

Новое правительство понимает, что необходимо вывести страну из паралича как можно скорее, видит путь к спасению в создании агропромышленных комплексов, в развитии мелких крестьянских хозяйств, у которых пока нет ни земли, ни техники. «Но нужны коренные социально-экономические преобразования, структурные реформы, а правительство не решается осуществить их», — говорил мне в редакции органа компартии газеты «Унидад» ее главный редактор, депутат парламента Густаво Эспиноса.

Зато общественность единодушно одобряет действия президента по борьбе с коррупцией разбухшего военно-бюрократического аппарата. Открытое казнокрадство особенно бесстыдно на фоне народной нищеты. Уже разоблачен нечестный на руку министр экономики. Он покупал за казенный счет «новые» суда, которые годились разве что на лом. Продажность правившей страной камарильи показал и сенсационный арест «кокаинового короля» Рейнальдо Родригеса, известного под кличкой Крестный отец. Собственность этого главаря мафии оценивается в сумму, равную четвертой части всего бюджета Перу. Сотни миллионов долларов он наживал на нещадной эксплуатации крестьян, гнувших спины на его плантациях «белой смерти». В Перу, как известно, обильно произрастает низкорослый кустарник кока, мелкие сухие листья которого идут на производство кокаина. Крестный отец с помощью своего брата — со-

ветника бывшего премьер-министра — и своего друга — начальника тайной полиции, тоже бывшего, беспрепятственно поставял на бездонный американский рынок мешки с кокаином.

Утлую перуанскую лодку раскачивает и волна захлестнувшей уголовной преступности, политического террора. Негодование прогрессивной общественности вызывают ультралевацкие действия организации полпотовского пошиба под кощунственным названием «Светлый путь». Ее провокации используются для разгула правого террора, развязанного во многих районах генералами и помещиками против мирного крестьянского населения. Вот лаконичная газетная строка: «Вчера в департаменте Аякучо убили 59 крестьян». В тот же день газеты уже со множеством деталей расписывали ограбление банка в центре Лимы...

Перуанцев пытаются приучить к атмосфере террора. Кому это выгодно? Обстановка дестабилизации и террора на руку империализму США, с которым правительство Алана Гарсиа вступило в открытый конфликт.

Едва президент пришел к власти, как потребовал умерить аппетиты монополистиче- грабящих нефтяные богатства страны, а они практически все — американские. От них потребовали выполнения элементарных правил: платить налоги, вкладывать часть прибылей в разведку новых месторождений. Монополисты отказались. И тогда президент с достоинством заявил, что «суверенитет Перу не подлежит обсуждению», и на законном основании национализировал американские нефтяные компании.

В американской прессе вспыхнула яростная антиперуанская кампания.

Гнев в Вашингтоне вызвал и независимый внешнеполитический курс перуанского правительства. Оно сократило военные расходы, выступило за всеобщее разоружение, осудило программу «звездных войн», Алан Гарсиа заявил, что Перу разорвет отношения со страной, которая совершит агрессию против Никарагуа.

В антиперуанскую кампанию включились и американские официальные лица. В конгрессе США форменному разному подверг Перу помощник государственного секретаря по межамериканским делам Эллиот Абрамс. «В первые же месяцы пребывания у власти своей администрация Гарсиа и некоторые члены его правительства поспешили публично обвинить США в связи с проблемами Перу. Эти нелюбезные слова нас расстроили и в ряде случаев еще более затруднили наше сотрудничество», — заявил Абрамс и попутно попытался оклеветать дружественные и равноправные советско-перуанские отношения.

Но подлинная буря разразилась, когда правительство Перу приняло решение ограничить выплату внешнего долга десятью процентами от экспортных доходов страны. Вашингтон ответил экономическим террором. Международные банки объявили, что Перу впредь лишается кредитов, был закрыт доступ перуанскому сахару на американский рынок. Особенно болезненно представители Международного валютного фонда. Но Алан Гарсиа твердо сказал, что не впустит в страну международных валютчиков, этих, по его выражению, «вице-королевских интервенционистских делегатов», ибо «Перу уже давно не их колония». С трибуны ООН президент заявил, что страна выйдет из увеличивающего нищету большинства перуанцев Международного валютного фонда. И эти встреченные аплодисментами слова государственный секретарь США Дж. Шульц оскорбительно назвал «дерзкими». После этого на заявление корреспондента газеты «Монд»: «в США могут прийти к выводу, что вы подаете дурной пример», — Алан Гарсиа кратко и точно ответил: «Дурной пример подают сами США».

Враги перуанского народа не ограничиваются словесными поношениями. Была задумана беспрецедентная по своей наглости акция: захват хранившегося в США золотого запаса Перу. Слитки весом в семьдесят тонн чудом удалось вывезти кружным путем через Швейцарию и доставить на перуанский военный аэродром. Так вторично в истории Перу ее хотели по-разбойничьи лишить национальных богатств.

* * *

Почти пятьсот лет назад поработили Южную Америку испанские колонизаторы. Трехсотлетнее рабство сменилось американским неокOLONIALИЗМОМ, продолжающим грабить и эксплуатировать народы более тридцати латиноамериканских стран. По возрасту многие из них — почти ровесники США, но уровень жизни в них один из самых низких в мире. А ведь во времена, когда по Северной Америке бродили только стада бизонов и в прериях гулял один ветер, в Латинской Америке уже процветали великие цивилизации, созданные искусным трудом земледельцев и ремесленни-

ков, строителями сказочных городов и храмов, подаривших миру редкостные по красоте памятники культуры, поражающие воображение и сегодня.

В окрестностях Лимы есть уникальный музей золота Перу, в котором собраны лишь жалкие крохи того, что разграбили колонизаторы.

А кафедральный собор рядом с президентским дворцом хранит в Лиме мощи завоевателя Перу Франсиско Писарро. Там же на площади установлена и его бронзовая статуя на коне. Памятник был выполнен американским скульптором по заказу тогда еще франкистской Испании, но от «презента» отказалось сразу же несколько государств континента. Перуанцы взяли. Потом они, правда, несколько раз собирались убрать памятник жестокому завоевателю, да как-то руки у них до этого не дошли.

Шпага Писарро грозно нацелена на циферблат вмонтированных в собор часов, словно он, привыкший к всеобщему слепому повиновению, собирается, как и нынешние колонизаторы, остановить стрелки и повернуть историю Южной Америки вспять.

Но этого они уже сделать не смогут. Канули в Лету недобрые имена конкистадоров. Ушла в небытие вереница тюремщиков-диктаторов. Такой финал ждет и любого некоронованного ставленника империализма. Рано или поздно, но тираны уходят, и новь Южной Америки расцветивает яркая палитра неповторимых красок.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИГОРЬ ДЕДКОВ



ВОЗМОЖНОСТЬ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ

Передо мной книга Алеся Адамовича «Ничего важнее», вышедшая недавно в «Советском писателе».

Редкая книга по страстной приверженности одной мысли.

Редкий случай — когда говорят: нет «ничего важнее», — и оспаривать не хочется.

Редкий жанр: литературная критика, срывающаяся в проповедь, этическую и политическую.

И время на дворе редкое: после чернобыльского пожара наши литературные «пожары» уже не те и на многое теперь смотрим иначе.

Большое дело — защита Байкала, но появилось в конце мая в прессе стихотворение А. Вознесенского «Озеро» («Надо вывешивать бюллетень, как себя чувствует омуль, тюлень»), и ясно увиделось: до написано, до! И старое в нем понимание вещей. Вроде бы верное, да не совсем.

Как никогда стало ясно: публицистическая защита природы, необходимая и бесспорная сама по себе, должна начинаться с защиты человека, живущего под сегодняшним небом. Или, по крайней мере, это следовало иметь в виду как точку отсчета. Теперь очевидно, что вне такой защиты все хлопоты о водах и лесах содержат в себе что-то непоследовательное в нравственном смысле.

Для тех, кто прислушивался к голосу Алеся Адамовича в последние три-четыре года, эта книга о ж и д а н н а абсолютно. Да, он опять о том же: «Не убий человечество!» Да, он опять твердит свое: «...бомба всеобщей гибели не должна взорваться. Нигде. Но именно поэтому ради этого она взорваться должна — в душе писателя, художника». И, словно чувствуя непо-

мерность воображенного, призываемого (бомба! в душе!), уточняет: «...не съезжаться пугливо перед всей правдой, открыться, впустить ее — пусть взорвется в душе писателя».

Правда — пусть! Может быть, в самой ее природе взрывчатость, опасность. Не зря же от нее отшатываются, ищут укрытий!

А подзаголовок книги вполне академический: «Современные проблемы военной прозы». Когда «проблемы прозы» — какие взрывы? Тут приличествует иное: взвешенность, умеренность в словах и аккуратное прикосновение к правде, чтобы и касание, приобщение было и чтобы, упаси бог, не рвануло. Правда, не задевшая никого, не поранившая ничьей совести, не потрясая новым, недостающим знанием, правда удобная, дозированная (одним можно столько-то, другим — столько-то), — как часто она у нас ходит в героях! Но не в книге А. Адамовича, это исключено. Установка та же, что в «Блокадной книге»: придвинуть к глазам (так было, а вот так — будет), и пусть прошлое или будущее разнесут наш сиюминутный покой, вырвут из привычного круга забот и утех, напомнят о нашей принадлежности к народу и человечеству, о неотделимости наших судеб от общей исторической судьбы. Надолго вырвать не удастся — клейкие листочки, синь небес, счастье жить! — но все свое носим с собою, и стойкий холод тревоги редко нас покидает. Захотим ли иного? Кто-то захочет, но чаще пораженные правдой благодарят за боль знаний и суровых открытий. Почта авторов «Блокадной книги» это подтверждает, почта новой книги подтвердит ли? Подтвердит ли, что опасность ядерного уничтожения человечества осознана, прочувствована как самая непосред-

ственная, прямая, требующая какого-то нового отношения к жизни и к своим гражданским обязанностям?

Алесь Адамович знает, что призыв «не убий человечество!» при всей кажущейся неоспоримости все еще нуждается в укреплении своей безальтернативности. Можно убить или не убить; других, «средних», «благоразумных», частичных, вариантов нет; они сводятся — под флагом любых идей — всё к тому же чудовищному жертвоприношению земной жизни на алтарь глупости и безумия. Книга А. Адамовича — укрепление безальтернативности. В ней свод доказательств, научных прогнозов, предупреждений. И вместе с тем ясное понимание, что, сколько ни доказывай, ни аргументируй, все будет недостаточно, и останавливаться на этом пути, успокаиваться нельзя, и нужно набираться терпения и без конца доказывать снова, не уставать и не отступать в бессилии, раскачивая и раскачивая тяжелые колокола, зовущие к единству и миру...

Но если это проповедь, то к кому обращена? И почему именно Алесь Адамович в проповедниках? В чем тут вообще новизна и событие, если советская публицистика борется за мир начиная с первых послевоенных лет и А. Адамович не более чем продолжатель славной традиции? Да и в ряду компетентных предупреждений-предсказаний, сделанных А. Эйнштейном, Б. Расселом и другими учеными и мыслителями XX века, что значит еще одно, высказанное «некомпетентным» литератором? К тому же еще Владимир Владимирович писал: «Голос единицы тоньше писка...»

И все-таки в книгах серьезных, как эта, мало бывает случайного и произвольного, идущего только от «единицы», и если налицо продолжение славной традиции, то преображенное и обогащенное историческими уроками и новым пониманием мировой ситуации. Как развивалось это понимание, можно судить по приведенным автором высказываниям П. А. Капицы 1956 (полемика с Б. Расселом), 1972 и 1976 годов. А также по рассказанному А. Адамовичем эпизоду из белорусской литературной жизни тридцатилетней давности. Когда Владимир Короткевич, живший в ту пору в Орше, напечатал стихотворение, где высказывал «тревогу, что оружие, испепелившее Хиросиму, угрожает гибелью всему человечеству», его строго одернули в местной газете. «Как всему? — был задан далеко ведущий вопрос. — А разве не ведомо поэту Короткевичу, что прогрессив-

ная часть человечества погибнуть не может?» Минские литераторы попытались защитить Короткевича, но в ответ получили еще одну газетную отповедь «пессимизму» и «капитулянтству».

Стоит ли А. Адамовичу вспомнить давнишние проработки? Однако если не вспоминать, можно ли чему-нибудь научиться? И так к слову сказать, поспешно всё забываем, будто мелом по классной доске постукиваем, а прошлись влажной тряпкой — и пиши-постукивай дальше как ни в чем не бывало...

Хорошее качество Алеся Адамовича — противостоять беспамятству и не прощаемое не прощать здесь, ли, в «Карателях» ли, в «Хатынской повести», в литературно-критической публицистике... А если б кто раздраженный-растревоженный окрикнул его: кто ты такой, как смеешь прощать — не прощать? — он мог бы ответить: человек я, и этого достаточно. Человек, добавили бы мы, хранящий в себе помимо своего пережитого-испробованного еще кое-что покруче, потяжелее — из жизни и страданий тысяч других человеческих единиц. Говоря так, я думаю о лицах и голосах белорусских крестьянок, вспоминающих страшные дни оккупации. В них всматривались, вслушивались Янка Брыль, Владимир Колесник и Алесь Адамович («Я из огненной деревни»). Я думаю о лицах и голосах ленинградцев-блокадников, поведавших свою горькую, мучительную повесть Даниилу Гранину и Алеся Адамовичу («Блокадная книга»)...

Вот откуда берется компетентность. Компетентность, даже избыточная для того чтобы сказать твердо и ясно: нет «ничего важнее». И духовная сила для проповеди и право на нее не связаны ли с полнотой памяти, с открывшимся знанием подлинно человеческой истории своего народа — не на уровне истории дипломатии, экономики или военного искусства, а на уровне обыденности, коротких людских жизней, тех самых досказывающих за себя живых и мертвых безвестных голосов...

Если же проповедь, то к кому обращенная? Ко всем, кто услышит? Но прежде всего к писателям-собратьям, к литературе вообще как к некоей высоко нравственной и высокогуманной инстанции, к обществу, наконец.

Однако соберется ли кто на площади? Писатели да в роли паствы? Пророки да толпой согласной? Выслушивать призывы? Пугаться — в который раз! — «конца света», неба, свившегося, «как свиток», сияния «ярче тысячи солнц» «ядерной зимы»?

Но речь не о том, хотя и пугаться и даже ужасаться бывает нелишне. Речь о том, что «времени в обрез» и литературе, честно писавшей о минувшей войне, пристало «с такой же гражданской смелостью» открыться «навстречу всей правде войны грозящей». Если говорим, что «необходимы сверхсилы, чтобы победить сверхоружие, смертельную угрозу, исходящую от него, то разве не самое время заговорить и о сверхлитературе?».

Чересчур сильные слова — сверх то, сверх это — настораживают; А. Адамович это знает и успокаивает: «...ничего сверх минимума не предполагается: писать о том, о чем постоянно думаем, даже когда гоним это от себя, но делать это так же всерьез, как научились (тоже не сразу) писать о минувшей войне».

Хорош «минимум»: писать о том, о чем постоянно думаем! Да это же и есть самый что ни на есть максимум, и ничего максимальнее не нужно. И все-таки если относительно последствий ядерного конфликта все в книге изложено с необходимой прямой и ясностью — чему способствуют обширные выдержки из книги Дж. Шелла «Судьба Земли», — то насчет литературы дело обстоит сложнее: говорится ни много ни мало о полноте ее воздействия на ход вещей и уж во всяком случае на образ мысли современников!..

Напомню: еще в 1926 году читатели романа Андрея Белого «Москва под ударом» — из жизни российской интеллигенции начала XX века — наткнулись на фантастическое пророчество профессора Коробкина: «Подумайте только: возможность использования электронной энергии первым, сказать между нами, болваном... не гарантирует нас... от взрыва миров, черт дер!»

Вероятно, тогда лишь немногие воспринимали это предупреждение чудаковатого героя романа всерьез — всюжетно и внелитературно. Теперь «взрыв миров» — почти что общее место; воображение едва ли не каждого допускает такую возможность, нечто невообразимо страшное, настолько страшное, что кажется маловероятным. Но допущение это, по мысли А. Адамовича, еще не совсем то, что может быть названо подлинным сознанием опасности и своей ответственности, требующей действий.

Алесь Адамович пишет об «адекватной реакции» как нормальном человеческом поведении, имея в виду и реакцию художника на действительность. Но чему она адекватна, эта реакция? Тому, что есть на самом деле, или ложным представлениям,

иллюзиям, мнимостям? «Ничего важнее» — вот, до Адамовичу, адекватный ответ на всю совокупность реальных обстоятельств наших дней, на их глубинную, взрывоопасную суть. Все другие реакции той главной, доминирующей как бы подчинены или же должны быть соотнесены с нею как с фоном, обстановкой, климатом жизни. Не о том речь, что к роману минского писателя Э. Скобелева «Катастрофа» (А. Адамович приветствует его появление) вот-вот прибавятся новые, заглядывающие в бездну грядущих катастроф, хотя в какой-то момент читателю может показаться, что автор ожидает продолжения именно в этом роде... Да и почему бы не ожидать? Если помнить, что ни тема профессора Коробкина (страх перед захватом науки, научных изобретений силами «хаоса»), ни другие темы, пусть внешне и далекие от всего «термоядерного», но способные обострить наше восприятие истории, ее подлинных и мнимых неизбежностей, не получили развития в литературе, то можно предположить движение и в этом направлении, не менее антивоенном, чем иное другое.

Впрочем, не в предсказаниях и гаданиях существо книги, хотя автор, а вслед за ним и мы отдали им дань. А. Адамович рассуждает так: если оглянуться на сделанное военной прозой, то можно выделить, отметить точки (произведения), соединив которые получим прямую линию, ведущую в будущее. И тогда-то это будущее если не угадать, то «хотя бы позвать, покликать». Как пишет А. Адамович, «ради жизни на земле...».

Заманчиво проследить, как менялось в военной прозе понимание человека, его роли и выбора, его ценности в иерархическом ценностном ряду, понимание достойного и героического поведения. Как по мере отступления схематизма (обозначим так настойчивые требования «должного», явно преувеличенного свое право долженствовать) нарастали правдивость, художественность и человечность.

Глагол «нарастали» вовсе не обещает оптимистического графика непрерывных художественных достижений, где линия, ведущая в будущее, безостановочно летит вверх. Не так-то все просто и складно, да и схематизм, обновивший свои версии военных событий (прибавивший в правдивости, но не человечности), еще силен... Но даже с учетом всех «противопоказаний» глагол наш, думается, верен: будь иначе, печальной была бы наша читательская участь.

Прокладывая по точкам (произведениям) линию, выводящую к будущему, А. Ада-

мович действует скорее как публицист, а не как историк литературы или литературный критик. Он слишком мало берет тех точек, ему сейчас не до академической дотошности. Он не просто занят — захвачен другим, сегодняшним, насущным: он отыскивает в книгах о войне идеи, годные и даже необходимые для жизни без войны, без человеческого взаимоистребления. Он находит их, в частности, сопоставляя романы Я. Брыля («Птицы и гнезда») и В. Семина («Нагрудный знак «ОСТ» и «Плотина») и выявляя то дорогое ему направление литературной мысли, по которому Я. Брыль «прошел первым», зато В. Семин «пошел дальше». Одна из особенностей этого направления в том, что война осознается героями романов как страшная ненормальность, внутри которой надо жить по ее законам, а они так жить не могут, что-то в них не дает усвоить невозбранность убийства и естественность ненависти... Говоря об этом, разумеется, нельзя отвлечься от того, что, к примеру, герой В. Семина не солдат в окопе, а подросток в немецком арбайтслангере. Он видит войну и фашизм как бы с заднего двора: стрельбы никакой, но стоит тяжелый, спертый дух ненависти, и этой заразой — дышать. На ненависть такого масштаба, такой интенсивности отвечают ненавистью, и семинский Сергей ждет не дожидается часа мести. Тот час настает, и тут-то и происходит с Сергеем нечто странное. Трижды (уже после освобождения) он пытается дать волю своей ненависти: ударить, убить, — но что-то ему мешает. Оказалось, что возмездие требует сил, которых у него нет:

«Это было открытием. Три года ненавистью клялись. Возмездие казалось не только желанным, облегчающим — обязательным. Без него не вернуть власти над собственной судьбой. Да что там! Дышать будет нельзя...

И вот не могу выстрелить».

Для А. Адамовича лучшее и принципиально важное объяснение этой невозможности выстрелить в словах В. Семина: «Утешаясь мыслями о мести, я совсем недавно думал, что убить и быть убитым — самое противоположное. Противоположное не бывает. А вот теперь чувствовал, что это чем-то похоже».

Сам А. Адамович в «Хатынской повести» связывал «тупое безразличие», схватившее юного партизана при отступлении, с тем, что он «недавно убил», и это играло «какую-то роль, упрощая все», и смерть самого героя тоже...

На войне побеждают, стреляя и убивая. Другого пути нет. Кто и что при этом переживает — вопрос лишний или в лучшем случае отложенный. На неопределенное время. Да и будь перед Сергеем открытый вооруженный враг, вряд ли бы рука семинского героя дрогнула... Все так, все верно, но в любом ракурсе преграда расправе над человеком, убийству, обнаруженная в себе Сергеем, сохраняет значение. Она не абсолютна, но существует, и за ней — старые и вечно новые «предрассудки» человечности. В этой связи А. Адамович цитирует Я. Брыля: «Я могу ошибаться много в чем, в жизни моей было немало ошибок, но одно я знаю твердо: выше всего и прежде всего — человечность».

Есть определенная традиция в понимании слов, когда под человечностью подразумевают слабость, сентиментальность. Проглядывающий за такой традицией культуры и бесцеремонности хорошо знаком как в историческом, так и в бытовом вариантах. Иногда как-то упускаем из виду, что именно человечность издавна была наряду с социальной справедливостью самой привлекательной чертой социалистического идеала. А. Адамович об этом помнит и из этого исходит. Он с гордостью говорит о том, что «ни у кого в мире нет сейчас столь мощной «военной» литературы и с таким антивоенным зарядом, как у нас». Для него нет сомнения, что историей будет отмечено, что на государственном уровне от имени нашей страны была выдвинута, заявлена идея о создании комитета авторитетных ученых Земли, которые бы донесли до сотен миллионов людей планеты правду о катастрофических последствиях атомной войны». Новые мирные инициативы нашей страны, по мысли А. Адамовича, — это отражение современного положения вещей: дело социализма совпадает с делом спасения человечества, с задачей едва ли не космического смысла.

Убивая другого, убиваешь себя, «убить и быть убитым... это чем-то похоже», повторяет А. Адамович, убийство есть противоестественное упрощение жизни, ее сведение к низшим, примитивным формам. Вероятно, он чувствует, что призыв «не убий человечество!» предстанет уязвимым, если не настаивать на исходном, начальном пункте: на убийстве самого убийства, и не одного лишь атомного, но и всякого иного. Читатель ведь может поинтересоваться: человечество — нельзя, а скольких можно? Скольких можно, чтобы человечество уцелело? И за вычетом какого числа

людей человечество вправе называть себя человечеством?

Как читательская, так и авторская постановка вопросов в этом случае носила бы чрезмерно отвлеченный, «теоретический» и даже в чем-то утопический характер, если бы... Если бы не действительная необходимость в решительной корректировке человеческого мышления, мировосприятия, этики. Перед нами, как писал Ю Карякин, «одна-единственная сухая и жестокая посылка, одно-единственное «дано» человеческого рода, вся жизнь стали практически — технически! — смертными. Это «дано» означает возникновение совершенно новых координат, ориентиров, критериев как мировоззрения, так и всей деятельности нашей»

Отвлеченности, кстати, не вредят, когда они не отвлечены от реального человека, от его коренных интересов, когда отвлекают его — хотя бы на время — от замкнутости на себе и своем, от обыденности, позволяя выглянуть за пределы обжитой сферы и поглядеть в ближайшую даль всех...

В книге А. Адамовича проделана умственная и нравственная работа, позволяющая сосредоточиться на том, от чего в повседневности чаще всего отталкиваемся, отстраняемся. А сосредоточенность такая, случись она в самом деле, — лучшее последствие проповеди. «Взорвется» же правда в сознании или же чья-то новая книга правдой! — это все-таки дальний результат. И результат не одной проповеди и не сколь угодно большого их числа, а всего давления, неумолимого напора жизни, ее новых драматических и трагических фактов, все более откровенно проступающей и нарастающей угрозы — каждому дому и каждому человеку...

А. Адамович верит, что народная мудрость «люди везде люди» не заблуждение неразвитого, «необученного» сознания, а догадка о главном. О том же самом, о чем говорит герою Я Брыля («Птицы и гнезда») посреди войны старая, добрая мать: «...весь мир — один дом».

Новое, чаемое мышление оказывается не таким уж и новым. Оно подготовлено народным опытом и опытом духовных исканий лучших умов человечества. Среди них Толстой и Достоевский, без чьей «поддержки» эта книга непредставима. Как непредставима и другая книга, посвященная той же теме и объединившая выступления многих писателей и критиков Белоруссии и России, — «Литература о войне и проблеме века» (Минск. 1986). Как непредста-

вимо вообще всякое действительное движение общественно-литературной мысли, ищущей истину.

Вспоминая юность, А. Адамович говорит о своем позднем открытии Достоевского. Всем кругом школьного и домашнего чтения предвоенные подростки не были приучены к его восприятию. Но еще существеннее другое: «Мы... уходили — от любой правды, которая не казалась привычно нашей». И от той, что не наша, и от той, что непривычно наша, не так легка, как привыкли... Что-то подобное случается и по сей день: непривычно наше, непонятое наше кажется не вполне нашим и даже не нашим, не стоит и вникать...

А. Адамович в какой-то мере занят и такой работой: обнаруживает в недрах «не вполне нашего» (толстовского и т. п.) именно наше, сегодняшнее, насущное, совпадающее с нравственными и социальными потребностями времени. Да и собственная мысль А. Адамовича может показаться кому-то непривычной. Не соответствующей ожиданиям. (Хотя если кто-то вздрагивает от слова «толстовство», то напрасно: идея «непротivления злу» в этой книге не соучаствует Иное и вообразить трудно, так как книга выросла прежде всего из опыта нашей военной прозы и, значит, из художественных картин и уроков не только духовного и нравственного, но и вооруженного сопротивления фашизму!)

В основу одной из глав книги — «Заглядывая в день грядущий» — положен доклад автора на республиканской научной конференции в Минске. Выступивший там Даниил Гранин не во всем согласился с докладчиком; мысль о «сверхлитературе» показалась ему излишне категорической. Д. Гранин сказал, что, «как бы там ни было, писатель должен делать то, что он может, и то, что он считает наиболее действенным: у одного это эпопея, у другого это рассказ, у третьего очерк» («Литература о войне и проблемы века», стр. 83). Но категоричность А. Адамовича, по моему, можно понять; она вообще не содержит в себе — откуда бы, на каком основании?! — ничего «насильственного», отрывающего писателей от их трудов. Вольному воля, каждый делает что может, и все-таки А. Адамович, должно быть, прав, исходя в своих призывах из острейшего чувства несоответствия многого совершающегося в литературе с тем, что совершалось и совершается в жизни. И с тем, что угрожает совершиться. Он не произносит слов «легкомыслие», «беспечность», он вообще никого не укоряет, но слова эти так

и витают неподалеку: того и гляди — понадобятся...

Мысль о «сверхлитературе», сосредоточенной на главной опасности века, справедлива, особенно с этической точки зрения, но в чем-то, наверное, и неполна. Художественное отражение этой апокалиптической опасности, борьбы с нею возможно только в контексте всего остального, среди чего и чем живут люди. Иначе ничего не понять и не предотвратить: все взаимосвязано, и, может быть, такое, казалось бы, далекое от центральной задачи высвобождение неиспользованной, словно бы невостребованной человеческой мысли и общественной инициативы есть важнейшая предпосылка к тому, чтобы ничего плохого с нами больше не случилось. С

нами, то есть со всей страной и со всем миром, со всем нашим общим домом.

Алесью Адамовичу хочется верить, что художественная литература, осознавшая «критическое состояние мира», способна противодействовать сползанию человечества к войне, «быть хотя бы тем камешком, который, положи кто-то вовремя, подложи под колесо, гляди что и попридержит, притормозит, даст возможность выиграть, может быть, решающую минуту». Ну, а «кислород человечности» она будет вырабатывать, пока жива.

Ничего важнее... Кажется, что осознать это просто. Но жизнь показывает, что и осознать нелегко, и еще труднее — с этим сознанием жить и сообразно с ним писать, работать, поступать.

* * *

Я держал в руках верстку своей статьи, когда стало известно о новом продлении нашей страной одностороннего моратория на ядерные испытания. Этот исторический акт подтверждает саму возможность и необходимость нового мышления, настойчиво приближает далекие и, хочется верить, неизбежные будущие дни мирового сообщества без войн и оружия.

Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева по советскому телевидению продиктовано «сознанием высокой ответственности за судьбы человечества». Оно еще раз напоминает, что «на карту поставлено само существование человеческого рода», что время требует «предельной мобилизации разума и здравого смысла».

Выбор, сделанный нашей страной, отвечает, думается, самым заветным человеческим представлениям о достойной и нравственной, подлинно социалистической государственной политике. Этот выбор противостоит неизжитой инерции «доядерного мышления», инерции «технологической самоуверенности» и «политической вседозволенности». Он исходит из того, что нет ничего важнее сбережения и продолжения жизни на нашей общей земле.

Возможность нового мышления становится на наших глазах реальностью нового мышления — другого пути в живое, а не мертвое будущее человечеству не оставлено.

Кострома.



ОЛЬГА ЧАЙКОВСКАЯ



ПИКОВЫЕ ДАМЫ

В который раз сопровождаем мы философа Хому Брута к проклятой церкви, где стоит гроб с телом панночки,— почему не остаемся у порога? Это бедному философу некуда деться, а мы-то ведь вполне можем захлопнуть книгу и не смотреть, как мертвая сядет в гробу. Невыносимо страшно, а оторваться нет сил.

И сама нечистая сила, как видно, тоже обладает какой-то притягательностью. Мефистофель с его плащом, шпагой и остроумием — мастер иронии; Демон с его могучими крыльями и великой тоской; Булгаковская нечисть с ее обаянием — когда Воланд, «не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита», сердце наше замерло от сознания, что больше мы их никогда не увидим. Мы забыли, что это нечистая сила, олицетворение зла. Между тем когда-то в воображении наших далеких предков зло неизменно являлось в облики гнусных бесов, грязных ведьм или чертом с длинным позорным хвостом (ведь это только потом, в XVIII—XIX веках, русалки приобрели свое лунное очарование, а в древности они были страшны, встречая путника ночью у воды, кривляясь перед ним, заставляя его до изнеможения, до смерти повторять их кривляния,— вот что такое были русалки).

Словом, если в древности зло пугало и вызывало отвращение, то позднее, особенно пройдя через мир романтиков, оно стало как бы чаровать и притягивать (и многие писатели пишут злодеев куда с большим успехом, чем людей добродетельных, и мы злодеям благодарны за развлечение: с добродетелью не развлечешься). Не станем, однако, вникать в глубины сложнодialeктического феномена сатаны и ломать голову над тем, что значит гётевское — а теперь и булгаковское — «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Достаточно нам констати-

ровать это наше любованье инферальностью, готовность вздрагивать от холодной жестокости демонических натур и поддаваться их обаянию.

Кстати, Достоевский, как бы возвращаясь к народному пониманию бесовства, восстал против его романтизации, и тот потертый господин в клетчатых панталонах, пошляк и циник, что повадился ходить к Ивану Карамазову, вызывает одно лишь отвращение — нечисть есть нечисть и привлекательной быть не может. Тракторку Достоевского подхватил Томас Манн в «Докторе Фаустусе» — черт, явившийся к Леверкюну, уже просто из породы подонков, сутенер в узких брючках, не лишенный, разумеется, софистических талантов, так сказать, интеллектуально изворотливая шпана (правда, уже с некоторым отсветом гестапо).

И все же темнокудрый красавец в могучих крыльях и потрепанному господничку, ни сутенеру в узких брючках места не уступил — потому что трагичен и окутан тайной.

Трагизм, тайна, по возможности роковая,— вот что неодолимо нас к себе влечет.

Ученые говорят, что это своего рода биологическая потребность — время от времени вздрагивать от страха; ведь и предкам нашим нравилось рассказывать друг другу сказки про нечисть, хотя они ее действительно очень боялись. А может быть, на заре человечества людей так напугала ночь с ее крадущимися тайнами, так привыкли они ждать беды, подозревать и трястись от страха, что уже не в силах расстаться с этой своей привычкой? Как бы то ни было, нам хочется получить свою порцию мороза по коже. А современность с ее детективами и литературой ужасов из кожи вон лезет, чтобы удовлетворить эту странную жажду, все больше ее при этом раздраживая и разжигая. Мы втянулись,

привыкли и, если в подобного рода произведениях не хватает нам положенной дозы озноба, испытываем некое подобие голодания.

Но вот что странно: нам мало ужасов, которые приходят с экрана или с книжных страниц, мы и в жизни ищем таинственного и зловещего. Между тем бесов, чертей и ведьм на свете больше нет, по-видимому, их-то место и заняли уголовные преступники, и особенно шпионы и диверсанты (может быть, шпиономанию, ту легкость, с какой она овладевает иными головами, тем и следует объяснить, что страх перед «шпиёнами» заполняет лауну, образовавшуюся ввиду исчезновения из нашего сознания нечистой силы?).

Этот коктейль, составленный из любопытства, подозрительности, а также надежды получить свою порцию страха,— смесь очень острая, едкая, она представляет собой немаловажный социально-психологический феномен. В уголовных делах он порой играет роковую роль — мне не раз приходилось видеть, в какую безысходную ловушку попадает тот, на кого пало подозрение: все наперебой и кто во что горазд начинают «вспоминать» — что они, конечно, давно уже замечали, по глазам было видно, и недаром преступник (уже «преступник»!) куда-то ездил, наверняка что-то ирртал... Это удивительно, какой малостью, какими нелепостями готова питаться подозрительность!

Каких только случаев тут не бывает: однажды в деревне погибла девочка, ее нашли в пруду ребятам, катавшимся на лодке,— надо ли говорить, как глубоко потрясена была деревня. И вот после поминок некая старушка, сильно подвыпившая, упала вдруг на могилу, причитая: «Прости меня, я молчу, хоть и знаю твоего убийцу». К ней приступили с жадными вопросами, однако в тот час она больше ничего сказать не могла, а утром, проспавшись, и вообще была в сильном смущении. Но слишком велик и непосилен ей был психологический нажим, она назвала пятнадцатилетнего Сашу, друга погибшей.— и вспыхнуло! Забегали бабоньки, застучали под окошками, каждая торопилась принести свои догадки и «вспоминания»; вести, умножаясь, уже лепились в снежный ком, всюю кативший по деревне. Одна из главных улик состояла в том, что Саша, увидав в воде мертвую, побледнел. Казалось, странно было бы обратное, да и кто из ребят, бывших в лодке, тогда не побледнел? — нет, возражали на это, Саша побледнел больше других. Но послушайте,

чьи глаза в ту страшную минуту могли наблюдать за Сашей, да и где та единица, какой можно было бы измерить степень бледности? Нет, никто не слушал доводов. Подозрение эпидемически охватило деревню, оказало несомненное влияние на следствие (явились десятки «свидетелей»), а в приговоре суда в качестве одной из улик торжественно приводилось то же самое «побледнел больше других» — это было написано в приговоре черным по белому! Иррациональность происходящего, ясная любому непредвзятому человеку, не была замечена взрослыми, ответственными, выдавшими виды людьми. А когда этот приговор, нелепый и несправедливый, был отменен и Саша оправдан, долго еще ворчала деревня, недовольная, не верила и не хотела верить, все бегали бабоньки, шептали друг другу, что судьи подкуплены.

Поразительны бывают примеры того, какую власть над нашим сознанием берет порою подозрительность. В моей статье «Из двух источников» («Новый мир», 1985, № 4) была затронута история гибели молодого и очень одаренного актера: его нашли с ножевой раной в груди, рядом валялся окровавленный кухонный нож. Подруга Стаса, известная актриса М. (это она, войдя в комнату, нашла его с ножевой раной в груди), узнав, что он мертв, пыталась покончить с собой, зарезаться тем же кухонным ножом, но нож этот вырвал у нее врач «скорой помощи». И по данным судебно-медицинской экспертизы и по обстоятельствам дела было ясно, что погибший мог (и психологически мог и физически) сам нанести себе удар. Следствие в полном соответствии с законом сочло актрису невиновной, но не так рассудили люди, принадлежащие в основном к театральной среде. Они взволнованно обсуждали событие (что естественно), кое-кто начал собственное расследование (что было уже лишним ввиду полной неподготовленности «следователей» к этому сложному делу), судили-рядили, множа кошмарные подробности, каких и в памяти не было; самоотравлялись выдумками, отравляли других, шептали несчастной матери (которой сначала подобная версия и в голову не приходила), что сын ее злодейски убит. Яростно требовали, чтобы уголовное дело было возбуждено.

Я разговариваю с молодым человеком, страстно (именно страстно!) убежденным в виновности актрисы. Он был ближайшим другом Стаса, его свидетельства очень важны, и потому я самым внимательным образом слушаю его доводы, пока дело не доходит до одного.

— Моя жена хохотала! — воскликнул он. — Просто хохотала, узнав, будто М. пыталась зарезаться.

Симуляция, мол. Однако жена его напрасно хохотала, да и сам он, данное уголовное дело основательно изучивший, знал и не мог не знать, что есть в нем показания врача «скорой помощи», который стоял рядом с актрисой и ясно видел, как она всадила в себя нож, слышал, как этот нож ударился о что-то твердое («Должно быть, о пуговицу», — добавил он), именно этот врач вырвал нож из ее рук, страшно их искровенив. Но сознание моего собеседника, целиком поработанное версией убийства, не хватывало, не замечало этих показаний, хотя даны они свидетелем надежным, объективным, ни в чем не заинтересованным. Все это было ему не важно, важно, что кто-то хохотал, отрицал, не верил.

О, подозрительность всюду рыскала вокруг этого дела, охотилась! Появлялись все новые «свидетели», только что не «очевидцы», каждому хотелось уличить «злодейку».

А что бывает — теперь мы уже переходим непосредственно к нашей теме, — когда подозрительность, любопытство, жажда таинственного и зловещего устремляются в прошлую жизнь и начинают там свой поиск? Ведь это все чувства энергичные, бесцеремонные, в живую жизнь, мы видели, они вторгаются с грубостью нестерпимой. Что же происходит, если их жертвой становится прошлое — легкое, невесомое и беспомощное?

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» — будто бы сказано в гётевском «Фаусте». На самом деле Гёте никак не стал бы делать подобную странность условием договора героя с дьяволом: представим себе, что время действительно остановилось в тот сладкий миг, когда Фауст заключил в объятия Гретхен, — интересно, что бы из этого вышло? А если говорить серьезно о вечно озлящемся душевном восторге, то и он, конечно, невозможен. Остановленное мгновение, пусть самое прекрасное, оно мертво. Слова, столь прочно засевшие в нашем сознании («Остановись, мгновенье!»), — результат ошибки переводчика, Гёте употребил здесь глагол *verweilen*, что означает длиться, медлить («продлится, постой» — у Холодковского, «повремени» — у Пастернака).

Зато прошлое, уж оно-то, казалось бы, сплошь состоит из остановившихся мгновений и, стало быть, мертво? На самом деле и тут мгновения длятся, а порою даже наливаются новой силой — все зависит, разумеется, от нашей памяти, где живет

эта прошлая жизнь. И тут возникает некое противоречие. Мы поэтизируем эту прошлую жизнь, мы как бы откатываем камеру нашего воображения, чтобы взять общий крупный план, где подробностей (и тем более грязных) не увидишь. А с другой стороны, любознательность наша требует именно подробностей, чем больше, тем лучше, а впереди почтенной любознательности поспешает малопочтенное любопытство.

В угоду им обоим, и любознательности и особенно любопытству, в литературе создан жанр, который нынче хочет утвердиться и даже обосноваться теоретически. По сути своей он являет собой странный гибрид, соединяющий принципы документалистики и беллетристики, — нам важно понять, возможно ли вообще подобное соединение.

Известно, какой разгул страстей — сенсации, детективные открытия! — происходит нынче в популярном литературоведении. Тут и Дантес, злодейски явившийся на дуэль в кольчуге, — странное предположение, справедливо высмеянное Ю. Лотманом («Новый мир», 1985, № 2); тут цари, подсылающие убийц к поэтам (заодно тут и царица, путающаяся с кавалергардами, с одним из которых собралась было даже прокатиться в Германию); и казак, который, сидя в кустах, стрелял в спину Лермонтову, — в этой дуэльной истории действительно есть какая-то тайна, странно молчание секундантов, но «приключенческий» казак выглядит кощунственно в тягостном ужасе лермонтовской дуэли.

На страницах «Литературной газеты» возникла полемика в связи с книгой Аллы Марченко «С подорожной по казенной надобности. Лермонтов». Я коснусь лишь некоторых эпизодов, не посягая на оценку всей работы.

В книге А. Марченко пушкинская и лермонтовская темы сливаются благодаря гипотезе, согласно которой поэты встречались (утверждение сенсационное для литературоведения!) Правда, Пушкин Лермонтова при этом не видел, но Лермонтов на балах за Пушкиным наблюдал, и, кстати, весьма недоброжелательным взглядом. Один из крупнейших лермонтоведов, Эмма Герштейн, выступила против этого открытия, показав, что оно не только не обосновано (ведь и предположение, и гипотеза, и догадка, чтобы отличаться от вольного домысла, должны быть, как известно, обоснованы), но и обосновано быть не может: Лермонтов не мог встречать на балах Пушкина, потому что еще не был тогда

принят в высшем свете. Да и невозможно было ему, человеку глубокому, глядеть на пушкинскую трагедию глазами светлого и враждебного Пушкину света. Возражая против других гипотез этой книги, Э. Герштейн еще не раз скажет: не мог. Не мог лермонтовский «Парус» выражать радость жениха, сбжавшего от невесты (ироническое изложение версии А. Марченко), у него куда более высокие задачи. Не мог лермонтовский «Маскарад» отражать семейную драму Пушкина: пьеса была окончена до того, как стало известно о женитьбе Дантеса, а Лермонтов опять же был далек от тех кругов, в которых вращался Пушкин, и семейных обстоятельств его знать не мог.

В том же номере «Литературной газеты» (от 25 декабря 1985 года) Эмме Герштейн отвечали М. Чудакова и Н. Охотин. В их выступлении и сделана попытка как бы теоретически обосновать тот жанр, который так расцвел в наши дни.

Автор назвал свою книгу романом в документах и письмах, и уже тут возникает оксюморонная двусмысленность: с одной стороны, объявлен жанр документалистики, и тем самым автор взял перед читателем обязательство быть исторически точным. С другой стороны, однако, это роман, плод воображения, значит, точность тут заведомо необязательна. М. Чудакова и Н. Охотин утверждают, и это с третьей стороны, что книга А. Марченко не роман и не исследование, «а, скорее, размышление литератора над обстоятельствами жизни поэта... Подзаголовок — всего лишь условное обозначение, расширяющее права в работе с историческим материалом, позволяющее делать сопоставления более неожиданные и выводы более произвольные, чем это принято в академических монографиях». Но в самом ли деле тот или иной подзаголовок может расширить права автора по отношению к историческому прошлому? И не следует ли, прежде чем размышлять над теми или иными событиями, сперва установить, были ли они в действительности.

М. Чудакова и Н. Охотин утверждают законность выводов книги. Лермонтов мог знать о пушкинской семейной драме (общие знакомые), а также мог смотреть на нее глазами самых разных людей, в том числе и глазами великосветского общества «Парус» «не только мог иметь одним из импульсов вполне бытовую ситуацию, но и выступить в личных обстоятельствах автора в функции «увертки жениха» — и далее в виде аргумента идет знаменитое

«когда б вы знали, из какого сора...». Но поэзия далеко не из всякого сора растет.

Этот спор «мог — не мог» точно отражает метод, свойственный всему названному жанру, — доказывать не факты, но их возможность или вероятность: если могло быть, значит, и было, почему бы нет? Особая функция достается тут слову «если». Пушкин и Лермонтов могли встречаться, а если это так... Далее следуют логические выводы из посылки. Но в дальнейшем, и притом очень скоро, сослательность бытия и автором и тем более читателем; скромное предположение преобразуется в прямое утверждение.

По мнению А. Марченко, лермонтовский «Маскарад» в его последней редакции отражает семейную драму Пушкина: как Звездич, влюбленный в Нину, для отвода глаз ухаживает за ее компаньонкой, так Дантес, влюбленный в Наталью Николаевну, ухаживает за ее сестрой. Но прием ширмы, должны мы возразить, один из самых банальных в «науке страсти нежной», вполне разработанной уже в XVIII веке, и как интрига лежит на поверхности. Да ведь и аналогии тут нет — в пьесе сама Нина предложила Звездичу этот прием, а в пушкинской истории, как хорошо известно, интрига с женитьбой Дантеса целиком построена руками Геккеренов. Но в том-то и дело, что, по утверждению А. Марченко, женитьбу на Екатерине Гончаровой, этот ловкий ход, предложила Дантесу сама Наталья Николаевна. На чем же основано предположение? На показаниях современника. И тут на сцену впервые выходит свидетель, который не раз предстанет перед нами в рамках данного жанра, можно сказать, в этом жанре основной, — это старик, очень старик старик.

А. Марченко ссылается на А. Трубецкого; ближайший и преданный друг Дантеса, его ревностный защитник, он ровно через пятьдесят лет после событий — через полвека! — сообщил, будто жена Пушкина сама подсказала Дантесу женитьбу на Екатерине, именно чтобы прикрыться сестрой как ширмой. Рассказ Трубецкого давно известен и давно отвергнут пушкинистами, к тому же старик «вспомнил» то, чему через пятьдесят лет после событий — через все-го, нечто подсказанное ему Дантесом, чья способность к низости нам сейчас достаточно известна. Это не мешает автору книги положить рассказ старика в основу своей гипотезы. Документалист не мог бы себе подобное позволить — иное дело автор «романа в документах». Судя по всему, М. Чудакова и Н. Охотин считают такую

концепцию и метод допустимыми в границах данного жанра.

Есть тут и еще одна сложность. Автор романа, как правило, всеведущ, знает мысли героев, внутренние мотивы их поступков; документалист должен все это отыскать и доказать. А. Марченко по-романному свободно читает мысли людей, живших когда-то, разгадывает их сердечные тайны. В альбомных записях Лермонтовых Мария Михайловна печально пишет о разлуке, Юрий Петрович — оптимистично о неразрывности уз. «Не связан ли этот оптимизм,— размышляет А. Марченко,— с заемным письмом на 25 тысяч ассигнациями, которое Юрий Петрович наконец выцарапал у тещи...» По мнению автора, юная Мария Михайловна в своем желании выйти за Юрия Петровича вполне могла поставить матери ультиматум (в былинной форме): «Или дать-подать друга сердечного Юрия свет Петровича, или пузырек с ядом!»

Но жанр коварен. В произвольное «романное» изложение вставлены подлинные документы, отрывки из писем и мемуаров; таким образом, у читателя складывается впечатление, будто и для всего остального автор располагает какими-то документальными обоснованиями. Из коварства жанра растет коварство метода. Давно замечена и давно уже вызывала улыбку, например, чисто женская неприязнь иных женщин-исследовательниц к Н. Н. Пушкиной. Такую неприязнь к жене поэта А. Марченко приписала самому Лермонтову, который был будто бы убежден, что «Наталья Николаевна, при всей ее модно-романтической красоте, не стоит того, чтобы из-за нее страдал и погиб Пушкин. Сам Пушкин. Даже страсти Дантеса — и той не стоит». Вот, оказывается, какие мысли занимали Лермонтова. Это о жене, а вот о самом Пушкине. «В знаменитом стихотворении «Смерть Поэта»,— пишет А. Марченко,— Лермонтов сравнивает 37-летнего Пушкина с 18-летним Владимиром Ленским — «неведомым», но «милым» певцом. Странность этой параллели...»

Но параллель ничуть не странна, она естественна. Когда Пушкин погиб на дуэли, многим вспоминалась гибель Ленского, и вряд ли кто-нибудь мог в те дни равнодушно читать: «Дохла буря, цвет прекрасный увял на утренней заре, потух огонь на алтаре!..»

Не на заре, возражает А. Марченко, вот в том-то и дело, что именно не на заре! «Странность этой параллели, на мой взгляд, объяснима лишь в одном случае (разрядка моя.— О. Ч.) — если

допустить, что Лермонтов, наблюдая Пушкина в самой невыигрышной для того роли (светского человека с небольшим состоянием, огромными расходами, немолодого и некрасивого мужа слишком юной и красивой жены), понимал, какие муки приносит тому «глухая ревность»; если допустить, что автор «энергической оды» своими глазами видел, как, ревнуя, поэт терял не только ум, но и выдержку, и достоинство, забывая, что он — не «неведомый певец», как юный герой его романа, а гений». Это что же — в минуты скорби, гнева и вдохновения Лермонтов вспомнил, что Пушкин был немолод, некрасив, с небольшим состоянием? Попрекнул его, тридцатисемилетнего, его возрастом, намекнул на неумение поэта держать себя в обществе? Считал, что Пушкин «терял не только ум, но и выдержку, и достоинство»?

Если б — ну вдруг! — подобные мысли Лермонтова были бы доказаны (допустим, его собственным письмом), это стало бы потрясением для нас и шоком для лермонтоведов, и тогда уже делать было бы нечего. Но зачем нам подобные плоды воображения?

Да и не по возрастной графе, о господи, сравнивал Лермонтов двух поэтов, а по ведомству смерти!

Я понимаю: лафос выступления М. Чудаковой и Н. Охотина направлен против атмосферы восхвалений, которая воцарилась в биографическом жанре, умиленной, едва ли не житийной — это действительно тема важная, актуальная, требующая особого разговора. Но М. Чудакова и Н. Охотин напрасно сетуют на то, что всякое предположение, выдвигаемое в биографическом жанре, сразу оказывается под прицелом оппонентов, — иначе и быть не может: новая гипотеза (а охотников до них стало много, раздразили нынче беса гипотезы) должна пройти проверку со стороны специалистов. А как же иначе? Письма, мемуары, дневники — все они, как известно, свидетели субъективные и требуют профессиональной проверки. А сейчас для иных мастеров этого жанра хватает и того, что нужный им факт мелькнул в документах эпохи, пусть единожды, пусть «с подачи» человека малонадежного — не важно, его уже как достоверный вводят в литературный оборот.

Таковы, с моей точки зрения, черты названного жанра. Есть у него и еще одно свойство: он тяготеет к детективу.

Но литературоведческому детективу простая жизнь прошлого, без соли и перца,

кажется пресноватой, раскрывать ее простодушные тайны (подчас столь дорогие историку) он не собирается, ему, как и всякому детективу, нужны загадки, в глубине которых по возможности светилось бы какое-нибудь преступление, чтобы кто-то кого-то отравил или хотя бы подменил какого-нибудь знаменитого младенца. Этот жанр, еще не так давно радовавший нас и развлекавший, теперь все больше начинает раздражать, тем более что все приемы его уже наперечет. «Роль жертвы, как правило, отводится какому-либо писателю (например, «Тайна гибели писателя N» или «Кто убил писателя N?») или литературному произведению («Загадка таинственной рукописи»). Роль убийцы отводится друзьям, жене или вышшему свету. Незадачливые следователи — все предшествующие авторы, занимавшиеся этим вопросом, а обнаруживающий преступление или раскрывающий тайну детектив — сам автор статьи» — так пишет Юрий Лотман в статье, на которую я ссылаюсь выше. Недаром другую свою работу — рецензию на книгу Стеллы Абрамович в журнале «Таллин» — этот литературовед назвал «Дуэль Пушкина без тайн и загадок» (кстати, книга С. Абрамович «Пушкин в 1836 году», написанная благородным пером истинного пушкиниста и содержащая строго отобранный и проверенный материал, как бы стала поперек потока сенсационных домыслов о преддуэльной истории, но боюсь, что даже и она не сможет сдержать этот поток).

Прав Ю. Лотман, когда говорит об опасности, таящейся в самом жанре. «Удобренный жертве писатель фатально оказывается на втором плане: он интересен не тем, что он сделал, а тем, что с ним сделали. На первое же место выдвигается сам автор-детектив». Исчезает психологизм изложения, глубина анализа, искажается сущность происходящего.

Но еще хуже, когда на первый план выходит простое злословие. Между прочим, оно особенно ядовито, когда речь заходит о женах великих людей.

Всю жизнь по самую смерть (и после смерти) тащилась клевета за О. Л. Книппер-Чеховой, а между тем легенда о злодейке жене, которая бросила больного Чехова одного в Ялте (он звал ее, а она не ехала), рассыпается в прах, стоит взять в руки их переписку. Книппер-жена — женщина трагическая. Она мечется между двумя любовями — к Чехову и к Художественному театру, душа ее обожжена сознанием вины («я плохая жена» — это лейт-

мотив ее писем; «...ненаглядный мой! И на душе у меня смутно и нехорошо за тебя. Боже мой, как я глубоко виновата перед тобой! Я так нежно понимаю тебя и поступаю как дворник»). Временами она готова бросить сцену и переселиться в Ялту, иного выхода она не видит — Чехов ее останавливает. Дело не только в том, что он (наверное, один из самых замкнутых людей на свете) еще не так давно мечтал о жене, «которая, как луна», являлась бы на его небе «не каждый день». Теперь, когда появилась реальная любимая жена, он этого, наверно, уже и не хочет; но он понимает: если оторвать такую актрису от такого театра, ничего хорошего из этого ни для кого не получится. «Если мы теперь не вместе, — пишет он, — то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня баццлл, а в тебя любовь к искусству» Ольга Леонардовна пишет мужу почти каждый день (и после смерти его будет ему писать!); она завалена работой, дни ее загружены доверху, кругом нее шумное многолюдство, она валится с ног от усталости — и пишет ему по ночам; и сходит с ума, если его письмо задержалось. Переписка этих двоих говорит об их глубокой любви, ясно говорит, но клевета тянет свое. И уже совершенную растерянность вызывает тот факт (о нем сказано в предисловии В. Я. Виленикина к книге о Книппер-Чеховой), что даже ужасный вагон из-под устриц, в котором привезли гроб, и тот был кем-то приписан злой воле Ольги Леонардовны!

Именно Пушкин сказал о «безнравственности нашего любопытства». «Мы не довольствовались видеть людей известных в колпаке и в шлафроке, мы захотели последовать за ними в их спальню и далее», — писал он, не подозревая, что это его собственная спальня станет предметом внимания. Не хочется задерживаться на подобном рода «концепциях» (и боязно стать невольным их распространителем — ведь альковная тема легко оседает в памяти, и, если она угнездится, ее трудно оттуда вытравить), но как быть, если они выпущены в мир многотысячными тиражами? Мифическая связь Пушкина с Долли Фикельмон (легенда основана на рассказе П. В. Нащокина в 50-х годах о связи Пушкина с некой знатной дамой, имя Долли было подставлено позднее, а женатому Пушкину эта связь приписана уже в наши дни); столь же мифический роман, будто бы связывавший Пушкина с его свояченицей Александрой Николаевной. Когда-то она была объявлена добрым гением поэта,

а семейная жизнь его уложена в схему: пока ветреная Натали плясала по балам, добродетельная, серьезная и преданная Александра вела хозяйство и воспитывала детей — версия состарившихся Вяземских. Вновь найденные документы ясно говорят, что Вяземские не правы (да это видно и по письмам самого Пушкина), что хозяйство, и очень непростое, вела как раз сама Наталья Николаевна. Александра Николаевна в своих письмах донельзя полна собой, поглощена светом (никаких забот о доме, никаких тревог о детях) К тому же известно, что она была влюблена в А. Роскета, трагически влюблена (брак их оказался невозможным), именно этой трагедией занято ее сердце. Откуда же тогда взялась легенда о ее связи с Пушкиным?

Представьте, опять встает из гроба тень старика Грубецкого, снова его дребезжащий голос: «Вскоре после брака Пушкин сошелся с Alexandrine и жил с нею. Факт этот не подлежит сомнению Alexandrine сознавалась в этом г-же Полетике». Полетика — предательница и интриганка, смертельный враг поэта (уже старухой узнав, что ему в Одессе ставят памятник, она собиралась приехать и плюнуть на него), это она пригласила Наталью Николаевну к себе в гости, а когда та приехала, в квартире вместо хозяйки оказался Дантес (дорого обошлась семье Пушкиных эта ловушка). Таков источник информации!

Есть и еще один: Арапова, дочь Натальи Николаевны от второго брака, женщина, известная открытой неприязнью к Пушкину; если верить ей, она слышала о связи поэта с Александрой Николаевной от старой няни. Да еще княгиня Вера Федоровна Вяземская, друг Пушкина, и очень близкий, рассказала в старости П. И. Бартеневу, что Пушкин, умирая, просил ее передать Александрина какую-то цепочку, и та, принимая «загробный подарок, вся вспыхнула, что и возбудило в княгине подозрение. Кто знает, почему вспыхнула она, тем паче что подарок был «загробным».

Арапова недаром поддержала эту сплетню: мотив пушкинской измены придавал совсем иной характер всей преддуэльной истории — если Наталья Николаевна была так оскорблена, если родной муж и родная сестра... Легко понять расчет Араповой, в какой-то мере, наверное, можно понять (но не простить, конечно) и ее самое, всю жизнь терзаемую клеветой следовавшей за ее матерью. Можно ее понять, но нам-то зачем идти по ее следам?

Между тем в книге Н. А. Раевского «Портреты заговорили» легенда расцвела

пышным цветом, раскрашена бесчисленными вымыслами, полна намеков и многозначительных многоочий. Автор склонен думать, что «по некоторым сведениям» (каким?) и «по всему судя» (по чему?) Пушкин «совершенно потерял власть над женой», что Наталья Николаевна «знала о романе, который разыгрывался в ее доме», а если так, значит, «в ее руках была карта против которой поэт был бессильен».

Но как мог автор, да еще не располагая никакими доказательствами, вторгаться в пушкинский семейный мир и предполагать там крупную игру, в которой у Натальи Николаевны (на самом деле человека застенчивого и мягкого) были козыри на руках? Как он осмелился? Да просто он поверил — поверил старой няне, старому Грубецкому, поверил именно потому, что раскрывалась гайна и была она роковой.

Невозможно! Невозможно все это читать — ни с точки зрения профессиональной (обращение с источником), ни с точки зрения здравого смысла и простой справедливости. Подобные обвинения по отношению к Пушкину вообще обнаруживают совершенное непонимание его самоощущения и жизни в 30-х годах. Как далек внутренний мир поэта от всего этого базара! С глубокой серьезностью готовился он к семейной жизни — вспомним болдинскую осень, пору прощания с прошлым, с большой, неведомой нам любовью: «Бегут меняя наши лета, меняя все, меняя нас, уж ты для своего поэта могильным сумраком одета, и для тебя твой друг угас. Прими же, дальная подруга, прощанье сердца моего, как овдовевшая супруга, как друг, обнявший молча друга пред заточением его». Здесь не только горечь прощания, но и высокое сознание долга, ответственности перед будущим, которую он ныне на себя берет. Пушкин и семейный очаг — это особая тема, достойная исследования, но уже и сейчас нетрудно показать, с какой любовью поэт, у которого в детстве родного дома не было (см. Ю. Лотман, «Биография Пушкина»), строил свой Дом; как его берег, с какой нравственной высотой и точностью решал жизненные задачи (нужно было обладать редким тактом, благородством и бескорыстием, чтобы покоришь такую дику, корыстную — и не всегда трезвую — барыню какой была его теща, а он ее покорила, она собственноручно это засвидетельствовала!). Добро бы нам доказали, что Пушкина и Александру Николаевну связывала непреодолимая любовь, так ведь и того нет. Нам просто предлагают

поверить, будто Пушкин, влюбленный в жену, и Александра Николаевна, влюбленная в Россета, под одной кровлей с Натальей Николаевной, которая так любила сестру...

Послушайте, давайте хотя бы на время помолчим о Пушкине и его семейной жизни. Давайте! Успокоимся, забудем беллетристический галдеж, отдохнем; а потом возьмем том его стихов, или прозы, или писем и читаем не вслух, про себя.

Сколько ошибок, и каких грубых! Происходят они, я думаю, потому, что семью Пушкиных или Чеховых, людей интеллигентных, рассматривают не только глазами холодного любопытства, но и, мягко говоря, с невыверенных этических позиций.

Н. А. Раевскому очень хотелось бы, например, доказать, что между Натальей Николаевной и Дантесом была любовная связь, и так он на это намекает и эдак и завершает наконец: «Подозрение в нарушении супружеской верности с Натальей Николаевны вряд ли может быть снято, но доказательств нет». Какова логика!

«В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон-В*** Она была вся в белом и сказала мне: „Здравствуйте, господин советник!“ — эпиграф Пушкина к одной из глав «Пиковой дамы». Когда-то, говорят, сцену казармы в опере Чайковского — очевидно, с намерением подчеркнуть, что приход графини был галлюцинацией и что на самом деле покойница из гроба не вставала, — изобразили таким образом, что старухи являлись к Герману отовсюду, прыгали с потолка и изо всех углов. Мне трудно отрешиться от впечатления, что и в жанре «документальной беллетристики» пошли прыгать старые «пиковые дамы» и ветхие «пиковые дедушки» — каждый в надежде открыть свою заветную тайну.

Как они надоели, честно говоря, эти тайны, как не хочется их повторять (и опять же трудно отказаться от тревоги, что самое повторение небезвредно и может невольно повлиять на воображение читателя), но тема «литературного детектива» далеко еще нами не исчерпана. Он энергичен, и не устаешь удивляться смелости авторов, которые, ничуть не затрудняясь, говорят за гения, читают мысли гения. Им и в голову не приходит, что во все времена гений был и будет тайной за семью печатями (мыслящая материя — это вообще, согласитесь, чудо, а материя, которая может сочинить «Моцарта и Сальери»...). Нам неведома природа гениальности, мы даже не можем дать ей определения, мы просто ее узнаем — так на заре, когда разливается

рассветная полоса, все сильнее, все ярче раскаляясь, кажется, что солнце уже взошло. но вдруг! — вдруг брызнет точка, живой огонь небывалой плавки, и тут уже нет сомнений: вот оно, солнце.

Как проникнуть во внутренний мир творческого гения? Даже если послушать, что сам он о себе говорит, мало что поймешь. Мы хорошо помним пушкинское «Пока не требует поэта...»: малодушие, суетность, ничтожность — вот чем может быть поэт, пока не наступила минута вдохновения. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел». Зажигается свет и гаснет, просыпается и засыпает нравственное чувство — некое пульсирующее преобразование. Поэтический образ нельзя, конечно, догматизировать до непреложной истины — перед нами всего лишь одна из возможных сторон феномена гениальности, но все же вряд ли следует соглашаться с подобным разделением личности художника как бы на две разные и даже противоположные сущности (а оно с легкой пушкинской руки в нашем сознании утвердилось — и даже, боюсь, взято на вооружение теми творцами, которых Аполлон никогда в жизни ни к чему не призывал). На самом деле гений, конечно, высок не только в минуту творчества, чудо его свечения пронизывает всю его жизнь — Пушкин первый тому доказательство.

Да и процесс вдохновения, процесс самого творчества таинствен, никому не доступен, сами великие творцы не раз любопытствовали и пробовали понять, что это такое. Интересна в этом отношении «Лотта в Веймаре» Томаса Манна, роман, где изображен приезд в Веймар Шарлотты Кестнер, знаменитой Лотты, теперь уже пожилой дамы, а некогда прелестной девушки, в которую был отчаянно влюблен молодой Гёте, из-за которой застрелился вымышленный им Вертер. Весь город знает, что «та самая Лотта» приехала, чтобы повидаться с великим поэтом, тоже уже немолодым и весьма сановным.

Она и сейчас еще очень мила, Шарлотта Кестнер, только голова ее уже чуть-чуть трясется. Она умна и с тревогой ждет этого свидания: уместно ли оно, не будет ли бестактным это напоминание о чувствах былых времен? Вместе с тем ей очень бы хотелось пришить к платью бант, некогда украшавший ее туалет, многозначительный бант, поскольку второй такой же бант взят на память молодым Гёте, — не станет ли он стократ бестактен, этот выплывший бант? Но оказалось, что все ее беспокой-

ства напрасны: Гёте все позабыл! И свою любовь к Лотте, и тем более бант. Визит оказался тягостным. Правда, поэт предоставил Лотте свою ложу в театре, но сам ее туда сопровождать не стал. И вот, возвращаясь со спектакля, она вдруг замечает, что в карете не одна: закутанный в плащ Гёте (даже не очень понятно, реальный ли) сидит рядом с ней; он пришел объясниться, даже просить прощения (оказалось, кстати, что он все заметил — и выцветший бант, и что чуть-чуть трясется голова). Вот тут-то он и говорит с ней о тайне «великого единства мира, жизни, личности и творчества».

«Ты прибегла к сравнению, мне милому и близкому: мошка и смертоносное пламя,— говорит он ей в ответ на упрек, что он привык быть центром всеобщего притяжения.— Ты хочешь сказать — я то, куда жадно стремился мотылек, но разве среди превратностей и перемен я не остался горщей свечой, которая жертвует своим телом для того, чтобы горело пламя?» Вот образ художника-творца!

Он живет по своим особым законам, да иначе и быть не может. Это повседневность сбивает нас с толку: гениальный человек так же ест-пьет, как мы, получает деньги, занят бытом, ссорится и мирится, но все это только внешняя оболочка, по которой и обыкновенного человека судить нелегко, а гения невозможно. Он трудно живет, это известно. Каков бы он ни был, светлый или сумрачный, уравновешенный и цельный или тревожный, болезненный, с разорванной душой, при всех условиях он тончайший инструмент постижения жизни и переложения ее материала в форму искусства. Каково-то приходится самому инструменту? Легко ли гореть свече? А знаменитые муки творчества? Что мы знаем о них — счастье это или несчастье? Недомогание? Недуг? Томас Манн сравнивал их с теми режущими болями, какими давался каждый шаг бедной андерсеновской Русалочке, возжелавшей сменить на человеческие ноги свой рыбий хвост. У каждого гения творческое состояние протекает по-разному, но стоит вспомнить блоковского «Художника», чтобы понять, насколько может быть труден самый этот процесс — наблюдения, ожидания, даже некой мучительной охоты, которая заканчивается едва ли не убийством: «И замыкаю я в клетку холодную легкую, добрую птицу свободную, птицу, хотевшую смерть унести, птицу, летевшую душу спасти».

Это все муки творчества, а каково приходится художнику, когда «молчит его свя-

тая мира» и подбирается, подползает страх, что она больше уже не заговорит!

Нет, личность гения нам вполне понятной быть не может, а значит, и его способ жизни, самая его биография не может нам до конца раскрыться. Ну а если он к тому же запретил вторгаться в свою жизнь, если сам сознательно ее зашифровал? Нужно ли искать «утаенную любовь» Пушкина, раз уж он ее утаил? Докапываться, какими в действительности были отношения между Чеховым и Авиловой, если о них нет ничего даже в чеховских письмах?

Я понимаю, разумеется, сложность вопроса: далеко не праздное любопытство побуждает нас многое знать о великих (да и неизвестно, где ставить пограничный столб между праздным любопытством и непраздной любознательностью, всегда ли они разделимы?). Разве не бестактно, не бессовестно было раскрывать особый стенографический шифр потайного дневника Достоевской, если сама Анна Григорьевна это строго запретила? Зато сколько же дал нам этот дневник для понимания внутреннего мира великого писателя! Но само это «зато» — законно ли оно? Окупается ли?

Да, конечно, сложный вопрос, и очень, но его надо понимать как сложность, как задачу, решение которой требует такта.

Гениальный художник требует особой осторожности. Хватит с него и того, сколько настрадался он при жизни от бесперемонных и наглых вторжений. Чего стояла Пушкину великосветская сплетня, как отчаянно боролся он с ней в последние месяцы своей жизни! Да, в конце концов, уже сама пристальность, неотступность чужого взгляда, от которого знаменитый человек не может избавиться, тоже ведь мучительна. «...стоит мне подумать,— писал Чайковский Н. Ф. фон Мекк,— что параллельно с увеличением моей авторской известности увеличивается и интерес к моей личности в приватном смысле, что я на виду у публики, что найдутся всегда праздные любопытствующие люди, готовые приподнять завесу, которой я старанься заслонить свою интимную жизнь,— и меня тотчас берет тоска, отвращение и желание даже замолчать навсегда или надолго, чтобы меня оставили в покое». Отметим эти слова: великий музыкант готов замолчать, лишь бы никто не вмешивался в его внутренний мир.

Если бы он знал...

Когда умер П. И. Чайковский — рано утром 25 октября (6 ноября) 1893 года, в расцвете сил, на подъеме творческой энер-

гии, переполненный надеждами и планами, неожиданно, от холеры,— именно потому, конечно, что так неожиданно обрушилась эта смерть, сразу же у гроба стали виться слухи. Почему в квартире Модеста Ильича, брата, где болел и умер композитор, не было принято никаких мер, необходимых, если тут действительно лежал холерный больной? Почему в квартиру пускали всех и во время болезни и на панихиду? «Как странно то,— писал в своих воспоминаниях Н. А. Римский-Корсаков,— что хотя смерть последовала от холеры, но доступ на панихиды был свободный».

Да полно, от холеры ли произошла эта смерть? К тому же в Петербурге она к октябрю уже кончилась. Петр Ильич был единственным умершим от нее в тот день.

Ввиду всех этих слухов выступили в печати врачи, лечившие больного, его брат Модест Ильич и другие родственники. Сведения, сообщенные ими, не во всем совпадали, и это дало пищу новым сомнениям. Впрочем, все эти толки со временем утихли, лишь изредка получая новый импульс. Так, в 1949 году «Литературная газета» получила письмо от некоей женщины которая сообщала, «что Чайковский был убит. Вот эту историю еще одного позорного преступления царского правительства я могла бы рассказать со всеми подробностями». Точное, кстати, воспроизведение схемы, о которой говорил Ю. Лотман (великий человек представлен жертвой, а злодеями жена, друзья или высший свет). В данном случае роль злодея досталась и другу и самому высшему свету: лечащий врач Чайковского и его друг В. Бертенсон по приказанию царя регулярно подсыпал композитору яд; кошмарная эта история пришла к автору письма в виде семейного предания, согласно которому Бертенсон, терзаемый муками совести, признался в своем преступлении за рюмкой вина. Этот анекдотический эпизод вряд ли заслуживал внимания, но одновременно с письмом (и не в связи ли с ним?) прошла новая волна слухов, передавали даже, что обнаружены какие-то «проливающие свет» документы.

Все это были то летучие, то ползучие слухи, музыковеды (в отличие от литературоведов) ими не соблазнились, как и вообще сенсационно-биографическим жанром. Да и сама музыка великого композитора, как видно, сумела за себя постоять (тем более что музыка в мире звучит куда чаще и куда громче, чем стихи и проза), быть может, это она и смывала грязную пену ослетен.

Но вот сравнительно не так давно анг-

лийский журнал «Music and letters» опубликовал большую статью А. Орловой «Последняя глава», где все особенности указанного жанра, в том числе и метод работы с источником, доведены уже до предела. Автор статьи утверждает, что не могла опубликоваться в Советском Союзе (она выехала из СССР и живет теперь в США), поскольку в основе ее версии лежит проблема секса, а эта проблема у нас находится под запретом. Действительно, наши писатели биографического жанра, как правило, не склонны следовать за знаменитой личностью «в спальню и далее», и совсем не потому, что сфера секса не столь уж существенна для человеческой жизни.

Основания тут другие: есть область интимного, куда посторонним вход должен быть решительно заказан. У каждого человека, знаменит он или не знаменит, жив или давно похоронен, есть права на глубоко личное и неприкосновенное. А. Орлова так не думает, она полагает, что, затронув секс, нельзя разгадать «тайну этой смерти». Она ошибается: на сексе построена всего-навсего ее версия.

С опровержением статьи Орловой выступили двое: К. Ю. Давыдова, внучатая племянница Чайковского, крупный знаток его творчества и биографии, многие годы заведовавшая архивом Клинского музея, и Н. О. Блинов, доктор наук, человек, тесно и давними узами связанный с музеем и семьей Чайковских,— его побудили к исследованию преданность памяти композитора. Эти авторы изучили целые пласты источников — от дневников до газетных заметок, я пользуюсь их работой (к сожалению, еще не опубликованной), ее доводами и выводами, разумеется, с их согласия.

А. Орлова сомневается в версии холеры — с этого и начинает она свои аргументы. К тому времени, когда умер Чайковский повторяет «она уже нам известно, холера в Петербурге кончилась. Неправда, отвечают исследователи и приводят ряд убедительных доказательств: город до конца года был заражен свирепой формой этой болезни. Никаких предосторожностей в связи с холерой в квартире Модеста Ильича, продолжает Орлова, принято не было, доступ сюда был свободен, гроб открыт.

...В неприятный разговор втянула нас с вами» А. Орлова, не дело это — заглядывать в гробы. Мы недаром прячем смерть в землю, в огне, недаром украшаем ее цветами и прекрасной музыкой Шопена — это разумно и нравственно. А тут нас вынуждают говорить о простынях, пропитанных сулемой, о шипящих пульверизаторах с

дезинфицирующими средствами, о карболке, которой то и дело протирали мертвое лицо,— но все это было. все засвидетельствовано источниками. Кстати, в те времена холера в отличие от чумы не считалась такой уж заразной — статьи и книги ведущих русских врачей и микробиологов тех лет доказывают это; таким образом, врачи, допустившие к больному несколько родственников и друзей, медицинских предписаний той поры не нарушили. Но всевозможные меры предосторожности в квартире были приняты, и свободного допуска сюда, разумеется, быть не могло — на дверях вывешивались бюллетени о здоровье.

Особые нападки А. Орловой вызвало свидетельство родных Чайковского о том, что накануне болезни он выпил стакан сырой воды в ресторане Лейнера — мыслимое ли это дело, чтобы в перворазрядном ресторане Петербурга холерной порой посетителю могли подать сырую воду! Мыслимо, и вполне, отвечают исследователи, — газета «Сын отечества», например, писала 6 ноября, что после трагической смерти Чайковского санитарная комиссия провела специальное расследование и установила, что везде в заведениях ресторанного типа кипяченая вода разбавлялась сырой и в таком виде подавалась посетителям (кстати, в невской воде тогда был найден холерный вибрион). Любопытно, что владелец ресторана, который обязательно должен был бы протестовать, если бы подобного эпизода не было (репутация под угрозой!), его не оспаривал, не протестовал.

Изучаемый нами жанр очень любит строить оvoid гипотезы на расхождении в свидетельствах современников, подозревая их в коварных умолчаниях и злостной лжи. Но ведь люди, это общеизвестно, не могут все разом одинаково воспринимать, одинаково запоминать и одинаково воспроизводить, даже если в то время, когда произошло событие, они были совершенно спокойны и уравновешены. А. Орлова пытается уличить в противоречиях (вернее, в намеренной лжи) людей, которые были возле Чайковского в его предсмертные дни, — одни из них говорят, что в такой-то день наступило улучшение и вопыхнула надежда, в то время как, по свидетельству других, не было ни улучшения, ни надежды. Но что могли они точно запомнить, все эти люди, собравшиеся вокруг умирающего, боровшиеся за него, пытавшиеся облегчить его неслыханные страдания? Можно ли удивляться, что для них путались не только часы, но дни и ночи. Да и по-разному жили они все это время: Модест

Ильич метался между отчаянием и надеждой, а врачи (друзья дома, очень добросовестные и опытные специалисты) все яснее сознавали, что спасти не удастся. Врачу агония показалась недолгой и не такой уж мучительной, а певец Фигнер пишет, что часы ее были «поистине ужасны», — их ли уличать в противоречиях?

Примись А. Орлова, вместо того чтобы громоздить «сомнения» и «неразрешимые загадки», за конкретное исследование (как это сделали Давыдова и Блинов), все то, что в последних днях Чайковского казалось таким таинственным и противоречивым, весь этот зловещий туман тотчас бы рассеялся. Но она ничего исследовать не стала, а предпочла объявить свидетельства очевидцев лживыми, обстоятельства — загадочными, противоречия — неустраимыми. Без этого ее версия была бы невозможна. Да, говорит она, врачи Чайковского тогда же выступили в печати по поводу его болезни, но один из них, Василий Бертенсон, позднее добавил и еще кое-что. В конце своей жизни (он умер в 1933 году) он рассказал музыковеду Григорию Орлову, который в консерватории дружил с его сыном Николаем, что Чайковский отравился... Этой тайной Г. Орлов поделился с женой — той самой А. Орловой, автором статьи.

Казалось бы, получив подобную информацию от мужа, А. Орлова должна была бы, прежде чем сделать ее достоянием гласности, как-то ее обосновать, но автор статьи не утруждает себя аргументами и напрямую переходит к вопросу «почему?». Факт самоубийства у нее почему-то сомнений не вызывает. «Что заставило Чайковского так поступить?» — вот единственное, что ее заботит.

И вот теперь у нас полная возможность проследить, каким образом сколачивается версия, когда это очень нужно.

Сперва необходимо было найти день, хотя бы один день, о котором не было бы ничего известно музыковедам, — это само по себе было нелегкой задачей: последние дни Чайковского, естественно, исследованы со всевозможной тщательностью, известно, с кем он встречался, кто к нему заходил, к кому заходил он, какие посетил спектакли и концерты. Пустого дня не нашлось, нашлось полдня 19 октября, когда Петр Ильич вечером слушал оперу А. Рубинштейна «Маккавей», а что он делал утром, осталось неизвестно. Сюда, на этот день, направила А. Орлова свое увеличительное стекло, и день запыхал! Ничем не примечательный, он теперь пылал нужным зловещим огнем. «Этот день не упоминается

ни в документах, ни в воспоминаниях», — пишет Орлова, и у взволнованного читателя, которого остальные утра и дни композитора, ускользнувшие от исследователей, не интересуют, разом возникает подозрение: уж не заговор ли тут молчания? Работа воображения поощрена, и, значит, самая пора появиться «пиковой даме», которая жаждала бы перед смертью открыть кому-нибудь свои три карты. На этот раз перед нами, как уже было, выступает «пиковый дед» — бывший хранитель отдела нумизматики Русского музея в Ленинграде А. Войтов (он учился в училище правоведения, которое когда-то кончал и Чайковский). А. Орлова пришла к нему, по ее словам, за несколько месяцев до его смерти (в 1966 году) и сказала... Но предоставим слово ей самой: «Я сказала ему, что у меня есть неопровержимые доказательства самоубийства Чайковского, что я изучила все события его последних дней и часов, но для окончательного доказательства мне необходимо установить, где он был и что делал в один из последних дней перед самоубийством. Здесь Войтов прервал меня и сказал: „Я думаю, что смогу вам помочь“».

Мы не можем не заметить, что Орлова старика обманула: никаких неопровержимых доказательств в ее распоряжении не было (а события последних дней и часов Чайковского изучили до нее); обманула она Войтова также и своей интонацией: все, мол, готово, все, лишь бы найти последнее звено, только бы замкнуть цепь, узнать, что делал Чайковский в «загадочный» день, — все тотчас станет на место! Велик в таком случае соблазн замкнуть цепь. «Я точно не знаю, — продолжал Войтов, — в какой день произошло событие, о котором мне известно, но, вероятно, оно восполнит ваш пробел» И он восполнил, поведав тайну которую давно уже собирался доверить кому-нибудь, чтобы она не пропала для истории А. Орлова записала его рассказ, прочла ему записанное (сам он, по видимому, уже прочесть не мог), он со всем согласился, но записанного не подписал (не хотел или, опять же, был не в состоянии?).

История Войтова тоже, разумеется, не обошлась без «двора» и «высшего света»

«Среди воспитанников которые окончили училище правоведения в то же время, что и Чайковский, — рассказывал Войтов, — встречается имя Якоби Когда я был в училище, я все свои каникулы проводил в семье Николая Борисовича Якоби в Царском Селе. Якоби был обер-прокурором

сената с 1890 года и умер в 1902 году. Вдова Якоби, Елизавета Карловна, была связана с моими родителями родственными и дружественными узами. Она очень любила меня и всегда оказывала мне теплый прием. В 1913 году, когда я был в предпоследнем классе училища, широко отмечалась двадцатая годовщина смерти Чайковского. Тогда, очевидно, под влиянием нахлынувших воспоминаний г-жа Якоби рассказала мне под большим секретом историю, которая, как она призналась, долго ее мучила. Она сказала, что решила открыть ее мне, так как теперь уже стала старой и чувствует, что не имеет права уносить с собой в могилу важную и ужасную тайну. Все знакомые уже дела. Зато история сама нетривиальна.

В один из злослучных дней сидела она будто бы под дверью мужнина кабинета, откуда слышались голоса. Она сидела шила, слов расслышать не могла — ей потом все рассказал сам Якоби. Оказалось, что Чайковскому грозила катастрофа: некий граф Стенбок-Фермор, «встревоженный вниманием» композитора к некой знатной особе из его рода (вот он, секс, без которого ничего нельзя понять), написал письмо Александру III и просил Якоби, поскольку тот был обер-прокурором сената, передать его царю. Если бы письмо дошло по назначению, композитору грозили бы тяжкие кары, а на училище правоведения (которое он окончил, кстати, полвека назад) и на всех его бывших воспитанников, all old boys, легло бы позорное пятно. «Чтобы избежать огласки, Якоби решил сделать следующее: он пригласил всех бывших воспитанников, приятелей, однокашников Чайковского, которых мог разыскать в Петербурге, и устроил суд чести, в состав которого вошел и сам». Суд длился пять часов — Елизавета Карловна все пять часов сидела у двери со своим шитьем. «Затем из кабинета стремительно вышел Чайковский. Он чуть ли не бежал, держался нетвердо и ушел, не сказав ни слова. Он был очень бледен и взволнован». Седовласые «приятели однокашники», all old boys, вынесли ему смертный приговор! «Они потребовали, чтобы он покончил с собой... День или два спустя по Петербургу распространилась весть о смертельной болезни Чайковского».

«Если рассказ Елизаветы Якоби, переданный Александром Войтовым, правдив, — пишет А. Орлова, — а он не более странен, чем некоторые полностью достоверные инциденты в жизни Чайковского (тоже недурной способ доказательства! — О. Ч.), то он

позволяет собрать воедино подробности этого ужасного события, в сущности убийства великого композитора. Если? — через минуту А. Орлова, разумеется, тоже забывает всякие «если» и начинает пересказывать события последних дней Чайковского так, словно мифическое судилище — факт, неопровержимо доказанный. Она и личность «судей» устанавливает, правда более чем простым способом: называет в их числе всех одноклассников Чайковского, живших в те времена в Петербурге.

И вот снова нам дана возможность проследить, но теперь уже куда подробнее, до какой степени в мозгу, воспаленном подозрительностью, может перекокситься предствление о живой жизни.

Известно, что все эти дни Петр Ильич был очень весел, бодр, полон планов, собирался в Клин работать (в сутолоке петербургской жизни ему не работалось); вечером 19-го, как мы знаем, пошел на оперу Рубинштейна; утром 20 октября его навещал приятель, потом он гулял с племянником, обедал со свояченицей (сестрой зятя), вечером смотрел в Александринке «Горячее сердце» Островского. Был, повторим, весел, бодр и жаждал работать.

А вот эти дни под пером Орловой: «Можно только догадываться, как он провел остальную часть дня после того, как уехал от Якоби. Возможно, он в шоковом состоянии бродил по паркам, которые так любил. Можно себе лишь представить состояние человека, приговоренного к смерти. Однако ему надо было держать себя в руках, чтобы никто ничего не заметил. Поэтому он пошел на оперу Рубинштейна». Орлова тоже, подобно автору романа, стала всеведущей. Был весел? — о, как он умел владеть собой! Пошел в театр? — о, как старался он быть на людях! Два дня не видался с братом? — о, как боялся он братней проничательности! Пересказ последних дней Чайковского на языке бреда.

Если Петру Ильичу нельзя ни в оперу сходить, ни погулять, чтобы не вызвать восклицаний Орловой о сверхчеловеческих усилиях приговоренного к смерти, то любой из тех, кто был близок к композитору, рискует оказаться участником коллективного убийства. 20 октября к Чайковскому зашел очень давний его приятель, юрист и музыкант Август Герке, он мог бы и просто так зайти, но на этот раз у него было дело: он принес новый договор на оперу «Опричник». Не обманете, парирует А. Орлова, он принес яд.

А как же иначе? Во-первых, чтобы отравиться, нужен яд, с этим никто спорить

не станет, а в данном случае еще и такой, «действие которого было бы похоже на смертельное заболевание» (что это за яд, Орлова, естественно, предствления не имеет и оставляет вопрос открытым; кстати, правоведа-убийцы все-таки должны были как-то этот вопрос продумать, подобрать подходящую отраву. Когда они это успели?). Во-вторых, этот яд кто-то должен был принести. Собственно, по законам жанра подозрение могло пасть на любого, с кем Чайковский встречался в тот день, мог дать яд племянник, с которым композитор гулял до обеда, могла подсыпать за обедом свояченица, но Август Герке, на беду свою, был юристом, и жребий пал на него.

Мы могли бы сколько угодно продолжать эту забаву (забаву, поскольку трудно все-таки относиться серьезно к подобной логике и подобного рода аргументам), если бы речь не шла о смерти и о человеке, являющем собой гордость русской и мировой культуры.

Казалось бы, это аксиома: автор, выступающий с новой концепцией, обязан представить подтверждающие ее доказательства. В данном случае читателям (специалистам и неспециалистам) было предложено или принять концепцию на веру, или проверять ее собственными силами. А как проверить, если нет доказательств? Как проверишь, в самом ли деле доктор Василий Бертенсон что-то говорил мужу Орловой, а муж ей самой? Действительно ли вдова Якоби что-то слышала, в самом ли деле она рассказала что-то Войтову, вправду ли Войтов что-то сообщал все той же Орловой? Поди проверь. Рассказы, будто бы слышанные ею от мужа, начисто лишены конкретности — хотя бы одна деталь, которую можно было бы взять для проверки. Зато у Войтова такие детали есть. Не все, конечно: нельзя проверить, в самом ли деле вдова Якоби пять часов сидела у двери кабинета, но можно выяснить, жила ли вообще на свете такая женщина. Она жила, но звали ее не Елизаветой, а Екатериной — факт примечательный: старые люди, как известно, хорошо помнят юность. Екатерина Карловна Якоби была очень близким человеком молодому Войтову — как же мог он забыть ее имя? Здесь мы затрагиваем еще одну печальную тему: глубокая старость не просто теряет память, она порой впадает в странные фантазии, необузданные, вздувает фантомы. Ее нередко влечет все тревожное, все зловещее (это хорошо знают не одни геронтологи).

Между тем в рассказе Войтова содержится ошибка не только весьма существенная,

но, можно сказать, даже смертельная для всей версии Орловой. Н. Б. Якоби не был в 1893 году обер-прокурором сената, он занимал куда более скромную должность чиновника кассационного департамента, а значит, графу Стенбок-Фермору не было никакого смысла отдавать ему письмо для передачи царю. Но кто такой сам граф? Орлова не указывает, с каким из членов рода идет речь, но исследователи выяснили, что семья эта была очень близка ко двору, один из графов был шталмейстером двора (высокое положение!), одна из графинь — фрейлиной и приятельницей императрицы (быть может, еще более высокое положение!); зачем бы им понадобилось ходатайство какого-то сравнительно мелкого чиновника, чтобы передать письмо царю, которого сами они видели едва ли не каждый день (да и зачем им вообще при таких обстоятельствах нужно было письмо?)? А если Якоби как лишний выпадает из цепи, тотчас геряет смысл вся история с «трибуналом» — рушится цепь.

Кстати, о царе. Орлова говорит, что Александр III стоял у окна, смотрел, как проезжает погребальный кортеж, — картина эффектная (особенно если принять версию участия царя в убийстве, некогда изложенную в письме), но в тот день царь был в Гатчине и в Петербурге у окна стоять не мог...

Но зачем, предвижу я справедливый вопрос, понадобилось мне так долго разбираться во всем этом скоплении заведомых нелепостей? Вопрос более чем справедливый, но есть тут обстоятельство особое и странное.

А. Орлова (кстати, она опубликовала также и статью в газете «Глоб» под заглавием «Скандал Лебединого озера», с несомненностью доказывающим, что намерения у нее были балаганного, низменно-развлекательного и корыстного характера) получила энергичную поддержку профессора американского колледжа Джозела Спигелмена, дирижера, специалиста по русской музыке. Заявив, что открытия Орловой могут стать одним из самых «трагических скандалов XIX века», Дж. Спигелмен пересказал (как совершенно достоверную!) всю эту историю, причем вдова Якоби уже названа у него очевидно, собрание правоведов-одноклассников — «как бы официальным судебным органом, известным под названием суда чести» (словом, забегали бабоньки, застучали под окошками, покатылся снежный ком).

Шум поднялся большой, газеты запестрели заголовками: «Самоубийство!»

(«Washington Post»), «В самом ли деле Чайковского вынудили к самоубийству?» (там же), «Действительно ли Чайковский покончил с собою?» («The New York Times»), «Суд, приговор, смерть» («High Fidelity») — тайна! тайна! тайна смерти! В одной газете были изображены страшные, как вороны, судьи и перед ними некая бледная фигура. Словом, А. Орлова своего добила, «скандал Лебединого озера» удался вполне.

Трудно нам ее понять. Все же была она музыковедом, занималась также и Чайковским, не раз заявляла о своей любви к нему и к его музыке — неужели не странно, не стыдно, не дико было ей видеть портрет Чайковского (а почти все статьи о нем сопровождалось его портретом — достоинство, задумчивость, глубокий взгляд исподлобья) среди этого разнузданного балагана?

Но все-таки и гадаж газетных однодневок не может стать поводом, чтобы выступать с развернутым опровержением того, что не нуждается в опровержении, тем более что и за рубежом статьи А. Орловой вызвали гневный отпор. Протестовали потомки тех, кто присутствовал когда-то при последних днях композитора; протестовал внук Б. Бровцына, того, кто был назван в числе членов нелепого «трибунала». Протестовали слависты, специалисты по русской культуре, в их числе профессор Принстонского университета Нина Берберова.

Но все дело в том, что произошло вовсе уж почти невероятное.

Новое издание многотомного музыкального словаря, энциклопедия «Грив», пользующееся у специалистов уважением и доверием, в статье о Чайковском полностью воспроизвело версию Орловой! Как последнее слово в истории музыки здесь рядом с портретом Петра Ильича, изображенного в мантии Кембриджского колледжа, написано, что он кончил жизнь самоубийством, что это и раньше было известно, только не было прямых доказательств, а теперь они появились: в 1966 году музыковед Орлова встретила с престарелым Войтовым, который и открыл ей тайну самоубийства. Число «судей» названо здесь прямо — шесть, день «судилища» без тени сомнений — 19 октября.

И эта опубликованная в музыкальном словаре статья вызвала ряд протестов, но что толку протестовать, если сплетня оказалась закреплена в авторитетном справочном издании, на многие годы закреплена, и множество людей (и, может быть, на многие поколения) получают порцию этой сплетни!

«Я с большим уважением относилась к вашему изданию, — писала К. Ю. Давыдова

издателю «Гров», — и не могу понять, что побудило вас напечатать измышления Орловой. Как это грустно!»

Согласитесь, перед нами явление незаурядное. Издатель научного, всеми признанного словаря о музыке и музыкантах менее всего нуждался в сенсациях, напротив, они подорвали бы его репутацию в кругах музыковедов. Откуда же такое непростительное легковерие? В том-то все и дело, что он давно уже поверил слухам о самоубийстве — об этом свидетельствует сам ход его рассуждений: факт самоубийства был известен, не хватало только малого — доказательства; при столь простодушном предубеждении сошли первые попавшиеся. Вряд ли можно сомневаться, что любой другой факт биографии композитора, даже самый мелкий, в столь авторитетном издании был бы тщательно проверен редакторами, но версия таинственного злодейства удивительным образом вошла в их воображение (и в их издание) легко и без проверки.

Там, где в дело вступает подозрительность, там бессильна логика и напрасно стал бы распинаться здравый смысл. Чувство сложное, многослойное, ядовитое — подозрительность, одно из самых сильных порождений, которое претерпевает человеческий ум. Сложный сплав из недоброжелательства, неуважения к людям, уверенности в их изменчивых качествах (обманут, оговаривают, предадут); здесь и желание самоутвердиться наипростейшим способом — за счет другого. Она безмерно опасна, эта презумпция вечной виновности. скольких Отелло сгубила она, даже если они и не закальвались, скольких Дездемон, даже если их никто не душил. Каких судебных ошибок была она причиной, сколько судеб пустила под откос! На пути этого общественного бедствия должен быть поставлен непроницаемый и мощный заслон. Да он и поставлен, давным-давно существует (только к сожалению, никак не может утвердиться, укрепиться в умах) В области юридической это принцип презумпции порядочности: если не доказана непорядочность, тем самым доказана порядочность Любой человек, живой или мертвый, состоит под защитой этой презумпции, и гений в том числе Мы не можем, не смеем об этом забывать.

Если воспользоваться пушкинским образом двух совмещенных в художнике сущностей, можно сказать, что авторы «документальной беллетристики» и «литературоведческого детектива» последнего времени заняты преимущественно как раз теми часами жизни поэта, когда Аполлон ни к какой жертве его не требует. И совсем мало

интересуются его «встрепенувшейся душой». Причину понять нетрудно: чтобы исследовать вдохновение, нужны талант и тончайшее мастерство, огромная культура нужна для этого, а биографический детектив — дело, в общем-то, простое (выдумка же и вовсе никаких усилий не требует).

Сколь бы ни был велик в данном случае спрос, мне кажется, все же не стоит его удовлетворять, потакая «безнравственности нашего любопытства». Как ни велик соблазн, лучше удержаться. Мне бы хотелось, например, чтобы любители сенсационных и скандальных «открытий» напрягли воображение и представили себе, что великие, ставшие объектом их внимания, все еще живут на свете (относительно Пушкина и Чехова это тем легче сделать, что они для нас словно бы и не умирали, хотя мы стократ оплакали их смерть). Пусть бы рискнули они повторить в глаза Чехову все, что болтали об Ольге Леонардовне, в глаза Пушкину все, что плели о Наталье Николаевне! Да у них бы язык прилип к гортани.

Всеми этими биографическими детективами мы ведь только беса тешим: из роковых тайн, как правило, ничего, кроме роковых ошибок, не получается. И профессиональный уровень биографического литературоведения резко падает, и самый жанр страдает. Немало уже написано о том, как порой бывают безответственны перед прошлой жизнью исторические романисты. Но у исторического романа все же есть (ограниченное, конечно) право на вымысел — у документалиста подобного права нет и быть не может. Есть право на гипотезу, но и она, повторим, должна быть подкреплена документами.

Как всегда в подобных случаях, хуже всего приходится читателю (зрителю, слушателю): воображение, не туда направленное, не туда и бредет и, главное, сбито с толку бредет, а порой даже и перепачканное. Это далеко не безвредно для самого восприятия искусства. Представим себе, что человек который слышал (пусть краем уха) рассказы Орловой, пришел в Большой зал консерватории Знакомый орган, знакомые овальные портреты на стенах; но один из них станет смотреть почти как незнакомый: что там с ним было — суд, яд? И пропал, погиб душевный настрой, не прорваться уже вниманию слушателя к оркестру, и не услышит он, предположим, одинокого кларнета, с такой благородной печалью рассказывающего о судьбе Франчески да Рямини.

.. Войтов сказал, что Якоби сказала... Честное слово, хочется закона — да, представьте себе, юридического! — который защищал бы честь тех, кого уже нет на све-

те. Недаром же потомок Жанны д'Арк в пушкинском пастише вызвал на дуэль Вольтера за его «Орлеанскую девственницу» — и правильно сделал! Да, конечно, нужен был бы такой закон, чтобы праправнук Пушкина мог подать в суд на авторов, повторяющих сплетни, пущенные сто лет назад. А уж Орловой пришлось бы тогда предстать перед судом по иску многих: привлек бы ее к ответу потомок Августа Герке, названного его оравителем; и Ксения Давыдова, ближайший по родству потомок Чайковского, вступилась бы, конечно, за его доброе имя... Нет, в самом деле, как иначе оградить достоинство мертвых?

* * *

Зачем крутится ветер в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чahlый пень? Спроси его.

Спроси и наше сердце, что с ним происходит, почему так вздрагивает оно от этих строк. Видно, и у нас, читателей, тоже есть часы вдохновения, пусть отчасти и заемного. Видно, и нас призывает Аполлон, пусть устами великих. Если и не подняться нам на их высоты, все равно наш душевный подъем так ощутим, словно и мы приобщаемся к вечности. Да мы и приобщаемся — совсем не к той космической, промерзшей, черной, самое себя не сознающей, какую предлагает нам наука о вселенной; нет, есть у нас другая — своя, населенная.

Когда по стертым ступеням спускаемся мы под древние своды, и странно нам, и переходим мы на шепот, а то и вовсе замолкаем, это мы прислушиваемся к внутреннему голосу, который внятно говорит нам о людях, века назад ходивших по этим ступеням; они были не лучше и не хуже нас — просто жили; их время промелькнуло быстро, но ведь и наши песочные часы — перед глазами, и течет, течет струйка из узкого горлышка. Здесь, под

старыми сводами, мы это вдруг ясно ощущаем, и полезны нам такие минуты причастности к большому времени (любые старинные вещи, будь то каменная ступа или кусок дерюги, трогают нас, потому что они стужки времени). Если же ощущение времени и красоты сливается воедино, как, например, в древнем храме или в природе, это двоякое воздействие нас особенно волнует. Пусть прошлое приукрашено нашим воображением («Что пройдет, то будет мило»), пусть природа видится нам храмом и вызывает молитвенное настроение, несмотря на то, что есть в ней гниль, и тлен, и полно предсмертных воплей, — нам это не важно. Преображенная нами, она для нас — покой и красота. И море, и небо, и степь, и скалистые горы, которые (по счастливому выражению Бунина) стоят раскрытой книгой бытия, и даже ветка, полная цветов и листьев, прошумевшая в одной книге, — все это внятно говорит нам о вечности.

Она нам необходима. Когда повседневность с ее заботами, усталостью, раздражением, с помыслами и делами, не всякий раз возвышенными, наступает на нас развернутым фронтом и мы едва ли не захлебываемся в ней, именно чувство вечности дает нам жизненный масштаб, истинную точку отсчета, уносит все суетное, ничтожное — и сильно нам помогает.

Да и как быть иному, если именно здесь, в нашей вечности, веками отобрано лучшее, чем мы когда-либо владели. И великие наши, разумеется, тут — и Пушкин, и Чехов, и Чайковский, высочайшая поэзия. Мы входим в ее мир как в чистое, бесприемное счастье. Так зачем же нам тащить сюда еще суетные сенсации, рожденные происками подозрительности и любопытства, все эти «роковые тайны»? Они выглядят здесь точь-в-точь как консервные банки, битые бутылки и обрывки грязной бумаги, оставленные гуляками на цветущем лугу.

И вот совершенно чудо: исцеленное сердце заработало с новой силой. Жизнь продолжается.

А хирург, склонясь к больничной
няньке,
На ходу сказал: — А ну-ка, мать,
Ты мне там накапай валерьянки,
Что-то сердце стало уставать!

Кудесник врач — тоже смертный человек из плоти и крови. Из стали только скальпель. Стихи об этом есть у многих поэтов. Есть — замечательные — у Н. Заболоцкого, С. Кирсанова. Там суровый, героический пафос: герои стихотворений погибают, исполнив свой долг, потому что в момент наивысшего напряжения никого не оказывается рядом, «чтоб вернуть сердцебиенье и второму сердцу». У Кончаловской мягче, вроде бы даже будничней. Но о том же. О человечности. О творчестве, цель которого, как сказал поэт, — «самоотдача, а не шумиха, не успех» Между прочим, кирсановское стихотворение так и называется — «Творчество».

Говорят, истинный поэт всегда сохраняет в себе что-то от ребенка, что неотъемлемое качество поэтического склада души — способность удивляться. Должно быть, это верно при условии, что удивление вовсе не есть радостное умиление. Кончаловскую, во всяком случае, эта способность иногда прямо-таки выручает. Есть в новом сборнике поэма «Хатынская поляна» — произведение, при всей трагедийной значительности темы далеко не самое сильное в книге:

Люди, внимайте! Слушайте, граждане,
Медные горла скорбят.
Пусть откликается каждое, каждое
Сердце на этот набат.

Серые плиты, слезами политые,
Черный обуглен гранит.
Четверть столетия, печалью повитая,
Родина память хранит.

Все правильно, все благородно И.. не раз уже читано. Сколько было подобных заклинаний! Наступила даже своего рода инфляция. Но и поэта понять можно. Хатынь производит сильнейшее впечатление. Молчать нельзя. Как же найти свое слово? И оно приходит, свое слово, чуть позже в главке о юной учительнице Ядвиге Каминской, в школу которой ворвались гитлеровцы:

Стали выбрасывать книжки, игрушки,
Парты прикладами бить.
Ты удивлялась, что могут веснушки
И у эсэсовца быть...

Вот это по-настоящему зримо и страшно. Не только герои — люди, но и нелюди — люди. Какая же сила сделала их такими? И уже совсем по-иному звучат и читаются строки поэмы.

Стихи об искусстве нередко вызывают к себе двойственное отношение: хорошо, интересно, но, что ни говори, вторично. Поэтические циклы Кончаловской «В мастерской скульптора Никогосяна», «Выставка Сарьяна», значительная часть написанного верлибром раздела «Итальянские фрески» говорят о тонком понимании искусства, глубоком его чувствовании. Но известная традиционность им все-таки присуща. И вдруг особняком, вне циклов прелестное в своей свежести стихотворение «Постояльцы» — о мраморной статуе, в ладони которой доверчиво поселилась птичья семья:

Не потому ль в ней столько силы
И гибки пальцы и крепки,
Что ласточка гнездо слепила
В ладони мраморной руки.
И птичьим золотым пометом
Холодный мрамор окроплен,
И трем горластым желторотым
Постелью теплой служит он.
И день придет, когда из пальцев,
Таких заботливых пока,
Своих крылатых постояльцев
Пошлет богиня в облака.

Очень хорош и «двойной портрет», нарисованный Кончаловской в стихах, обращенных к другой известной советской поэтессе — Татьяне Стрешневой. Как во всяком хорошем портрете, здесь не только лицо, здесь — судьба:

Мы обе с тобою широки в плечах,
Мы обе с тобою несмелы в речах,
Мы обе стоим в стороне от молвы,
Подчас не умея поднять головы.
И в жены мы обе с тобой не родны:
Дороже мужей нам с тобою сыны.
И матери обе мы, видно, плохи:
Дороже сынов нам с тобою стихи...

Серьезные, глубокие, не лишённые горечи строки. Но не кажутся чужеродными рядом с ними такие совсем уж детские стихотворения, как «Царевна Несмеяна» — о некоей девочке Жене, которая стала строгой и задумчивой не улыбой, потому что... лишилась переднего молочного зуба, или шутка «Близнецы», которую отменно исполняют с эстрады настоящие близнецы — ленинградские артисты братья Васютинские:

С детства я терпел невзгоды,
Но не по своей вине:
Николай объелся меда —
А касторку дали мне.

Я лечил больную ногу,
Прележал четыре дня:
Николай дразнил бульдога —
Укусил бульдог меня.

И только отдельные стихи с их лобовой назидательностью — такие, как «Хлеб», где речь идет о мальчике, швырнувшем кусок хлеба в проходящую трехтонку, выпадают из общей тональности книги:

Но если б думал мальчик тот
О зернышке, о чуде.
И сколько мысли и забот
В него вложили люди...

Показательно, что и характерная легкость, изящество стиха, прозрачность фразы изменяют в таких случаях поэту. К счастью, таких случаев немного.

Известно, что подлинный поэт способен порой заставить засверкать по-новому затертое, примелькавшееся слово. «Глядеть во все глаза», — привычно говорим мы,

Ленинград.

имея в виду лишь одно устойчивое значение: глядеть жадно, с неутолимым любопытством. Но, оказывается, язык позволяет и совсем по-другому прочитать эти слова! «Гляжу во все глаза. Я всем в глаза гляжу», — говорит о себе Кончаловская. И поясняет потом, какая это радость — глядеть в глаза всем: человеку и зверю, птице, коню, даже лягушке. Есть поэты, всю жизнь глядящие только на себя. Нелепо осуждать их за это. Хотя бы потому, что внутри себя поэт видит все тот же мир, только особенным образом преломленный. Рассказывая о себе, он вольно или невольно рассказывает о мире. У Кончаловской другой путь. Поэтическое «я» в ее стихах присутствует вроде бы не часто. Она видит мир и рассказывает о мире. Но, рассказывая о мире, она говорит и о себе. О человеке, нашем современнике. О поэте добром и чутком.

Илья ФОНЯКОВ.



СПУТНИКИ ЧЕХОВА

Спутники Чехова. Собрание текстов, статьи и комментарии В. Б. Катаева. М. Изд-во МГУ. 1982. 479 стр.

Писатели чеховской поры. Избранные произведения писателей 80—90-х годов в двух томах. Вступительная статья, составление и комментарии С. В. Букчина. М. «Художественная литература». 1982. Т. 1, 463 стр., т. 2, 415 стр.

Л. А. Авилова. Рассказы. Воспоминания. Составление и примечания Н. С. Авиловой. Вступительная статья И. А. Гофф. М. «Советская Россия». 1984. 335 стр.

Н. Д. Телешов. Избранные произведения. Вступительная статья К. Пантелеевой. Составление, подготовка текста и комментарии М. Блинчевской. М. «Художественная литература». 1985. 399 стр.

Хорошо известно, что в ответ на пере-
данные Чехову слова профессора Петербургского университета Н. Вагнера «Чехов слон между нами» Чехов вполне серьезно написал: «Всех нас будут звать не Чехов, не Тихонов, не Короленко, не Щеглов, не Баранцевич, не Бежецкий, а «восьмидесятые годы» или «конец XIX столетия» Некоторым образом артель».

Жесткая логика истории такова, что в общей памяти человечества остается лишь самое значительное. И прав оказался профессор зоологии: Чехов действительно сделал как бы необязательными имена многих своих современников, пользовавшихся тогда немалой популярностью. И все же подлинные масштабы даже выдающегося явления литературы в полной мере выявляются лишь в реальном контексте ее истории — в тех конкретных связях, которые образуют ее живую жизнь.

Книги, о которых у нас речь, вышли большими тиражами и мгновенно разо-

шлись — и, надо думать, не один книжный бум стал причиной этого.

С некоторыми из этих писателей Чехов действительно находился в многолетних приятельских отношениях и длительной переписке, знакомство с другими было случайным — деловым и неблизким. Одни, как, например, Лейкин, вошли в литературу задолго до Чехова, другие, как Ежов и Лазарев-Грузинский, шли, что называется, по его следу, третьи (Потапенко, Ясинский, Альбов, Баранцевич) начинали почти одновременно с Чеховым, четвертые, как Лазаревский или Шаврова, попали в орбиту его внимания, когда Чехов был уже известным писателем.

Несколько особняком стоит в этом ряду, может быть, Н. Д. Телешов, переживший Чехова на пятьдесят три года. Но имя Телешова сегодня больше ассоциируется не с его прозой (помнят разве что «Елку Митрича», давно попавшую в круг детского чтения), а со знаменитыми литературными

средами, долгие годы собиравшимися в телешовской квартире на Покровском бульваре, да с книгой его мемуаров «Записки писателя», над которой он работал уже в советское время. Но если о Телешове говорят сегодня как о писателе, то непременно указывают, что в 80—90-е годы в его творчестве «господствовала чеховская тема». Так что все эти писатели существуют для нас «в присутствии» Чехова.

Со школьной скамьи мы усвоили: главная беда писателей эпохи безвременья — бескрылое бытописание, и если имена их и сохранились, то в основном потому, что без них была бы не полна биография Чехова.

А между тем, как справедливо писал И. Эренбург (его слова приведены в статье С. Букчина), «в те времена, когда жил Чехов, люди читали не только Чехова, но и Потапенко, Боборыкина, Баранцевича, Скитальца и многих других средних авторов. Конечно, лучшая часть читателей понимала, что нельзя сравнивать Потапенку с Чеховым... но в целом литература соответствовала запросам общества. Писатели, даже весьма посредственные, освещали те вопросы, которые интересовали читателей „Русского богатства“ или „Русской мысли“». И это верно. Более того, известно, что, по сделанным в то время статистическим подсчетам, на рубеже 80—90-х годов Потапенко, например, читали гораздо больше, чем Чехова и Толстого, что популярность «маленького Щедрина», как называли Лейкина, среди определенной части читающей публики была несравненно выше, чем самого Щедрина, а читатель, имевший возможность почти одновременно прочесть новую повесть Чехова и ныне совершенно забытый роман В. Тихонова, нередко отдавал предпочтение последнему.

Подобные факты воспринимаются как исторические курьезы, но каждое новое поколение, стремясь осознать себя и окружающий мир, непременно обращается со своими вопросами к современной, текущей литературе, имея перед собой ее непрерывный поток, не расчлененный до поры на вечное и преходящее, на подлинное искусство и беллетристику.

Как бы то ни было, но именно текущая литература в первую очередь формирует вкус массового читателя. Ее способность прикоснуться к болевой точке своего времени оказывает немалое влияние на нравственные представления общества. В живом течении времени сосуществуют остающаяся навсегда чеховская повесть и забытые вскоре романы Альбова и Потапенко —

в свое время они занимали в сознании людей немалое место, и благодаря им тоже шла необходимая истории работа.

Эти романы, рассказы, повести, именуемые теперь беллетристикой конца века, как правило, ограничивались либо описанием ситуаций, становящихся типичными для времени, либо фиксировали новые черты быта и человеческой психологии, не поднимаясь до значительных художественных обобщений. Но эта проза была необходимой ступенью в познании жизни — ступенью, перескочить через которую нельзя. Именно так следует понимать слова Чехова о том, что «в литературе маленькие чины... необходимы, как и в армии». Не как красивую метафору, а как трезвое понимание того, что только многими усилиями истина делается общим достоянием.

Чехов, как известно, начинал свой писательский путь с жанра, который считался периферией литературы, — короткого юмористического рассказа. Потребителем этой литературы была совершенно особая читательская масса — торгово-ремесленная, мещанская по своему социальному положению, горожане, как мы теперь бы сказали, в первом поколении, аудитория, наскоро адаптирующаяся к городу и наскоро усваивающая его культуру. Но здесь, на периферии сознания, накапливался материал, который должен был стать необходимым большой литературе, ибо за ним вырисовывались не только ближайшие, но и отдаленные человеческие последствия того «чрезвычайного, почти американского роста городского населения», который был зарегистрирован переписями тех лет. Он в корне менял социальную структуру общества, а значит, и его психологию, мораль, представления о жизни.

Описание ближайших последствий этих процессов взяла на себя малая пресса, а в ней короткая, словно списанная с природы сценка, где герой был как бы двойником ее читателя. Выхваченная из жизни, что шла вокруг, предельно заземленная, эта сценка под пером Лейкина и многочисленных юмористов 80-х годов, чьи имена сохранил разве что «Словарь псевдонимов» Масанова, становилась полноправным жанром литературы. И Чехов на первых порах шел за выработанным до него эталоном. Специалисты хорошо знают, что атрибуция многих неподписанных «мелочишек», приписываемых Чехову, трудна часто именно тем, что они порой мало отличаются от общего тона этого «осколочного» потока. А читатель, которому адресованы массовые тиражи этих изданий, имеет те-

перь возможность не только верить на слово чеховедам, но и сравнить чеховскую юмористику с рассказами Лейкина, «мелочишками» Блябина, увидеть своими глазами этот ряд, чтобы отделить, как справедливо пишет в своей интересной статье В. Б. Катаев, «что было сделано до Чехова, от того, что действительно внесено им».

Но смысл чтения этих книг не только в том, что они дают возможность проводить подобные сравнения. Читая сегодня Лейкина — после Чехова, после Зощенко, — отчетливо видишь еще и вот что: в том портрете мещанина, который десятилетиями создавала литература, прежде всего осознавшая, что нет для человечества ничего опаснее духовного мещанства, черты, подмеченные юмористами 80-х годов, и поныне не утратили своего реального значения.

Сегодняшний мещанин внешне мало похож на лейкинских «гусей лапчатых». Он может читать «Энциклопедию мифов» и рассуждать об амбивалентности, но, как и его генетический предок, руководствуется в жизни все тем же — что нынче «самое ходкое».

Но входя в литературу как автор юморесок, Чехов нес с собой то, что не вырабатывается артельно, — свое представление о жизни. И наиболее чуткие читатели поняли это еще в ту пору, когда он был Антошей Чехонте. «Попробуй написать страницу в подражание Чехову, и у тебя (у меня и т. д.) ничего не выйдет», — не без тайной грусти-зависти заметил тогда своему приятелю, начинающему, как и он, беллетристу Ежову, Лазарев-Грузинский. Сейчас — на конкретном, живом фоне литературы тех лет — это несовпадение точек отсчета видно особенно отчетливо.

Лейкину было достаточно зоркого глаза, подмечающего характерное в жизни описываемой им среды (сыном которой он был сам), и благодушной насмешки над самодовольной тупостью или робкой покорностью своих героев. Чехов сразу установил между собой и этой средой дистанцию, противопоставив давлению среды чувство личной свободы, так ненавистное мещанскому духу.

Читатель может теперь увидеть, каков он, эстетический водораздел между Чеховым и его литературными спутниками, — увидеть в ткани произведения, в самом слове. Чтение сочинений «спутников Чехова» после Чехова дает немалую пищу для размышлений.

Конечно, отсвет Чехова лежит на нашем восприятии этой прозы, и не в возможных

переоценках ее роли в истории литературы смысл нашего сегодняшнего обращения к ней. Чехов навсегда остается Чеховым, то есть величиной, в своем историческом значении стремящейся к бесконечности, а Потапенко, Альбов или Щеглов — величинами, убывающими во времени. Для нас важно другое — понимание того, что в литературе каждый вступает на пути, проложенные уже кем-то, и каждый следующий шаг возможен только потому, что сделан предыдущий.

Читая сборник «Писатели чеховской поры», обнаруживаешь прекрасный рассказ А. Тихонова «Швейцар». Нет больше реалий, вызывавших у читателей того времени вполне определенный круг ассоциаций, и мы сегодня вычитываем в рассказе, наверное, совсем другое. Для нас важна не только эта бесконечно грустная история о человеке, уставшем от одиночества, но и то, что этот «маленький человек» показан просто человеком, то есть величиной, равной себе. Этот рассказ А. Тихонова написан хотя и после чеховской «Тоски», но до «Мужиков» и в «В овраге» и не отмечен ими.

В очерке Потапенко «Секретарь его превосходительства» мы сталкиваемся с типом, рожденным той эпохой и пережившим ее. Это хорошо теперь известный тип «гения приспособляемости». Механизм зарождения цинизма, тщательно прослеженный писателем, увы, не устарел.

В книге Авиловой наше внимание привлекают, наверное, не ее рассказы — они выглядят все-таки дилетантскими даже в том потоке, — а ее незаконченные воспоминания о детстве на Плющихе, по которой прогоняли стада коров, о Москве и людях ушедших десятилетий и дневниковые записи. Они рисуют нам человека безусловно талантливого, много думавшего, постоянно решавшего для себя все те вопросы, которые встают и сегодня перед людьми, — о чистоте человеческих взаимоотношений, о долге перед близкими, о тяжести потерь.

В прозе Телешова нет, конечно, той подчиняющей себе сильной интонации, по которой сразу узнается большой писатель. Даже на слух ощущаешь в ней некий перепад уровней и повествовательных пластов. В рассказах на так называемую социально-бытовую тему действительно прочно укоренилось «что-то чеховское». Но иногда в том же самом рассказе накатанную гладкость формы изнутри взрывает резкий штрих: «Время шло. Ночь была красна, черна и страшна... Красное небо, красные бегущие тучи окрашивали на да-

лекое пространство поля и реку в кровавый цвет — а горизонты были черны и утопали во мгле». Это описание пожара в провинциальном городке, умиравшем от скуки. А пожар устроил «непутевый человек Вася», у которого было одно желание — «вызвать шум». Рассказ «Черною ночью» был написан в год смерти Чехова. Но с начала 90-х годов печатались в журналах рассказы Телешова из жизни переселенцев. Он писал их по путевым впечатлениям после поездки в Сибирь, а путь этот — за Урал — был подсказан тогда молодому писателю Чеховым. Похожие места на очерки, рассказы эти сохранили для нас живые подробности быта и психологии тех обойденных большой литературой переселенцев: что «тысячными толпами тянулись из России на новые места». Сохранили они и свидетельство того, как неискраема потребность человеческого духа в правде. Безграмотный перевозчик, которого встретил автор на берегу сибирской реки, терзаясь сомнениями, хорошо ли поступает, беря с бедняка, своего брата, гроши за перевоз, думает о том, о чем не переставал напоминать своим читателям Чехов, о чем в полный голос вот-вот скажет герой Горького. «А знаешь... что бы я сделал, как бы в силе был? Я бы пришел на весь народ, да и сказал.. Давай о душе думать... друг за друга постоим..»

Путь, которым шла в те годы литература — он позже кратко стал называться в учебниках «от Чехова к Горькому», — прокладывался усилиями многих. И как бы скромны ни были иные художественные открытия, в общем поиске ответов на нерешенные еще вопросы они занимают свое место.

«Эпоха губила таланты», — пишет С. Бучин, объясняя, почему многие писатели того времени остались лишь спутниками Чехова. Но вряд ли нужно искать только в характере эпохи причины, почему Александр Чехов остался «братом своего брата», почему забыты талантливо начинавшие Кигн-Дедлов или Бибикив, почему давно выпали из круга чтения столь популярные в конце века романы Потапенко (один из них нашумевший тогда «Не герой» сейчас опубликован в сборнике «Спутники Чехова»). Главное в масштабе галанта А что касается эпохи, то всякий талант неотделим от своего времени, и чем сильнее талант, тем сильнее и эта связь.

В рассказах и повестях современников Чехова мы находим тот же самый исходный первичный материал — те же житей-

ские ситуации, в сущности, тех же героев, что и у него. И когда мы говорим, что Чехов охватил все стороны русской действительности 80—90-х годов, то справедливости ради надо вспомнить, что эти же стороны русской жизни были в центре внимания его современников: Альбова, которого называли преемником Достоевского, Ясинского, первые шаги которого приветствовали Гончаров и Щедрин; Щеглова, которого считали «вторым Гаршиным» и «русским Джеромом». И то, что нам часто кажется достоянием одного лишь Чехова, можно найти и у писателей этого времени: многим, с нашей точки зрения, чисто чеховским сюжетам предшествовали сходные сюжеты и положения в рассказах, повестях и романах его современников.

Многие писатели «эпохи сумерек» писали об одном и том же — о несложившихся судьбах, не так прожитых жизнях, но среди прозаиков того поколения только Чехов создал художественно завершенный мир. Многие авторы дочеховской поры тяготели к воссозданию трагических, экстремальных ситуаций, когда повседневность разорвана и обнажена истинная мера духовных ценностей. С творчеством Чехова в общее сознание входило убеждение, что эта же самая шкала действует и в будничной повседневности.

Недостатки беллетристики тех десятилетий видны, что называется, невооруженным глазом. Они всегда одни и те же — избыток художественно не реализованных сюжетных ходов, утяжеленная, несвободная фраза, где живую интонацию теснит вялая риторика, обилие нравоучительных формул, с помощью которых во все времена литература такого рода сводит концы с концами.

Мы почти наверняка знаем, где поставил бы точку Чехов, что бы он убрал из такой фразы:

Когда Чехов получил от писателя А. Жиркевича его рассказ «Розги» — историю офицера, который, несмотря на душевные терзания, подвергает телесному наказанию солдата, — он написал автору: «Это художественная правда».

Читая сегодня забытых — второстепенных, третьестепенных — писателей, мы воочию видим, как трудно пробивается человеческая мысль к высшей художественной правде, по законам которой и происходит в литературе отбор того, что остается в ней навсегда.

Ирина ГИТОВИЧ.



ИЗНУТРИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА

Юрий Суровцев. В 70-е и сегодня. Очерки теории и практики современного литературного процесса. М. «Советский писатель». 1985. 574 стр.

Вот и 70-е годы уже далеко не сегодня, хотя многое связывает — в литературе особенно — наши дни с предшествующим десятилетием, ускорение успело захватить и нашу духовную жизнь. Новая книга Ю. Суровцева о 70-х, как говорит сам автор, — «о литературном процессе в теоретическом освещении, о методологических аспектах его изучения, подхода к нему». Однако это не академически-литературоведческая монография, не трактат о понятиях, хотя и о понятиях здесь говорится немало (например, о точности терминов, пришедших в литературу «со стороны», которые критикой трактуются вкось и вкось: контрапункт, колорит и так далее. Здесь взгляд на динамику современной литературы изнутри самого процесса Ю. Суровцев называет опасностью, угрожающую любой науке: опасность подменить поиск не известных ни тебе, ни другим истин правдоподобными подтверждениями того, что мыслилось заранее. Критика вынуждена преодолевать сложность, вызванные ее собственной природой, ведь она не только наука, «но и своеобразная, на поле искусства действующая публицистика. Если угодно — педагогика даже». Короче, перед нами теоретическая книга, принадлежащая свободному перу активного критика. Отчетлива полемическая направленность работы, стремление хотя бы предварительно, но по возможности уверенно оценить все существенное, что появилось недавно и появляется сейчас, — оценить немедленно, без пафоса большой дистанции.

В недавние 70-е годы ставились весьма существенные общественные и эстетические проблемы, в том числе литературой, публицистикой, критикой; их предстоит еще решать, опираясь на лучшее в прежнем нашем опыте. Критик уверен, что это и есть наша современность в широком смысле: не просто новый период, а новая литературная эпоха, сменившая первую, которая продолжалась с 1917 года примерно полвека.

И начинается-то книга с глав об определяющих признаках литературных эпох и периодов, с партийности литературы, которую часто истолковывают чересчур поверхностно, о воспитательном воздействии литературы, о природе искусства и его функциях.

Обычно критики в подобных разборах ориентируются все-таки на общеизвестные имена. Здесь литературный аристократизм

преодолен. Процесс есть процесс, он содержит все, а не только то, что остается надолго. Отсутствие у нас обобщающих работ на столь обширном материале, конечно же, мешает составить отчетливое представление о реальном состоянии литературы. «Списки» нехороши тогда, когда они остаются основной информацией, когда ими все ограничивается, но для Суровцева они отнюдь не самоцель. В чем, в чем, а в целом эмпиризме его не упрекнешь.

Критик радуется, когда ему удается отметить недооцененное в печати произведение сравнительно малоизвестного писателя или поэта, — как не хватает такого внимания тем, кто при нашем выборочном принципе рецензирования не рассчитывает на специальный отзыв! Они ведь все участвуют «в расширении спектра духовных потребностей», и не в расширении только. «Дело еще в их, так сказать, интенсификации, в их — личностном углублении». Сейчас это аксиома, но несколько лет назад, когда писались Ю. Суровцевым эти строки, про «интенсификацию духа» так, как теперь, еще не говорилось.

Знаток текущей литературы, не только русской, но всей советской многонациональной, Ю. Суровцев может позволить себе кокетство: «Не знал я, например, творчества Валентины Мариной, не знал, в чем и устыдил себя...» Может покровительственно бросить на ходу: «отлично перевел Анатолий Ким» (повесть казаха), «отлично переведенная Анаит Баяндур» (повесть армянина), «хорошо переведена Инной Сергеевой» (повесть белоруса), «в отличном переводе Элисо Джалашвили» (роман грузина) и тому подобное — так на многих страницах. Простой читатель, не полиглот, должен только удивиться тому, когда автор успевает писать, если он только и делает что сличает оригиналы на всех языках Советского Союза с неизменно хорошими, и главным образом отличными, переводами.

В книге рассыпаны выражения на немецком, французском, на латыни, не всегда с переводом, автор все и все понимает.

Критику прощаешь мелочи ради главного — умения рассказать о существенных сдвигах в национальных советских литературах. О единстве нашей литературы как исторически новаторского типа художественной общности. Нигде в мире, ни в какой многонациональной стране — ни в Индии, ни в Великобритании, ни в Швейца-

рии — не достигнуто реальное единство национальных литератур. Немецкоязычные писатели Швейцарии часто пополняют немецкую, а не собственно швейцарскую литературу, бельгийские — французскую и так далее. Единство же десятков советских литератур беспрецедентно и не имеет даже отдаленных аналогов. Уже можно говорить не только об интернациональной системе жанров в литературах самого разного генезиса и традиций, но и об общесоюзных, межнациональных стилевых течениях. Русский, белорусский, узбекский, литовский языки весьма не похожи один на другой, но, обратившись к поэзии и сопоставив характер образности на уровне подстрочников, автор книги пришел к выводу, что, допустим, «стих сдержанно-философский, раздумчивый» при ясной зримости деталей вырастает одновременно из лирики Д. Самойлова, П. Панченко, А. Арипова, А. Малдониса...

Интересно в книге говорится об актуальном значении горьковского понимания темы. Темы, которая не просто как предмет, как некое явление в жизни, не ставшее еще фактом искусства, но как собственно художественный, творческий компонент произведения. Ю. Суровцев идет и дальше, отождествляя тему с идеей, в полемическом увлечении хочет доказать, что в действительности нет никакой деревенской темы или, скажем, исторической темы.

Ю. Суровцев сетует на нынешнее ослабление сюжетности. Наше динамическое время во многих произведениях воплощается больше в разговорах, чем в действиях. И еще в воспоминаниях: «...эти бесконечные ретроспекции стали просто бичом современной прозы!» Критик говорит о реально усиливающемся расхождении между масштабами сюжетных событий и выражающимся в них художественным содержанием, рассуждает о единстве публицистичности и интимного, личного в сюжете (такое единство достигнуто, по его мнению, в политическом романе А. Проханова «Дерево в центре Кабула»).

Отмечая большие успехи нашей прозы о деревне, Ю. Суровцев находит свой ракурс разговора — социальный, тесно увязанный с проблемами современного сельского хозяйства и отношения к природе. Правду прозы Ф. Абрамова Ю. Мушкетика. В. Поганина. А. Емельянова. Л. Мрелашвили — русских, грузинских, чувашских и других писателей — исследователь называет правдой доброй, сердечной к трудовым, честным людям и вместе с тем правдой воин-

ствующей, суровой к стяжателям, демагогам и лодырям. Молодым писателям Суровцев считает необходимым пожелать большей творческой дерзости, замаха на новые проблемы: «А то что-то засиделись молодые (коим нередко под сорок и выше того) в босоном своем детстве», что-то бесконечно эксплуатируется один и тот же сюжет — «заезд» в родное село, аул или кишлак смятенного духом интеллигента...»

Одно из проявлений исторического сознания в современной литературе — художественное исследование нашего прошлого с его уроками, его неповторимым духом и колоритом. Неповторимость, особенность людей и событий прошлого позволяет нам лучше видеть наше собственное историческое лицо, своеобразие нашей общественной жизни, психологии, быта. О серьезности такого аспекта литературы, тематически обращенной в прошлое, не надо забывать. Доказывая, что историческая проза должна быть свободна от крайностей, критик сам впал в крайность другого рода, по сути, пытаясь отбросить всякую специфику такой прозы. Сторонников четкого определения признаков художественно-исторической литературы он иронически называет спецификаторами. Его идея: поскольку всякий роман со временем становится для читателей романом о прошлом (как, например, фурмановский «Чапаев»), значит, и становится... историческим. Тем не менее о текущей исторической прозе у Ю. Суровцева говорится немало интересного, высказываются конкретные рекомендации, например, латышской, литовской, белорусской, молдавской прозе.

От исторической прозы с философским подтекстом естествен переход к собственно философскому роману. На этот раз Ю. Суровцев точен, говоря при определении жанровой природы этого романа недостаточно только общих содержательных признаков философичности, нужны также и определенные стилевые признаки. Своя философия истории есть в романах и Г. Абашидзе и О. Чиладзе, «однако, — пишет Ю. Суровцев, — стилевые облики трилогии Г. Абашидзе и, скажем, романа «Шел по дороге человек» О. Чиладзе совершенно различны, и последний я считаю романом художественно-философским в стилистом отношении». К философичности тянутся в 70-е годы писатели раньше придерживавшиеся других стилевых ориентаций, — Ю. Трифонов, О. Гончар, П. Куусберг, М. Ибрагимбеков, П. Проскурин, В. Маканин, Н. Думбадзе. Последние романы Ю. Бондарева критик считает в

большей степени философскими произведениями, чем его же «Мгновения». Однако вскользь брошенное замечание, что в романе Ю. Трифонова «Время и место» «слабовато ощутимо» представление о многообразном мире за пределами конкретного сюжета, кажется нам по крайней мере не вполне справедливым.

Наша литература, говорит Ю. Суровцев, стремится к увеличению смысловой емкости. Смысловой — необязательно рационально-познавательной. Ч. Айтматов в философском романе «Буранный полустанок» как раз выступает против механистического рационализма, и в этом его позиция созвучна позиции Юрия Бондарева. Покритиковав «космическую линию» айтматовского романа за обескровленный стиль, за прямолинейную условность, Суровцев в то же время решительно защищает выраженную в ней основную мысль, утерянную в других критических откликах: «В дилемме: контакт с инопланетянами или война землян на самой Земле — для социалистически мыслящего человека не может быть иного выбора, чем „айтматовский“».

Так философия связывается с политикой, с моралью. Нравственная тема — содержание особой главы, характерно для стиля книги, названной «При свете совести (Заметки критика, почти дневниковые, — вообще о литературе «морально-нравственной темы», а по преимуществу о новинках прозы начала 80-х годов)». Здесь на читателя обрушивается наиболее стремительный поток информации — сотни имен и названий, рассуждения о преломлении нравственной проблематики в национальных призмах, о «женской литературе» как социокультурной проблеме (по крайней мере для среднеазиатских республик), об общечеловеческом начале в его конкретных проявлениях и о многом другом. Как ни многообразны параметры литературного процесса в концепции Ю. Суровцева, для ориентации в литературе последних лет ему понадобился некий преимущественный ориентир, который берется автором в личностном, «почти дневниковом» ключе. Верится, что читатель не сочтет себя от этого в проигрыше.

С. КОРМИЛОВ.



ЗАЩИЩАЯ ЧЕЛОВЕКА

Генрих Бёльль. Потерянная честь Катарины Блюм, или Как возникает насилие и к чему оно может привести. Повесть. Перевод с немецкого Е. Кацевой. «Октябрь», 1986, № 3.

В одном из лучших ранних рассказов Бёльля «Когда кончилась война» есть эпизод, в котором автор-рассказчик отказывается взять из рук бывших солдат фашистской армии кусок хлеба («Я не хотел преломить с ними хлеб»), хотя это грозит ему если не гибелью, то избиением. Его спасает бывший узник нацистского концлагеря, отмечая при этом у героя «проклятый дар придавать всему символический смысл». Этот «проклятый дар» Бёльль сохранил на всю жизнь, с каждым новым произведением оттачивая его. Вот и Катарина Блюм для него не просто еще один женский персонаж, а воплощение идеального образа Германии.

Для Бёльля, по его собственным словам, за время войны, после многих лет отупляющей казармы «понятия «мужчина» и «дурак»... стали почти тождественными». В женщине искал он сочувствие, гуманность, доброту, духовность. Заметим также, что образ женщины, выражающий глубинную суть нации, характерен для многих культур, это связано с древнейшей традицией, понимающей женщину как хра-

нительницу дома, очага, упорядочивающую мир вокруг себя... Для немецкой литературы, склонной к метафизическим построениям, эта тенденция облеклась в поиск вечной женственности, которая, по мысли Гёте, не только дарит жизнь, возвышает душу и гармонизирует мир, но и ведет к постижению конечной истины бытия. «Фауст» завершается следующими строками: «Здесь — заповеданность истины всей. Вечная женственность тянет нас к ней». Образы Лотты («Страдания юного Вертера») и Маргариты («Фауст») — персонализация, художественная реализация идеальных представлений поэта (разумеется, опиравшегося, как мы знаем, на реальные прототипы). Еще дальше пошли немецкие романтики, которые искомую ими «душу мира» трактовали как девичью, женскую душу. В русле национальной традиции и художественные поиски Бёльля, его женские образы. Это и Эдит Шрелла («Биллиард в половине десятого»), и Мари Деркум («Глазами клоуна»), и героиня «Группового портрета с дамой». Это и Катарина Блюм, двадцатисемилетняя домашняя работница, застре-

лившая в своей квартире журналиста Вернера Тётгеса.

Да, именно так сказано о героине, об идеале в самом начале этой стилизованной под документальный жанр повести.

Кто же она такая, Катарина Блюм? Что сообщает нам о своей героине писатель? Начнем с имени. Катарина (Екатерина) означает в переводе с древнегреческого непорочная. «Фамилия Блюм созвучна слову *Blüme* — «цветок». Символическая семантика «цветка» глубока и многоаспектна. Но традиционно цветок — нечто прекрасное, связанное с представлениями о райском саде, блаженном беспечальном мире (вспомним хотя бы голубой цветок знаменитого немецкого романтика Новалиса, герой которого считает этот цветок магическим ключом от всех тайн бытия).

Ну а в реальной действительности, в быту кем является Катарина Блюм, чем она занимается? Мы узнаём, что ей удалось «сдать экзамены на дипломированную экономку». Это нечто вроде приходящей прислуги, но Катарина вкладывает в свой — для многих почти лакейский — труд новое содержание. «Я хотела быть независимой и работать по своей специальности, как человек свободной профессии», — говорит она, как бы приравнивая себя к художнику, создающему в своих произведениях нечто не существовавшее раньше. И Бёлль ее не опровергает, более того — ставит выше художника, потому что ее материал не глина, не краски, не перо и бумага, а реальные человеческие отношения. Один из персонажей повести, адвокат доктор Блорна, констатирует: «...с тех пор как она спокойно и приветливо, очень экономно ведет наше хозяйство, не только значительно сократились наши расходы — она дала нам обоим возможность полностью посвятить себя работе, чего в деньгах и не исчислить. Она освободила нас от пятилетнего хаоса, так обременявшего наш брак и нашу работу». Она творит жизнь, гармонизирует ее, приносит пользу людям, облегчает их существование, то есть делает все то, к чему в конечном итоге стремится каждый подлинный художник. Именно такой, кстати, рисует нам Гёте героиню раннего своего романа Лотту, «преlestное, заботливое создание, которое одним взглядом смягчает муки и дарит счастье».

И вот дипломированная экономка Катарина Блюм знакомится на вечеру у своей крестной с молодым человеком, влюбляется в него, приглашает к себе домой, проводит с ним ночь, а наутро, узнав, что его преследует полиция, помогает ему скрыться. Ворвавшаяся в дом полиция на-

чинает с оскорбительного для чести женщины вопроса («А он тебя употребил?»). При этом писатель контрастом использует символическую деталь: Катарина встречает полицию в халате с вышитыми на нем маргаритками, а в европейской традиции маргаритка — эмблема женственности и чистоты. В дело включается ГАЗЕТА (прописными буквами это слово пишет сам Бёлль), и на Катарину обрушивается поток лжи, заведомой дезинформации, бессовестного освещения самых интимных событий ее жизни, что оказывается выгодным для проведения политической — консервативной — линии ГАЗЕТЫ. Нет буквально ни одной фразы, которую репортеры не переиначили. Так, высказывание либерального адвоката Блорна «Катарина умна и сдержанна» ГАЗЕТА превратила в «холодна и расчетлива». Слова тяжело больной матери Катарини: «Почему должно было так кончиться, почему должно было так случиться?» — журналист Тётгес перепорачивает следующим образом: «Так и должно было случиться, так и должно было кончиться», поясняя, что репортер обязан и привык «помогать простым людям выразить свои мысли».

Толпа жадно хватается за всякое развлечение, в том числе и за предложенное ГАЗЕТОЙ. Таким образом, Катарина и ее друзья оказываются между двух огней: с одной стороны, недобросовестные служащие полиции, подслушивающие телефонные разговоры, врываются в интимную жизнь людей, и пресса, делающая из всего веселое шоу, а с другой — толпа, жадная до развлечений, принимающая все на веру, требующая «хлеба и зрелищ». Умирает мать Катарини. Катарина и ее близкие подвергаются жестокой и циничной травле. Так возникает насилие.

В полиции Катарина спрашивает: «Не может ли государство — так она выразилась — сделать что-нибудь, чтобы защитить ее от этой грязи и вернуть потерянную честь?» Государство не в состоянии, оно якобы нейтрально. А вакханалия распясавшейся толпы усиливается. Катарине пишут анонимные письма, звонят по телефону, оскорбляя и предлагая сексуальные услуги, меряя ее жизнь по своей. Тогда Катарина идет на встречу с Тётгесом: «Мне хотелось знать, как такой человек выглядит, какие у него повадки, как он говорит, пьет, танцует. — этот человек, который разрушил мою жизнь». Здесь явно звучит: да человек ли он? К тому же оказалось, что голос, оскорблявший Катарину по телефону, принадлежит именно Тётгесу, писавшему о ней заведомую ложь в ГАЗЕТУ, кото-

рый добивался встречи с ней в надежде «поразвлечься», воспользовавшись чужой бедой. Вот его фраза при виде девушки: «Ну, что ты смотришь так растерянно, мой Цветик, я предлагаю сперва поразвлечься». И тогда только Катарина стреляет. Это для нее последний способ защитить свою честь. Насилие приводит к выстрелу.

Существен фон, на котором происходит действие повести. Все события случаются в феврале 1974 года, «в канун предшествующего великому посту карнавала». Карнавал не случаен в системе мироотношений, рисуемых Бёллем. Он не только символизирует нравственную неразбериху, сокрытие лица под маской (полицейский шпик и репортер одеты в костюмы арабских шейхов), но и атмосферу вседозволенности, фривольности и даже разнузданности. Заметим мимоходом, что и Катарина и преследуемый властями дезертир из бундесвера, ее неожиданный возлюбленный, на карнавал явились без масок, и только идя на убийство, Катарина переодевается бедуинкой. Новые левые и всевозможные их леворадикальные собратья как раз на рубеже 60—70-х годов объявили карнавал отрицанием официозного порядка вещей, раскрепощением человека, а карнавализацию жизни, то есть отказ от нудной ежедневной работы (да и вообще работы!), — высшей формой свободы. Катарина же «известна как недотрога, прямо-таки неприступная особа, прозванная знакомыми и друзьями «монашкой», избегающая дискотек, потому что там беспутничают». Бёлль резко и сразу разводит свою Катарину с левыми радикалами-нигилистами. «Катарина всегда была трудолюбивой, честной... в детстве даже набожной и благочестивой». Не случайно и настойчиво подчеркнуто отношение к ней доктора Блорна, который испытывает «уважение к Катарине, да, уважение, почти благоговение, больше даже — нежное благоговение перед ее, да-да, черт возьми, невинностью, которая даже больше, больше, чем невинность». И это несмотря на то, что Катарина была замужем, но разошлась (когда муж стал «назойливым»). Несмотря на то, что уже «в возрасте 19 лет, в 1966 году, вышла из католической церкви». Несмотря на то, наконец, что она убивает Тётгеса.

Бёлль не принимает точку зрения левых радикалов на карнавал как спонтанное и чистое проявление свободной человеческой сущности. за внешней свободой он видит выгоду сильных мира сего. Этому карнавалу вседозволенности, на котором наживаются дельцы от индустрии потребления, и про-

тивостоит скромная, трудолюбивая Катарина, имеющая «два очень опасных свойства: верность и гордость». В отличие от массы развлекающихся она, в сущности, не развлекается, она находит на карнавале подлинную любовь, ибо сама подлинна. «Боже мой, он как раз тот, кого я должна была встретить, я бы вышла за него замуж и родила ему детей — пусть даже пришлось бы ждать годами, пока он не выйдет из кутузки», — говорит она о своем возлюбленном.

Этих «вольностей» буржуазное общество Катарине не прощает. Ее противники безлики, лишены индивидуальности. Но их много. Филистеры, продажные журналисты, преступно равнодушные служители закона...

Речь, однако, здесь не просто о беспринципности бульварной прессы и пассивности государственных органов, призванных защищать права личности; это было бы слишком мелко, слишком на поверхности. Бёлль в своей повести говорит о чем-то более субстанциально важном — о необходимости защищать внутренний мир человека, его честь и достоинство. Обращение Бёлля к криминальному сюжету, как мы понимаем, позволяет писателю предельно заострить социальные, нравственные и культурные вопросы большой значимости. В повести можно найти практически все излюбленные бёллевские темы, мотивы, образы, связанные с магистральными проблемами немецкой культуры, традиций, духовной жизни, связанные с утверждением истинных духовных ценностей.

Для Бёлля вопрос в этой повести не только о высокой душе, страдающей от людской пошлости. Писатель-антифашист, видевший мальчиком, затем юношей зарождение нацизма, считал своим главным врагом «третий рейх», губивший людей и на войне (физически) и в мирное время, в тылу, растлевая души. Об этом первые произведения писателя. Затем Бёлль обратился к изображению «экономического чуда» Западной Германии, но его все время мучило то, что он считал непреодоленным прошлым: во всех его романах возникают образы бывших фашистских деятелей, ныне рядящихся в либералов. И Бёлль всегда умел сорвать эту маску, показать все ту же железную хватку фашиста

В повести о Катарине Блум на первый взгляд тема фашизма редуцирована, переведена на задний план. Разве что намек в образе отца Катарины, вернувшегося израненным с войны, но не вынесенного из нее внутреннего урока: он «вечно брюзжал,

брюзжал на государство и церковь, на власти и чиновников, на офицеров и всех поносил, но, когда ему приходилось с кем-нибудь из них иметь дело, он пресмыкался, чуть ли не повизгивал от раболепства». Честь и независимость, которые стали основой характера его дочери, ему самому отстоять так и не удалось. Фашизм навсегда отравил его душу, по сути, превратил в раба. Именно в этом надругательстве над внутренним миром человека и кроется, по мысли Бёлля, то самое непреодоленное прошлое, о котором он все время писал и говорил. А оно, полагал Бёлль, крайне опасно настоящему, способно к реваншу. О чем писатель и предупреждал своих соотечественников.

Ну а дальнейший путь Катарины, этого воплощения «вечной женственности», души Германии? Не случайно ее внимания добиваются и политики, и юристы, и журнали-

сты, и многие другие. Кого же выбрала она? С кем связала свою жизнь? Как она сама говорит, «все, все отдано ее «милому Людвигу»! Человеку, пребывающему в «самовольной отлучке» (излюбленный мужской персонаж Бёлля), человеку, не доверяющему обществу благополучия и протестующему против него, видящему в нем (быть может, не без основания) тенденции, некогда приведшие к возникновению «третьего рейха». Бёлль полагает, что Германия пойдет путем этого честного и бескомпромиссного героя, во всяком случае надеется.

Возможны, очевидно, и другие толкования прочитанного. Строгая, как математическая формула, по своему построению повесть Бёлля вместе с тем многозначна, как всякое подлинное произведение искусства. И в этом ее сила.

В. КАНТОР.



Политика и наука

ВЗГЛЯД, ОСНОВАННЫЙ НА ФАКТАХ

Владимир Николаев. Американцы. Очерки. М. «Советский писатель». 1985. 479 стр.

Помните Фрэнка Каупервуда, героя знаменитого романа Теодора Драйзера «Финансист»? Он еще в детские годы «с огромным интересом наблюдал, как производятся маклерские операции и как ловко обмениваются всевозможные бумаги... Отец, довольный, что сын интересуется его делом, охотно давал ему объяснения, так что Фрэнк в очень раннем возрасте уже составил себе довольно полное представление о финансовой системе Америки». Это помогло Фрэнку в шестнадцать лет совершить первую коммерческую операцию — заработать тридцать долларов на спекуляции мылом. А немного времени спустя на финансовом горизонте Америки появился новый крупный делец — Каупервуд-младший.

Эта история вспомнилась мне не случайно. В. Николаев переносит читателя в Америку наших дней. Перед нами номер газеты «Дейли ньюс». Броский заголовок гласит: «Дети — капиталисты. Частное предпринимательство умерло? Никогда!» В центре полосы фотографии трех юнцов и девушки, самых молодых капиталистов в США. Один из них, семнадцатилетний Эндрю Фаркас, начал деловую карьеру в четырнадцать лет, приспосовив компьютер для использования в мелком бизнесе; ныне Фаркас «весит» полмиллиона долларов.

Карен Вашингтон, ровесница Эндрю, избрала иной способ обогащения: купив оптом на распродаже женскую одежду, она затем выгодно перепродала ее в розницу. Удачные торговые операции послужили стартом для предпринимательской деятельности Эрика Шона и Дэвида Роза — сейчас у каждого из них свои конторы. Родители в восторге, не скрывает своего восхищения юными дельцами и газета...

В последние десятилетия наша книжная полка пополнилась немалым числом произведений об Америке и американцах — назовем хотя бы книгу М. Стурра «Вид на Вашингтон из отеля „Уотергейт“» или роман-эссе Г. Боровика «Пролог». Книга В. Николаева, вышедшая массовым тиражом, тоже не залеживается на магазинных прилавках. Чем объяснить ее успех? Думается, прежде всего тем, что автор, много раз бывавший в Америке, видевший эту страну изнутри, не ограничивается только внешним описанием американского образа жизни. Анализируя тенденции и процессы, происходящие в общественно-политической жизни США, он задается вопросом: а какова, собственно, сегодняшняя «среда обитания» американца? Кто и как формирует его взгляды? Каковы его психология, мирозерцание, нравственный багаж?

Бизнес и его производное — доллар всегда были «некоронованными властителями» Америки, но, пожалуй, никогда еще правящие верхи этой страны не смыкались с большим бизнесом так открыто, как сегодня, никогда с такой очевидностью не проявлялся тот факт, что именно в сфере крупного капитала возвращается и формируется вашингтонский политический олимп. Характерно: миллионерами или лицами, «приближающимися к этому статусу», являются все члены республиканской администрации Р. Рейгана и каждый четвертый в «президентской сотне»; практически все члены правительства занимали ранее руководящие посты в концернах и фирмах, входящих в «Клуб-500» (так окрестили в Америке пятьсот наиболее мощных монополий, в руках которых сосредоточено около половины всего промышленного потенциала страны. Их список ежегодно публикуется в рупоре большого бизнеса США — журнале «Форчун»). Вполне закономерно, что суть внутренней экономической политики «правительства миллионеров» состоит в том, чтобы как можно шире открыть зеленую улицу большому бизнесу, ликвидируя последние следы так называемого антитрестовского законодательства и безжалостно урезая самые насыщенные социальные программы. Наличие счета в банке рассматривается американской элитой как едва ли не единственное мерило жизненного успеха, к которому надо стремиться, не стесняясь в методах и средствах...

В книге показано, с каким рвением правящий класс США насаждает эту мораль в массах американцев, вдалбливает ее в голову обывателя. Буржуазная печать, захлебываясь от восторга, сообщает, что Белый дом приобрел «государственный сервиз» из 4732 окаймленных золотом предметов ручной работы (цена сервиза 203 508 долларов) Светские хроникеры с упоением повествуют об «увлечениях» одного из богатейших людей Америки, мультимиллионера Форбса, который сначала приобрел в «личное пользование» остров Лаукала (архипелаг Фиджи) вместе с живущими там 300 аборигенами, а затем, пополняя коллекцию антиквариата, собранную им в собственном мраморном дворце в Танжере, отвалил два миллиона долларов за золотое, украшенное уникальными жемчужинами пасхальное яйцо, изготовленное в 1900 году знаменитым петербургским ювелиром Фаберже для Николая II. Читателя и телезрителя оглушают суммами, затраченными на проведение пышных балов и раутов в фешенебельных резиденциях денежных воро-

тил. Норковые шубы, сумочки из крокодиловой кожи, жакеты или блузки от «Горфинкеля» — все это не просто дорогие, мало кому доступные вещи, но пропуск на вход в «храм избранных».

В США достиг пика тот процесс, признаки которого еще на рубеже XIX и XX веков отчетливо видели многие представители американской прогрессивной интеллигенции, отмечавшие, что господство буржуазных ценностей способствует перерождению Америки в «новую монархию» баронов-грабителей, страну, находящуюся под железной пятой монополий. А поскольку воспевание богатства и богатых сопровождается столь же активным прославлением силы и сильной личности, понятия о благородстве и бескорыстии, честности и нечестности, мужестве и героизме в сознании массы обывателей трансформируются, извращаются, выворачиваются наизнанку. Человек, смело бросившийся в Нью-Йорке в огонь, чтобы помочь пожарным потушить горящий дом, заслуживает, оказывается, не столько восхищения, сколько сочувствия: ведь его поступок не принес ему какой-либо реально ощутимой выгоды и даже вверг в непредвиденные расходы — пришлось выложить 200 долларов за лечение от ожогов. Зато множество людей в США открыто восхищались неким Купером, вооруженным террористом, который захватил находившийся в ночном рейсе реактивный пассажирский лайнер и, получив выкуп в 200 тысяч долларов, выпрыгнул с парашютом и бесследно исчез. В книге приводятся данные опроса, проведенного в Вашингтоне: каждый четвертый американец готов совершить убийство, если ему будет хорошо заплачено и о преступлении никто не узнает. Страшноватая, если вдуматься, статистика...

Культ силы, подчеркивает В. Николаев, не только стал неотъемлемой составной частью американского образа жизни — он пронизывает и деятельность США на международной арене. «Слепая вера в физическую храбрость и беспрекословное повиновение, уверенность в том, что белая раса выше всех остальных рас, американская раса выше всех белых, а американский мундир превыше всего человечества» — так охарактеризовал в свое время психологию определенной части американского общества Уильям Фолкнер. Иллюстрируя это высказывание выдающегося писателя, В. Николаев еще и еще раз перелистывает страницы новейшей политической истории США и на фактах показывает, какие имперские постулаты лежали в основе развязанной

Вашингтоном «грязной войны» во Вьетнаме, контрреволюционного путча в Чили, поддержки территориальных притязаний сионистских штурмовиков из Тель-Авива. И хотя не все события последнего времени нашли отражение в книге, читая ее, нельзя не вспомнить, например, о том, что именно Вашингтон развязал и продолжает необъявленную войну против суверенного Афганистана, где террористы, обученные и оснащенные ЦРУ, сжигают мирные деревни, оскверняют мечети, взрывают мосты и дороги. Или о 12 тысячах никарагуанцев, погибших от рук «контрас», вскормленных на американские доллары. Или об альянсе США с расистским режимом ЮАР... Разве преступная философия разбоя и вседозволенности, которой вашингтонские правители руководствуются во внешней политике, не оказывает огромного и крайне негативного влияния на морально-политический климат в самих США, подогревая чувства национализма и шовинизма, взращивая расизм?

С особым усердием проповедают правящие круги США антикоммунистические взгляды и стереотипы. Леденящие кровь сценарии ядерного армагеддона, сопровождаемые воплями о мифической «советской угрозе», — это тоже американская «среда обитания». В книгах, кинофильмах, телевизионных сериалах специалисты по антисоветским вымыслам, дав волю воспаленной фантазии, красочно расписывают «атаки русских на Америку» и «ужасы советской оккупации», при которой едва ли не все взрослое население страны «исчезает в тюремных камерах» или ссылается на принудительные работы в отдаленные арктические районы Советского Союза (как, например, в книге неких Р. Конкеста и Дж. Уайта «Что делать, когда придут русские», изданной в 1984 году в Нью-Йорке). Такой идеологический и морально-психологический климат не может не оказывать заметного воздействия на политические взгляды и умонастроения миллионов людей «Чтобы заставить страну взять на себя бремя, которого требует содержание мощных вооруженных сил, надо создать эмоциональную атмосферу, близкую к военной истерии», — напоминает автор слова небезызвестного Дж. Ф. Даллеса, которые неукопнительно и настойчиво претворяются в жизнь в сегодняшней Америке.

Какие же силы в США заинтересованы в разгуле милитаризма? Книга В. Николаева отвечает: это мощные военно-промышленные корпорации, составляющие ядро «Клуба-500». Это Пентагон, штаб «ястребов

войны», заказы которого выполняют более 30 тысяч основных подрядчиков и свыше 50 тысяч субподрядчиков. Это влиятельные военно-бюрократические группировки, занимающие практически все главные ступени вашингтонской иерархической лестницы. В результате сращивания бомбы и доллара, доллара и органов власти в США создан военно-промышленный комплекс, ставший ударной силой американского империализма

Так что же такое сегодняшняя Америка: страна, охваченная жаждой наживы, пораженная метастазами имперских доктрин, бьющаяся в милитаристской истерике? Нет, подобная односторонняя оценка была бы серьезной ошибкой. В книге В. Николаева немало страниц посвящено иной Америке — людям труда, ведущим упорную и отважную борьбу за демократию, за свои насущные права, выступающим против засилья монополий. Здесь говорится не только об агрессивных замыслах империалистических кругов США, которые хотели бы, обзаведясь ядерно-космическим мечом подлиннее и поострее, диктовать свою волю суверенным странам и народам, — вместе с автором мы входим в здание Капитолия и беседуем с конгрессменами, которые отдают себе отчет в грозных реальностях ядерного века и решительно отвергают милитаристский курс на «противоборство с социализмом»; встречаемся с видными американскими учеными, которые не устают предупреждать о страшных последствиях ядерной дуэли и высказываются за всемерное расширение американо-советского сотрудничества; входим в залы состоявшейся в Лос-Анджелесе выставки СССР и листаем книгу отзывов, которая полна таких записей: «Я потрясен достижениями СССР в космосе и надеюсь, что две великие державы, США и СССР, будут вместе работать с целью освоения вселенной», «Мы убеждены: американский и советский народы могут жить в мире», «Спасибо! Приезжайте снова».

Запоминаются и страницы книги, которые рассказывают об одном из первых массовых «маршей мира» в Америке. Место действия — Нью-Йорк. Подняв над головами плакаты с призывами положить конец безумию гонки вооружений, идут по нью-йоркским улицам-улицам рабочие и фермеры, дети и студенты. Идет старик католик, только недавно выпущенный из тюрьмы, где он провел пять месяцев за участие в антивоенной манифестации у стен Белого дома. Идет морской пехотинец, в годы второй мировой войны сражавшийся с японцами. Идет женщина, отец которой погиб

в 1945-м на берегах Эльбы. Это тоже Америка, но Америка, рвущая оковы милитаризма, вырвавшаяся из паутины реакционных человеконенавистнических концепций. И по мере того как все больше обна-

жаются истинные цели правящих кругов США, эта миролюбивая, мужественная, трезво мыслящая Америка заявляет о себе все решительнее и громче.

Ю. КОРНИЛОВ,



НАУКА И БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ

Кибернетика и ноосфера. М. «Наука». 1986. 157 стр.

Кибернетика, ноосфера и проблемы мира. М. «Наука». 1986. 142 стр.

Более трех миллиардов лет назад на нашей планете возникла жизнь. В истории Земли и ее биосферы имелись такие периоды, когда развитие жизни прерывалось массовыми вымираниями живых организмов, связанными с глобальными катастрофами. Так, около 65 миллионов лет назад на Земле произошло одновременное исчезновение многих видов животных, включая динозавров, и больших групп растений. Существуют различные гипотезы о причинах происшедшей экологической катастрофы. Некоторые ученые считают, что она результат столкновения нашей планеты с гигантским астероидом, которое привело к значительным изменениям земного климата. Падение астероида на Землю сопровождалось запылением атмосферы и прекращением доступа солнечного света к поверхности, вследствие чего временно прекратился фотосинтез и наступило резкое похолодание.

Появление на Земле человека, способного оказывать своей практической деятельностью воздействие на биосферу, привело к изменению лика планеты. Со зрением человечество вступило в такой период своего исторического развития, когда благодаря достижениям науки и техники могущество человека стало решающим фактором, предопределяющим дальнейшую эволюцию нашей цивилизации. Речь идет, во-первых, о переходе биосферы в новое эволюционное состояние, названное в 20-х годах нынешнего столетия ноосферой, и, во-вторых, о таких глобальных последствиях человеческой деятельности в окружающем природном и социальном мире, которые могут привести к планетарной катастрофе.

Что представляет собой ноосфера? Каковы закономерности эволюции биосферы в ноосферу? В чем состоит диалектика взаимодействия человека и природы? Каковы проблемы и противоречия мирового развития? Каковы возможности науки в изучении глобальных проблем и устранении кризисных процессов? Каковы экологические последствия гонки вооружений и ядерной войны? Как и какими сред-

ствами можно обеспечить экологическое равновесие в современном мире? Какова роль кибернетики, глобального моделирования и системных исследований в решении актуальных задач, связанных с развитием человеческой цивилизации? Ответы на такого рода вопросы содержатся в двух рецензируемых сборниках, вышедших в серии «Кибернетика — неограниченные возможности и возможные ограничения». Среди авторов этих коллективных трудов академики В. Г. Афанасьев, А. А. Баев, Н. П. Бочков, Е. П. Велихов, Д. М. Гвишиани, М. С. Гиляров, Ю. А. Косыгин, Г. И. Марчук, Н. Н. Моисеев, Б. С. Соколов, Н. П. Федоренко, А. В. Фокин, С. С. Шварц, В. А. Штейнберг, А. Л. Яншин, члены-корреспонденты АН СССР Г. С. Голицын, М. Н. Руткевич и другие ученые, специализирующиеся в различных областях естественнонаучного и гуманитарного знания.

Личность и идеи В. И. Вернадского, выдвинувшего учение о биосфере и ноосфере, привлекают к себе многих исследователей. Это объясняется тем, что, будучи комплексными и глобальными, проблемы взаимодействия общества и природы требуют осмысления с междисциплинарных позиций и становятся объектом системных исследований, предполагающих синтез знаний о планетарной роли человека в преобразовании природного и социального мира. Новый научный подход к выявлению взаимосвязей между естественноисторической и социальной тенденциями мирового развития в последнее время получил широкое распространение. Однако начало его заложено в прошлом, связано с научной мыслью предшествующей эпохи. В работах В. И. Вернадского содержались многие плодотворные идеи о биосфере как закономерном результате развития земной поверхности, о единстве человека и природы, о переходе биосферы в новое геологическое состояние, о социально организованном человечестве как планетарном явлении. Именно он впервые в мировой литературе обобщил эволюционные процессы нашей планеты, показал

возрастающее воздействие человеческой мысли на природную среду, заложив основы нового подхода к изучению планетарных аспектов взаимосвязи общества и природы. Вполне оправданно и объяснимо, что многие из авторов рецензируемых сборников непосредственно обращаются к осмыслению идей В. И. Вернадского, посвящают свои статьи раскрытию различных сторон учения выдающегося советского мыслителя и естествоиспытателя.

Как известно, обобщая эмпирический материал о происхождении Земли и развитии жизни на планете, В. И. Вернадский выдвинул концепцию о переходе биосферы в новое эволюционное состояние, в котором человек стал крупнейшей геологической силой. В основу ее легко представление о переработке биосферы научной мыслью, то есть об активном преобразовании человеком среды обитания. Для обозначения этой концепции, изложенной В. И. Вернадским в докладе, сделанном в 20-х годах во Франции на семинаре А. Бергсона, французским философом Э. Леруа был предложен термин «ноосфера» (от греческих слов *νοος* — разум и *σφαίρα* — шар). Впоследствии В. И. Вернадский стал использовать этот термин, понимая под ноосферой не только «сферу разума» в буквальном ее толковании, но и совокупность планетарных изменений, связанных с человеческой деятельностью в ее научно-теоретических и преобразующе-практических аспектах.

Не все авторы рецензируемых работ строго придерживаются определения ноосферы, данного В. И. Вернадским. Одни считают ноосферу уже существующей, другие подразумевают под этим понятием продолжающийся процесс взаимодействия природы и общества. Точно так же нет единства мнений в вопросе о том, совершается ли переход биосферы в ноосферу планомерно или стихийно. По-разному интерпретируются прогрессивные и регрессивные изменения, связанные с формированием ноосферы. Однако дискуссионность некоторых материалов, представленных в сборниках, отнюдь не свидетельствует о каких-либо просчетах. Как раз то, что в ряде статей творчески разрабатываются марксистско-ленинские представления о взаимосвязи природы и общества и даются разноплановые оценки возможностей управления биосферой и ноосферой, несомненно, привлекает к себе внимание широкого круга читателей, интересующихся актуальными проблемами современной науки.

Разумеется, не на все поднятые в этих статьях вопросы даются исчерпывающие

ответы. В процессе обсуждения диалектического взаимодействия общества и биосферы, например, многие авторы размышляют о перспективах развития человечества, высказывая интересные идеи возможного решения глобальных проблем. Вместе с тем, уделяя достаточное внимание раскрытию содержательных характеристик ноосферы, они не дают, как правило, определения понятия «человечество». В лучшем случае констатируется, что человечество — продукт исторического развития и составная часть биосферы. Думается, при обсуждении различных аспектов мирового развития глубокое осмысление понятия «человечество» столь же необходимо, как и понятие «ноосфера». Нет ясности и в словах «окружающая среда», которые толкуются по-разному, в зависимости от того, включает ли тот или иной ученый сюда представление о техносфере, социосфере и космосе или ограничивается рамками окружающей природы. Кстати сказать, пока ученые ведут дискуссии на этот счет, некоторые советские писатели и поэты образно и в то же время с немалой тревогой описывают процессы наступления техносферы на биосферу, когда, по выражению Р. Рождественского, становится «все меньше — окружающей природы, все больше — окружающей среды».

Было бы некорректно говорить, что в художественной литературе (в сравнении с научной) более точно и однозначно интерпретируются проблемы мирового развития. Мироощущение прозаиков и поэтов столь же разнообразно, как и мировосприятие ученых. Но сегодня всех их объединяет общая забота о сохранении жизни на Земле, о предотвращении глобальной катастрофы, которая может обрушиться на нашу планету в результате ядерного безумия. Поэтому, размышляя о будущем человечества, писатели обращаются к фактическому материалу, накопленному наукой, ученые — к художественной литературе, в образной форме отражающей реалии жизни. В последние годы, благодаря возможности компьютерного моделирования сложных систем советские и зарубежные ученые продемонстрировали мировой общественности те глобальные, губительные для человечества последствия, которые неизбежны в случае ядерной войны. Авторы некоторых статей в сборниках также рассматривают последствия ядерной катастрофы. Приводятся исторические свидетельства о гигантских лесных пожарах и крупных извержениях вулканов, в свое время вызвавших перемены климата планеты, и то, какое от-

ражение эти катаклизмы получили в художественной литературе. Вспоминается, в частности, извержение вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году. Оно привело к тому, что возникшие в результате вулканического выброса облака заметно понизили температуру в Северной Америке и Западной Европе: 1816 год оказался годом без лета. Именно тогда, когда в Новой Англии снег выпадал в июне, а в Швейцарии и Франции было зарегистрировано самое позднее за минувшие десятилетия созревание винограда, Байрон написал стихотворение «Тьма». В статье С. П. Капицы это стихотворение, процитированное в переводе И. С. Тургенева, названо лучшим в мировой литературе описанием «ядерной зимы».

Погасло солнце светлое —
и звезды
Скитались без цели, без лучей
В пространстве вечном;
льдистая земля
Носилась слепо в воздухе
безлунном.
И мир был пуст.

В ряде статей рецензируемых сборников рассматриваются кибернетические аспекты ноосферы и раскрываются возможности применения кибернетики, системного анализа и математического моделирования в исследовании глобальных проблем, что представляет собой, пожалуй, одну из первых попыток последовательного изложения научных представлений о мировом развитии. Глобальные проблемы современности освещаются не с абстрактных позиций, столь характерных для ряда описательных работ, а с точки зрения модельных экспериментов, математических средств анализа сложных, динамически подвижных структур и процессов. Такой модельно-системный подход к исследованию широкого круга вопросов планетарного развития позволил не только объединить естественнонаучные и социально-гуманистические представления о взаимосвязях между природой и обществом, но и научно осмыслить животрепещущие проблемы войны и мира, международных конфликтов и исторической ответственности человека за судьбу нынешнего и будущего поколений, за продолжение жизни на Земле в ядерную эпоху.

Какие бы аспекты глобальной проблемы ни затрагивались в различных статьях, в каком бы плане ни рассматривались возможные управленческие воздействия на биосферу и ноосферу, авторы приходят к одному выводу: сохранение биосферы необ-

ходимо для дальнейшего существования человеческого рода. Гуманистический пафос горьковского девиза «Человек — это звучит гордо» предполагает такую ценностную установку, в соответствии с которой следует культивировать бережное отношение и к природным богатствам, ибо, как справедливо подчеркивает автор одной из статей, «уважение к природе — это одновременно уважение к человеку, и наоборот».

На пороге XXI столетия человечество оказалось у опасного рубежа: ведь реальная угроза использования ядерного оружия, способного превратить нашу планету в гигантское кладбище, существует. Всеобщее разоружение, решение острых глобальных проблем мирными средствами — единственный путь, на котором человечество может сохранить свое будущее. В этой связи хочется напомнить слова В. И. Вернадского: «Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может — должен мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государства или их союзов, но и в планетном аспекте». Это суждение выдающегося ученого приобрело острую актуальность в наши дни. В условиях противоборства двух общественных систем человечество обязано научиться думать и действовать по-новому — таково веление времени.

Трудно переоценить в этой связи недавний пример высокой ответственности за судьбу планеты, который показала всему миру наша страна. Принятое Политбюро ЦК КПСС и правительством Советского Союза решение продлить односторонний мораторий на ядерные взрывы до 1 января 1987 года на деле доказывает серьезность и искренность нашей программы ядерного разоружения, наших призывов к новой политике — политике реализма, мира и сотрудничества.

В конечном счете, говоря о смысле жизни и предназначении человека в современном мире, нельзя не согласиться с академиком Д. С. Лихачевым, высказавшим простую и в то же время мудрую мысль, приводимую в одном из сборников: «Природа создавала человека миллионы лет, давайте же уважать эту работу, проживем жизнь с достоинством, поддерживая все созидательное и противостояя всему разрушительному».

Валерий ЛЕЙБИН,
доктор философских наук.

КОРОТКО О КНИГАХ



Д. С. ЛИХАЧЕВ. Письма о добром и прекрасном. М. «Детская литература». 1985. 207 стр.

Мы привыкли, что люди науки нередко пользуются неким псевдоязыком, скучной лексикой стертых клише, длиннейших причастных и деепричастных оборотов. В этой книге не так: «Письма о добром и прекрасном» созданы писателем Лихачевым, мастером сжатой, точной речи, где живут жаркое чувство, образная мысль. Слова его, обращенные к детям, просты, доверительны, доходчивы: автор делится с ними тем, что составило всю его жизнь.

Неудивительно, что, будучи исследователем литературы (и культуры), академик Дмитрий Сергеевич Лихачев выбрал для своей наставнической детской книги традиционную еще со времен античности эпистолярную форму. В «Письмах о добром и прекрасном» — советы и суждения Лихачева о родине, совести, труде, природе, чести, о человечности, красоте, о войне и мире, о героике, скромности и гордости, о достоинстве и глубине личности, обязанной возводить себя по камушку, о нашей великой литературе и нашей великой истории. Множество вопросов гуманитарного образования — без педалирования, без дидактики — поставлено в книге Д. С. Лихачева, каждый из них серьезен, и все же ученый и писатель считает воспитание души и характера человека гораздо более важным, чем накопление памяти некоей суммы знаний. Истинной образованностью, утверждает Лихачев, интеллектуальные богатства можно считать лишь тогда, когда они освящены сердечностью, щедростью и любовью.

«Наука, которая занимается охраной и восстановлением окружающей природы, называется экологией... Человек живет не только в природной среде, но и в среде, созданной культурой его предков и им самим... Итак, в экологии есть два раздела: экология биологическая и экология культурная, или нравственная... До известных пределов утраты в природе восстановимы... Совсем иначе с памятниками культуры... «запас» культурной среды крайне ограничен в мире, и он истощается...»

Будет ли, однако, внимать подобным размышлениям Д. С. Лихачева наш юный читатель, больше всего обожающий в книге сюжет, действие? Думаю, да. «Письма о добром и прекрасном» обращены к подростку, к человеку, который очень ценит уважительное отношение к себе, веру в его возможность творить, беречь и умножать. Именно так и относится к своему читателю автор. Черта, присущая советской педагогике, унаследованной ее от классики и от педагогики русской. А ведь есть — вспомним! — и совсем иное наставничество, тоже избирающее классическую эпистолярную форму. Скажем, знаменитые «Письма купца, сделавшего самого себя, своему сыну» американца Дж. Лоримера — проповедь хищнического, изворотливого эгоизма. утверждение в юном человеке фальши, хит-

рости, ловкости, презрения к общему ради личного. Лоример считает читателя хуже, чем он есть; Лихачев, как то свойственно нашей национальной культуре, видит его лучше, талантливее, добрее, чем он был вчера и есть сегодня, словом, таким, каким этот человек непременно будет завтра.

«В читателях моих писем я представляю себе друзей», — говорит Дмитрий Сергеевич. И заканчивает свою книгу так: «В жизни надо иметь свое служение — служение какому-то делу. Пусть дело это будет маленьким: оно станет большим, если будешь ему верен. В жизни ценнее всего доброта... Умая доброты — самое ценное в человеке, самое к нему располагающее и самое, в конечном счете, верное по пути к личному счастью. Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других...»

Едва появившись, «Письма о добром и прекрасном» Д. С. Лихачева сразу же стали библиографической редкостью и, думается, войдут в историю отечественной педагогической мысли, в историю нашей литературы для детей и юношества.

Александра Пистунова.



СТЕПАН ПИСАХОВ. Сказки. Очерки. Письма. Архангельск. Северо-Западное книжное издательство. 1985. 367 стр.

«Степан Писахов, несомненно, принадлежит к самым замечательным и своеобразным сказочникам мира, — считал Федор Абрамов. — Но Андерсена, братьев Гримм у нас знают все от мала до велика... А хорошо ли мы знаем своего соотечественника?» Вопрос непростой: вроде бы и знаем, и книги (точнее, книжечки) время от времени выходят, но, с другой стороны, случалось и мне встречать весьма образованных людей, с творчеством Писахова вовсе не знакомых, в лучшем случае слышали имя! Ситуация явно ненормальная (хотя, думается, в понятном полемическом запале Федор Абрамов несколько преувеличил значение Писахова). Пробел этот отчасти восполняет сборник, появившийся в интереснейшей, но еще недостаточно известной всесоюзному читателю книжной серии «Русский Север», о которой следует сказать особо. Уже изданы «Печорские былины и песни», «Онежские былины», «Сказки Белозерского края», книга писателя-этнографа С. В. Максимова «Год на Севере», томики М. В. Ломоносова, А. П. Чапыгина, В. И. Красова, Е. С. Коковина и других авторов. Объявлено о предстоящем выходе «Жития» протопопа Аввакума, книг Н. А. Ключева, А. М. Ремизова...

«Сказки. Очерки. Письма» — самое полное и лучшее на сегодня собрание литературного наследия Степана Григорьевича Писахова (1879—1960). В этом есть заслуга составителя, автора вступительной статьи и комментариев кандидата филологических наук И. Б. Пономаревой. (Следует отметить

и текстологическую работу Ш. З. Галимова, которая легла в основу редактуры.) Путешественник по Ближнему Востоку и Средней Азии, даровитый художник-пейзажист, ценный И. Репиним, С. Писахов был беспрельдно влюблен в родной Север, изучению и прославлению которого служат и его книги, и экспедиции, и этнографическая деятельность, и картины («В Риме меня просили научить серебристым тонам. Я ответил: „Это дает Север...“»). И конечно, сами писховские сказки — лукавые, безудержно фантастические и одновременно своеобразно реалистические («Не люблю — не слушай», «Морожены песни», «Яблоней цвел». «Проповедь попа Сиволдая» — всего их у него более ста). Справедлива мысль И. Б. Пономаревой, что эти уникальные сказки есть в то же время «типичное явление северной культуры». И тут нелишне напомнить, что «Сказки» (за редкими исключениями, отмеченными самим автором) не обработанный литератором фольклор, а зародившаяся в народной стихии оригинальная художественная проза С. Г. Писахова, несущая явные признаки его устного слова («Сочинять и рассказывать сказки я начал давно, записывал редко»).

Сегодня это, пожалуй, общепризнано, но, увы, не всегда было так. Материалы сборника выразительно показывают, как нередко осложнялась и без того непростая писательская судьба Степана Григорьевича, вышедшего к читателю со своими сказками уже в сорокапятилетнем возрасте (а первое их отдельное издание появилось, когда автору было около шестидесяти). «Проведя почти всю жизнь впроголодь, я хочу хотя бы авторство своих сказок за собой уберечь», — читаем в его «Биографии». «Заканчивая свой путь (скоро 70), я с обидой думаю о сказках: их и при мне часто присваивают себе разные эстрадники или объявляют народными, где-то будто бы мною записанными», — читаем в его письме 1949 года И. С. Соколову-Микитову.

Попытка издать в систематизированном виде «несказочное» наследие С. Г. Писахова предпринимается впервые. Его очерки, странички из дневника, письма не просто расширяют наше представление о творческом диапазоне писателя, являются не только свидетельствами об истории, быте и нравах Севера, но и содержат богатый материал для лучшего понимания сложной личности Степана Григорьевича, психологических трудностей его работы. Одно только замечание «В некоторых случаях затемена на общепринятую характерную экспрессивную пунктуацию Писахова», — читаем в комментариях к письмам. Если пунктуация и впрямь «характерная», может быть, не следовало заменять?

Книга вышла сотысячным тиражом: для местного издательства великолепно, а для Писахова маловато. Назрела также необходимость в монографическом исследовании жизни и творчества С. Г. Писахова, поскольку единственный пока биографический очерк о нем уже не может нас удовлетворить, да и широкому читателю практически недоступен — вышел в 1959 году в том же Архангельске. Вообще же собрание, исследование, пропаганда культурного на-

следия Русского Севера — постоянная работа архангельских книгоиздателей. Думается, что их в полном смысле слова благородная деятельность заслуживает уважения и поддержки.

Андрей Василевский.



РЕНАТ ХАРИС. Присядь к очагу моему. Стихотворения и поэмы. Перевод с татарского. М. «Современник». 1985. 239 стр.

В названии этой книги слышатся не только радужное приглашение или мягкая просьба, обращенные автором к другу. В нем явственно звучит мудрое и добросердечное обращение к единомышленнику — человеку, бережно и неутомимо вбирающему в себя цвета и теплоту жизни, чтобы затем безоглядно и щедро поделиться накопленным с людьми. Поделиться не суетливо, не второпях, не на ходу, а в спокойной, задушевной беседе. «Кто не любит из нас удачную езду?! Отчего ж современная скорость движенья, что в согласье с умом, до сих пор не в ладу с нашей скоростью сердцебиенья?»

Стремительные скорости XX века, которые, вероятнее всего, будут казаться в недалеком будущем скоростями патриархальными, и в самом деле не властны над ритмом сердца. И, может быть, вечно куда-то спеша, опережая звук, однако неспособные пока обогнать свет, мы все чаще испытываем обостренное желание задуматься над непреходящей ценностью таких вроде бы простых, таких привычных, но вместе с тем никогда не устаревающих светлых понятий, как справедливость, доброта, честность, чувство долга, любовь... Задуматься, присев хотя бы к поэтическому очагу Рената Хариса. Его стихи современны и по слогу и по тематике. Не внешней атрибутикой, а внутренним настроением на углубленный анализ человеческой души — души, стремящейся детально отразить наше время, души, с радостью воспринимающей свою «обязанность трудиться», души, открытой пространству и свету.

И вот Ренат Харис обращается к истории, чтобы с одной из ее многочисленных высот — с высоты Шипки — заглянуть в сегодняшний день и еще раз поразмыслить над тем, «как понимали предки дружбу, как завещали понимать» («На Шипке»). Отсюда, от дружбы, от единения людей, от внутренней потребности прийти в нужный момент им на помощь, прокладывает поэт дорогу к своему очагу. Над этой дорогой — песни. И среди них одна, главная, — «Интернационал», та, что «взлетала на баррикады, светила павшим в кровешной мгле», та, что «не знала себе преграды в победном шествии по земле» («Песня»). На этой дороге — память о революции и гражданской войне (поэмы «Мулламур» и «Камил Якубов»), раздумья о чести, о мужском достоинстве, о патриотизме (поэма «Седлание коня», кстати, по-моему, наиболее сильная вещь в книге). Эта дорога ведет нас в Татарию. В те края, где женщина, несущая коромысло, кажется автору похожей на стрелу, рвущуюся в небо из лука-коромысла («Только крылья тянут к земле и не выстрелит в небо лук»).

Есть особая притягательность в тонком, сугубо национальном орнаменте строк Хариса, орнаменте, на фоне которого еще отчетливей различаются интернациональность и гражданственность в сильном и чистом голосе поэта. Его «Татарка под коромыслом», его «Казанская весна» («Я потому не по игре листы — по женщинам весну определяю!»), его «Подснежник» («...фиолетовый хрупкий огонь»), его «Снежный рисунок» («Снегопады, тихи, опустились в стихи...»), его «Ночной лес» («Гляжу на темень позади, вздыхаю: ну и шутка... И так пронзительно в груди, так радостно и жутко»), наконец, многие другие стихотворения, составившие сборник (тут мне хотелось бы отметить удачную работу основных его переводчиков на русский язык — Л. Григорьевой, Р. Бухараева и в особенности Вад. Кузнецова), несут лирический заряд любви ко всему живому, ко всему, чему так необходимо мир на планете и что так нуждается в поддержке и защите.

Мир хрупок. В наше тревожное время особенно. И потому честность и мужество, доброта и взыскательность оцениваются нами сейчас наиболее высоко в характере человека, в характере мужчины. «Ненадежному миру извечно нужны плечи этих надежных мужчин» — с этими словами Рената Хариса из его стихотворения «Середина жизни» трудно не согласиться. Именно таким — надежным и, следовательно, извечно необходимым миру — предстает перед читателем лирический герой новой книги поэта.

Татьяна Кузовлева.



ВАДИМ САФОНОВ. Вечное мгновение. Этюды и размышления о литературе. М. «Советский писатель». 1986. 519 стр.

Такие книги складываются всей творческой жизнью писателя, являясь как бы некоей неожиданностью для самого автора. Неожиданностью, которая, однако, закономерна — как взгляд в прошедшее при завершении долгого пути, чтобы обозреть его, уточнить духовные координаты и только тогда двинуться дальше. Это не критика, не литературоведение, не эссеистика, не мемуары. Это их слав и это, я бы сказал, проза. Проза зрелого писателя, владеющего секретами мастерства и легко преодолевающего жанровые границы. Можно назвать такую книгу и своеобразным читательским отчетом писателя.

Сам автор определяет «Вечное мгновение» как «книгу-признание», «книгу-поиск». Поиск принципиальных истин искусства, человеческой жизни... «С годами все очевиднее, — пишет Вадим Сафонов, — что подлинное, высокое, наиболее (или даже единственно) нужное искусство не может создаваться людьми двойной, скажем так, «установки». Теми, кто горячо, убедительно, с прекрасно разыгранной страстностью что-то отстаивает в стихах, прозе, на полотне или нотных линейках партитуры, с тем чтобы отложить все это в сторону, «освободиться» и забыть, чуть вымыты руки после работы. Честность с собой — верховный

закон, который никому не дано безнаказанно нарушать. Я говорю о безусловной повелительной этике творческого труда. Большое искусство — не хобби на досуге, не отправление обязанностей в служебное время; большое искусство — дело жизни».

Размышления об опыте классики, о собственном художественном опыте у автора действительно напоминают исповедь. Настало, например, время перечитать Франса. Снова. Хотя без него, его книг, по авторскому признанию, в далеких 30-х не написалась бы книга об Александре Гумбольдте... И вот: «И опять, негаданно, попал под власть поразительного языка... бьющейся дерзкой мысли». Автор восхищается произведениями великого француза, делится своими знаниями с читателем, постигая изображаемое, отмечая тонкости стиля, погрешности перевода (тут же в скобках исправленного!), давая квалифицированные комментарии и пояснения.

Большой читательский багаж и зоркость опытного художника помогают Сафонову в создании атмосферы непринужденного эссеизма (выразимся так), в которой и заключено обаяние этой книги. Рабле и Метерлинк, Толстой и Пушкин, Диккенс и Томас Манн, Хемингуэй и Паустовский... Эти и многие другие писатели привлекают внимание В. Сафонова, и благодаря личности автора мысли о них формируются в сильный образно-логический интеллектуальный заряд, притягивающий и наше читательское внимание. Мы будто рядом с самими художниками слова, слышим их раздумья о сложном и прекрасном труде писателя. И слышим, как с ними беседует автор...

Немало страниц посвящено в «Вечных мгновениях» Толстому и Пришвину, Чехову и Шекспиру, Гарину-Михайловскому и Виктору Шкловскому. О последнем, вернее, о его будто бы «парадоксальном стиле» автор замечает: «Может быть, так: стиль, лишенный страха?» Так, вроде бы нечаянно, отмечена черта подлинной поэзии в творчестве Шкловского. И далее о нем же: «Стиснешь зубы, готовясь к единоборству... Лицом к лицу с тобой уже строй фраз с упруго налитыми мускулами, блеском и точностью бриллиантовой огранки. Глазами тут не скользнешь. Все заострено до парадоксальности — только ни тени кудрявости, пышности, каприза. Каждая фраза как короткий сухой удар. В ее «теле» открытые, зримые, нарочитые противоречия со вспышкой при их столкновении — видно, как они ведут мысль, словно обнажен механизм, обычно скрываемый, лакируемый, оставляемый в черновиках».

Бесстрашие стиля — следствие творческого дарования и доверия к читателю — свойственно и книге Вадима Сафонова. А заканчивается она так: «Правда человеческого бытия — многогранна; чем сложнее, значительнее оно — тем многогранней. И нанесая даже умелой рукой один цвет, рискуем закрасить ее...» Строго следуя этой своей установке, автор «Вечных мгновений» стремится использовать всю имеющуюся в его распоряжении палитру.

Александр Ливанов.

*В 1987 году «Новый мир»
опубликует:*

романы, повести, рассказы В. Астафьева, А. Афанасьева, Ю. Азарова, Ю. Бондарева, Д. Гранина, Б. Екимова, В. Крупина, М. Колосова, В. Маканина, В. Орлова, В. Распутина, В. Рослякова, В. Солоухина, Т. Толстой, Б. Харчука, Г. Бёлля, К. Кейси;

стихи Евгения Винокурова, Андрея Вознесенского, Расула Гамзатова, Юлии Друниной, Евгения Евтушенко, Алима Кешокова, Владимира Кострова, Александра Межирова, Бориса Олейника, Анатолия Преловского, Роберта Рождественского, Давида Самойлова, Марка Соболя, Владимира Соколова, Николая Старшинова, Владимира Цыбина, Олега Чухонцева;

очерки и статьи И. Беляева, А. Бовина, Ф. Бурлацкого, Г. Васильева, С. Кондрашова, Е. Лисичкина, М. Захарова, В. Овчинникова, В. Селюнина, Ю. Черниченко, Е. Яковлева;

литературно-критические статьи, обзоры Л. Аннинского, А. Бочарова, И. Дедкова, И. Золотусского, А. Марченко, О. Чайковской;

из литературного наследия М. Булгакова, Н. Гумилева, В. Набокова, А. Платонова, А. Твардовского, В. Тендрякова, М. Цветаевой;

дневники кинорежиссера Г. Александрова, воспоминания А. И. Микояна, В. Берестова о С. Маршаке.

Первый номер 1987 года посвящается памяти А. С. Пушкина.

Подписка на журнал «Новый мир» принимается без ограничения всеми предприятиями «Союзпечати» и отделениями связи.

Срок подписки на журнал «Новый мир» на 1987 год истекает 31 октября с. г.

Подписная цена на год — 14 р. 40 к.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии 478 стр. Цена 95 к.

Э. Байрамов. Заброшенные четки Разговор по душам с последователями ислама 189 стр. Цена 40 к.

А. Петросьянц. Атом не должен служить войне. Атомистика в древности и в наши дни 191 стр. Цена 50 к.

И. Стоун. Ненстовый странник. Биографическая новелла о Юджине Дебсе. Перевод с английского. 384 стр. Цена 2 р. 60 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Зарицкий. Стихотворения. Перевод с белорусского («Библиотека советской поэзии») 270 стр. Цена 1 р.

А. Кушнер. Стихотворения. 303 стр. Цена 1 р. 70 к.

Г. Немченко. Под вечными звездами Повесть. 478 стр. Цена 2 р. 10 к.

Я. Неруда. Малоотраженные повести. Перевод с чешского. 239 стр. с иллюстрациями. Цена 2 р. 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Г. Гулиа. Викинг. Ганнибал, сын Гамиль-кара. Рембрандт. Романы 509 стр. Цена 2 р. 10 к.

И. Дедков. Живое лицо времени. Очерки прозы семидесятых — восьмидесятых годов 391 стр. Цена 1 р. 80 к.

Из реки по имени Факт. Первая книга молодых публицистов. Составитель М. Кононов. 446 стр. Цена 1 р. 90 к.

В. Карпов. Плач по Марии. Повести и рассказы 240 стр. Цена 90 к.

«РАДУГА»

С. Бупханувонг. Сестры. Роман. Перевод с лаосского 239 стр. Цена 1 р. 30 к.

К. Милионис. Годы испытания. Сборник. Перевод с греческого 264 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Сото. Три песеты прошлого. Роман. Перевод с испанского. 302 стр. Цена 1 р. 60 к.

ВОЕНИЗДАТ

В. Беляев. Старая крепость. Трилогия. 447 стр. Цена 3 р. 20 к.

Р. Рождественский. За того парня. Стихи. Поэмы 303 стр. Цена 1 р. 70 к.

В. Устьянцев. Найти свой причал. Повести. 333 стр. Цена 50 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Н. Верещагин. Любовь к велосипеду. Повесть 269 стр. Цена 1 р. 20 к.

Интервью и беседы с Львом Толстым. Составитель В. Я. Лакшин. («Любителям российской словесности») 525 стр. Цена 2 р. 40 к.

В. Кондратьев. Сашка. Повесть. 141 стр. Цена 35 к.

Радуга над Вяткой. Сборник. Составитель Г. Бузмаков («Сердце России») 487 стр. Цена 2 р. 50 к.

«ИСКУССТВО»

Г. Козинцев. Собрание сочинений в 5-ти тт. Т. 5. Замыслы Письма. 622 стр. Цена 2 р. 90 к.

Л. Михайлов. Семь глав о театре. Размышления, воспоминания, диалоги 335 стр. Цена 3 р. 50 к.

М. Чехов. Литературное наследие В 2-х тт. Т. 1. Воспоминания Письма. 462 стр. Цена 2 р. 80 к.

В. Ярошенко. «Черный» эфир («Империализм, события, факты документов») 208 стр. Цена 75 к.

«НАУКА»

Н. Бромлей. Образ жизни в условиях совершенствования социализма 224 стр. Цена 1 р.

И. Гончаров. Фрегат «Паллада». («Литературные памятники») 879 стр. Цена 8 р. 90 к.

Искусство стран Латинской Америки. 240 стр. Цена 1 р. 20 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ж. Верн. Таинственный остров 607 стр. Цена 1 р. 30 к.

М. Горький. Избранное. 686 стр. Цена 1 р. 80 к.

Ю. Дмитриев. Здравствуй, белка! Как живешь, крокодил? Избранное 480 стр. Цена 1 р. 40 к.

В. Драгунский. На Садовой большое движение. Рассказы 207 стр. Цена 1 р. 30 к.

М. Сервантес. Хитроумный идальго Дом Кихот Ламанчский 559 стр. Цена 2 р.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

И. Бабель. Избранное. Минск «Мастацкая литература» 270 стр. Цена 1 р. 50 к.

Р. Валеев. Родня. Повести, рассказы. Челябинск Южно-Уральское книжное издательство 446 стр. Цена 1 р. 90 к.

И. Евсеенко. За семью холмами. Повести. Рассказы. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство 192 стр. Цена 65 к.

В. Леонovich. Время твое. Переводы из грузинской поэзии. Стихи о Грузии Тбилиси. «Мерани» 213 стр. Цена 1 р. 40 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103798, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, В. В. Карпов, А. И. Коваль-Волков, В. Н. Крупин, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции 103806 ГСП, Москва К-6 Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 18.07.86 г. Подписано к печати 08.09.86 г. А 11656. Формат бумаги 70X108^{1/8}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л.) 27.08 уч.-изд. л.

Тираж 414 000 экз. (1-й завод 1—214 000 экз.). Зак. 2600.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР» 103798, Москва, К-6 Пушкинская пл., 5

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

К читателям «Известий»

Продолжается прием подписки на газету «Известия» на 1987 год.

Оформление подписки будет проводиться по 31 октября 1986 года с доставкой с января, а с 1 ноября — с доставкой с февраля и последующих месяцев 1987 года.

Подписка принимается без ограничений предприятиями «Союзпечати», отделениями связи и общественными распространителями печати по месту работы, учебы и жительства.

Подписку можно оформить с перерывом на часть срока (отпуск, каникулы в высших и средних учебных заведениях).

Подписная цена:

на год — 9 рублей, на 6 месяцев — 4 рубля 50 копеек,
на 3 месяца — 2 рубля 25 копеек, на один месяц —
75 копеек.

Издательство «Известия»